

Академия наук СССР

**РАЗВИТИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
СЛАВЯНСКИХ
НАРОДОВ
В ЭПОХУ
ЗРЕЛОГО
ФЕОДАЛИЗМА**



·Наука·

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

РАЗВИТИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

В ЭПОХУ
ЗРЕЛОГО ФЕОДАЛИЗМА

Ответственные редакторы
член-корреспондент Г. Г. ЛИТАВРИН,
доктор филологических наук
Вяч. Вс. ИВАНОВ



МОСКВА «НАУКА» 1989

А в т о р ы:

О. А. АКИМОВА, А. И. ВИНОГРАДОВА, В. В. ИВАНОВ, С. А. ИВАНОВ,
Я. Д. ИСАЕВИЧ, Г. Г. ЛИТАВРИН, Г. П. МЕЛЬНИКОВ, Е. П. НАУМОВ,
Г. П. НЕЩИМЕНКО, В. К. РОНИН, Л. Н. СМИРНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ,
С. М. ТОЛСТАЯ, Б. Н. ФЛОРЯ, Е. В. ЧЕШКО, В. П. ШУШАРИН

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор А. А. ЗАЛИЗНЯК,
доктор филологических наук, профессор Л. Б. НИКОЛЬСКИЙ,
кандидат исторических наук Л. Н. ФУРСОВА,
доктор исторических наук И. В. ЧУРКИНА

Р 17 Развитие этнического самосознания славянских народов
в эпоху зрелого феодализма. — М.: Наука, 1989. — с. 352
ISBN 5-02-009928-7

Данный труд, созданный коллективом историков и лингвистов, хронологически охватывает период от начала XII до конца XIV в. В книге на основании изучения письменных источников славянских народов анализируется процесс развития их этнического самосознания в эпоху зрелого феодализма. Процесс рассматривается в тесной связи с социально-экономическим и социально-политическим развитием славянского мира.

Для историков, филологов, этнографов.

Р 0508000000-352
042(02)-89 208-89-кн. 1

ББК63.3(4)

ISBN 5-02-009928-7

© Издательство «Наука», 1989

ВВЕДЕНИЕ

Книга написана в основном коллективом историков и лингвистов Института славяноведения и балканистики АН СССР. Она представляет собой — и тематически и хронологически — непосредственное продолжение опубликованного в 1982 г. издательством «Наука» труда «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья». Вместе с тем предлагаемое вниманию читателя на этот раз исследование отличается и рядом существенных особенностей.

Во-первых, в поле зрения авторов новой коллективной работы — уже не доклассовый и раннефеодальный периоды истории развития этнического самосознания славянских народов, а эпоха развитого феодализма. Ее нижняя хронологическая грань, в сущности, predeterminedena указанным выше предшествующим трудом: изложение оставлено в нем в каждой главе на том историческом отрезке, на котором в основном завершился процесс становления этнического самосознания соответствующей раннефеодальной народности. Верхний же хронологический рубеж для всех разделов новой книги в целом одинаков — это конец XIV или самое начало XV в. Следует подчеркнуть также, что хронологически, согласно выводам предыдущего исследования, становление этнического самосознания раннефеодальных славянских народностей и завершение самого периода раннего феодализма не совпадают полностью: процесс оформления раннесредневековых народностей закончился в основном в ряде районов славянского мира значительно раньше, чем наступила эпоха развитого феодализма. Так, например, завершение процесса образования раннефеодальной болгарской народности датируют первой четвертью X в., тогда как наступление периода развитого феодализма — полутора столетиями позже. Примерно то же самое следует, по-видимому, сказать и о чешской раннефеодальной народности.

Во-вторых, существенно изменились сравнительно с первым трудом в данной коллективной монографии территориальные границы изучаемого славянского ареала. В частности, за рамками нового исследования в целом оставлены восточнославянские земли, где, с одной стороны, продолжалось развитие древнерусской народности (и соответствующего изменившимся условиям ее этнического самосознания), а с другой — в ее недрах совершался процесс зарождения и постепенного оформления новых феодальных восточнославянских народностей — русской, украинской и белорусской. Детальное изучение этого процесса составляет, по мнению авторов труда, большую и сложную тему самостоятельного исследования, хотя при анализе общеславянских историко-куль-

турных и языковых явлений в какой-то мере данные об этническом развитии восточнославянского региона не могли не привлекаться и в этой монографии.

В-третьих, в отличие от первой книги, на этот раз подверглась специальному рассмотрению проблема зарождения и развития этнического самосознания у представителей таких славянских этнических общностей, как словенская и словацкая. В предшествующей монографии они не исследовались в основном в силу двух причин — чрезвычайной скудости материала источников и существенных особенностей исторического развития этих народов, не успевших в крайне неблагоприятных внешнеполитических условиях утвердиться и сохранить в VII—XII вв. (как и позднее) собственную государственность. Впрочем, авторы разделов о предках словенцев и словаков, говоря в основном о периоде XII—XIV вв., сочли необходимым коротко осветить также — насколько это оказалось возможным при существующем состоянии источников — вопрос о ранних этапах развития указанных славянских этнических общностей.

В-четвертых, приступая к работе, члены авторского коллектива стремились осуществить более тесную сравнительно с первым трудом интеграцию своих усилий как в процессе исторического и филолого-лингвистического анализа фактического материала, так и при комплексном осмыслении выводов и наблюдений, полученных с помощью методов разных гуманитарных дисциплин. Тогда как в труде, вышедшем в свет в 1982 г., из двенадцати глав лишь в трех были особо рассмотрены наиболее общие лингвистические процессы в славянском мире в V—XIII вв., а в остальных девяти данные лингвистики привлекались авторами-историками при опоре на специальную литературу, в предлагаемом ныне вниманию читателей исследовании, помимо двух общелингвистических глав, каждая из восьми других написана совместно историком и лингвистом — с точки зрения (и с помощью методов) двух разных наук, нацеленных на решение единой, общей проблемы.

Существенно изменились и задачи, стоявшие перед лингвистами. В упомянутом первом исследовании языковеды рассматривали по преимуществу три вопроса: о влиянии на славян Балканского полуострова местного этнического субстрата, о процессах возможной языковой дифференциации славян внутри еще сохранявшегося у них единого общеславянского языка и о воздействии письменного древнеславянского литературного языка на этническое самосознание ряда славянских народностей (восточных и южных). В данной же книге в качестве наиболее общих проблем языковеды специально рассмотрели вопросы о соотношении общеславянского (для южных и восточных славян) письменного литературного языка с языками отдельных славянских народов и о взаимодействии латинского (устного и литературного) и славянских (разговорных и письменных) языков (преимущественно для западных и части южных славян). А что касается всех других глав, то главная задача лингвистов состояла в выявлении взаимо-

связей между процессами дальнейшего развития каждой славянской народности в эпоху развитого феодализма и процессами их углублявшейся языковой дифференциации. В связи с этим уместно напомнить, что, согласно заключениям авторов первой монографии, в раннефеодальный период у славянских народов еще отсутствовало представление о каких-либо существенных различиях между славянскими языками: славяне всего населенного ими ареала полагали в ту эпоху, что все они пользуются единым «славянским» языком. В XII—XIV вв. в славянском мире в этом отношении наступили значительные перемены, и авторы-лингвисты поставили перед собой цель изучить процесс становления отдельных славянских языков во взаимоотнословенной связи с дальнейшим развитием этнического самосознания каждой славянской народности.

Указанная задача касается и каждого отдельного языка, и всех славянских языков в целом. Согласно представлениям современного славянского языкознания, распад единого общеславянского языка являлся длительным процессом, завершившимся к периоду падения редуцированных гласных, т. е. в конце XI—XII в. Процесс дезинтеграции некогда единообразного языка шел неравномерно. По-видимому, дифференциация отдельных языков и основные фонетические явления, ее обусловившие или с ней связанные (падение редуцированных гласных, преобразование носовых гласных и становление противопоставления по мягкости-твердости согласных), ранее оказались заметными на юго-западе славянской территории и медленно распространялись на северо-восток. Диалект северной группы восточных славян, теперь хорошо известный по ранним новгородским берестяным грамотам, еще для XI—XII вв. оправдывает по многим критериям представление о нем как об архаическом варианте праславянского. Достаточно сказать, что его отличие от других языков определяется именно архаизмом: в нем еще не осуществились такие процессы палатализации согласных, которые в большинстве других славянских диалектов относят к значительно более раннему праславянскому периоду. Перед лингвистами и историками возникает, таким образом, сложная и увлекательная задача. Предстоит выяснить, как становление отдельных славянских языков, в конечном счете обусловленное историческими судьбами их носителей, было связано с разными пространственно-временными стадиями глобального процесса разрушения общеславянского языкового единства. Несомненно, у этого процесса была и внутренняя, собственно языковая сторона. Менялся самый тип структуры языка, обусловленный открытостью слогов и принципом единства некоторых фонетических характеристик всего слога в целом. Но это преобразование общеславянской структуры и оформление новых структур (разных в различных славянских языках) происходило в отличающихся рамках и с неодинаковой степенью выраженности отдельных звеньев процесса в зависимости от локальных условий. Каковы в данном случае причинно-следственные связи,

позволяющие наметить зависимость языкового развития от внешних социально-исторических факторов, его обусловивших? В таких славянских языках, как болгарский, при переходе от древнеболгарского периода к среднеболгарскому происходило начиная с XII—XIII вв. (за относительно короткий срок) радикальное изменение не только фонетической (как и в других языках того времени), но и грамматической структуры, намечалась тенденция развития аналитического строя языка, сменявшего характерный для всех славянских языков этого периода синтетический строй. Очевидно, что столь быстрый качественный (мутационный) скачок в языковом развитии должен был быть подготовлен интенсивным языковым и этнокультурным смешением, начавшимся еще ранее при становлении болгарской народности. Но не менее существенно установить другое: какие социальные и культурные факторы могли уже в XII—XIV вв. способствовать ускорению этого процесса, проникновению соответствующих черт разговорного (устного) среднеболгарского языка и его диалектов в письменные памятники и тем самым подготовке к их дальнейшему закреплению в качестве нормы. Исследование таких проблем, помимо непосредственной значимости для конкретной темы монографии, может иметь и более общий теоретический смысл, так как детально связи истории языка и истории его носителей в этом плане еще очень мало изучены.

Ответа на возникающие при постановке этой задачи вопросы, возможно, иногда следует ожидать и от более дробных лингвистических исследований, имеющих в виду не целую языковую область, а отдельные ее диалектные явления, которые в ряде уже хорошо изученных случаев воспроизводят исторические границы феодального времени. Поэтому предмет исследования лингвиста иногда оказывается больше, чем то, что лежит в поле зрения историка (когда приходится рассматривать всю славянскую языковую область), иногда — меньше (когда лингвиста занимают отдельные диалектные ареалы внутри языка данной народности). Тем не менее и в этой монографии представлялось возможным, поскольку она остается в указанном отношении поисковой, выбрать в качестве единицы для рассмотрения лингвистов в большинстве глав *целые* языки, вынеся более глобальные или более мелкие членения в разделы общего характера.

Разумеется, говоря выше об особенностях данного исследования сравнительно с предшествующим, мы отнюдь не стремились перечислить их все, отметив лишь наиболее существенные, причем существенные не с точки зрения самого содержания и выводов (предвосхищать их представлялось нецелесообразным), а, скорее, с точки зрения композиции труда и распределения задач между авторами-специалистами в области двух смежных гуманитарных дисциплин (истории и языкознания). Что же касается существа дела, т. е. новых результатов, полученных авторами данной работы, то все они определяются в целом особенностями самой рассматриваемой эпохи, теми новыми условиями, в которых про-

должалось развитие славянских народностей и их языков, а соответственно и становление их самосознания.

Авторы основывались на своих прежних методологических принципах подхода к материалу, одним из важнейших среди которых является принцип строжайшего соблюдения историзма при анализе и осмыслении фактов и явлений. А это означает применительно к периоду XII—XIV вв., что в своем исследовании авторы должны были рассмотреть проблему развития этнического самосознания славянских народов в тесной зависимости с такими кардинальными явлениями эпохи, как оформление основных институтов феодального общества в славянских странах, углубление социальных различий и классовых противоречий, упрочение экономических связей, развитие городов, образование средневековых сословий и социальных диалектов наряду с территориальными диалектами в деревне и в городе, ослабление центральной власти и торжество процесса феодальной раздробленности в большинстве славянских государств.

Особое внимание авторы труда считали необходимым уделить рассмотрению таких важных для этнических судеб народа факторов, как внешнее завоевание, потеря государственной независимости, установление иноземной власти. В изучаемое время в результате военных столкновений и династических союзов между славянскими государствами отдельные славянские страны (или части территорий этих стран) в течение сравнительно коротких и достаточно продолжительных периодов оказывались во власти других славянских государств. Так, например, польские земли временно находились под властью чешского короля, сербскими территориями владело Болгарское царство в годы правления Самуила и т. д. Поэтому авторы коллективного труда ставили перед собой задачу выяснить на материале источников, нашли ли указанные явления какое-либо отражение в процессах развития славянских народностей, в их самосознании и языке.

Так, существенное чешское влияние, сказывающееся в течение длительного времени (до XV в. включительно) на польском литературном языке, должно быть определенным образом соотносено с историческими связями Польши и Чехии. Особенностью языков и диалектов является то, что давно наметившиеся тенденции к разделению или несходству могут продолжаться иногда и в условиях, внешне, казалось бы, этому противоречивших. Государственная интеграция далеко не всегда (особенно в рамках объединения, включавшего несколько народностей-языков) вела к объединению языковому (это последнее могло осуществляться только за счет «общемперского» койне).

Еще в более настоятельной и острой форме подобного рода вопросы стояли перед авторами при исследовании ими (в аспекте проблемы) последствий завоевания или подчинения той или иной славянской страны (или ее части) иноэтничным (неславянским) государством. В рассматриваемую эпоху имели место длительное господство Византийской империи над болгарскими землями и ее

сюзеренитет над территорией сербов и хорватов, все более упрочивавшееся и расширявшееся немецкое владычество над полабскими славянами, власть германских государств и Венеции над предками словенцев, а Королевства Венгрия — над предками словаков, хорватами, частью сербско-боснийского населения и т. п.

Члены авторского коллектива старались поэтому не оставлять вне поля зрения ни судеб самосознания каждой из славянских народностей, утративших самостоятельность и вынужденных существовать в менее благоприятных социально-политических, этнокультурных и этнолингвистических условиях, ни перемены в уровне общеславянского самосознания, которое также, вне всякого сомнения, испытывало воздействие изменений внешне-политической ситуации.

Иными словами, в ряде изучаемых государств в результате недобровольного или добровольного формально включения славян в неславянское государство имело место сосуществование двух (или нескольких) этносов, причем политический статус славян варьировал от прямого подчинения иноземной власти до положения вассального или автономного государственного образования в пределах иноэтничного государства. Этносоциальное, этнокультурное и языковое взаимодействие западных и части южных (хорватов, предков словенцев, сербов и боснийцев) славян с неславянскими народами, осложненное сословно-юридическими различиями, стало еще более интенсивным начиная с XIII в. в связи с нараставшей немецкой (городской и сельской) колонизацией.

В случаях длительного сохранения подобной ситуации обычно имели место языковые контакты взаимодействующих этносов. С одной стороны, могли происходить заимствования, иногда достаточно массовые, в один из двух взаимодействовавших языков. Направление заимствований (например, из славянских диалектов западнославянского типа в венгерский) могло определяться не социальной иерархией этносов, а другими факторами (демографическим характером браков и языковой ассимиляции одного этноса другим и т. п.). Могли иметь место и проявления языкового (как и этнического) антагонизма, по-видимому связанные не только с социально-историческими обстоятельствами, но и со степенью структурного несходства языков. К сожалению, для языков, структурно и генетически близких (как польский и северолехитский, кашубский и словицкий), чисто исторические документы, в основном свидетельствующие только об одной из взаимодействовавших групп, позволяют делать лишь весьма косвенные наблюдения относительно подобных процессов. Их можно реконструировать только на основании более поздних данных. Поэтому часть этих явлений, происходивших и в рассматриваемый период, остается вне поля зрения авторов данной монографии, в каком-то смысле и здесь ограничивающихся более крупными (и более общими) языковыми явлениями, на сегодняшний день более доступными для наблюдения.

Одним из способов вскрытия подобных этнолингвистических отношений может быть анализ этнических и языковых (в том числе и эмоционально окрашенных — например, пейоративных) обозначений, которые давали друг другу различные народности из числа рассматриваемых. Исследование этнонимов дает один из наиболее объективных путей к пониманию тех членений (иногда многоступенчатых), которые характерны в определенной степени для коллективного этнического сознания. Различие этнонимов может свидетельствовать в пользу существования этнических границ, даже если они и проходили внутри одного языка (в качестве примера — с известными оговорками — можно указать на боснийцев).

В отдельных случаях особое значение в деле изучения проблемы развития этнического самосознания приобретало рассмотрение народных движений, поскольку классовое деление общества почти совпадало с этническим и в этих условиях антифеодалные восстания приобретали отчетливо выраженный народно-освободительный характер.

С упрочением собственных этнокультурных традиций каждой славянской народности, с расширением прослойки образованных людей и с распространением грамотности происходили, безусловно, значительные перемены и в самосознании славянских народов. Помимо общего для всего славянского мира процесса укрепления самосознания отдельных народностей, одновременно совершался также процесс постепенно усиливавшегося — в результате разрыва христианских церквей в середине XI в. — разобщения славян на две культурно-исторические зоны: восточнохристианскую (православную) и западноримскую (католическую).

Граница между этими зонами пролегла, таким образом, именно по славянскому миру. В основном она совпадала и с политическими границами. Лишь в ряде случаев она была теснее связана с культурно-историческими традициями, а не с реальным административно-политическим делением: имелся ряд промежуточных областей в Сербии, Боснии, Хорватии. Однако история именно этих областей подтверждает реальность деления, при котором конфессиональные различия накладывались на этнические (между сербами и хорватами), языковые и письменно-литературные, сказавшиеся в пользовании двумя разными системами письма (кириллицей и глаголицей) для двух конфессионально различавшихся вариантов одного языка. Одной из важнейших особенностей восточнохристианской (православной) зоны было отстаивание роли древнеславянского, а затем церковнославянского языка (в частности, в его среднеболгарском изводе, или редакции) в качестве «достойного» (в смысле имевшего *dignitas*, «достоинство», в соответствии со средневековыми теориями языка) средства церковной службы. В Византийской империи и близ ее границ эта защита велась прежде против греческого языка как основного (или «лучшего») средства. Поэтому проблема защиты церковнославянского языка в его среднеболгарской редакции (в Болгарии в X в. Черноризцем Храбром, а в XIV в. — патриархом Евфимием и др.)

оказывалась частью общей проблемы осознания языковой и этнической самостоятельности в отношении Византийской империи.

Средневековое этническое (как и культурное и языковое) сознание было иерархически сложно — об этом подробно речь шла еще в первом труде. Один и тот же человек или вся славянская этническая общность, к которой он принадлежал, могли на одном уровне осознавать себя членами и очень большого коллектива (всех православных христиан, пользовавшихся церковнославянским языком при богослужении), на другом — значительно меньшего этнического единства. В аспекте языка эти разные уровни были связаны с тем явлением, которое в современной лингвистике получило название диглоссии, т. е. параллельного использования двух языков в различных функционально сферах: один язык — латинский — в западнохристианской (католической) зоне, а древнеславянский и позднее разные изводы (редакции) церковнославянского — в восточнохристианской (православной) зоне — использовался только в литургической и книжно-церковной сфере, тогда как другой (основной язык данной народности) — только в сфере разговорной (и в тех литературно-письменных жанрах, которые допускают или требуют использования народного разговорного языка).

Типологическое сопоставление с диглоссией в современном мире позволяет делать умозаключения и об ее отражении в индивидуальном языковом сознании отдельного человека (в плане психолингвистики и нейролингвистики). При увлекательности открывающихся здесь возможностей исследования нельзя не отметить, что применительно к языковой ситуации европейского средневековья данная проблема ставится впервые, и поэтому и здесь (как и в ряде других вопросов) авторы, по существу, могли только наметить вероятные пути решения. Особенно интересно то, что языковая ситуация в известной мере оказывается параллельна общекультурной. Современная советская медиевистика разработала понятийный аппарат описания по крайней мере двух культур в пределах каждой данной этнической традиции. В условиях европейского средневековья речь идет о взаимодействии «официальной» культуры, связанной с верхушечными социальными слоями и церковью, и культуры народной («неофициальной», или — по терминологии М. М. Бахтина — «карнавальной»).

Степень распространения церковных идей, символов и языка в их противопоставлении древней языческой символике, сохранявшейся в широких кругах народа, была различной в разных областях славянского мира (ср., например, длительное сохранение языческой мифологии и культов у полабских славян), сильно варьируя также и в пределах разных слоев городского и сельского населения. Влияние этого обстоятельства на разные уровни этнического самосознания было весьма значительным. Достаточно напомнить, что предания об этнических предках (таких, как Лех и Чех в западнославянских традициях) принадлежали к дохристианскому мифологическому циклу, который сохранился, преобра-

зуюсь, в условиях взаимодействия с католическими представлениями. «Неофициальная» («карнавальная») культура далеко не всегда противопоставлялась официальной церковной, она по-прежнему использовала возможности массовых празднеств и других «предельных» («лиминальных» в этнологическом смысле) ситуаций (ср. в этом отношении показательные тексты древнечешских мистерий XIV—XV вв.). Это позволяет предполагать, что в иерархическом средневековом этническом сознании некоторые реликты общеславянского мифологического фонда и языческих символов и их более поздних локальных вариантов (касающихся и преданий этнического характера) могли сосуществовать с христианскими церковными представлениями. Конкретно-исторически эта проблематика изучена совершенно недостаточно. При обилии собранных в настоящее время этнографами, фольклористами, музыковедами материалов, касающихся пережитков общеславянских и позднейших локальных мифологических и вообще языческих традиций вплоть до современности, исследование той же проблемы по отношению к тем векам, когда почти все письменные памятники так или иначе связаны с церковью, представляет большие методологические трудности (приходится опираться на церковные тексты, направленные против соответствующих языческих поверий и т. п.). Это ведет к тому, что степень идеологического единства восточнохристианской (православной) и западнохристианской (католической) зон, в том числе и в аспекте этнического самосознания, может представать в заключениях исследователя несколько преувеличенной. Но тем не менее для представителя каждой из этих зон (особенно в эпоху крестовых походов и натиска немцев на восток) были, по-видимому, свойственны некоторые общие элементы в иерархии этнического самосознания, которыми нельзя пренебречь.

Не могли авторы книги оставить также в стороне и изучение последствий такого крупнейшего в средние века историко-культурного явления в жизни южных и восточных (а отчасти — и западных) славян, как широкое распространение в рассматриваемую эпоху славянской кириллической (а в ряде западнобалканских районов и глаголической) письменности и становление славяноязычной литературы в Болгарии, Сербии и на Руси.

Наличие письменности, объединявшей разные этнические и языковые традиции внутри каждой из двух основных культурно-конфессиональных зон, и письменных текстов разного иерархического уровня соответственно — латинских, церковнославянских и написанных на языке данной народности — отражало сложную структуру языкового и этнического самосознания и являлось важнейшим фактором его формирования. Несомненно, что в письменных памятниках (в частности, в этнонимах и обозначениях языков, в них упоминаемых) могли отражаться и такие этнические представления, которые присущи только авторам самих текстов, а не всему коллективу. В письменной традиции (церковной прежде

всего) идея единства славян продолжается значительно дольше, чем в соответствующих народных, локальных.

Как и в предшествующем исследовании, одной из важнейших целей авторов оставалось установление и теоретическое осмысление закономерностей развития этнического самосознания славянских народов в изучаемое время, т. е. в эпоху развитого феодализма, как и более конкретное по возможности определение причин особенностей этого развития у каждой народности в разных регионах славянского мира. Коллектив авторов выражает при этом надежду, что сделанные им наблюдения и выводы могут послужить материалом для дальнейшей разработки (или, во всяком случае, для уточнения) этнологического понятийного аппарата, который в настоящее время представляется применительно к средневековью крайне ограниченным и, по нашему мнению, не отвечающим всему многообразию совершающихся в ту эпоху этносоциальных процессов и складывавшихся этнокультурных общностей. В частности, до сих пор отсутствует научно выверенное разграничение между раннефеодальной и феодальной народностями: в существующей этнологической литературе используется лишь одно обобщенное определение — «феодальная народность», прилагаемое к соответствующим этническим общностям для всех периодов существования общественно-экономической феодальной формации, охватывавшей для европейских стран время от 8 до 11 столетий.

Сравнительно с периодом раннего феодализма источниковедческая база изучения эволюции этнического самосознания зарубежных славянских народов в XII—XIV вв. неизмеримо более богата. Принципиально важно, что начиная с X—XI вв. у всех славянских народов (исключая только полабских славян, словенцев и словаков, развитие собственной культуры которых протекало в особо трудных условиях) появилась своя оригинальная литература. Это дало возможность судить о духовном мире славянской народности, основываясь на свидетельствах самих ее представителей: от изучаемого времени сохранились славяноязычные деловые документы, агиографические произведения, дидактические труды, памятники с элементами исторических описаний, принадлежавшие перу славянских книжников. Конечно, материал источников для рассмотрения поставленной в данном труде проблемы остается весьма ограниченным и для XII—XIV вв., не говоря уже о более раннем времени. Разумеется, далеко не все стороны сложных путей развития этнического самосознания славян в центральный период средневековья могут быть раскрыты с равной мерой убедительности. Авторы стремились тем не менее со всей возможной тщательностью и полнотой использовать весь наличный материал источников, включая свидетельства современников из соседних со славянскими государствами.

Следует, однако, особо отметить, что по сравнению с предшествующим исследованием для написания данного труда археологические данные имели существенно меньшее значение. Естествен-

но, что авторы отдавали предпочтение умножившимся письменным памятникам; к тому же с утверждением христианства у славян и общим процессом нивелировки особенностей материальной культуры и обряда захоронения вещественные памятники в их среде стали утрачивать те специфические черты, которые для более ранней эпохи могли использоваться исследователями в целях уяснения этнических процессов.

Разумеется, некоторые проявления этнической специфики сохраняются в материальной культуре отдельных народов и значительно позднее рассматриваемого периода (в частности, в национальной одежде, утвари, кухне и других символических формах быта). Они в этом плане начинают исследоваться новой научной дисциплиной — этносемиотикой. Но здесь, как и по отношению к национальным мифологическим, фольклорным, музыкальным традициям, кроме необходимости привлечения к работе специалистов во всех этих областях знания при историческом исследовании возникает сложнейшая методологическая задача: мы можем по более поздним (в частности, по современным или близким к современности) данным реконструировать более древнее состояние традиции, но чрезвычайно трудно (при скудости письменного и иконографического материала, связанного главным образом с «официальной» церковной культурой) приурочить эти более древние восстанавливаемые явления к тому или иному веку, к конкретной исторической эпохе.

Отдавая полный отчет в трудностях исследования поставленной проблемы, сознавая ее неразработанность в литературе (и в медиевистике в целом), признавая недостаточными данные источников, авторы коллективной монографии считают необходимым специально подчеркнуть, как они делали это и в предшествующей работе, что рассматривают многие свои положения и выводы лишь в качестве научных гипотез.

Коллектив авторов выражает благодарность всем коллегам, которые принимали участие в обсуждении отдельных глав и всего труда в целом, а также всем, кто помог подготовить книгу к печати.

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В XII—XIV вв.

(его функции и специфика)

Н. И. Толстой

Надэтнический, или межэтнический, древнеславянский литературный язык к началу XII в. уже прошел более чем двухвековой путь развития. За это время он не только расширил в славянском мире географическую сферу функционирования, но и утратил почти полностью свои позиции в среде западных славян и в северо-западной части территории, заселенной южными славянами, где стал господствовать латинский надэтнический язык. Моравский центр, самый первый центр славянской письменности, литературного языка и древнеславянской литературы, к XII в. сошел на нет, передав свои традиции и фонд славянских сакральных и культурных текстов южнославянским и отчасти восточнославянским скрипториям и книжным центрам. Исчезло славянское богослужение в Польше, никогда, видимо, не имевшее большого размаха. Это же можно сказать и о предполагаемом довольно раннем бытовании кирилло-мефодиевской традиции в словенских землях, отчасти в землях севернохорватских, а также о Паннонии, в которой славянский этнос был почти вытеснен мадьярским. Зато с конца X в. к славянскому «свету разумения книжного» приобщился почти весь массив восточного славянства, приобщилась древняя Русь, начавшая в скором времени играть значительную роль в развитии древнеславянской книжности и древнеславянского литературного языка. Весь X и XI века славянское книжное слово, преимущественно сакральное слово, бурно развивалось на славянском юге, куда учениками Кирилла и Мефодия и их последователями была перенесена кирилло-мефодиевская традиция и где значительный расцвет пережили две школы — охридская и преславская.

К началу XII в. четко выявились разные локальные типы, различные редакции древнеславянского литературного языка: древнерусская редакция, для которой характерно спорадическое написание *су(у)* и *ю* вместо *ж* и *ж* (юса большого и юса большого йотированного), *ж* вместо *жд* (из *dj) *зр* вместо *рз* и др.*, старо-

* По свидетельству Н. Н. Дурново, «церковнославянский язык русской

болгарская редакция с типичной для нее несистематичной меной юсов (т. е. с написанием в определенных позициях юса малого а вместо юса большого ж и наоборот), древнесербская редакция с встречающейся в ней заменой ж на оу(у), а на е, с употреблением только одного полугласного (обычно а вместо ь и ъ), со смешением ы и и и др., древнехорватская глаголическая, отражавшая почти те же, что и в сербской редакции, языковые черты, но имевшая в качестве отличительной особенности своего времени специфическую глаголическую графику. Следует отметить, что в границах упомянутых редакций или наряду с ними существовали еще и другие редакции, такие, как древнегалицко-русская или древнегалицко-волынская (с отличительной особенностью написания жч вместо жд из *zdj, *zgj), древнесевернорусская (с отражением цоканья), македонская (с рефlekсами ь и ъ в виде о и е, как в русской редакции, и другими чертами), позже, судя по памятникам XIV в., старобоснийская, очень близкая к сербской и хорватской (без юсов, со смешением ь и и, с отсутствием та и др.) и славяно-влахо-молдавская, вероятно, начиная с XIII—XIV вв.* При желании число отдельных локальных групп памятников можно было бы умножить, идя по пути выделения книжно-языковых диалектов, опираясь на памятники не только традиционно сакрального содержания и формы. Так, например, обращение к берестяным грамотам позволяет выделить новгородский (цоканье и чоканье, жг вместо жд, и вместо ь и др.) и псковский (черты, близкие к новгородским, а также смешение з—ж и с—ш) диалекты достаточно четко.

Нельзя упускать из виду, что многие из указанных языковых черт, отличающих разные изводы (а также «книжные диалекты») проявлялись спорадически в одних списках в большей, в других — в меньшей мере, и лишь со временем отдельные локальные отклонения от старославянского орфографического (фонетического), морфологического и лексического канонов стали выступать последовательно, превращаясь постепенно в норму. Кроме того, древнеславянские (церковнославянские) изводы не были отграничены друг от друга; нередко происходило взаимодействие изводов, которое получило отражение во многих памятниках, демон-

письменности развился из так называемого старославянского. Когда русские впервые с ним познакомились, т. е. в конце X в., он не был вполне единым всюду, где им пользовались: в старославянском языке этого времени можно различать по крайней мере два литературных диалекта, именно: а) македонский, сохранивший до известной степени первоначальный кирилло-мефодиевский облик и б) восточноболгарский, представлявший известные изменения первоначального состояния, восходящие ко времени царя Симеона болгарского (1, с. 33).

* Перечень памятников, составляющих основной корпус текстов той или иной редакции, см. (2; 3; 4), а также общие недифференцированные описания, где тексты, относящиеся к разным древнеславянским изводам не выделены особо (5; 6; 7, с. 233—235; 8; 9). См. также исследования (10, с. 12—23; 11, с. 43—67; 12, с. 99—105; 13, с. 183—199; 14, с. 265—269; 15, с. 109—161).

стрирующих смешанный тип * или относящихся к той или иной смешанной редакции, что отмечалось еще А. И. Соболевским и его предшественниками. Наконец, некоторые изводы по своим языковым показателям (в том числе и отличающим их от старославянского канона) были настолько близки друг к другу, что отдельные памятники могут быть в принципе причислены сразу к двум изводам. Такое положение типично для южнославянской и восточнославянской книжно-языковой ситуации не только в рассматриваемый период, но и в период последующий и отчасти предшествующий (17). Важно напомнить, что понятие извода (редакции) возникло при изучении определенного корпуса текстов, которые были сакральными и функционировали в качестве таковых у славян во всем обширном ареале, где было принято богослужение на славянском языке **.

В рассматриваемый период старейший тип древнеславянского литературного языка — моравский, довольно четко отраженный в самом раннем памятнике старославянского языка — Киевских листках (X в.), в чешских, моравских и соседних землях уже не функционировал, так как ученики Кирилла и Мефодия были изгнаны из Моравии. Год 1097-й, год изгнания монахов, придерживающихся славянского богослужения, из Сазавского монастыря можно считать завершающим первый «моравский» период в западнославянских землях. Эпизод с приглашением хорватов-глаголитов Карлом IV в Эммаусский монастырь в 1347 г. для возобновления славянского богослужения свидетельствует о том, что в какой-то мере были живы старые традиции и память о них в XIII—XIV вв., однако он не привел в XIV в. к возрождению кирилло-мефодиевской ситуации и тем более к вытеснению латинского языка из церкви. Тем не менее нельзя забывать, что моравский культурный и филологический фон, моравские черты в старославянских и древнеславянских текстах различных изводов были значительны, о чем свидетельствуют не только моравизмы в старославянских текстах не чисто моравского происхождения (Клоцев сборник, Саввина книга и др.), но и старославянские моравизмы в кальках с греческого, и старославянские латинизмы***, и другие показатели. Многочисленные моравизмы сохранились в древнеславянском языке XII—XIV вв. в разных изводах, а памятники моравского периода и чешской редакции древнеславян-

* К примеру, в Реймском евангелии (XI в.) в кириллической части рукописи обнаруживается помимо русского пласта еще и сербский пласт, хотя в целом всю кириллическую часть можно и следует признать древнеславянским языковым памятником (16).

** К этому корпусу прежде всего относятся тексты евангелия, псалтыри, апостола, триоди, служебника и требника, минеи, часослова, октоиха, пармейника.

*** Например, Н. Молнар в своей недавно выпущенной монографии указывает на двадцать грецизмов паннонско-моравского происхождения в таких списках, как Маринское, Зографское, Ассеманиево, Остромирово евангелия и Саввина книга (18).

ского языка бытовали в южнославянской, особенно хорватской, и не в меньшей мере в древнерусской среде. Достаточно указать на хорватские списки (конца XIV—XV вв.) и русский список (XVI в.) оригинальной славянской (чешской) легенды о св. Вацлаве, на такой переводной памятник, как «Беседы на евангелие папы Григория Великого (Двоеслова)» (русские списки XV—XVI вв.), или на древнейший славянский юридический текст «Законъ судный людемъ». Поздние списки упомянутых и других памятников того же порядка не свидетельствуют о их позднем происхождении, все они восходят к древней традиции (19; 20, с. 48—91; 21; 22; 23, с. 316—338; 24; 25).

Единство древнеславянского литературного языка поддерживалось единством древнеславянской литературы, которая в интересующий нас период функционировала в культурном ареале *Slavia Orthodoxa*, т. е. в среде православных южных и восточных славян, а в ареале *Slavia Latina*, т. е. славянской католической среде, только у хорватов-глаголитов. Эта надэтническая общеславянская литература была по преимуществу сакральной, обслуживающей конфессиональную, церковную сферу, что было характерно для других надэтнических литератур (и языков) того времени. В Западной и Центральной Европе в той же функции выступала латынь, сфера функционирования которой была шире, чем у древнеславянского (церковнославянского) языка. Древняя общеславянская сакральная литература, так же как и добрая часть светской литературы, была в основном переводной с греческого. Поэтому греческий язык служил для древнеславянского идеальной моделью, по которой формировалась стилистика, поэтика, частично фразеология, лексика и семантика старославянского языка. Под значительным греческим влиянием была и грамматика старославянского (древнеславянского) языка, прежде всего ее синтаксическая часть. В ареале *Slavia Orthodoxa* авторитет греческого языка был очень высок и в некоторых книжных и духовных славянских центрах, и в особенности на Афоне и в Константинополе, где славянские писцы и переводчики жили в условиях греческо-славянского литературно-книжного и разговорного двуязычия. Такое двуязычие нередко осуществлялось и в богослужении. Фонд произведений общей древнеславянской литературы как духовного, так и светского характера пополнялся главным образом за счет новых переводов с греческого. По греческим текстам сверялись и исправлялись и старые переводы. Такое положение было типичным и для периода XII—XIV вв., хотя временное византийское владычество на юге и татаро-монгольское на востоке славянства осложняли в этот период межславянские (а на Руси и греко-славянские) контакты и приостанавливали или сдерживали развитие книжности в славянской среде. Именно к концу этой эпохи помимо расширения корпуса переводных конфессиональных текстов (службы, проложные жития, творения святых отцов и др.) увеличилось и число переводных текстов не чисто конфессионального (кормчии, номоканоны, апокрифы) и

неконфессионального (хроники, повести, поучения, природоведческие сочинения) характера (26; 27).

Единая древнеславянская литература обладала и рядом своих оригинальных (непереводных) текстов, к которым относятся Жития Кирилла и Мефодия (часть из них, видимо, была написана еще в чешско-моравских землях), «Слова» Иоанна Экзарха, Учительное евангелие Константина Болгарского, Житие св. Вацлава Чешского, Житие св. Феодосия Печерского и др. Эти произведения, как и многие другие, нами не упомянутые, следует считать уже не только и не столько общеславянскими, сколько принадлежащими отдельным славянским литературам — древнеболгарской, древнечешской, древнерусской. Между отдельными славянскими литературами и единой славянской литературой в древности не существовало резкой границы. Размытости или отсутствию границы способствовало единство языка, единство стилистических (поэтических) приемов и близость, а подчас и полная идентичность тематики. Только тексты с достаточно яркой этнической окраской или с территориально ограниченным, локальным распространением, а также с ярко выраженными локальными языковыми особенностями, часто близкими к разговорной или диалектной речи, оказывались, безусловно, вне единой общеславянской литературы*.

Единую древнеславянскую литературу Д. С. Лихачев назвал «литературой-посредницей», указывая на ее «удивительную цельность и, в известной мере, полноту», на ее «близость к византийской культуре, несмотря на отклонения в отборе и наличие отчетливо выраженного местного слоя»**. Такое определение и название справедливо, но эту же литературу можно, несомненно, назвать также «литературой-основой» и «литературой-источником» для древних литератур культурного ареала *Slavia Orthodoxa*, так как многие литературы этого ареала брали от нее начало, отпочковывались от нее, а затем развивались параллельно с литературой-основой. Во всяком случае, для периода XII—XIV вв. эта ситуация была реальной. Развитию этнически обособленных национальных («национальных» во французском значении этого слова, т. е. еще до эпохи наций) литератур способствовало разви-

* Приведем ценные наблюдения Д. С. Лихачева, касающиеся объема и роли единой древнеславянской литературы в духовной и культурной жизни славян: «В целом литература-посредница, состоявшая из сочинений переводных, компилятивных и оригинальных, отличалась удивительной цельностью и, в известной мере, полнотой»; «Насколько велик был общий слой памятников в литературах южных и восточных славян, показывает сравнительный анализ состава письменных памятников двух длительно и традиционно слагавшихся библиотек: Рильского монастыря — для южных славян и Соловецкого монастыря — для восточных. В библиотеке Рильского монастыря в рукописях древнее XVII в. до 90 % памятников общи всем славянским литературам. В библиотеке Соловецкого монастыря тот же слой памятников в тех же хронологических пределах занимает в книжных собраниях несколько меньшее место — до 75 % (28, с. 18).

** О единой древнеславянской литературе см. (29; 30).

тие отдельных славянских государств и развитие этнического самосознания, хотя, с другой стороны, как известно, развитие «своей» литературы и «своего» языка способствовало развитию «своего», отдельного самосознания. Впрочем, это «свое» самосознание было ступенчатым, как и в предшествующий период X—XI вв., но об этом будет речь несколько ниже. Сейчас существенно отметить то, что единая древнеславянская литература обладала как бы неполной структурой жанров, а обслуживающий ее древнеславянский литературный язык — неполной функциональной нагрузкой. В каждой конкретной славянской этнической среде, в отдельном славянском государстве или в отдельном крупном географическом исторически сложившемся регионе (Русь, Сербия, Болгария) мира Slavica Orthodoxa общая структура литературы, литературных жанров определялась сочетанием текстов и жанров общей древнеславянской литературы — «литературы-основы», надэтнической славянской литературы, и собственной, этнически достаточно ярко окрашенной литературы. Эти две тесно связанные друг с другом литературы составляли, по сути дела, в каждом конкретном случае почти неразрывный литературный симбиоз, образовывали собой одну систему жанров, одну лестницу или пирамиду, в которой от верху до низу шли ступени или ярусы по принципу от более абстрактного содержания к конкретному, от отвлеченного, духовного к осязаемому и земному, от конфессионального к светскому. Если представить себе эту «лестницу жанров» несколько условно и упрощенно, таким образом, что на отдельных ступенях (ярусах) будет объединено, по сути дела, несколько жанров, то она будет выглядеть следующим образом (при этом вертикальную последовательность переносим в горизонтальную): 1. Конфессионально-литургическая литература; 2. Конфессионально-гимнографическая литература; 3. Агиографическая литература; 4. Конфессионально-учительная литература и патристика; 5. Панегирическая литература; 6. Конфессионально-юридическая литература; 7. Апокрифическая литература; 8. Историческая литература; 9. Повествовательная литература; 10. Паломническая литература; 11. Природоведческая и философско-филологическая литература; 12. Светско-юридическая литература; 13. Деловая письменность; 14. Бытовая письменность (31).

Нетрудно заметить, что первые семь ступеней (ярусов) будут относиться преимущественно к надэтнической древнеславянской литературе, последующие пять к литературе отдельного этноса, отдельных славянских народов. Все же надо отметить, что рубрики вторая и третья, отведенные для гимнографических и агиографических текстов, включают в себя и тексты этнически довольно ярко окрашенные и распространенные не всегда повсеместно, т. е. не во всем ареале. Здесь имеются в виду службы отдельным славянским святым и их жития. Примером может служить сербская традиция, сербская агиографическая и гимнографическая школы, сыгравшие очень большую роль в развитии древ-

несербской литературы, создавшие значительное число оригинальных текстов, из коих в литературный и богослужебный обиход других славянских зон (этносов) вошли далеко не все тексты. Рубрика седьмая, отведенная для апокрифической литературы, с одной стороны, тяготеет к предшествующим рубрикам (ветхозаветные и новозаветные апокрифы), но, с другой стороны, и к последующим рубрикам, особенно к рубрике девятой, включающей в себя повествовательную литературу; к тому же к апокрифам обычно относят и гадательные книги (лунники, трепетники и т. п.), которые близки к бытовой письменности, охватывающей заговоры, лечебники, травники и т. п. Таким образом, в культурном мире *Slavia Orthodoxa* в древности общеславянская литература была тесно связана, переплетена с отдельными славянскими литературами, и в каждом крупном регионе обе литературы — общая и конкретная — находились как бы в дополнительном распределении в пределах цельной, совокупной системы жанров. В общем, разграничение литератур в какой-то мере условно, и оно может быть проведено по жанрам, а иногда и внутри жанра (в гимнографии, агиографии). Это разграничение чаще всего опирается на показатели языка и элементы содержания, имеющие достаточно четкую локально-этническую окраску.

В таких же соотношениях находились и древнеславянский язык и конкретные литературные языки — древнерусский, древнесербский, древнеболгарский и др. Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв. обслуживал те жанры, которые относились к единой древнеславянской литературе; конкретный славянский язык, как правило, остальные жанры. Возникла ситуация своеобразного двуязычия или диглоссии, однако диглоссии и двуязычия неярко выраженного, так как языки эти были родственны, близкородственны, очень близки друг к другу и обращены навстречу друг другу. Поэтому возникали различные виды смешения этих языков, переходные формы этих литературных языков, возникала не только контаминация редакций (изводов) отдельных языков, о которой говорилось выше, но и контаминация внутри одной редакции. Последнее осуществлялось по-разному, в зависимости от большей или меньшей приближенности языка текста к народно-разговорной речи, к языку с яркой этнической окраской. Специфическая языковая норма вырабатывалась в юридических текстах и документах, что побуждало многих лингвистов рассматривать соотношение языка этих текстов с литературным языком (или литературными языками) особо (32, с. 272—275; 33, р. 312—318).

Всю эту литературно-языковую ситуацию можно назвать гетерогенным двуязычием или гетерогенной диглоссией, хотя, если делать различие между двуязычием и диглоссией, которое принято в наше время рядом авторитетных славистов, надо будет признать, что в разное время на разных территориях в XII—XIV вв. ситуация склонялась то ближе к двуязычию, то ближе к диглоссии, но, по сути дела, ни того ни другого в чистом виде

в ареале *Slavia Orthodoxa* не было (34, с. 230—274). Иное положение наблюдалось в тех славянских зонах, где надэтническим языком была латынь.

В ареале *Slavia Latina* господствовало гетерогенное двуязычие, которое не допускало средних, переходных и даже макаронических форм языка, так как латинский и славянские языки — неблизкородственные (в данном случае общность индоевропейского происхождения едва ли может приниматься во внимание). Кроме того, латинский язык занимал все сферы, все «языковое пространство» в пределах жанровой лестницы, начиная с языка богослужения и кончая языком юридическим и хозяйственно-бытовым (в медицине, цеховых документах, в педагогической практике, в инвентаризации имущества и исчислении доходов и расходов). Славянские литературные языки мира *Slavia Latina*, порвавшие с кирилло-мефодиевской традицией или почти не воспринявшие ее, языки древнечешский, древнепольский, лужицкие начали свое развитие позднее литературных языков мира *Slavia Orthodoxa*, вероятно потому, что не имели опоры в едином общеславянском языке. Они искали опоры друг в друге, как это происходило в XIV—XVI вв. и особенно позднее в XVIII—XIX вв. Известно, что интенсивное развитие польского литературного языка сопровождалось в XV—XVI вв. опорой на чешский литературный язык, широким проникновением богемизмов в польскую книжную речь. Европейская латынь позднего средневековья объединяла в Европе почти все романские (кроме восточных романцев) и почти все германские земли, а также мадьяр, западных славян и часть славян южных, а именно словенцев и хорватов, включенных также в пределы латинского культурного ареала. Часть хорватов, преимущественно далматинских, не всегда носивших самоназвание «хорват», представляла собой уникальный феномен одновременного вхождения и в ареал *Slavia Latina* и в ареал *Slavia Orthodoxa*, притом в последнем ареале они были достаточно автономны и значительно обособлены, не только из-за своей почти старообрядческой приверженности к глаголице, которая у них все же эволюционировала, но из-за своей отдаленности и некоторой изолированности от основных славянских культурных (книжных) центров и от центров византийской образованности (Афон, Константинополь). Причастность к двум культурным ареалам, сохранение древнеславянского языка в качестве языка литературного и даже богослужебного при полном или достаточном знании латинской культуры и текстов всех видов значительно обогащала хорватскую глаголическую среду и создавала отчасти те необходимые предпосылки, которые потом, два века спустя, привели к расцвету славянского ренессанса на Адриатике.

Византийская образованность была известна и доступна славянским книжникам, принадлежащим к греко-славянскому культурному миру. Они воспринимали ее и нередко, по меткому определению Д. С. Лихачева, производили трансплантацию ее элементов (текстов, поэтических приемов, идейных основ) на славян-

скую почву. Все это создавало условия для возникновения «славянской рецензии (редакции) византийской культуры» (28, с. 18).

Славянская книжная культура, берущая свое начало от кирилло-мефодиевской миссии, от деятельности Кирилла и Мефодия и его учеников в Моравии, распространилась постепенно на славянский Юг, а затем и на славянский Восток. Из моравского центра, отсветы которого окончательно угасли в Чехии в конце XI в., славянская письменность мигрировала еще при жизни солунских братьев в Паннонию к Блатному озеру (Балатон), откуда она перешла в приморские хорватские земли, а после смерти Мефодия из Моравии проникла и в восточную часть Балканского полуострова, где в X в. возвысились два крупных книжных центра — в Охриде и в Преславе. Несколько позже на южнославянской территории появились сербские локальные книжные центры в Зете, в Рашке, в Боснии. Славянская письменность на Руси в конце X в. была воспринята, судя по ряду источников, древнейших русских памятников и памятников русского извода древнеславянского литературного языка, по всей вероятности, не только из преславского и охридского центров, но также из Моравии или из скрипториев, продолжавших моравскую традицию. Впоследствии Русь поддерживала контакты почти со всеми активными центрами славянской письменности, и уже в XII—XIII вв. обнаруживаются русские языковые черты в целом ряде южнославянских книжных текстов традиционного содержания (35, с. 193—223; 36, с. 7—54; 37, с. 37—65; 38, с. 28—106; 39, с. 147—152; 40, с. 25—28; 41, с. 7—15).

Во второй половине XIV в. в Болгарии в книжной среде, связанной с деятельностью тырновского патриарха Евфимия, производилась книжная реформа, архаизировавшая древнеславянский литературный язык. Тырновская школа повлияла почти на всю древнеславянскую письменность того времени и была связана с так называемым «вторым южнославянским влиянием» на Русь, в котором значительную роль играли и сербские книжники. Однако этот процесс не ограничивался только внешней стороной — передачей и восприятием на Руси определенного фонда рукописных книг и текстов. Гораздо существеннее внутренняя сторона этого процесса: сознательно и планомерно осуществленный подъем письменности и книжной культуры на Руси, когда на основе ранее установившихся архаических моделей воссоздавался или преобразовывался значительный, в том числе и дополнительный, корпус памятников и разрабатывался новый кодекс книжной стилистики и книжных поэтических средств (42). Следует отметить, что и до этой эпохи, т. е. до конца XIV в., обмен текстами, труд над новыми переводами с греческого и следование старым образцам и моделям, несмотря на неблагоприятные внешнеполитические условия (византийские завоевания на Балканах, татаро-монгольское нашествие на Руси), в течение почти трехвекового периода (XII—XIV вв.) продолжали практиковаться и существовать, что и поддерживало единство древнеславянского языка в ареале Sla-

via Orthodoxa и в хорватско-глаголическом анклавe, а также единство древнеславянской литературы, которую этот язык обслуживал.

Своего рода «ярусная система» литературно-языковых и чисто языковых отношений, построенная по принципу «надэтнический общеславянский литературный язык — литературный язык славянской народности — диалектная (племенная) устная речь», в значительной степени зоморфна «ярусной системе» этнического самосознания в рассматриваемый период, которая также, на наш взгляд, состояла из нескольких компонентов, из коих общим, объединяющим в широкий ареал были, во-первых, осознание причастности к конфессиональному (православному) макроареалу, во-вторых, к славянской языковоплеменной общности, затем принадлежность к конкретной славянской народности (русские, сербы, болгары и т. д.), наконец, узколокальная соотнесенность и характеристика (новгородцы, захумляне, браничевцы и т. д.). Для рассматриваемого периода характерно развитие и укрепление второго, народностного звена и постепенное ослабление третьего звена — локально-племенного, что во многом определялось уже развитой государственностью в отдельных славянских макрoзонах или борьбой за эту государственность в условиях чужеземного ига. Несколько иные соотношения были в тех зонах, где в качестве международного «наднационального» языка употреблялась латынь, т. е. неславянский литературный язык.

1. Дурново Н. И. Введение в историю русского языка. М., 1963.
2. Slovník jazyka staroslověnského. Pr., 1959. Seš. 2.
3. Словарь старославянского языка восточнославянской редакции XI—XIII вв.: Проспект. Киев, 1986.
4. Речник на македонските црковнословенски текстови: Пробна свеска. Скопје, 1978.
5. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. М., 1984.
6. Богдановић Д. Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI—XVII века). Београд, 1982.
7. Цонев Б. История на българский език. С., 1919. Кн. 1.
8. Stejanić V. Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Zagreb, 1969—1970.
9. Nazor A. Zagreb riznica glagoljice. Katalog izložbe. Zagreb, 1978.
10. Мареш В. Ф. Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве // Вопр. языкознания. 1961. № 2.
11. Натт Ј. Hrvatski tip crkvenoslovenskog jezika // Slovo. 1963. 13.
12. Назор А. О словаре хорватско-глаголической редакции общеславянского литературного (церковнославянского) языка // Вопр. языкознания. 1966. № 5.
13. Кина Н. Redakcije staroslovenskog kao literarni jezik Srba i Hrvata // Slovo. (Zagreb), 1965. 15/16.
14. Стипчевић В. Македонска рецензија // Македонски јазик. 1972. XXIII.
15. Джамо Л., Стойкович О., Ожман М., Линца М., Миту М. Характерни черти на книжнославянский език румънска редакция (XIV—XVI вв.) // Romanoslavica. Buc., 1963. Т. 9.
16. Рот-Жеброский Г. Кирилловская часть Реймского евангелия: Лингв. исслед. Люблин, 1985.
17. Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. СПб., 1906. С. 80.

18. *Molnár N.* The calques of Greek origin in the most ancient Old Slavic gospel texts. Budapest, 1985.
19. *Соболевский А. И.* Церковнославянские тексты моравского происхождения. Варшава, 1900.
20. *Соболевский А. И.* Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. III. Словарный материал для двух древних памятников чешского происхождения // Сб. ОРЯС. 1910. Т. XXXVIII. № 3.
21. *Никольский Н. К.* К вопросу о следах мораво-чешского влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи // Вестн. АН СССР. 1933. № 8/9.
22. *Никольский Н. К.* Следы мораво-чешского влияния на памятниках домонгольской культуры: Рукопись в Архиве АН СССР (Ленинград). Ф. 247. Оп. 1. № 80.
23. *Львов А. С.* Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменности // Слав. языкознание. М., 1968.
24. *Weingart M.* Československý typ církevní slovančiny. Br., 1949.
25. *Staroslověnské legendy českého původu.* Pr., 1976.
26. *Соболевский А. И.* Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV—XV веках. СПб., 1894.
27. *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков // Сб. ОРЯС. 1903 г. Т. LXXIV. № 1.
28. *Лихачев Д. С.* Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы: VI Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1968.
29. *Picchio R.* Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom // American Contributions to the VII Intern. Congress of Slavists. The Hague; Paris, 1973. V. II: Literature and Folklore.
30. *Picchio R.* Slave ecclesiastique, slavons et redactions // To Honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. V. II.
31. *Толстой Н.* Одно старог српског књишког језика према старом словенском језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1979. 8.
32. *Виноградов В. В.* Избр. труды: История русского литературного языка. М., 1978.
33. *Unbegaun V. O.* Язык русского права // Selected papers on Russian and Slavonic philology. Oxford, 1969.
34. *Толстой Н. И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII в.) // Славянское языкознание: Докл. сов. делегации к V Междунар. съезду славистов. М., 1963.
35. *Сперанский М. Н.* Деление истории русской литературы на периоды и влияние русской литературы на югославянскую // Рус. филол. вестник. Варшава, 1896. Т. XXVI.
36. *Сперанский М. Н.* Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960.
37. *Ангелов Б.* Из историята на руско книжно проникване у нас (XI—XIV в.) // Известия на Института за българска литература. С., 1955. Т. III.
38. *Мошин В.* О периодизации русско-южнославянских литературных связей X—XV вв. // Русская литература XI—XVII веков среди славянских литератур. М.; Л., 1963.
39. *Неделькович О.* Месецослов Трновског јеванђеља // Сборник Владимира Мошина. Београд, 1977.
40. *Конески Б.* Руското јазично влијание врз македонските текстови од XIII—XIV век // Реферати на македонските слависти за IX Меѓународен славистички конгрес во Киев. Скопје, 1983.
41. *Vyskočil P.* Rusismy v Apoštolári Ochridském // Slovo. 1980. 30.
42. *Worth D.* The «Second South Slavic Influence» in the History of the Russian Literary Language (Materials for a Discussion) // American Contributions to the IX Intern. Congress of Slavists. Columbus; Ohio, 1983. V. 1: Linguistics.

ЛАТЫНЬ И СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Вяч. Вс. Иванов

У проблемы соотношения латыни и славянских языков есть по меньшей мере два различных аспекта, которые следует разграничивать при исследовании: во-первых, поздние формы народной латыни на этапе превращения ее в романские диалекты и языки на востоке романского языкового мира и на его границах с (юго-)западом мира славянского взаимодействовали со славянскими диалектами в качестве живых разговорных языков одного социолингвистического статуса; во-вторых, латынь в качестве официального языка церкви и всей культуры, основанной на религии, взаимодействовала с «неофициальными» местными языками (здесь социолингвистический статус взаимодействующих языков не был одинаковым). Поскольку устное взаимодействие начинается раньше и раньше прекращается (хотя бы уже потому, что с определенного времени нет оснований говорить о латыни, даже и в ее поздних разговорных формах, а нужно говорить об отдельных восточно-романских языках и диалектах), уже по хронологическим основаниям следует начать с первого аспекта проблемы, т. е. с раннего славяно-латинского и славяно-романского контакта еще для того времени, когда речь идет о контакте населения, говорящего на праславянском языке и его диалектах, с населением, говорящим на диалектах народной латыни. Граница между общеславянским и отдельными славянскими языками проходит по времени падения редуцированных, что же касается границы между народной латынью и отдельными восточнороманскими диалектами, она может примерно соответствовать той же эпохе. Иначе говоря, можно думать о длительном взаимодействии распадающегося на диалекты праславянского (вплоть до XII в. н. э.) с восточными диалектами народной латыни, постепенно превращавшимися в восточнороманские языки. Хотя хронологически это время несколько предшествует основным процессам, описываемым в монографии, их следует хотя бы очень кратко рассмотреть для того, чтобы иметь возможность сопоставить контакты этого времени с иными славяно-латинскими контактами, осуществлявшимися и в последующий период.

Наиболее детально контакт протороманского (т. е. народной латыни на позднем этапе ее развития) с праславянским исследовал

известный современный итальянский лингвист Дж. Бонфанте, чья работа была стимулирована совместными обсуждениями с Р. О. Якобсоном (начиная с 1940 г., хотя завершено исследование Бонфанте больше четверти века спустя) (1, р. 235—258). Основной материал, на котором может строиться допущение такого контакта, относится к далеко идущему параллелизму фонологических систем. У праславянского система гласных в основном по своей структуре совпадает с протороманской, причем обнаруживается и значительное сходство в процессах монофтонгизации дифтонгов. Но из тех типологических сходств, которые были указаны Бонфанте, особый интерес представляет то, что и праславянский до падения редуцированных, и протороманский представляли собой языки с открытыми слогами. Эта особенность весьма редко встречается как на территории Европы, так и в ареале распространения всех индоевропейских языков. Поэтому предположение о случайности сходства (возможное по отношению к системам гласных с относительно небольшим числом элементов, в них входящих) в данном случае практически исключено, если принять во внимание наличие совпадений во времени и пространстве. Возникает вопрос: однозначно ли можно говорить о влиянии протороманского на праславянский (как формулирует проблему Бонфанте по отношению к раннему периоду и ряд других лингвистов по отношению к позднейшим восточнороманско-славянским взаимодействиям), или же осторожнее говорить о контакте, связанном с двуязычием? Направление ранних лексических заимствований говорит в пользу латинской (романской) речи как источника инноваций, но окончательное решение пока что еще не может быть принято, так как тенденция к увеличению открытости слогов действует в славянской языковой области медленно, на протяжении ряда столетий и поэтому одна юго-западная область влияния едва ли могла бы исчерпывающе описать все возможные факторы изменения. Более того, новейшие нейролингвистические исследования, относящиеся к другим языкам с открытыми слогами (японскому и полинезийским), типологические параллели которых со славянским давно отмечались, говорят в пользу гипотезы о возможности участия антропологических факторов языкового и этнического смешения в возникновении этого процесса. Иначе говоря, существенным может быть не столько протороманско-праславянское двуязычие, сколько наличие постоянных этнических контактов и смешения языков. Внутри этих процессов, длившихся в общей сложности более полутора тысячелетия и продолжавшихся в позднейших славяно-романских контактах, можно выделить несколько периодов. Общине на славянском и романском языках в биографии одного и того же лица, иначе говоря, документированное славяно-романское двуязычие, известно в X в. по отношению к таким историческим лицам, как император Оттон, о котором говорится, что он «*gotana slovanicaque loqui scit*» (*Wid.*, II, 36), т. е. владел и «романским» (итальянским), и разговорным славянским, а позднее изучил и латынь (на которой ему пришлось открывать синод в Риме в 963 г.). Отли-

чие устных славяно-романских контактов, продолжающихся на Балканах и много позднее — в XII—XIV вв., особенно в ареале южнославяно(сербо-)далматинских, сербо-балканороманских («влашских») и болгаро-балканороманских связей, от устного и письменного славяно-латинского двуязычия представляет существенную задачу прежде всего хронологического порядка. Наиболее ранние славяно-латинские контакты датируются серединой I тысячелетия н. э.

Относительную хронологию взаимодействия дают лексические заимствования из латыни в праславянский, из которых наиболее ранние (лат. *secūris*; слав. **sekyra*) предшествуют таким общеславянским фонетическим процессам, как делябиализация **ū*. Но именно по отношению к заимствованиям достаточно сложно разграничить результаты устных контактов и последующее воздействие церковного языка.

К числу ранних «светских» (скорее всего дохристианских) заимствований из латыни принадлежит, в частности, ст.-сл. ШТИТЬ 'щит' < лат. *scūtum*. Развитие *ū* > *ī*, очевидно, связано с делябиализацией; **ī* приводит к палатализации. Западославянская (моравская) форма ЗАШУТИ (К. л., II, 17) указывает на другой рефлекс палатализованного СК в этой основе (2, с. 78). На основании исследования топонимов (типа слав. *Mutogras* < *Montem grass* и т. п.) можно полагать, что интенсивные устные контакты между носителями славянских языков и романским населением датируются временем не позднее VI—VII вв. н. э., что вполне согласуется и с предполагаемыми переселениями славянских племен на Балканы, часть которых до того была уже в существенной степени романизована (3; 4, р. 277—298; 5; 6).

Ко времени около 750 г. можно отнести заимствование первых таких имен, как *Laurentius* > *Lavreč* (7, р. 105—127; 8, с. 168—173; 9, р. 216, 231) (засвидетельствовано в архаичном тексте Фрейзинг[ен]ских отрывков). Исключительно интересную группу ранних славянских заимствований из латинского представляют слова *Rim* (чеш. *Řim*, откуда раннее польское заимствование — *Xв.*? — *Rzym*, при с.-хорв. *Rim*) < нар.-лат. *Rōma(m)* (пронеслось {*rwma-l*), *křiž* (чеш. *kříž*, откуда раннее польское заимствование — *X в.*? — *krzyż*, при с.-хорв. *križ*) < нар.-лат. *crūcem*, *židь* < ром. *žud'eu* < нар.-лат. *iūdaeus* (ит. *Giudeo*), где во всех трех случаях ранняя передача народно-латинского гласного посредством праславянского *i* позволяет судить об особенностях моравского диалекта праславянского, через который скорее всего были осуществлены заимствования (10, с. 136—137). Как приблизительная хронология этих заимствований (около середины VIII в.), так и их пространственно-временное приурочение и семантика несомненно позволяют говорить о том, что с этого времени латинский язык явно служит существенным орудием воздействия христианской западноевропейской культуры на славян, осуществлявшегося преимущественно через Моравию (и несколько позднее Паннонию). Ранний период этого воздействия относился только к устному

языковому контакту. Но следует учесть, что такой контакт мог осуществляться и в специфической социолингвистической ситуации литургии и церковного общения без посредства письменных текстов. Иначе говоря, вовлечение славяноязычного населения в сферу христианского богослужения могло происходить таким образом, что славяне, еще не знавшие письменного латинского языка, могли знакомиться с некоторыми существенными терминами церковной службы путем слушания литургических текстов, сопровождавшихся устными пояснениями.

Из ранних латинских заимствований, относящихся к церковной службе, наибольший интерес представляет старослав. МЫШЪ 'обедня' (архаизм в Киевском миссале, *passim*), МЫША (более поздняя форма: *ě > а) из лат. *missa*. Фонетическая форма удостоверяет несомненное развитие праславянского типа: лат. *missa* > *mīsa > мьѣ, где происходит (при упрощении интервокальной группы *ss*, в праславянском невозможной) субституция группы *se* в позиции после *ǐ* (*s* > *š* после *i* и перед передним гласным, который объясняется передним характером [æ] в праславянском). Следовательно, заимствование литургического термина сделано в устной речи еще в праславянский период. Наличие заимствования в Киевском миссале согласуется с другими чертами латинского (и вообще западнохристианского) влияния, которое в нем обнаруживается.

Чтобы оценить, в какой мере славянские диалекты IX—XI вв. взаимодействовали с латынью как языком, использовавшимся в церкви, следует обратить внимание на ту роль, которую латынь играет в церковно-языковой реформе Карла Великого (11; 12, S. 412—437; 13, p. 439—448; 14, S. 43—80), отчасти подготовленной еще и до него (15, p. 267—286). Карл обращал особое внимание на чистоту и правильность церковной латыни, в частности в «*Epistola de litteris colendis*» (16, Bd. I, S. 251) и в «*Admonitio Genualis*», где император повелевает: «*Psalmos, notas, cantus, compositum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia et libras catholicas bene emendate*» (17, Bd. I, cap. 72, S. 59). Вместе с тем именно в эту эпоху возникает задача перевода церковных текстов на понятный для всех язык: «*ut easdem omelias quisque aperte transferne studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam facilius cuncti possint intellegere*», как говорится в постановлении Турского синода (18, Bd. I, 1). В последнее время разрабатываются методы исторической социолингвистики, опирающейся на латинские источники при решении вопроса о степени понятности латинского языка (19, S. 9—25; 20, p. 16—34). Несомненно, что эта проблема становилась особенно острой по отношению к таким народам, которые вновь вовлекались в сферу религиозной пропаганды. В соответствии с решениями каролингских синодов определенный круг текстов — в том числе «Оглашение», «Верую», записи вопросов-ответов на исповеди — мог быть переведен на общепонятные разговорные языки. Такой перевод в первой половине IX в. был осуществлен в Хорутании и Великой Моравии на

один из диалектов тогда еще существовавшего общеславянского языка (21, с. 20; 22, с. 66—70). О характере сделанных в это время переводов (скорее всего с латинского языка, хотя не исключено и наличие древневерхненемецкого или древненижненемецкого параллельного текста) можно получить только косвенное представление на основании позднейших отражений той же или сходной традиции. В переводах этого времени отмечается наличие таких калькированных с латинского сложных слов, как старослав. **ВЪСѢ-МОГЪ** = лат. *omnipotens* (ср. позднее польск. *wszecchnoścu*, связанное с древневерхненем. *al-mahtig*) (23, с. 60), а также некоторого числа латинских заимствований: например, **КОМ-КАНИЮ** < лат. *communicare* (23, с. 166). Традиция перевода старославянских текстов с латинского отражена и позднее в таких текстах, относимых ко второй половине X в. (т. е. ко времени после Кирилла-Константина и Мефодия), как Киевский миссал. Значительная часть Киевского миссала представляет дословный перевод с латинского оригинала (24; 25, S. 335—348; 26, S. 225—258; 27, S. 6; 28, S. 169—174) с достаточно точной передачей грамматических форм (в частности, перфекта: **ѢБИ ОБЪЦѢАТЬ** — лат. *promisisti*) и транслитерацией собственных имен, к которым присоединены славянские окончания (лат. *Felicitatis* — старослав. **ФЕЛИЦЪТИ** и т. п.). Однако наличие целого ряда неточностей в переводе привело и к предположению о том, что переводчик либо плохо знал латынь (29, S. 291—295), либо сознательно приближал текст к византийским, а не западным образцам (30).

После разделения церквей в *Slavia Romana* (в отличие от *Slavia Orthodoxa*), т. е. в западнославянской области, латинский язык остается основным официальным языком церкви и всей связанной с церковью культуры, тогда как в *Slavia Orthodoxa*, т. е. в восточной и юго-восточной части славянского мира, сходную роль играет язык старославянский, функционально приходящий на смену византийскому греческому (31, р. 105—127), который (в особенности в центрах книжной монастырской образованности) долгое время сохранял свое значение. Вопрос о том, какой была роль греческого языка в становлении западнославянских литургической и литературной традиций, остается все еще нерешенным. Весьма возможно, что не только в Великоморавском государстве, но и позднее в Чехии (как потом и в Польше) целый ряд текстов был переведен с греческого (а не с латинского). Возрастание роли латинского языка по сравнению с греческим и старославянским — процесс постепенный, в *Slavia Romana* осуществлявшийся на протяжении нескольких столетий. Происходившее примерно в это же время вытеснение латинского языка из некоторых сфер в Сербии и отчасти в Хорватии также было длительным.

Следует подчеркнуть, что, как показывает исследование нескольких литературных текстов X в., существовавших и в латинском, и в старославянском вариантах (в частности, **Жития**

св. Вацлава) (32, с. 83—96; 33, р. 31—53*), латинский и старославянский существовали в Чехии достаточно долго в качестве параллельных средств церковной литературы. Однако начиная с XI в. и далее, в XII—XIII вв., в Чехии, Польше и прилегающих областях латинский язык является основным не только в официальной церковной литературе, но и во всех смежных сферах официальной культуры; исторические и юридические сочинения, не говоря уже о разных жанрах церковной литературы, пишутся только на латинском языке. Насколько можно реконструировать социолингвистическую ситуацию, в том числе и литургическую, она является более сложной. Очевидно, использование разговорного языка (или нескольких языков) в какой-то степени необходимо не только при судебном разбирательстве, но и в сфере богослужения и особенно различных средств массовой церковной проповеди (включая драматические мистериальные действия). Однако хотя эти формы латино-славянского (в частности, латино-древнечешского и латино-старопольского) двуязычия и могут быть с достаточной степенью доказательности реконструированы, они тем не менее в очень малой степени документированы письменными источниками для Чехии и Польши в XII—XIII вв. в отличие от XIV в., когда здесь отчетливо обнаруживается письменное двуязычие. До этого времени латинские тексты могли частично читаться по-старочешски или по-старопольски, иначе говоря, они использовались гетерографически. Ранним примером гетерографического применения латинских написаний в юго-западнославянском ареале являются Фрейзинг[ен]ские отрывки (34), написанные латинским письмом на локальном (древнесловенском) варианте старославянского языка**. Написания *see-sanstae* в отрывке 3 следует понимать как латинскую гетерограмму, передающую соответствующую по значению славянскую форму.

Уже в XIII в. появляются такие древнечешские литературные тексты, как «Кунгутина песнь», в метрическом отношении достаточно близкая к своему латинскому прототипу — «*De corpore Christi*» Фомы Аквинского. Прямым продолжением той же метрической традиции является относимая к началу XIV в. стихотворная композиция «*O nebezpečném času smrti*», прямо воспроизводящая основные темы латинских прений души с телом (30, р. 599). От подобных древнечешских литературных сочинений официальной церковной культуры, непосредственно воспроизводящих латинскую литературную традицию на другом (разговорном славянском) языковом материале, отличны тексты неофициальной народной «смеховой» культуры (36), представленные прежде всего древнечешскими мистериями XIV в. Зарождение самого этого жанра в латинской западноевропейской (но также и в восточнохристианской, в частности армянской) традиции датируется еще концом

* В последней работе предполагается первичность старославянского текста Жития св. Вацлава.

** Ср. о различных взглядах на происхождение и языковой состав памятника (35, с. 107—110, 114—144).

I тысячелетия н. э. В дошедших до нас образцах латинских мистерий, относящихся к первым памятникам этого рода, латинский текст может перемежаться или частично переводиться древневерхнемецким. Очевидное воздействие этой латино-немецкой традиции к XIV в. в письменности (а вероятно, значительно раньше в устном исполнении) сказалось в таких древнечешских памятниках, как «Unguentarius». Мистерия известна в двух передачах, из которых одна рукопись датируется серединой XIV в., другая, сокращенная, — второй половиной XIV в. (37). Все ремарки и часть реплик, совпадающих с западноевропейскими прототипами текста, написаны на латыни. В некоторых случаях латинские реплики переводятся на древнечешский, в других они лишь приблизительно им соответствуют по смыслу. Поэтому можно думать об отражении в рукописях и более старой латинской традиции мистерии, и такой более новой, где обмен репликами в реальном исполнении происходил в основном по-древнечешски. Центральная для «смеховой» культуры гротескная сцена фарсового воскрешения Исаака вся разыгрывается на разговорном площадном языке, но в его состав включены такие «макаронические» новообразования, как *ščinomata* от ст.-чеш. *ščina* 'моча' (вульгаризм), по образцу лат. *aromata* (ср. *emerunt aromata*, Марк, XVI, 1, текст, пародируемый в «смеховой» мистерии):

Dělanat' je z ščinomat
Pustrapalu jiu dělal chodě srat (277—278).

«Смеховой» характер носят и гротескные образы «телесного низа» (термин М. М. Бахтина) в таких ремарках в этой сцене, как: «*Que finito fundunt ei feces super culum. Ipse vero Ysaak surgens dicit risum*». Сами рифмованные тексты, следующие за этими ремарками, произносятся по-старочешски. Разговорные варианты старочешского языка являются основным литературным средством в «смеховой» культуре XIV в., но латинские отрывки (главным образом ремарки) в составе двуязычных текстов стилистически окрашиваются в те же тона. Поэтому наряду с официальным использованием латыни как официального церковного языка можно говорить и о неофициальном ее использовании в качестве одного из языков «смеховой» культуры, но здесь она остается вспомогательным стилистическим средством.

Введение старопольского языка (не в качестве отдельных глосс, а как основного или одного из основных языков текста) в тексты литературного характера, как «*Bogurodzica*», иногда относят к XII—XIV вв., если не ранее (38, р. 260—284, 368—369), соответственно несколько отодвигается назад и составление «*Kazania świętokryszkie*» (39, р. 1—2). Однако по достоверным письменным источникам к середине XII в. можно отнести только отдельные глоссы и короткие фразы в будлах и грамотах, написанных на латыни (40, s. 29). Само вкрапление старопольских фрагментов в состав латинских документов наряду с обилием латинизмов (частично заимствованных через старочешский, ср. выше) явно

указывает на наличие латино-старопольского двуязычия, которое продолжалось и на протяжении ряда последующих столетий, хотя очевидно, что отдельные молитвы и апокрифические тексты достаточно рано начали переводить с латыни. К еще более раннему периоду относится *sermo vulgaris*, осуществлявшаяся уже в XII—XIII вв. в качестве разъясняющей параллельной службы. Такая проповедь на древнепольском подготавливала позднейшие письменные переводы священных текстов на польский язык. Вместе с тем такие центры просвещения, как Краков, к XIV в. были местом интенсивной продукции новых латинских текстов (псевдо-Овидия (41) и др.). Поэтому Польша достаточно рано становится областью соревнования разговорного языка с латинским как двух относительно равноправных средств литературы, что не могло не сказаться и на характере и числе латинизмов, не только лексических, но и синтаксических (42).

Для наглядности приведем параллельно часть латинского и старопольского текста 51-го псалма из трехязычной латино-польско-немецкой Флорианской псалтыри (список с подлинника конца XIII или начала XIV в.) в сопоставлении с соответствующим текстом старославянской Синайской псалтыри (XI в.) (последний дается в скобках): 1. *Quid gloriaris in malis qui potens es [in] iniquitate. Czo ſe chwaliſz wczłofci ienſze moczen ies wlıchoſe (ЧТО БЫ ХВАЛИШИ ВО ЗЪЛОБО СИЛНЫ);* 2. *Tota die cogitavit iniuſticiam lingua tua ſicut nouacula acuta feciſti dolum. Wſziſtek dzen miſlił neprawdę iſzik twoj iako brzitwa oſtra wczinił ies newarę (БЕЗЗАКОННЪЕ БЪЕБЪ ДЕНЬ НЕПРАВДАЖ ОЗЛЫСАІ ЯЗЫКЪ ТВОІ: БКО БРИТВА ИЗОЦТРЕНА СЪТВОРИАБЪ СЕІ ЛБЕТЬ:-);* 3. *Dilexiſti maliciam ſuper benignitatem iniquitatem magis quam loqui equitatem. Miłowal ies złoſzcz naddobroc' lichotę woſey niſze mowicz prawdę (БЪЗЛЮБИАБЪ СЕІ ЗЪЛОБЖ ПЯЧЕ БЛАГОСТЫНИ: НЕПРАВДАЖ НЕЖЕ ГЛТИ ПРАВДАЖ);* 4. *Dilexiſti omnia verba precipitacioniſi lingua doloſa. Miłowal ies wſziſtka ſłowa zdranoſci iſzy[k]em lſciwim (БЪЗЛЮБИАБЪ СЕІ БЪСА ГЛЫ ПОТОПЪНЫА: ЯЗЫКЪ ЛБЕТИКЫ);* 5. *Propterea deus deſtruet te in finem cuellet te et emigrabit te de tabernaculo tuo et radicem tuam de terra uiuentium. Przeto bog zkasi cze doconczę wicroczi cze uwyneſe cze zprebitka twego (БЕГО РАДІ БЪ РАЗДРОЖИТЬ ТЯ ДО КОНЪЦЯ: БЪСТРЪГНЕТЬ ТЯ И ПРЪБЕЛІТЬ ТЯ ОТЪ БСА ТВОЕГО).*

Сравнение со старославянским переводом, сделанным с греческого, при еще чувствующемся единстве славянских литературных традиций позволяет уловить многие особенности старопольского текста, которые объясняются воздействием латинского оригинала.

В ряде случаев в цитированном старопольском тексте очевидно следование синтаксическим латинским конструкциям (*ienſze-jenze mocen* при лат. *qui potens*; *złofcz nad dobrocz* при лат. *maliciam super benignitatem*, *wosey-wiecej niſze* при лат. *magis quam*

и т. п.); в лексике стоит отметить такие соответствия, как польск. *niewiara* — лат. *dolus* 'неискренность, лукавство', польск. *zkażi* — лат. *destruet* 'разрушит, уничтожит', польск. *wykrąci* — лат. *evellet* 'исторгнет', польск. *wyniesie* — лат. *emigrabit* 'выселит', польск. *przebytek* — лат. *tabernaculum* 'шатер, палатка, место-пробывание'. Можно уже к этому времени говорить о начале оформления собственно польской традиции перевода с латинского священных книг, отличной от других славянских традиций. В значительном числе местностей и областей, входивших в состав Польши или к ней примыкавших, средневековая литература почти целиком написана по-латыни. Еще в конце I тысячелетия н. э. латинский язык продолжал использоваться в ряде сфер светского общения (административного) в Сербии.

Из юго-западных частей славянского языкового мира, в которых длительное время по конфессиональным причинам латинский язык в качестве официального занимал высшее положение в иерархии, следует особенно выделить Словению, где ранняя письменная традиция представлена Фрейзинг[ен]скими отрывками (древнесловенский вариант раннего моравско-паннонского перевода церковных текстов, записанный латинским письмом с латинскими гетерограммами), и Хорватию. Некоторые из лексических и фразеологических особенностей старославянских (и последующих церковнославянских) текстов, сохранных в хорватской традиции, имеют общие черты с языком таких архаических текстов, переведенных с латинского, как Киевский миссал, и возводятся еще к моравским переводам с латинского: старослав. ПЄДЪЛМЪ ЦЄТЪНЪМЪ = лат. *dominica in Palmis* (43, s. 258—259).

Хотя *Slavia Orthodoxa* в целом и характеризуется меньшим значением латинского языка, некоторые открытия недавнего времени делают необходимым внести уточнения в общую картину, очерченную Пиккио. В Новгороде при раскопках Готского двора на Торговой стороне в культурных слоях XIV—XV вв. была обнаружена берестяная грамота № 488, написанная на латинском языке:

- (1) Venit e, exultem(us) (d)omino, iubilem(us) de s alutari
- (2) n(ost)ro, p(ae) ocupem(us) facie(m) ei(us) in (con)fessi (one) (et) i(n) psalmis.
- (3) iubile (mus) ei
- (4) Virgo Viri, Virtute, Voce, D(omi)ne, H(ymnus) M(ari)a V(irgo). V(ersus) Weni e(lecta).
- (5) Libri testamenti sancti Kalendae aprilis lectoris III ewangelii
- (6) de (us) est et.

По палеографическим данным грамота датируется концом XIV—началом XV в., хотя в начертании отдельных букв есть архаизмы, допускающие и несколько более раннюю датировку. На грамоте, возможно, начертаны и музыкальные знаки, а также кресты. Исследователь видит в грамоте «шпаргалку для правильной последовательности хорового исполнения церковных песно-

пений» (44, с. 167—191), причем аналогии находятся в других новгородских грамотах. Очевидно, что характерное для большого европейского торгового города, каким был Новгород XIV в., многообразие языков и вероисповеданий должно было отразиться и в новгородской письменности. Наличие письменного свидетельства литургического использования латинского языка в католической церковной службе в Новгороде несколько не противоречит общему суждению о распределении языков в пределах славянского мира: Новгород и в других отношениях представляет собой исключение из общего правила.

Латинский язык в большинстве описанных выше традиций использовался прежде всего как язык литургии и язык церковной литературы, хотя более широкое его значение как языка официальной культуры в отдельных ареалах (в частности, в Польше) сохранялось до конца описываемого периода. По мере превращения разговорного языка в литературный роль латыни могла сужаться, но на всем западе славянского мира до конца рассматриваемого периода латинский язык остается одним из основных средств письменного (и в определенных, все более ограничивающихся пределах устного) общения.

1. *Bonfante G.* Inlusso del protoromeno sul protoslavo // Bonfante G. *Studi romeni*. Roma, 1973.
2. *Ваѡан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
3. *Mihăescu H.* La langue latine dans le Sud-est l'Europe. Buc.; P., 1978.
4. *Skubic M.* La langue des inscriptions latines en Slovénie // *Linguistica* (Ljubljana). 1981. XXI.
5. *Skok P.* Pojave vulgarno-latinskoga jezika na natpisima rimske provincije Dalmacije. Zagreb, 1975.
6. *Bajec A.* Romanizacija in jezik rimskih provinc Norika ter oben Paronij // *Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede*. 4. Ljubljana, 1928.
7. *Bidwell C. E.* The chronology of certain sound changes in Common Slavic as evidenced by loans from Vulgar Latin // *Word*. 1961. V. 17.
8. *Lehr-Splawiński T.* Zapożyczenia łacińskie w języku prasłowiańskim // *Lehr-Splawiński T.* *Studia i szkice wybrane*. W-wa, 1957.
9. *Birnbaum H.* Common Slavic. Progress and problems in its reconstruction. Ann Arbor: Slavica Publishers, 1975. Русский перевод этой книги см.: *Бирнбаум Х.* *Праславянский язык*. М., 1987.
10. *Stieber Z.* Rzym, krzyz i żyd // *Stieber Z.* *Swiat jezykowy slowian*. W-wa, 1974.
11. *Fontain J.* De la pluralité à l'unité dans le «Latin carolingien» // *Nascità de l'Europa ed Europa Carolingia: un'equazione da verificare*. Spoleto, 1981.
12. *Richter M.* Die Sprachenpolitik Karls des Grossen // *Sprachwissenschaft*. 1982. VII.
13. *Richter M.* A quelle époque a-t-on cessé de parler latin en Gaule // *Annales*. 1983. N 2.
14. *Richter M.* Kommunikationsprobleme in lateinischen Mittelalter // *Historische Zeitschrift*. 1976. CCXXII.
15. *Van Uytjanghe M.* De zogeheten Karolingische Renaissance: een breekpunt in de evolutie van de Latijnse taal' // *Handelinjen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis*. 1975. XXIX.
16. *Urkundenbuch des Klosters Fulda*. Marburg, 1958.
17. *MGH. Leg.*, sec. III. Cap. RFr.
18. *MGH. Leg.*, sec. III. Con.

19. *Richter M.* Sprache und Gesellschaft im Mittelalter: Untersuchungen zur mündlichen Kommunikation in England von der Mitte des elften bis zum Beginn des vierzehnten Jahrhunderts. Stuttgart, 1979.
20. *Richter M.* Latine lingua-sacra seu vulgaris? // The Bible and Medieval Culture. Louvain, 1979.
21. Сказания о начале славянской письменности / Вступ. ст., пер. и коммент. Б. Н. Флоря. М., 1981.
22. *Флоря Б. Н.* Славянская письменность и европейская культура раннего средневековья // Сов. славяноведение. 1985. № 2.
23. *Pauliny E.* Slovesnost' a kultúrny jazyk Vel'kej Moravy. Br., 1964.
24. *Mohlberg C.* Il messale glagolitico di Kiew (Sec. IX) e il suo prototipo Romano del sec. VI—VII. Roma, 1928.
25. *Birnbaum H.* Noch einmal zur Lautgestalt der Kiever Blätter und zur Frage nach ihrer Herkunft // Zeitschrift für slavische Philologie. 1975. Bd. 38.
26. *Birnbaum H.* Wie alt ist das altertümlichste lavische Sprachdenkmal? // Die Welt der Slaven. 1981. Yg. 26.
27. *Puty R.* The Western lexical elements in the Kiev missal // Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur / Hrsg. von W. Krauss. B., 1968.
28. *Auty R.* Lateinisches und Althochdeutsches im altkirchenslavischen Wortschatz // Slovo. 1976. N 25/26.
29. *Leutmann M.* Die altkirchenslawischen Kiever Blätter und ihr lateinisches Original // Festschrift für A. Debrunner. Bern, 1954.
30. *Jakobson R.* Selected writings. The Hague; Paris; B., 1985. V. VI. T. 1, 2.
31. *Picchio R.* A proposito della Slavia ortodossa e della comunità linguistica slava ecclesiastica // Ricerche slavistiche. 1963. T. 11.
32. *Florja B. N.* Václavská legenda a Borisovsko-Glebovský kult (shody a rozdíly) // ČSČH. 1978. N 1.
33. *Ingham N. W.* The martyred prince and the question of Slavic cultural unity in the early Middle Ages // Medieval Russian culture. Berkeley; Los Angeles, 1984.
34. Freisinger Denkmälen. München, 1968.
35. *Zagiba F.* Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelalter. Wien; Köln; Graz, 1971.
36. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
37. *Hrabak J.* Staročeška drama. Pr., 1950.
38. *Birnbaum H.* On medieval and Renaissance Slavic writing. The Hague; P., 1974.
39. *Birnbaum H.* On the vernacular and Latin syntactic subcomponents in Polish prose of Renaissance period // Papers in Slavic philology. Ann Arbor, 1977. I.
40. *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. I. Doba staropolska. W-wa, 1961.
41. *Lehmann P.* Pseudo-antike Literatur des Mittelalters. Leipzig, 1927.
42. *Nieminen E.* Beiträge zur altpolnischen Syntax. Helsinki, 1939—1950. Bd. I—II.
43. *Mareš F.* НЕДѢЛЯ ЦВѢТЪНЪ И. Květná neděle 'dominica in Palmis' // Slavia. 1956. R. XXV.
44. *Дрбоглав Д. А.* Грамота № 488 // Арциховский А. В., Янин В. Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962—1976 гг.). М., 1978.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ БОЛГАРСКОЙ НАРОДНОСТИ СО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ X ДО КОНЦА XIV в.

Г. Г. Литаврин

В предшествующем коллективном труде, посвященном развитию этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья, было констатировано, что завершение процесса формирования самосознания болгарской народности как особой этносоциальной раннефеодальной общности может быть в целом датировано первой четвертью X столетия (1, с. 72—73, 263—264).

В данной главе будет рассмотрено развитие самосознания болгарской народности на последнем этапе раннефеодального периода и в пору развитого феодализма, вплоть до падения Второго Болгарского царства, т. е. предстоящая обозрению с этой точки зрения эпоха охватывает время, равное почти полутысячелетию.

Как известно, основные этносоциальные категории имеют формационный характер: их последовательная смена определяется в конечном итоге ходом социально-экономического прогресса. Однако в пределах формации (в данном случае феодальной) на характер развития этнического самосознания народности значительное влияние могли оказывать также перемены в условиях ее государственно-политического развития, в особенности фактор внешнего завоевания и уничтожения независимого государства.

Поэтому целесообразно, учитывая значение и социально-экономических и государственно-политических факторов, установить следующую периодизацию рассматриваемой в главе исторической эпохи: 1). С конца 920-х годов до 1018 г. (т. е. до падения Первого Болгарского царства, завоеванного Византией); 2). С 1018 до 1186 г. (период византийского господства); 3). С 1186 г. до 40-х годов XIII в. (период наивысшего могущества Второго Болгарского царства); 4). С 40-х годов XIII в. до конца XIV в. (время торжества феодальной раздробленности и гибели государства).

Принимая эту периодизацию, мы отнюдь не думаем, что она вполне соответствует и этапам развития этнического самосознания болгар, — эти этапы еще предстоит определить. Предложенная периодизация рассматривается лишь как предварительная —

с ее помощью мы надеемся более рационально организовать материал.

Сравнительно с VI—первой четвертью X в., т. е. эпохой, изученной в труде, изданном в 1982 г., рассматриваемое здесь время, несомненно, лучше обеспечено источниками, прежде всего болгарскими. В подавляющем большинстве, однако, сохранившиеся тексты представляют собой сочинения церковно-назидательного, вероучительного и агиографического характера либо же апокрифы, еретические трактаты, легенды и сказания. Собственно исторические (нарративные) памятники, кроме кратких хроник и обрывков летописей, не сохранились. (Одна из них — так называемая Болгарская апокрифическая летопись, ввиду ее сложного состава, рассмотрена особо.)

Правда, в распоряжении историка имеется также несколько официальных документов и сочинений светского характера: грамоты болгарских царей, похвальные слова, заметки на полях манускриптов, надписи. Но число таких памятников крайне ограничено, да и сведения в них по этническим вопросам исключительно редки. Значение археологических памятников для изучения этнического самосознания болгар в X—XIV вв. весьма невелико сравнительно с их ролью в исследовании проблемы применительно к VI—IX вв. Археология позволяет проследить обогащение основного комплекса материальной культуры, обозначить некоторые региональные этнические особенности, установить характер и объем (весьма скромный) протоболгарского культурного наследия и пути проникновения византийского влияния, может быть, уточнить болгаро-византийскую этническую границу и т. п., т. е. дает некоторый материал по истории болгарской народности, но практически не добавляет ничего нового сравнительно с письменными источниками. Данные X—XII вв. об элементах старых представлений, например о сохранении языческой обрядности в погребальном (в целом христианском) ритуале (2, с. 597—606), не составляют специфику миропонимания только болгар среди прочих славянских народов. К тому же о приверженности части болгарского населения в эту эпоху к языческим празднествам, играм и обрядам, по преимуществу славянского или фракийского происхождения, вполне определенно свидетельствуют и письменные источники.

При крайнем недостатке памятников отечественного происхождения приходится широко использовать византийские и западные (латинские) источники. Роль их особенно велика при изучении самосознания болгар в период византийского господства.

Таким образом, состояние источников и для рассматриваемого периода не позволяет раскрыть значительную часть аспектов трактуемой темы. Поэтому гипотетичность ряда высказываемых ниже положений неизбежна. Нередко о самосознании, об этнополитической позиции болгар, в особенности — народных масс, приходится заключить косвенным путем, по их поведению в экс-

тремальных ситуациях, по реакции на действия внешнего врага, ущемлявшего этническое достоинство и угрожавшего независимости родины.

В какой-то мере сходным с состоянием источников является и положение дел с историографией по данной проблеме. Несмотря на то, что вопросы этнической истории стали все чаще привлекать внимание медиевистов, проблема развития именно этнического самосознания феодальных народностей (в том числе болгарской) остается обычно вне сферы исследований, как позволяет судить библиография, обобщенная Д. Ангеловым вплоть до 1980 г. Именно этому ученому, который первым систематически занялся вопросами формирования и развития болгарской народности, принадлежит заслуга разработки и проблемы становления и динамики самосознания болгар в средние века. Во втором издании его книги об образовании болгарской народности добавлена новая — шестая глава, посвященная истории болгарской народности (и ее самосознания) в XIII—XIV вв., т. е. вплоть до конца существования Второго Болгарского царства (3, с. 363—388). Трактующей в данной главе темы Д. Ангелов касается и в других работах последних лет (4, с. 242—295; 5, с. 271—304). Опираясь на эти труды, мы попытаемся уточнить ряд вопросов и поставить некоторые новые.

Серьезное значение для нас имели также работы советских этнологов, прежде всего общетеоретические труды Ю. В. Бромлея, позволяющие на широком фоне осмысленного автором материала представить своеобразие развития самосознания болгар, определить аспекты подхода к теме и возможные пути ее раскрытия. Вместе с тем необходимо учесть, что именно в трудах этнологов сформулирован тезис о том, что дальнейший прогресс в развитии теории этноса (и в частности, в сфере эволюции этнического самосознания) невозможен без интенсивных конкретно-исторических изысканий (6; 7, с. 7—22). Одним из видов этих исследований и должна быть, видимо, данная глава.

1. ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ БОЛГАРСКОЙ НАРОДНОСТИ В ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА

В социально-экономическом отношении это был период интенсивного формирования феодализма, когда складывались основные институты феодального общества: крупное землевладение, частновладельческая эксплуатация, зависимое крестьянство, налоговый (а частично и административный) иммунитет феодального имения. Одновременно упрочились формы централизованной государственной эксплуатации свободного крестьянства и трудового населения городов. Ускорилось развитие ремесла и торговли на иной, феодальной основе: непосредственный производитель в городе обладал собственной мастерской-лавкой и необходимыми орудиями труда. Города быстро росли, умножилось их число.

Государство утвердило свою верховную собственность на все земли, не входившие в пределы частных (крупных и мелких крестьянских) и общинных угодий. На этих землях складывались поместья царской семьи, не отличавшиеся, по существу, от частновладельческих. Эти земли государь жаловал духовенству и светским феодалам. Однако в целом сложившиеся в Болгарии производственные отношения оставались до 1018 г. на раннефеодальной стадии развития: свободное крестьянство, эксплуатировавшееся в централизованном порядке, еще преобладало над частновладельческим, составляя основу материальных средств казначейства и воинских сил страны (крестьянского ополчения). В численном отношении свободные крестьяне к последней трети X в. в большей степени сохранились в гористых западных и юго-западных районах: в значительной мере именно этот фактор, а не только разорение Северо-Восточной Болгарии в ходе войн 968—971 гг. обусловил перенесение столицы на запад (в Преспу и Охрид) (8, с. 23—40; 9, с. 339—422; 10, с. 132—188).

В государственно-политическом отношении этот период четко подразделяется на два этапа: с 927 до 968 г. и с 968 до 1018 г. На первом этапе в Болгарии разразился глубокий политический кризис, вызванный обострением социальных противоречий и углубившимся расколом правящего класса на две группировки (11; 10, с. 132, 188). Прогрессировавший процесс разложения свободного крестьянства и втягивания его в зависимость, быстрый рост крупного землевладения, в особенности церковно-монастырского, увеличение налогов — все это обусловило возникновение в правление Петра (927—970 гг.) первого в средневековой Европе широкого антифеодального еретического движения богомиллов. Приверженцы этой дуалистической ереси отвергали весь видимый материальный мир как «мир зла» — «творение сатаны» вместе с его законами и социальными порядками, включая налоги, ренты и работы в пользу господ, а также церковь и само государство (12, с. 269 и след.; 13; 14, с. 31—39; 15, р. 385—412). Обострение социальных противоречий побудило правящую группировку, ориентировавшуюся на развитие централизованных форм эксплуатации, к отказу от активной внешней политики и сближению с Византией. Этот курс вызвал противодействие части крупной землевладельческой знати, пытавшейся дважды (в 928 и 930 гг.) совершить государственный переворот, противопоставив Петру его братьев. Неудачи заговорщиков не ослабили разногласий. В 970 г. в условиях резкого падения реальной власти царя (преемника ушедшего в монастырь и вскоре умершего Петра — его сына Бориса II), оказавшегося в подчинении у киевского князя Святослава (который заключил союз с группировкой болгарской аристократии — сторонницы курса Симеона на продолжение войны с империей), западные и юго-западные провинции отделились от Северо-Восточной Болгарии. Там утвердилась власть Комитопулов (Аарона, Давида, Моисея и Самуила) — четырех сыновей бывшего наместника одной из провинций (ко-

мнтатов) в тех местах — кóмита Николы (9, с. 397—416; 16, р. 379—384; 17, р. 405—419).

С 968 до 1018 г. народ Болгарии был снова ввергнут в тяжелые войны, длившиеся с небольшими перерывами около полувека: сначала краткая, закончившаяся поражением в 968 г. схватка с войском Святослава, в 970—971 гг. — участие (кроме подвластного Комитопулам населения) под верховной властью Святослава в его борьбе с Византией (Святослав потерпел поражение и покинул Северо-Восточную Болгарию, захваченную византийцами) и с 976 г. — смертельное противоборство с империей за независимость. Все эти события вовлекли в свой водоворот широкие массы и, несомненно, самым непосредственным образом отразились не только на материальных условиях, но и на духовной жизни народа, в том числе — на его этническом самосознании.

Однако сначала о наиболее общих проблемах эволюции самосознания болгар в последний век истории Первого Болгарского царства.

Д. Ангелов, тщательно проследив в каждом из контекстов содержание таких этнообразующих категорий, как «Болгария» и «болгары», «славянский язык» и «болгарский язык», «род», «племя», «народ», «отечество» и др., убедительно показал, что самосознание болгарской народности значительно укрепилось в конце X в. сравнительно с его началом; термины «Болгария» и «болгары» почти безраздельно (об исключениях — ниже) утвердились для обозначения государства и его населения как особой этнической общности, славянской по своему языку и облику; понятие «язык», ранее употреблявшееся в двух разных значениях (как «народ», «население» и как «речь» — средство общения) приобрело двуединый смысл, обозначая одновременно и народ (этническую общность) и его речь (язык в современном понимании); термин «болгарский язык» (как устный, так и письменный) постепенно вытеснял понятие «славянский язык», использовавшееся безраздельно ранее (до второй четверти X в.); этноним «славяне» (точнее — «словене») по отношению к населению Болгарии употреблялся все реже — отныне им стали обозначать славянское население регионов, не входивших в Первое Болгарское царство (как жителей Византии, так и других славянских стран), хотя изредка — особенно в источниках иноземного происхождения — термины «славяне» и «болгары» встречаются как синонимы (а не как родовое и видовое понятия); равным образом почти исключительно у иностранных авторов есть случаи архаизации — употребление понятия «болгары» в смысле «протоболгары» или в безусловной подразумеваемой связи с ними случаи замены термина «болгары» терминами «скифы», «гунны» и др. Однако в отечественных памятниках этническое родство с протоболгарами уже не осознавалось — преемственность изредка отмечалась лишь в сфере государственной традиции. Видимо, в X в. протоболгарский (тюркский) язык уже не употреблялся в Болгарии вообще. Ссылаясь на Краткое Житие Наума Моне-

васийскую хронику и более поздние источники, в которых взаимозаменяются понятия «болгарский» и «славянский», Д. Ангелов приходит к выводу об иерархичности этнического самосознания болгар в этот период, продолжавших ощущать себя как особую ветвь славянской общности; весьма интересны наблюдения автора над другими фактами, свидетельствующими о сложности самосознания болгар: термины «род» и «племя» подчеркивали родственные узы внутри народности, понятие «народ» — совокупность населения страны, термин «отечество» — территорию и местные корни народности, «язык» — его речь как основной отличительный признак (3, с. 295 и след., 320 и след.).

Соглашаясь в основном с этими выводами, мы хотели бы, однако, уточнить некоторые положения и особо подчеркнуть другие. Во-первых, при аргументации тезиса о вытеснении понятия «славянский язык» (речь) термином «болгарский язык» представляются недостаточно убедительными ссылки на приписку Тудора Доксова к переводу с греческого, сделанному Константином Преславским, слов Афанасия Александрийского («князь наш болгарский по имени Симеон», «наш князь болгарский по имени Борис», «Борис крестил болгар»), на такие выражения в Кратком Житии Наума, как «болгарская земля», «бежал в болгары», как и в службе в память Иоанна Рильского — «согражданин болгар» и в «Слове Козмы Пресвитера» — «болгарская земля». Значение терминов «болгары» и «болгарский» в качестве этнонимов здесь не совсем очевидно: они как будто могут быть истолкованы и как политонимы, означавшие и в VIII—IX вв. государственное подданство, а не этническую принадлежность (1, с. 72—73). К тому же и о переводе Библии Григорием при Симеоне сказано, что он был сделан на «славянский язык», и о Науме в его Кратком Житии говорится как об епископе «славянского языка». Напротив, несомненным аргументом в пользу утверждаемой Д. Ангеловым (и справедливой) мысли мы отнесли бы данные Пространного Жития Климента, в котором имеются очевидные признаки славянского протографа, переработанного и переведенного на греческий в расширенном варианте Теофилактом Ифестом в конце XI в. «Климент передал нам, болгарам, — сказано там, — все, что относится к церкви». Здесь же трижды упомянуто о «болгарском языке» как об устной и письменной речи (18, с. 74, 76). Видимо, в период до 1018 г. представление о том, что жители страны говорят и пишут не на славянском вообще, а конкретно — на болгарском как разновидности славянского, уже было в какой-то мере распространено, хотя процесс переосмысления этой категории (язык) в рассматриваемый период еще был далек от своего завершения.

Во-вторых, понятие «болгары» как указание на этническую принадлежность применялось для обозначения не только всего населения государства (в его, как говорит Д. Ангелов, трех основных регионах, обозначавшихся архаичными терминами «Мизия», «Фракия» и «Македония» — 3, с. 227—229), но и вышло

за пределы этих границ, распространившись на земли к юго-западу от них.

В понятии «болгары» как этнониме — самоназвании феодальной народности (этносоциального организма) — представление об особой этнической общности неразрывно связано с подданством Болгарскому государству и с принадлежностью к болгарской славяноязычной церкви. Этот компонент самосознания болгар объективно не мог быть характерен для славянского населения всей Фракии и всей Македонии. Например, славяне нижнего течения Марицы, южных областей Македонии, как и северных районов полуострова Халкидика и всей Фессалии, к середине X в. около полутора-двух веков были подданными империи и прихожанами грекоязычной церкви; билингвизм давно стал для них непререваемым условием жизнедеятельности. Безусловно, эти славяне относились к одной со славяноязычным населением Болгарии этнической группе. Но они не принадлежали к болгарской феодальной народности, хотя изредка в византийских источниках и обозначались термином «болгары» (19).

Арабские авторы X—XI вв. называют жителей Болгарии то славянами, то болгарами (20, с. 140, 164, 186, 212, 261), но не разделяют при этом территорию страны по этническому принципу: ясно, что речь идет об одном и том же народе. У нас нет решительно никаких данных, которые свидетельствовали бы о каких-либо признаках отчуждения между населением Северо-Восточной, Южной, Западной и Юго-Западной Болгарии ни для X, ни для начала XI в. Хотя болгарская знать во время войн Святослава на Балканах раскололась и одна ее часть поддерживала Святослава, а другая находилась в оппозиции к нему, население в целом продолжало хранить верность своему законному царю, сначала Петру, а затем Борису II. Именно поэтому Святослав не лишал Бориса II прав на трон Болгарии и на ее казну. В противном случае его союз с болгарам против Византии мог распасться. Поэтому и Иоанн I Цимисхий, находясь в Болгарии, именовал Бориса II (фактически пленника) «повелителем болгар» и оказывал ему знаки уважения. И расчет оказался верным: видимые военачальники Болгарии, узнав, что Борис II во всех регалиях власти находится в ставке Цимисхия, стали переходить от Святослава к его врагам (21, с. 268).

Все как будто говорит о том, что Святослав не намеревался стать государем болгар, которые, пожалуй, больше опасались византийцев (единоверных), чем язычников русов: встав вместе с русским гарнизоном насмерть при обороне столицы (Преслава, где находился Борис II) и отказавшись сложить оружие, болгары будто бы заявили Цимисхию, что ромеи остаются их главными врагами, так как повинны в шествии русов на Болгарию (Святослава как союзника призвал против Болгарии предшественник Цимисхия Никифор II Фока). Сходной была ситуация и при обороне Святославом Силистры (Дристры) от византийцев: бол-

гары, даже женщины, участвовали вместе с русами в вылазках против армии империи.

Узнав о том, что Петр в начале лета 968 г. снова заключил договор с империей, а вернувшийся из Киева в конце лета 969 г. Святослав вновь склонил болгар к антивизантийскому союзу, Комитопулы, укрепившиеся на территории, не затронутой походами Святослава, отказали в повиновении Петру. Византийцы отпустили находившихся в Константинополе в качестве заложников сыновей Петра (Бориса и Романа), опасаясь за свой союз с Петром (он стал к этому времени монахом) и боясь, что болгары окажутся под властью враждебных империи Комитопулов. Отделение Комитопулов — следствие не межэтнических трений в Первом Болгарском царстве, а результат противодействия части его знати политике Петра. В 976 г., когда создалась благоприятная ситуация (смерть Цимисхия), Комитопулы воссоединили территорию Болгарии, не встретив сопротивления в Северо-Восточной Болгарии. Важно, что высшее духовенство (в том числе патриарх Болгарии) после аннексии северо-востока и юга страны Цимисхием не признало его власти, найдя спасение у Комитопулов (22, с. 557). Этот факт помог, конечно, осмыслению случившегося жителями захваченных византийцами районов Болгарии.

Одним из остродискуссионных является вопрос об этническом составе и самосознании населения Западной и Юго-Западной Болгарии в правление Самуила. Одни историки полагают, что это царство не было болгарским (они именуют его «Самуиловым»), что оно обособилось от Болгарии в результате стремления его населения (этнически будто бы отличавшегося от болгар) избавиться от болгарского господства и что Комитопулы возродили в Македонии традиции независимости, восходившие к местным славиям VI—IX вв. (23, с. 9—11, 30 и след.). Другие ученые считают, что царство Самуила являлось непосредственным продолжением Первого Болгарского царства. В 976—1001 гг. оно территориально включало и Северо-Восточную Болгарию, колыбель болгарской государственности. Источники позволяют разделить именно эту концепцию: само государство Самуила сохранило наименование «Болгария», а его жители — этноним (а не политоним) «болгары», как это явствует из всех отечественных и всех иностранных источников; Самуил признавал законность прав на престол Болгарии представителей прежней династии (сыновей Петра — Бориса II и Романа). Романа Самуил принял после его бегства из империи как законного правителя Болгарии; только после его смерти Самуил короновался в качестве государя Болгарии (в 997 г.); остались прежними в его государстве и наименования высших сановников, в том числе титулы (кавхан), восходившие к протоболгарским политическим институтам (24). Традиции почитания имени царя Петра, канонизированного болгарской церковью, видимо, при Самуиле, были прочными и в юго-западных землях.

Трудно допустить, что эти данные свидетельствуют лишь о сохранении прежних государственных (протоболгарских) традиций, но никак не говорят об этнической однородности славяноязычного населения царства Самуила, обозначаемого единым термином «болгары». Такого рода вывод был возможен, если бы отсутствовали доказательства того, что единым — болгарским — осталось и само этническое самосознание и жителей западноболгарских земель, и населения Северо-Восточной Болгарии (25, с. 35—39). Особенно ярко проявилось это в войнах с Византией за государственную независимость Болгарии. Последний царь Болгарии Иван Владислав называл себя «болгарским самодержцем», «болгаринородом», сыном Аарона, который был братом Самуила, самодержавного царя (26, с. 14). Иван Владислав подчеркивал не только собственное единовластие и законность его прав на престол, но и свое этническое происхождение, одинаковое с его подданными; крепость Битоля он построил «как убежище для спасения жизни болгар». «Ты болгарин, а я ромей», — говорил византийский полководец Евстафий Дафномил военачальнику Самуила Иваце (27, с. 294). Отметивший свои победы именно в западноболгарских районах неслыханными жестокостями, Василий II получил прозвище «Болгаробойца».

Борьбу с завоевателями вело не только государство и знать — в вооруженном сопротивлении участвовали широкие массы населения, причем народ снова брался за оружие там, откуда император уводил свои регулярные войска. Карая непокорных, Василий II приказал ослеплять всех жителей-мужчин (т. е. крестьян) на равнине Пелагонии, какие только будут здесь схвачены (27, с. 287).

Нет, однако, оснований полагать, что все слои населения в одинаковой мере хранили верность Болгарской державе. Углубление классовых противоречий, выделение слоя высшей знати, активно участвовавшей в политической жизни, обусловили более гибкую позицию аристократии, в особенности в экстремальных ситуациях. Так, Самуил был вынужден принять самые крутые меры против старшего брата Аарона в 976 г. как сторонника соглашения с Василием II (Аарон и почти все члены его семьи были казнены). Социальные расчеты становились иногда для знатных лиц более важным мотивом поведения, чем верность отечеству: сохранить свое положение и свои привилегии любой ценой — таковы были цели многих сановников на последнем этапе войн с Византией. Наряду с выдающимися примерами героизма, проявленного некоторыми боярами и воеводами, имелось немало случаев предательства, даже родственников правящей в Болгарии династии. Видин, первоклассная крепость, восемь месяцев успешно отражавшая штурмы армии Василия II, была сдана ее епископом, получившим за это от императора особые милости (22, с. 557—558).

Что касается вопроса о влиянии богомилства на самосознание болгар, источники не позволяют расценивать этот фактор в качестве этнообразующего. Судя по известиям Козмы Пресвитера,

видевшего в ереси большую опасность для трона и церкви (28, с. 327, 342, 377), богомилы нанесли серьезный удар по устоям классового господства феодалов. Однако мы не думаем, что богомильская богословская доктрина стала мировоззрением широких масс населения. Даже та часть крестьянства, которая находилась под влиянием социальных идей еретиков, принадлежала к правоверным прихожанам церкви. Богомильство ширилось и крепло лишь до той поры, пока над болгарским народом не нависла грозная внешняя опасность. Тот факт, что в источниках исчезло упоминание о богомилах с начала борьбы болгар за независимость и вплоть до установления византийского господства, позволяет предполагать, что проповедь богомилов против государства не привлекала участников борьбы с завоевателями: богомилы временно сошли с арены.

Империя обладала несравненно большими, чем Болгария, материальными и людскими ресурсами, но для ее завоевания потребовалось около 40 лет тяжелых войн. Лучшее свидетельство зрелости этнического самосознания болгар к 1018 г. — признание самого Василия II, заявившего, что «бог даровал» ему эту страну в качестве подвластной «не без крови, не без труда и пота, а благодаря многолетнему терпению» (22, с. 556).

2. СУДЬБЫ САМОСОЗНАНИЯ БОЛГАР В ПЕРИОД ВИЗАНТИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА

В эпоху византийского господства формы феодальных отношений в болгарских землях примерно к началу XII в., т. е. почти одновременно с аналогичными процессами в Византии, достигли зрелости. Территория Болгарии (в отличие от сербохорватских земель, поставленных в вассальную зависимость от империи) была поделена на три провинции, непосредственно подчиненные пноземной власти. На Болгарию были распространены имперское законодательство, византийская система управления и сбора налогов (29; 30, с. 293—303; ср. 31, 303—323; 32, с. 23—28). Однако этот процесс завершился лишь к 40-м годам XI в. Опасаясь за прочность своей власти над завоеванной с огромным трудом страной, Василий II стремился, с одной стороны, обеспечить функционирование органов имперской власти и быстрое подавление вероятного восстания, а с другой — постарался завоевать симпатии части знати Болгарии и ее духовенства и до времени ничего не изменять в отношениях завоеванного народа с государством. Из Болгарии были удалены представители последней болгарской династии и видные бояре; владения царской семьи и фонд государственных земель, как и земли выселенных и погибших болгар, перешли в состав имперских государственных земель; по крепостям и пограничным укрепленным городам были поставлены византийские гарнизоны; все высшее и среднее (а возможно, и низшее) чиновничество в созданных на территории Болгарии провинциях (фемах) было заменено византийским, и этнически, и по образу жизни, и по общественно-политическим симпатиям чуждым местному населению.

В то же время Василий II торжественно провозгласил, что он сохранил без изменений порядки, установленные при Петре и Самуиле, оставил без перемен размеры и формы податей; церковь Болгарии осталась автокефальной (независимой от патриархии Константинополя), хотя и была низведена в ранг архиепископии (в независимой Болгарии ее церковь с 927 г. имела достоинство патриархии); остались на своих местах и ее болгарские, т. е. славяноязычные, священнослужители — архиепископ (Иван Дебрский) и епископы. Им были частично даже увеличены имущественные права и налоговые и иммунитетные привилегии; пределы архиепископии были несколько расширены; церковнослужение на славянском языке должно было и впредь совершаться на всей или почти на всей территории архиепископии (32, с. 551—558). Следовательно, на этом этапе не подверглась перестройке и сложившаяся ранее в Болгарии система подготовки духовенства. При поддержке архиепископии должны были функционировать школы, осуществляться обучение славянской грамоте, существовать само книжное (славянское, болгарское) дело, работать скриптории и т. д.

Конечно, болгарскому народу, обескровленному длительными войнами, необходимо было время, чтобы ликвидировать военную разруху. Но относительно спокойное для византийских властей в Болгарии первое двадцатилетие их господства в какой-то мере, безусловно, зависело и от указанных выше гибких мероприятий осторожного политика Василия II. Поэтому можно выделить особый этап в эпохе византийского ига, продолжавшийся до конца 30-х годов XI в.

К сожалению, невозможно назвать ни одного источника болгарского происхождения этого времени. Судить о состоянии чувств болгар можно лишь по византийским памятникам и по фактам, свидетельствующим об отношении завоеванного населения к Византии и византийцам. Антивизантийские настроения стали нарастать в болгарских землях с 30-х годов. «Народ болгар, — писал Михаил Пселл, — какое-то краткое время смирясь с поражением, снова обратился к прежнему бахвальству, но сначала не восставал открыто» (33, р. 76).

Обстановка в Болгарии накалялась в связи с отходом правительства от политики Василия II. Воспользовавшись смертью Ивана Дебрского в 1037 г., Михаил IV отдал пост архиепископа Болгарии греку Льву, родом из Пафлагонии в Малой Азии (22, с. 550, 566). Было положено начало замене всего высшего и среднего славяноязычного духовенства греческим. Учитывая тот факт, что большинство епископов Болгарии к 1018 г. были, конечно, не молодыми людьми, процесс «ромеизации» клира болгарской церкви должен был совершаться быстро.

Вскоре в Болгарии была введена византийская налоговая система; натуральные налоги времен Петра и Самуила были заменены денежными по завышенным ставкам. Коммутация налогов означала для болгар их значительное повышение. Были введены

и новые поборы, «которые, — по словам Скилицы, — стыдно и перечислять» (34, р. 404).

Брожение охватило катепанат Болгарии. Народ негодовал, стремясь к освобождению от власти иноземцев. Узнав о волнениях, из Константинополя бежал в Болгарию Петр Делян, возводивший свой род к Комитопулам (как сын Романа Гавриила, сына Самуила). Судя по ходу событий, с самого начала движения болгары выступали не только против налогового гнета, но и за возрождение независимого государства. «Весь народ [болгар], — подчеркивал Пселл, — решился восстать против ромеев, но удерживался от задуманного из-за отсутствия вождя». Делян и стал таким вождем. В сознании болгар он представлял отечественную династию, верность которой они сохраняли («ибо у болгар, — продолжает Пселл, — в обычае избирать для управления народом людей из царского рода»), и Делян знал, что этот обычай «является отечественным и законным» (33, р. 76—77). Делян был провозглашен царем и начал триумфальное шествие из района Белграда и реки Моравы на юг. Восставшие, выражая ненависть к завоевателям, «бесчеловечно», по словам Скилицы, «избивали ромеев» (34, р. 409—410) (всего вероятнее, чиновников, воинов гарнизонов и их военачальников). Делян восстанавливал институты и должности Первого Болгарского царства, в частности — должность кавхана.

Общепризнанный характер восстания не вызывает сомнений. Но следует все-таки отметить, что с самого начала восстания Деляна руководство повстанцами осуществляла местная болгарская элита. Тем больший интерес вызывает другая очаг освободительного движения, возникший к западу от первого. В Диррахии (центре одноименной фемы, дука которой получил приказ подавить восстание Деляна) восстали воины. Эти «местные силы» (т. е. фемное ополчение) состояли прежде всего из крестьян — болгар, а также албанцев, романских элементов, сербов. Зная о провозглашении царем Деляна, они тем не менее «избрали царем Болгарии какого-то из бывших с ними воинов по имени Тихомир, известного храбростью и разумом». Иначе говоря, стремление к восстановлению болгарской государственности проявилось и в чисто народном по характеру движении. Причем воцарение представителя прежней династии приверженцы Тихомира отнюдь не считали обязательным. Оба вождя понимали пагубность раскола сил. Инициатором их встречи стал Делян, который сумел доказать законность своих прав, и, видимо, большинство воинов Тихомира отошло от него — он был насмерть побит камнями. «Вся власть перешла к Деляну», который заявил, что «никогда народу болгарскому не бывать спасенным, если он управляется двумя предводителями». Диррахий признал власть Деляна. После первых крупных побед на его сторону перешло восставшее против налогового гнета население фемы Никополя, состоявшее из греков, местных славян, романских элементов и албанцев. Они присоединились к болгарам, пишет Скилица, браня царя ромеев «не столько из любви в Деляну. . . сколько. . . из-за чрезмерности взысканий» (34,

р. 410—412). Следовательно, здесь, в пограничном районе с этнически смешанным населением, в мотивах действий восставших большее значение имели социальные, а не народно-освободительные цели (29, с. 376—396).

И все-таки истекшие десятилетия византийского владычества оставили след в общественно-политическом и этническом сознании части болгарской знати. Узнав о восстании Деяна, из армянской фемы бежал в Болгарию сын Ивана Владислава Алусиан. Он надеялся занять в случае удачи трон Болгарии, считая себя подлинно законным наследником в отличие от Деяна, которого называл «незаконнорожденным», намекая либо на самозванство, либо на рождение Деяна уже после развода Романа-Гавриила с женой-венгеркой. Осторожно открывая знатым болгарам в лагере Деяна свое происхождение, Алусиан привлек значительную их часть на свою сторону и потребовал у Деяна приобщить его к власти. Дело оказалось более сложным, чем в случае с Тихомиром: права Алусиана по понятиям болгар были бесспорными. Чтобы избежать раскола, Деян дал Алусиану сильное войско для осады Фессалоники, но тот потерпел жестокое поражение. Видя, что его престиж падает, Алусиан и поддерживавшая его группировка завязали переговоры с Михаилом IV, выторговывая себе прощение и милости за измену. Получив заверения от императора, Алусиан со своими сторонниками тайно от восставших ослепили Деяна и бежали в ставку Михаила IV. Предательство и ослепление вождя дезорганизовали повстанцев. Восстание было жестоко подавлено. «Алусиан, — пишет Пселл, — . . .оказался главной причиной победы василевса» (33, р. 78—82). Среди приверженцев слепого царя (Деяна) было немало бояр, оказавшихся ему верными до конца. Тем не менее, в отличие от масс народа, сохранившего свое этническое самосознание, процесс раздвоения этнополитических симпатий и ослабления сознания единства со своей этнической общностью уже захватил часть болгарской знати. Прежде всего это были члены высшего боярства, оторванные (в результате целенаправленной политики Константинополя) от родной этнической среды и включенные в состав господствующего класса империи. Они еще чутко прислушивались к вестям с родины, готовые в случае удачи вернуть себе утраченное господство над своим народом, но не готовые к тому, чтобы в случае неудачи разделить его судьбу. Их возвышение на службе императору оказывало влияние на более широкие слои болгарской знати, проживавшей на землях Болгарии. Сознание части болгарских феодалов «иерархизировалось» все более: они ощущали теперь свою принадлежность также к господствующему классу империи в целом, а не только ее болгарских провинций, надеялись достигнуть еще более высокого положения в обществе. Пример членов бывшей правящей династии Болгарии, породнившихся с аристократическим родом Комнинов, вскоре овладевших трон империи, стоял у этой «деэтнизирующейся» знати перед глазами.

Наиболее ясно эти явления обозначились, однако, как мы увидим ниже, в кругах болгарских феодалов в последней четверти XI—XII в., в особенности в пограничной зоне болгарских и исконно имперских провинций (Северная Фракия, Южная и Средняя Македония, Восточный Эпир).

Характер источников для второго этапа с 40-х годов XI в. до последней четверти столетия остается тем же, что и для периода до 1041 г. Это в основном греческие памятники, содержащие данные о поведении болгар по отношению к властям империи.

Для этого этапа характерно проникновение на болгарские земли (в Северную Фракию и Вардарскую Македонию) византийских феодалов: здесь складывались благодаря императорским пожалованиям имения имперской (преимущественно греческой) знати, светской и духовной. Имперская власть пускала здесь прочные корни. Ей содействовало высшее греческое духовенство в Болгарии, владения которого также расширились. Упрочивались связи между византийской и частью болгарской знати. Социально-экономическая структура Болгарии все более уподоблялась византийской. Распространились в Болгарии и проники — имения, полученные от императора на срок жизни владельца в качестве награды за службу (чаще всего — военную). Остатки свободного крестьянства оказались перед перспективой частновладельческой зависимости: в пронии раздавались не только императорские поместья, но и земли со свободными налогоплательщиками. С укреплением вотчины и развитием товарного производства экономическое значение болгарских земель в составе империи повышалось. Подъем провинциальных городов, начавшийся с конца X в., захватил и болгарские ремесленно-торговые центры.

Имущественное и правовое положение народных масс в Болгарии продолжало ухудшаться. Возрастали налоговый гнет и произвол иноземного чиновничества. Положение усугубляли частые набеги кочевников — печенегов и узов. Приведенные к покорности их отдельные орды император расселял в Болгарии, вменяя им в обязанность нести воинскую службу против иных кочевников и мятежных болгар. Эти поселенцы терроризировали население, поднимали бунты. Кроме того, болгарские земли становились многократно исходной базой для имперской военной знати в ее борьбе с чиновной аристократией за престол.

В Болгарии назревало новое освободительное восстание. Толчком к нему, как и в 1040 г., послужили чрезвычайные податные поборы правительственных чиновников, в частности — введение монополии на закупку зерна: продавать его отныне крестьяне должны были только в правительственные житницы по стабильным ценам (35, с. 196 и след.). Волнениями в Болгарии в 1072 г. тотчас воспользовалась болгарская знать, взявшая руководство восстанием в свои руки. Она собралась на совет в Скопье, бывшем тогда резиденцией имперского наместника фемы (катепаната) Болгария. На этот раз уже не нашлось кандидата на трон Болгарии из потомков прежней династии — факт, весьма знаменательный: на службе

императору в это время находилось немало членов рода Самуила, но ни они, узнав о восстании, не предъявили прав на престол, ни организаторы восстания не пригласили их в Болгарию. Трезвый подход к делу проявили и собравшиеся в Скопье боляре, и сами потомки Комитопулов — они окончательно «ромеизировались». Среди скопских предводителей главную роль играл по признанному праву потомок «рода кавханов» (т. е. высшего сановника Первого Болгарского царства) Георгий Войтех. Однако многие представители болгарской знати с самого начала восстания встали вместе с ромеями в ряды врагов повстанцев. Их этническое самосознание претерпело уже глубокие перемены. Они соединились с имперским войском и вступили в битву с восставшими, в которой многие из них погибли от мечей своих соплеменников. Участвовали в сражении на стороне ромеев и «болгарские силы», т. е. воины фемы (катепаната) Болгария, тогда как во время восстания Деляна они не только не выступили против него, но сами приняли участие в восстании.

Еще до этого сражения совещавшиеся в Скопье боляре решили просить на трон Болгарии у князя сербского княжества Зеты (Дукли) Михаила его сына Константина Бодина. Он и был провозглашен царем, получив новое имя — Петр. Таким образом, руководители восстания обнаружили приверженность традициям Первого Болгарского царства (верховодил ими потомок рода кавханов, кандидата на трон искали среди представителей царского рода, Бодин получил имя почитаемого в качестве святого царя Петра); на трон был приглашен представитель правящей династии сербов — наиболее этнически близкой болгарам народности (акт, свидетельствующий, на наш взгляд, об осознании обеими сторонами славянской общности болгар и сербов). Вопреки расчетам Константинополя (Василий II предоставил сербам автономию) противостояние сербов болгарам произошло не отчуждение двух народов друг от друга, а их сближение. Порвав зависимость от Византии в 1040 г., предшественник Михаила Стефан Воислав упрочил самостоятельность Зеты, воспользовавшись восстанием Деляна. Вслед за знатью признали Петра (Бодина) царем и рядовые болгары — Скопье, Девол, Охрид присоединились к нему. Бодин двинулся к Нишу, «истребляя и разоряя не покоряющихся ему».

Враждебные повстанцам силы стекались в крепость Касторию: не только уцелевшие ромеи, но и знатные болгары. В источнике они обозначены специальным термином «заботящиеся о делах ромеев» (οἱ τῶν τῶν Ῥωμαίων φρονούντες). Здесь, под Касторией, крупное соединение повстанцев потерпело поражение. Некоторые из предводителей восстания потеряли уверенность в деле. За обещание личной безопасности Войтех сдал имперскому полководцу Скопье, но затем, «раскаившись» в том, что «заботился о делах ромеев», тайно известил Бодина о крайней беззаботности византийского войска в городе. О письме Войтеха Бодину узнали ромеи и схватили его (впоследствии он погиб от пыток на пути к Константино-

полю). Бодин также неожиданно на пути в Скопье был захвачен в плен. Часть бывших с ним воинов изменила. В карательном походе византийцы опустошили катепанат Болгарию. В Преспе были разрушены памятники былого величия Болгарии — дворцы ее царей и церкви (36, S. 162—166). Окончательно восстановление было подавлено новым наместником Болгарии, так как простые повстанцы продолжали сопротивление и после гибели, пленения или измены их вождей (37, р. 213).

Было бы важно уяснить иерархию самосознания «заботящихся о делах ромеев» болгар, которые проживали по-прежнему в окружении родной этнической среды. Вряд ли можно допустить их полную «ромеизацию» (30, с. 293 и след.). Они, безусловно, сохранили родной язык, нередко носили болгарские имена, немало своих этнических черт было присуще, по-видимому, им и в быту. Но одно уже резко отличало их от массы соотечественников: они сознавали себя не просто подданными императора (это было свойственно всем жителям империи), а его верноподданными, готовыми отстаивать интересы ромеев, даже участвуя в подавлении восстания своего народа.

Восстание 1072 г. сравнительно с восстанием Деляна имело значительно меньшие масштабы. Видимо, существенно сократился численно и ослабел экономически (особенно в западных и юго-западных районах Болгарии) наиболее социально активный в ранне-средневековье слой свободного крестьянства. В отличие от положения в начале XI в., этот слой оказался теперь более многочисленным в восточных и северо-восточных районах. Туда с последней четверти XI в. стал перемещаться и центр народно-освободительной борьбы болгар (29, с. 410 и след., 427 и след.). Население этих районов не участвовало в восстаниях 1040—1041 и 1072 гг. Имели значение, вероятно, следующие факторы: во-первых, относительная близость к столице империи; во-вторых, Северо-Восточная Болгария (дунайский лимес) и Северная Фракия (запасная линия укрепления вдоль Балканского хребта) рассматривались правительством как важнейшие стратегические рубежи, и города и крепости здесь имели усиленные гарнизоны; в-третьих, византийские чиновники за Балканским хребтом вели себя более осмотрительно в отношениях с местным населением; в-четвертых, это население с конца 20-х годов, а особенно с 40-х годов XI в., с начала массовых вторжений кочевников, не столько страдало от насилия властей и гарнизонов, сколько ждало от них защиты. В 1050 г. жители придунайских районов добровольно помогали византийскому войску, пытавшемуся помешать переправе узов, а затем перебили оставшихся зимовать в Паристрионе кочевников.

От последнего этапа византийского владычества несравненно больше источников, в том числе болгарского происхождения. Например, Второе Житие Наума, Пространное Житие Климента Охридского, Болгарская апокрифическая летопись и др. Сочинения на староболгарском языке, несмотря на их неофициальный и спе-

цифический характер, свидетельствуют о сохранении болгарами своего этнического самосознания. Их изучение затрудняется весьма относительной хронологией создания памятников и позднейшими интерполяциями. Специально исследовавший эти источники в аспекте трактуемой темы Д. Ангелов убедительно показал, что понятие «болгарский язык» (как разговорный и письменный) стало вытеснять в этом значении понятие «славянский язык» уже в эпоху византийского господства, а в памятниках соседних с Болгарией стран славянская речь болгар обозначалась иногда как «болгарская» еще раньше, уже в X в. Одновременно развивался процесс постепенного «присвоения» болгарам первоучителей славянства: они представляли в сознании болгар как их соотечественники. Этому, несомненно, содействовал культ Кирилла и Мефодия, имена которых болгарская церковь канонизировала уже в конце IX в., в правление Симеона.

Для болгарских памятников этой эпохи характерна идеализация независимого Болгарского царства. Даже в апокрифах, отмеченных влиянием богомилов, которых преследовал Петр и которого они ненавидели, этот царь изображен как праведник, кроткий, святой, далекий от всякого греха государь, при котором «имелось изобилие всего» (Болгарская апокрифическая летопись, Народное Житие Ивана Рильского). Идеализировался и отец Петра Симеон (при нем, несмотря на всеобщее благоденствие, были ничтожно малы налоги), как царь болгар и греков прославлялся Делян (Болгарская апокрифическая летопись) (38, с. 3—28; 39; с. 283—284, 287).

Популярность царя Петра, противоречившая его реальным достижениям как государственного деятеля, объяснялась, вероятно, официальным прославлением его имени при Самуиле, которому было важно добиться забвения факта восстания Комитопулов против Петра и утвердить представление о преемственности своего государства с царством Петра — «василевса болгар», борца с еретиками и «мученика», не перенесшего победы над ним врагов-язычников (т. е. русов) (3, с. 327).

Почитание отечественных святых (Ивана Рильского, Климента, Петра) служило делу укрепления этнического самосознания: по убеждению верующих, они являлись покровителями своего народа. Жития, написанные на близком к просторечию языке, находили широкое распространение. В эпоху византийского владычества болгарская (руководимая греческими иерархами) церковь, возможно, по настоянию болгарской знати канонизировала Иоакима Осоговского. Высшее греческое духовенство пеклось при этом об усилении своего влияния на болгар. При Романе IV Диогене был канонизирован Прохор Пшинский, а позднее грек — архиепископ Феофилакт написал Пространное Житие Климента. Но, прославляя болгарского святого, он не удержался от надменных замечаний о «грубости» болгарского языка, о «жестокости, суровости и грубости их сердец», оскорбил болгар их сравнением с животными (18, с. 34, 76).

Отношение имперского чиновничества и греческого духовенства к болгарам противоречило официальному праву: болгар третировали как не вполне полноправных подданных. Это проявлялось иногда не только в форме личного произвола представителей власти. Даже официально в болгарских провинциях взимались порой повышенные налоги, чаще производили экстраординарные реквизиции. Закон запрещал владеть в качестве раба правоверным подданным императора или обращать свободного жителя империи в раба. В Болгарии же этот закон нарушался чаще, чем в провинциях с греческим населением.

Все это усиливало чувство неприязни у болгар к ромеям, предшавшим здесь официальную власть и официальную церковь. Много данных на этот счет содержит переписка архиепископа Феофилакта. Его отношение к своим прихожанам неоднократно высказано откровенно (отношение презрительное и враждебное). Феофилакт писал, что «болгарская натура — кормилица всякого зла», что болгары «богатством злонравия и бедностью жизни» превосходят всех, что они «презирают архонтов», «не почитают ни бога, ни человека». Он говорил о «нагло дерзающих против нас». Наиболее знаменательно его письмо, в котором он назвал болгар «издевающимися над нами иноплемениками» (*ἀλλοτρίοις*) (29, с. 368—372).

В связи со сказанным необходимо коротко остановиться на проблеме «ромеизации» (или «эллинизации»), т. е. на вопросе о масштабах ассимиляции болгар греческим этносом. Проблема эта имеет прямое отношение к вопросу о развитии этнического самосознания болгар, подвергнувшихся иноземному завоеванию. Ассимиляция начинается с адаптации подчиненным населением культуры завоевателей, претворяется в значительной мере через усвоение их языка как средства общения с официальной властью и завершается через два-три поколения (выросших в условиях чужеземного господства) переходом на язык завоевателей, а следовательно — и сменой прежнего этнического самосознания. Сохранение отдельных этнографических черт в одежде, быту, обычаях не имеет принципиального значения: они теряют роль осознанных символов-признаков этнической принадлежности (7, с. 242). Болгары жили в условиях господства империи около 170 лет, за эту эпоху сменилось шесть-семь поколений, вынужденных понимать язык имперского чиновничества и слушать в большинстве храмов (после 1037—1050 гг.) литургию на греческом языке.

Византия не преследовала специально целей ассимиляции негреческих подданных империи, в том числе болгар (таково наше мнение) (30, с. 293—303; 40, с. 99—100). Правительство продолжало именовать и жителей завоеванных земель «болгарам», а крупнейшую фему-катепанат — «Болгарией». По-гречески были переименованы лишь административные районы и города Северо-Восточной Болгарии, но новые названия не прижились в самой имперской канцелярии. Главной задачей Константинополя было упрочение своего господства. Этой цели служила и замена славяно-

язычного духовенства греческим: местным священнослужителям, как носителям болгарского самосознания, было оказано недоверие, политическая (а не культуртрегерская) функция идеологического служения духовенства была выдвинута на передний край. В XI—XII вв. репрессиям подвергали епископов, в приходах которых происходили антиправительственные выступления (35, с. 271 и след.).

Безусловно, все эти меры объективно вели к серьезному ухудшению условий развития болгарской культуры, лишенной и материальной и моральной поддержки официальной власти и официальной церкви. Конечно, это создавало предпосылки для ромеизации. Ведь и по отношению к славянам, жившим среди греческого населения, власти империи не осуществляли целенаправленного курса на ассимиляцию: при господстве греческой народности в сферах власти, религии, культуры процесс деэтнизации славян становился вопросом времени. Однако с конца XI в. высшие общественно-политические круги империи стали поощрять аккультурацию прежде всего знатных иноземцев, оказывавшихся в столице на императорской службе.

Политика Византии обусловила замедление темпов развития болгарской культуры, хотя и не остановила его. Материально ее поддерживали лишь местные магнаты, содействуя сохранению в качестве очагов болгарской культуры старых монастырей (Ивана Рильского, Вирпинского, св. Климента на о-ве Преспа, св. Наума на Охридском озере) и основывая некоторые новые (Иоакима Осоговского, Прохора Пшинского). Переписывание славянских текстов и создание оригинальных произведений (часть их названа выше) продолжались. А именно письменность является одним из важных факторов образования и сохранения культурно-этнической однородности общества, даже если было относительно мало чтецов на массы неграмотных слушателей (7, с. 241 и след.). Древнеболгарская письменность и литература выполняли эту роль и в рассматриваемую эпоху. Уровень культуры и прочности этнического самосознания болгар к моменту завоевания уже исключали возможность их ромеизации в период господства империи (кроме части болгарской знати, о чем говорилось выше). Византийское завоевание как бы запоздало. Принимавшиеся правительством меры по упрочению своей власти и ромеизации болгарской церкви, которые объективно должны были способствовать ассимиляции, превращались нередко из фактора дезинтеграции в фактор укрепления самосознания болгар: их этническое отчуждение от греков, чувство неприязни к ним находило себе в действиях властей и греческого духовенства лишь новую пищу.

Множество болгарских священнослужителей и подготавливаемых для этой роли клириков утратили возможность карьеры, оказались лишенными перспектив получения постов официальным путем. Именно из их среды выходили ересиархи и предводители богомильских общин (12, с. 311, 328, 420 и след.). В связи с этим кратко остановимся на значении богомильства в развитии анти-

византийского движения, которое было бы невозможно без подъема этнического самосознания болгар. В значительном числе созданных в Болгарии апокрифов, в которых звучат патриотические (болгарские) ноты, выявляется богомильское влияние. Временно сошедшие с арены в конце X в. богомилы активизировались именно в эпоху византийского господства: сведения о них нарастают в течение XI—XII вв. В 1040-х годах они появились как беженцы в ряде стран Центральной и Западной Европы, сохраняя свои общины во главе со «старцами». Видимо, их уход был связан с репрессиями имперских властей после подавления восстания Деляна. Д. Ангелов показал, что в миропонимании богомилов в этот период произошли принципиальные перемены: они направили острие своей пропаганды против Византии и греческой церкви (12, с. 356—390). Трудно сказать, участвовали ли сами богомилы в вооруженной борьбе. Исключать этого нельзя, так как массу приверженцев ереси составляли остававшиеся ортодоксальными христианами простые поселяне, разделявшие лишь социальные идеи еретиков (мы бы не называли их собственно богомилами — членами общин, отвергавших церковную службу и совершавших поклонение богу по своим обрядам). По своему дуалистическому учению богомилы были близки к своим предшественникам-павликианам, но павликиане многократно участвовали в битвах, защищая в 60-х годах IX в. в Малой Азии некое подобие их политического объединения с центром в г. Теффрика от войск империи. Еретики Филиппополя (Пловдива) также не раз брались за оружие. Анна Комнина пишет, что еретики разных течений (в том числе богомилы Пловдива и его окружи), как ни разнятся они по своим догматам, все «согласны в восстаниях» (41, с. 181). Богомилы в Болгарии, несомненно, сеяли ненависть к чужеземцам (и к самой империи, и к официальной церкви): они объявляли главной «резиденцией» сатаны (воплощавшего, по их учению, мир «зла» и всяческое угнетение) самый храм св. Софии в Константинополе.

Тем не менее перемены хотя бы у части болгар в их этническом самосознании имели место. Эти изменения нашли, по всей видимости, проявление в двух новых феноменах: в слиянии, как было сказано, с имперской аристократией части болгарской знати (ее этническое самосознание трансформировалось) и в усложнении иерархии самосознания более широких слоев населения. Были случаи добровольных выступлений болгар вместе с византийцами против общего внешнего врага. Многократно это происходило при проходе через Балканы полчищ крестоносцев в 1096, 1147 и 1188 гг.: крестоносцы оправдывали свои бесчинства в отношении мирного населения не только тем, что болгары — еретики (богомилы), но также тем, что они, как и греки, «схизматики» (42, с. 214 и след.). Возможно, в подобных ситуациях у болгар проявлялось сознание определенной общности интересов с греками — как у подданных империи и единоверцев, принадлежавших к единой восточнохристианской церкви. Подкрепление этой мысли можно усмотреть в апокрифах: в Болгарской апокрифической летописи

упомянуто о едином «венце болгарского и греческого царства» (впрочем, см. об этом ниже). Согласно Толкованию Даниилову, «последним царем» будет царь, отец которого болгарин, а мать гречанка. Болгарский святой Прохор Пшинский будто бы предсказал Роману Диогену царство (20, с. 448, 458—459; 39, с. 287).

В целом, однако, болгарский народ не только не подвергся этнизации, хотя и испытал сильное культурное влияние греков, но еще более укрепился в стремлении возродить собственную государственность. В 1074 г. восстало военнообязанное население дунайских городов, в 1079 г. вспыхнули мятежи в Средце (Софии) и в Месимврии (Несебре), в 1084—1086 гг. часть болгар участвовала в бунте армянских воинов в окрестностях Пловдива. Но особенно ярко этническое самосознание болгар проявилось в восстании 1186 г. в Северо-Восточной Болгарии и в последующие годы упорной защиты становившегося на ноги Второго Болгарского царства.

Источников отечественного происхождения об этих событиях не сохранилось. Но и известия иноземных авторов позволяют заключить о воодушевлении болгар перед перспективой добиться свободы от власти империи. Волнения начались поздней осенью 1185 г., когда болгары, уже уплатившие ежегодные налоги, были обложены дополнительной податью деньгами и натурой (скотом) ввиду предстоящей свадьбы Исаака II Ангела с Маргаритой Венгерской. Империя переживала внутренний и внешнеполитический кризис: провинциальные магнаты отказывали в повиновении, казна была пуста, венгры разгромили Белград и Браничево, шла война с норманнами Сицилийского королевства, вторгшимися с запада и опустошившими Фессалонику; половцы при любой возможности вторгались, доходя до Фракии.

Боляре Северо-Восточной Болгарии Федор и Асень явились в это время к императору, прося его пожаловать им деревню в пронию и зачислить в свое войско. Исаак II, узнавший о первой победе над норманнами, в оскорбительной форме отказал. Вернувшиеся домой братья приступили к организации бывшего ранее стихийным движения в вооруженное восстание. Его центром стал Тырнов — город-крепость, видимо, родовое имение Асений. Весной 1186 г. разразилось восстание. Царем был провозглашен Федор, получивший имя Петра (40, с. 100—103; 43, р. 17—26; 44, с. 25—179). Асени построили в Тырнове церковь во имя св. Димитрия, ставшего (несомненно, через посредство славян Южной Македонии) популярным святым в Болгарии. Его икона, доставленная в Тырнов из разоренной норманнами Фессалоники, оказалась главной святыней церкви. Пропагандисты восстания утверждали, что св. Димитрий не оказывает теперь помощи ромеям (потому-то, мол, норманны и взяли город), что он перешел к болгарам, «на правую сторону», что «господь соблаговолил даровать свободу народу болгар и владов и согласился на избавление их от длительного ига»; страшившимся «грандиозности предпринимаемого» внушали, что «время теперь не медлить, а взять в руки оружие и

устремиться на ромеев; захваченных же на войне не брать в плен, а беспощадно избивать. . . И так, когда они убедили. . . весь народ, все вооружились, и, так как восстание пошло у них успешно, они еще больше возомнили, что их освобождению благоволит бог». Было использовано, видимо, и имя царя Петра (святого), принятое Федором в знак преемственности с Первым Болгарским царством; напоминали народу, конечно, и о героическом прошлом Болгарии — целью восставших было освободить и объединить все земли бывшего царства «в едином государстве. . . как это было некогда раньше». Восстание быстро охватило и земли к югу от Балканского хребта (45, р. 368—372).

В науке издавна дебатруется вопрос об этническом содержании часто употребляемого в источниках термина «влахи» и о роли половцев в освобождении Болгарии. При этом обнаруживаются две крайности: одни историки полагают, что победу при относительной пассивности болгар и при поддержке половцев обеспечили влахи и основанное при этом государство следует называть «болгаро-влашским»; другие толкуют понятие «влахи» как равнозначное определению «болгары», отрицая порой наличие влашского (и половецкого) населения в Северо-Восточной Болгарии вообще, а если и признают, что влахи и половцы оказали поддержку болгарам, то говорят лишь об их отрядах, приходивших из-за Дуная; третьи считают, что освобождение Болгарии произошло в силу стечения неблагоприятных для Византии факторов, а в военных операциях победу не одержали ни болгары, ни влахи — ее одержали половцы (46, S. 49—148; 40, с. 92—112).

Оценим коротко эти споры. Термин «влахи» в эту эпоху сплошь и рядом употреблялся в двух значениях: как указание на все население Северо-Восточной Болгарии и как этникон, под которым у прочих народов (прежде всего — у славян и греков) были известны романизированные жители Балкан, занимавшиеся в основном пастушеством. В конце XI в. влахи уже были старожилками Паристриона; они все больше переходили к земледелию, появились среди них и знатные люди; в восстании они приняли активное участие, но не ставили собственных политических целей; затруднения империи, конечно, были использованы Асенями, но не это и не половецкая (безусловно, существенная) помощь, а массовое участие в борьбе болгар привело к возрождению болгарской государственности.

К сожалению, здесь невозможно остановиться на вопросе об этническом самосознании влахов в Болгарии, не говоря уже о других этнических меньшинствах (армянах, печенегах, половцах). В XI—XII вв. углублялся процесс социального расслоения в их среде и возрастала их политическая активность. Хотя часть влахов обретала оседлость, в целом они сохраняли ярко выраженное этническое своеобразие, держались сплоченными общинами (катунами); в силу специфики их хозяйственно-культурного типа (пастушество), языка, резко отличавшегося от болгарского и греческого, между влахами и земледельцами (греками и болгарями)

иногда возникали трения. У греков сложился отрицательный стереотип владов. Хотя духовенство империи также иногда проявляло сомнение в «христианском благонравии» владов, видимо, уже в X в. большинство их было христианами. Возможно, на рубеже XI—XII вв. во Вранье (близ Приштины) была учреждена для владов подчиненная Охридской архиепископии особая епископия (47, с. 91—138). Так, с одной стороны, учитывалось их этническое своеобразие, а с другой — факт появления многочисленных владских поселений, во всяком случае в верховьях Южной Моравы.

Основное содержание этнополитических процессов в болгарских землях к 80-м годам XII в. заключалось, однако, в яркой вспышке народностного самосознания болгар, поднявшихся на восстание. Их исторические традиции оказались живы: первому царю нового царства дали имя святого царя Петра, правившего 200 лет назад, чем выражалась уже в начале восстания надежда на воссоединение всех территорий бывшего Первого Болгарского царства под скипетром Федора-Петра.

3. САМОСОЗНАНИЕ БОЛГАР ВРЕМЕНИ РАСЦВЕТА ВТОРОГО БОЛГАРСКОГО ЦАРСТВА

Эпоха Второго Болгарского царства — пора зрелого феодализма, представлявшего здесь ко времени освобождения вариант общеимперской феодальной системы. Основное отличие на первых порах состояло в том, что господствующее положение и в экономике и в политической сфере перешло к болгарским феодалам. Фонд императорских земель и имения византийцев (особенно с расширением границ Болгарии на юг и юго-запад) перешли к Болгарскому государству. Видимо, относительно более широким в Северо-Восточной Болгарии оставался к XIII в. слой свободного крестьянства, составившего опору Асеня в борьбе с Византийской империей (48; 49).

Немало общего с империей было у Болгарии и в государственном строе. Характерно, что здесь, как и в Византии, несмотря на влияние такого консолидирующего фактора, как недавняя освободительная борьба, в рядах знати шла острая борьба за престол. Лишь при Калояне (1197—1207 гг.), а затем при Иване Асене II (1218—1241 гг.) оппозиция бояр была подавлена. Но и Асень I, и Петр, и Калоян пали жертвой заговоров (50).

Несмотря на значительное увеличение источников для рассматриваемого периода, они дают немного данных о развитии этнического самосознания болгар либо же отражают этнополитические представления главным образом высших правящих кругов.

Обстановка в Болгарии в первые 30 лет, несмотря на успехи в борьбе с византийцами, а с 1204 г. — крестоносцами (латинянами), оставалась сложной. Представители крупной знати не желали сильной центральной власти. Для ее укрепления Асенидам было необходимо международное признание их власти. Поэтому

титулатура первых Асений (в особенности Калояна) пронизана этой политической идеей и была скорее дипломатической фикцией, чем отражением этнополитического самосознания. В переписке с папой Иннокентием III Калоян именуется «царем Болгарии и Влахии» (причем под «Влахией» разумеется Северо-Восточная Болгария, а под «Болгарией» — подвластные Самуилу земли в 1001—1014 гг.), «царем болгар и влахов», изредка — «царем Болгарии» и «царем болгар». От письма к письму Калоян, вслед за папой, все смелее говорит о том, что он обладает законными правами своих «предшественников» — Симеона, Петра и Самуила, что все они якобы получили корону от папы римского, что все они — его предки, от которых по наследству перешли к нему «отеческие права», и что по самому своему происхождению они принадлежат к «благородному роду из Рима». Поскольку же нет царя без обряда коронации, нет и царства без патриарха, постольку он ждет от папы и коронации и посвящения архиепископа Тырнова в патриархи «всей Болгарии и Влахии» («всех болгар и влахов»).

И Калояну и папству была выгодна такая трактовка происхождения власти Асенидов: папа стремился распространить свою церковную супрематия на Болгарию и обеспечить ее нейтралитет в отношении латинян, разгромивших Византию и боровшихся с ромеями за их окончательное подчинение; Калоян же рассчитывал укрепить свое положение и обрести юридическую санкцию на возвращение всех бывших болгарских земель (объявил же папа в письме и к Калояну, и к венгерскому королю, что византийцы незаконно установили некогда «тяжкое иго» над болгарскими и что ныне — в 1204 г. — Калоян освободил «большую часть» отеческой земли, но еще не всю) (52, с. 296—298, 346—348).

В основу данной «дипломатической фикции» были положены, видимо, некоторые реальные факты: наличие среди подданных Калояна влахов, участвовавших в событиях 1185—1204 гг., осведомленность окружения Калояна, папы и правителей западноевропейских стран, что вlahи пользуются романским наречием, и, наконец, постепенно возобладавшее убеждение, что вlahи происходят из Италии («говорят, — писал в последней четверти XII в. Иоанн Киннам, — что они некогда были переселенцами из Италии») (53, р. 260).

Получив корону из Рима и титул «рекса Болгарии и Влахии» (позволивший сохранить и титул «царя»), добившись сана примаса для архиепископа Тырнова (папа объявил этот титул равноценным сану патриарха), Калоян отнюдь не следовал политике Иннокентия III. Уния 1205 г. с Римом не была проведена в жизнь: Калоян не думал о подлинном подчинении своей церкви папству и о введении литургии на латинском языке. Вскоре же Калоян начал войну против латинян, ставшую роковой для их империи. Неповиновение папе легко оправдывалось тем, что и латиняне не послушались его — они объявили Калояна («бывшего раба ромеев») узурпатором, завладевшим землей, которая принадлежит им как преемникам императора Константинополя. Калоян за-

явил в ответ: никаких прав нет не у него, а у них, «захвативших чужое», тогда как он владеет «собственными землями» и хочет вернуть «отеческие» (32, с. 132—138; 54).

Обстановка на Балканах в 1190—1241 гг. была чрезвычайно сложной: борьбу за византийское наследство вели одновременно сначала болгары, Византия и венгры, а затем — Болгария, Латинская империя, Эпирское (Фессалоникское) царство, Никейская империя. Каждый из соперников искал союзников, но союзы сохранялись лишь до той поры, пока один из соперников не усиливался настолько, что начинал казаться опасным — и бывший «друг» становился врагом, вступая в новую коалицию. Переориентации такого рода происходили по нескольку раз в течение одного-двух лет. Ситуацию осложняли магнаты отдельных районов, образовывавшие независимые княжества и перебежавшие со стороны на сторону, выступая порой против соотечественников (греческие против своего императора, болгарские — против царя Тырнова) (55).

В ходе борьбы сложились (или упрочились) отрицательные стереотипы греков о болгарях («варвары», «мучители ромеев») и латинянах («надменны», «жестоки»), у болгар и латинян — о ромеях («коварны», «неверны в клятвах»). Калоян будто бы объявил себя мстителем за болгар, испытавших 200 лет назад жестокость Василия II Болгаробойцы, и сам именовал себя Ромеебойцей. В перипетиях болгаро-латино-греческой борьбы болгары, не входившие в пределы Болгарского государства, обычно оказывались на стороне своих соотечественников. Таким же в целом было поведение и греческого населения, охотно признававшего власть греческих государей.

Отчетливые данные о позиции болгар, живущих на западе и юго-западе от границ Болгарии, относятся ко времени правления Ивана Асеня II. Благодаря искусной политике в отношении Латинской и Никейской империй, он добился восстановления независимого болгарского патриаршества (1235 г.) (56, с. 136—150) и принял первым из болгарских государей титул «царя и самодержца болгар». Во время его похода в западные и юго-западные земли (временно, после завоеваний Калояна, при Бориле, потерянные Болгарией) целые области добровольно признавали его власть. Отказавшись от политики репрессий и насильственного переселения побежденных, Иван Асень II, по словам Акрополита, завоевал симпатии и ромеев. «Всем он был угоден, — пишет тот, — не только болгарам, но и ромеям и другим народам» (57, с. 162) (Асень присоединил также албанские земли с Диррахием).

В сохранившейся надписи в церкви Сорока мучеников в Тырнове от 1230 г., имевшей, несомненно, идейно-политическое значение, царь гордо перечислял свои успехи: победы над греками, подчинение их земель, а также «албанской и сербской страны», а франки Константинополя, заявлял он, покорились его власти, «поскольку не имеют другого царя, кроме меня, и благодаря мне продолжают свое существование» (32, с. 169). Надпись, прославлявшая царя, должна была возбуждать чувство патриотизма и у его подданных.

Особое внимание цари Болгарии уделяли церкви как хранительнице культурно-политических традиций. В отличие от положения дел при завоевании Болгарии Византией, когда болгарское духовенство было заменено греческим лишь постепенно, с появлением вакантных кафедр, при освобождении Болгарии и воссоединении ее бывших территорий греческое духовенство покидало свои приходы, уходя на земли, оставшиеся под властью ромейских правителей. Это облегчало проблему смены греческого духовенства болгарским, а следовательно, и возобновление богослужения на болгарском языке. Так, в западноболгарских землях (где Охридская архиепископия сохранила статус автокефальной) иерархи-греки сменились болгарскими при Калояне, а при Бориле, с захватом этих земель Эпирским царством, болгар вновь сменили греки, и, наконец, при Асене II произошла еще одна замена. Все это свидетельствует о том, что государи соперничавших стран строго учитывали настроения, а значит, и этническое (болгарское) самосознание местных жителей (греческие правители стремились его ослабить, а болгарские — усилить). Действительно, и в XIV в. жители западных и юго-западных районов, потерянных Вторым Болгарским царством во второй половине 1240-х годов, продолжали считать себя болгарами. Так, согласно нотариальным венецианским записям 1380-х годов, среди рабов-венецианцев на Крите были «болгары (и болгарки) родом» из Прилепа, Кастории, Охрида, Девола, Преспы, Водена, Битоля (58, с. 196—198). Сведения об этническом происхождении рабов были получены, безусловно, от них самих.

Целям упрочения единства страны, патриотических чувств в народе, его преданности престолу и отечественной церкви служили меры Ивана Асеня II по популяризации культов болгарских святых: он перенес в Тырнов из Средца мощи Ивана Рильского, а из городка, которым владели латиняне, по соглашению с ними, — мощи св. Петки.

Встречу реликвий организовали как народный праздник, Петку объявили защитницей болгар и покровительницей их столицы (58, с. 98).

Характерно, что со времени восстания 1186 г. до правления Борила и в царствование Ивана Асеня II в источниках вновь исчезли упоминания о богомилах. Причина этого, видимо, состояла в том, что и на этот раз народом была осознана необходимость борьбы с внешними врагами. Богомилы активизировались после убийства Калояна в результате боярского (или боярско-византийского) заговора. В 1211 г. на церковном соборе в Тырнове богомилы были осуждены и подверглись репрессиям. Возможно, при первых Асенидах и при Асене II богомилы занимали лояльную позицию в отношении государства, которое, в свою очередь, не преследовало их (12, с. 438—442). Вполне вероятно, что при Бориле в деятельности еретиков отразилось нарастающее в народе недовольство резким изменением политического курса и неудачами в войнах с латинянами и Эпирским царством.

Калоян, под властью которого оказалось немало районов с греческим населением, не претендовал на титул «царя болгар и ромеев» (греков). По-видимому, опасаясь осложнить отношения с папством, покровительствовавшим Латинской империи (как «законной» наследнице Ромейской), болгарский царь, смело нарушавший папские запреты в сфере войны и мира, не решился посягнуть на доктрину, которую отстаивало папство.

Именно к этому периоду можно с уверенностью отнести последовательную, систематическую замену в отечественных памятниках термина «славянский язык» (как средство общения) на понятие «болгарский язык» (Синодик царя Борила, Второе Житие Наума, Солунская легенда и др.). Кирилл и Мефодий уже безоговорочно изображались во многих из этих памятников как болгары по происхождению (20, с. 294, 352, 438). Скорее всего в это время был широко распространен отрицательный стереотип греков, противопоставляемый положительному этническому автостереотипу болгар. Некоторое отражение это нашло уже в оригинальной болгарской вставке в переведенном с греческого «Разумнике» (среди «правовверных» языков болгарский поставлен там впереди греческого) (39, с. 268; 59, с. 61—62; 60, с. 23—32; ср. 61, с. 13). Особенно яркое противопоставление болгар (добрых, «гостеприимных», хранящих правую веру) грекам (хвастливым, лживым, златолюбивым и т. п.) имеется в болгарской версии памятника по названию «Сказание о Сивилле» (версия датируется серединой—второй половиной XIII в.) (59, с. 61—62, 71; 60, с. 23—32; ср. 61).

Итак, в эпоху наивысшего могущества Второго Болгарского царства этническое самосознание болгар еще более окрепло в ходе борьбы с внешними врагами. В целом оно оставалось в это время единым у болгар, как подданных царя Болгарии, так и проживавших на недавно утраченных ею землях. Характерно появление в этот период нового мотива в этническом самосознании болгар — представления о превосходстве своей этносоциальной общности над другими.

4. ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БОЛГАР В ПЕРИОД НАРАСТАНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ СМУТ И ТОРЖЕСТВА ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Краткая характеристика последнего периода истории Второго Болгарского царства отражена в заголовке данного раздела. В сфере социально-экономической это было время интенсивного развития частнофеодального (вотчинного) землевладения. Болгария переживала экономический подъем. Возросло товарное производство в имениях феодалов. Расширилась внутренняя и внешняя торговля, в том числе со странами Европы, с Дубровником и с Византией (восстановленной после отвоевания Константинополя у латинян в 1261 г.). Возросло и дифференцировалось ремесленное производство. Характерной общеполканской (исключая далматинские города) особенностью болгарского города было отсут-

стве цеховой организации, экономическое и политическое за- силье крупных феодалов, эксплуатация горожан со стороны цен- тральной власти, привилегированное положение на рынке инозем- ных купцов, т. е. все те явления, которые были свойственны и со- седней Византии. Постепенно, с ходом экономического райониро- вания территории страны (оформление относительно теснее спаян- ных областей — центра страны, Добруджи и района Видина) и нарастания феодальной раздробленности, экономические связи в масштабах всего государства все более затруднялись.

Внутриполитическая жизнь страны определялась усилением центробежных тенденций. Здесь не сложилась иерархическая структура феодальной собственности, а значит, и система вас- сально-ленных связей. С ослаблением ополчения из свободных крестьян и ростом значения отрядов феодалов и наемных войск (как правило, из кочевников) политика царя все более зависела от высшего боярства. Чаще нарушался принцип наследствен- ности власти. Цари выделяли уделы ближайшим родственникам. Уже в третьей четверти XIII в. стал фактически независимым Ви- дин, на южных и западных окраинах возникали, исчезали и воз- рождались независимые княжества, порой враждебные Тырнову (55, с. 87—109, 115—132). Относительное единство было временно достигнуто при Иване Александре III (1331—1371), но в сере- дине XIV в. окончательно отделилось Добруджанское княже- ство, а независимость Видинского царства, отданного царем в удел сыну, сам Иван Александр узаконил перед смертью. Внутренние смуты осложнялись войнами с Византией, с венграми и Сербией. Наступление османов застало балканские государства в состоя- нии острого соперничества, невозможности объединиться против общего врага. Разумеется, длительная конфронтация, груз про- тиворечий отягчали и самосознание балканских народов в их от- ношениях с соседями, в том числе и болгарского.

Вместе с тем рассматриваемый период ознаменовался новым ярким расцветом болгарской культуры, отразившимся на всех областях духовной жизни общества (62). К тому времени принад- лежит основной корпус источников по истории Второго Болга- рского царства. Среди массы церковно-учительной, дидактической и агиографической литературы сохранилось гораздо больше и свет- ских отечественных произведений и документов (грамоты, над- писи, приписки на полях книг, краткие летописи, панегирики или похвальные слова, письма и послания, путевые заметки и др.). Разносторонне освещена история Болгарии конца XIII—XIV в. и в византийских, латинских, сербских и восточных источниках разных жанров.

Подробный их анализ здесь невозможен. Мы сконцентрируем внимание лишь на ряде центральных проблем, на вопросах: об отражении феодальной раздробленности на этническом самосозна- нии болгар, о месте представлений о славянском единстве в иерар- хии их самосознания и, наконец, о влиянии на этническое само- сознание фактора внешней опасности.

Что касается первого вопроса, то ответ на него особенно труден, поскольку не отразился в источниках: между самостоятельными государствами, на которые распалась Болгария, не было серьезных открытых столкновений. Официальная же титулатура независимых от Тырнова правителей обладает нарочитой невнятностью.

Само население отделившихся от Болгарии княжеств продолжало считать себя болгарами — в источниках оно сплошь и рядом обозначается как «соплеменники» болгар Тырновского царства. Что касается Видинского царства, то современники-иноземцы порой даже идентифицировали его со всей Болгарией. Да и правитель Видина Иван Срацимир, а затем и его наследник официально носили титул «царя болгар и греков» (впрочем, о власти над греками не могло быть и речи). Этническое самосознание подвластного ему населения не претерпело, конечно, существенных перемен, хотя изменялось политическое сознание правящих кругов, лавировавших между Тырновским царством, Королевством Венгрия, Османской империей и Валашским княжеством. Но этнически и сам Срацимир, и его боляре остались истинными болгарами: в 1394 г., уже после падения Тырновского царства, с разрешения османских властей они перенесли из Тырнова в Видин мощи популярных у болгар святых — Филофея и Петки. Целью этого было возбудить этнические чувства подданных, укрепить их надежду на сохранение независимости. Видинский митрополит выразил эту идею в яркой, взволнованной форме («Воздай сему граду, который предоставлен тебе и который наследовал твои славные мощи, спасение и освобождение от злобы язычников, от нападения варваров. . . Утверди и сохрани от испытаний державу твоих христолюбивых царей»).

С гневом и скорбью говорил митрополит о пленении османами патриарха Евфимия Тырновского. В Видине помнили и о том, что его наместник Михаил Шишман был избран на тырновский престол (1323—1330), стал «царем всей болгарской земли». В Житии сербских кралея и архиепископов Шишман, еще не воцарившийся в Тырнове, назван «князем болгарской земли в городе Бдине» (58, с. 136, 137, 169, 442).

В большей изоляции от Тырновского царства и прочих болгарских земель жило население Добруджанского княжества. Этнических меньшинств здесь всегда было больше с давних времен. Экономически район был тесно связан с морской торговлей (63, р. 73—78). Деспот Балик около середины XIV в. отказался признавать власть царя Тырнова. Вел самостоятельную политику и его преемник — брат Добротица (отсюда «Добруджа»). Если Добротица и приходил на помощь Тырнову (в основном путем дипломатических демаршей), то требовал за это территориальных уступок; не помог он Тырнову и во время его осады османами в 1393 г. Судить об этническом самосознании подданных Добротицы невозможно, но вряд ли оно заметно изменилось за полвека независимости Добруджи. Амедей Савойский, осаждая Варну в 1366 г.,

называл ее жителей «болгарами»; затем он замирился с «болгарами». В запродажной раба на Крите от 1374 г. невольник Николай, сын Петра, назван «болгарином из Варны» (58, с. 174, 197).

В официальном же договоре Иванка, сына Добротицы, с генуэзцами (1387 г.) он именуется «деспотом божьей милостью», «господином Иванко», а его подданные неопределенно: «его люди» (58, с. 285—286). Т. е. на право именоваться повелителем «болгар» добруджанский деспот не претендовал (впрочем, титул «деспот» его предки получили от болгарских царей, и титул этот в принципе не содержал указания на подданных, к нему иногда лишь добавлялось наименование подвластной деспоту территории).

Что касается населения мелких независимых, но недолговечных болгарских княжеств, возникавших к югу и западу от Балканского хребта, то оно охотно поддерживало своих воевод и магнатов (единоплеменников) против ромеев, но у этих вождей не было намерений бороться за единую Болгарию. Их цели состояли в сохранении собственной самостоятельности. Избежать подчинения ромеям было при этом господствующим настроением среди болгар. Георгий Акрополит пишет о болгарях в долине Марицы: «Жители, которые были болгарами, переходили на сторону своих соплеменников и избавлялись от ига иноязычников» (57, р. 183).

Византийские, как и болгарские, авторы проявляли повышенный интерес к этническому происхождению видных деятелей и влиятельных лиц: тщательно отмечалось — «полуболгарин-полугрек», «по матери болгарин, по отцу половец», «наполовину серб», «родом болгарин» и т. п. Для Акрополита естественно, что Драгота из Мелника, «как болгарин, хранил ненависть к ромеям» (58, р. 187). Кантакузин считал, что можно довериться известию вестника, «поскольку он был ромеем» (64, с. 226). По мнению Георгия Пахимера, вообще «было бы неразумно, если бы ромеи были подданными болгарина» (64, р. 163).

Не менее трудно сказать, сохранялось ли у болгар сознание славянской этнической общности. Крайняя скудость данных на этот счет предполагает, может быть, отрицательный ответ. Однако некоторые признаки сохранения, хотя бы у части болгар, представлений о славянском единстве имеются. Так, между славянами Солуни и Тырновом в конце XII в. поддерживались какие-то связи, имевшие этнокультурный характер и политическую (антивизантийскую) направленность. Конечно, солуняне доставили в Тырнов (или передали туда) в 1186 г., после разгрома города норманнами, «чудотворную» икону св. Димитрия. Не случайно, видимо, и наименование первого царя Второго Болгарского царства Федора (Петра) Славо-Петром (65, с. 48, 51). В целом, однако, представление о том, что болгары и говорят, и читают на собственном, «болгарском» (а не «славянском») языке стало в XIII—XIV вв. абсолютно господствующим. Даже такой образованный болгарин, владевший и греческим языком, как Григорий Цамблак, прославляя патриарха Тырнова Евфимия, пишет в своей «Похвале», что старые переводы «божественных книг

с греческого на болгарский язык» были плохи и несовершенны. Но традиция называть язык церковных книг «славянским» все-таки сохранялась. При этом имелся в виду не язык славянских народов той эпохи, а язык старославянский, литературный, язык книг кирилло-мефодиевского цикла (т. е. церковнославянский). По всей вероятности, именно в этом значении о «славянском» языке говорится в Житии патриарха Тырнова Феодосия, написанном по-гречески патриархом Константинополя Каллистом; там сказано, что Феодосий «знал наизусть божественное писание на двух языках — на греческом и славянском», умел он и «превосходно переводить с греческого на славянский язык» (58, с. 367, 445).

Но нельзя ли тем не менее допустить, что в кругу образованной элиты Болгарии существовало понимание того, что болгарский язык является одним из славянских языков? В этом смысле можно истолковать анонимное послесловие к Лондонскому евангелию, в котором сообщается, что перевод с греческого был сделан по воле Ивана Александра «на нашу славянскую речь» (58, с. 421). В этих же образованных кругах могло сохраняться и сознание этнокультурной общности славян, ограниченной, однако, лишь славянскими народами «православной веры», т. е. живущими в Сербии и на Руси. Культурные представители именно этих народов наиболее охотно вступали в общение друг с другом. Центрами такого духовного общения болгар, сербов и русских были афонские монастыри и Константинополь, где книжники из славянских стран образовывали особый — славянский кружок (66, с. 107—129; 67). После захвата Болгарии османами болгарские культурные деятели находили благодатную почву для своей деятельности именно на Руси и в Сербии, занимали там высокое положение в церковной иерархии и в обществе. Такой ход дела был бы невозможным, если бы у жителей упомянутых стран сознание вероисповедного единства не восполнялось сознанием и этнокультурной общности. Характерная деталь; после падения Бдина (Видина) в 1396 г., когда все болгарские земли оказались во власти османов, вдова сербского князя Лазаря с разрешения султана перенесла мощи св. Петки в Сербию, дабы святая «послужила» теперь и этой стране (58, с. 450).

В этих же кругах более отчетливо сознавалась принадлежность болгар к восточнохристианскому единству с сербами и греками, а затем — и русскими (к *Rex Orthodoxa*, противостоявшему *Rex Romana*). Особенно ярко это проявилось в годы попыток Византии найти помощь против османов путем церковной унии с папством. Поиски выхода из альтернативы: господство османов или серьезные вероисповедные уступки Западу и папству — наталкивали на мысль о единении всего православного мира на Балканах (68). Раздавались призывы прекратить распри, вспомнить о единстве веры и династических связях. Что же касается поляков, чехов, хорватов, то сознание какого бы то ни было этнического родства с ними как с иноверцами в источниках не прослеживается. Напротив, в «Разумнике» хорваты и «ляхи» («лехи») фигурируют среди

12 «полуверных» народов (т. е. не исповедовавших православия) (39, с. 268).

В вероучительной литературе Болгарии XIV в. и в грамотах болгарских царей с почтением упоминаются бывшие византийские императоры. В хрисовулах Сербии (как и Болгарии) утверждались заново пожалования в пользу церкви и монастырей со стороны правителей-греков. В Житии Феодосия греческий патриарх Каллист говорит о царственном городе Болгарии Тырнове как о «втором после Константинополя и словом, и делом». В Виргинской грамоте Константина Асеня дается высокий отзыв о «благочестии» жупанов, князей и краевых сербской земли. Византия первая приняла на себя удар османских полчищ — в анонимной Болгарской хронике конца XIV—начала XV в. с глубоким сочувствием упомянуто о «бедных греках», как и о павших в 1371 г. в битве с турками сербских ополченцах (58, с. 181, 184, 215, 232, 239, 259—300 и др.). Возможно, эти элементы этносоциального самосознания болгар были отчасти свойственны и широким слоям населения, но они не претворились в практической деятельности, как и в Византии и в Сербии, а поэтому остались почти не отраженными в источниках.

И все-таки случай такого осознания народной опасности имел место со стороны самого угнетенного класса Болгарии, причем осознания, претворенного в широкое вооруженное восстание. Мы имеем в виду восстание Ивайла в 1277—1278 гг. Будучи антифеодальным, оно было по крайней мере до воцарения вождя в 1278 г. также народно-освободительным. Его непосредственной причиной были данническая зависимость Болгарии от татаро-монголов, установленная в результате их нашествия еще в 1242 г., и опустошительные набеги конных татаро-монгольских орд, от которых страдали прежде всего крестьяне. Народ сам поднялся на свою защиту, видя бессилие властей, и, прежде чем добывать трон для своего вождя, изгнал чужеземцев из страны (69; 70, с. 173—260). Это было последнее активное вмешательство народа в ход событий. Через 80—90 лет, когда османы развернули наступление на Балканах, крестьянство в массе уже было закабалено господами, разобщено феодальными перегородками обособившихся вотчин, уделов, княжеств и царств.

И наконец, последний вопрос — об особенностях этнического самосознания болгар в условиях острой внешней опасности. К сожалению, конкретных данных об этом немного. Чувство тревоги за будущее было, вероятно, всеобщим. Обнаружившееся у части знати во главе с самим патриархом Евфимием тяготение к мистическому, взывавшему к отречению от мира и пассивному созерцанию учению паламитов, официально восторжествовавшему в византийской церкви, сменилось лихорадочными поисками выхода и обращениями к народу сплотиться в преданности царству и вере (71, с. 56—78). Именно такой была эволюция взглядов патриарха Евфимия Тырновского, ставшего в 1393 г. главным организатором обороны столицы. Он развивал в сочинениях идеи пат-

риотизма, утверждал у болгар чувство гордости прошлым своего народа, призывал к единству перед лицом грозной опасности.

Титулы царей приобрели в этот период особую пышность и торжественность («во Христе боге верный царь и самодержец болгар», иногда также — «греков») (72, с. 145—194). В храмах молились за спасение и победы государей. Фиксировались места, где побывал царь, делались надписи на камне, на котором он сидел, на стенах крепости, которую он воздвиг. В «Синодике в неделю православия» подчеркивались глубокие исторические традиции Болгарского государства. Именно с этой целью в него внесли имена всех видных болгар начиная со времени принятия христианства. Характерна одна из последних записей: «Вечная память. . . тем, которые положили душу свою за словесное стадо Христово. . . и пролили свою кровь за род Болгарского царства. . .» (73, с. 89; 58, с. 301).

Нет сомнений в прочности этнического самосознания болгарской народности в канун завоевания страны османами. Доказательство этого — упорное сопротивление превосходящим силам турок населения Средца, Силистры, Тырнова, Варны, Никополя и других городов и крепостей (74). Сознание особенностей своей этносоциальной общности, своеобразия и высокого уровня культуры стало одним из важнейших факторов сохранения болгарской народности в течение полутысячелетия османского владычества.

1. *Литаврин Г. Г.* Формирование этнического самосознания болгарской народности (VII—первая четверть X в.) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
2. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1981.
3. *Ангелов Д.* Образуване на българската народност. С., 1980.
4. *Ангелов Д.* Общество и обществена мисъл в средновековна България. С., 1979.
5. *Ангелов Д.* Българинът в средновековието (светоглед, идеология, душевност). С., 1985.
6. *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973.
7. *Бромлей Ю. В.* Очерки теории этноса. М., 1983.
8. *Литаврин Г. Г.* Темпове и специфика на социално-иномическото развитие на средновековна България в сравнение с Византия (от края на VII до края на XII в.) // ИП. 1970. № 6.
9. История на България. С., 1981. Т. 2: Първа българска държава.
10. *Литаврин Г. Г.* Формирование и развитие болгарского раннефеодального государства (конец VII—начало XI в.) // Раннефеодальные государства на Балканах. VI—XII вв. М., 1985.
11. *Gjuselev V.* Allgemeine Charakteristik und Etappen der Errichtung des ersten bulgarischen Staates: von 7. bis 11. Jh. // Etudes balkaniques. 1978. N 3.
12. *Ангелов Д.* Богомилството в България. С., 1969.
13. *Драгојловић Д.* Богомилство на Балкану и у Малој Азији: Богомилство на православном истоку. Београд, 1982.
14. *Литаврин Г. Г.* О социјалних воззрениях богомилов // Богомилството на Балканот во светлината на новите истражувања. Скопје, 1982.
15. *Fine Jr.* The Bulgarian bogomil movement // The East European Quarterly. 1977. V. XI. N 4.
16. *Antoljak St.* Die Wahrheit über den Aufstand der Comitopulen // Actes du IIe Congrès International des études du Sud-Est european. Athènes, 1972. T. II: Histoire.

17. *Leroy-Molinghen A.* Les fils de Pierre de Bulgarie et les Cométopules // *Byz.* 1973. Т. 43 (2).
18. *Геофилакт.* Климент Охридски / Превод от гръцки оригинал от Ал. Милев. С., 1955.
19. *Литаврин Г. Г.* Особенности этнического самосознания населения пограничной зоны между Болгарией и Византией в X—XIV вв. // *Этнические процессы у народов Центральной и Юго-Восточной Европы.* М., 1988. С. 64—79.
20. Христоматия по истории на България. С., 1978. Т. 1.
21. ГИБИ. С., 1965. Т. VI.
22. *Иванов И.* Български старини из Македония. С., 1970.
23. *Антольак Ст.* Самуиловата држава. Скопје, 1969.
24. *Гюзелев В.* Функциите и ролята на кавхана в живота на първата българска държава / ГСУ. История. 1967. Т. 60. Кн. 3.
25. *Ангелов Д.* По въпроса за населението в Македония през средновековната епоха (VII—XIV в.) // *Изкуство.* 1982. № 4/5.
26. *Заимов И., Тъпкова-Заимова.* Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български: Старобългарски паметник от 1015—1016 г. Иван Владислав и неговият надпис. С., 1970.
27. ГИБИ. С., 1965. Т. VI.
28. *Бегунов Ю. К.* Козма Пресвитер в славянских литературах. С., 1973.
29. *Литаврин Г. Г.* Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960.
30. *Литаврин Г. Г.* Условия развития болгарской культуры в XI—XII вв. // *История и культура Болгарии.* М., 1981.
31. *Wasilewski T.* Administracja byzantynska na ziemiach slowianskich i jej polityka wobec slowian w XI—XII w. // *КН.* 1963. N 2. 70.
32. История на България. С., 1982. Т. 3: Втора българска държава.
33. *Psellos M.* Chronographie / Texte établi et traduit par E. Renauld. P., 1967. Т. 1.
34. *Ioannis Scylitzae synopsis historiarum* / Ed. J. Thurn. Berolini. N. Y., 1973.
35. *Литаврин Г. Г.* Византийское общество и государство в X—XI вв. М., 1977.
36. *Γεολάχη Εδ. Θ.* 'Η συνέχεια τῆς χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτζη. Θεσσαλονίκη. 1968.
37. *Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor.* Bruxelles, 1975.
38. *Ангелов Д.* Славянският свят през IX—X в. и делото на Кирил и Методий в книжовната традиция // *Старобългаристика.* 1985. № 2.
39. *Иванов И.* Богомилски книги и легенди. С., 1970.
40. *Литаврин Г. Г.* Новое исследование о восстании в Паристрионе и образовании Второго Болгарского царства // *ВВ.* 1980. Т. 41.
41. *Сотпène A.* Alexiade / Texte établi et traduit par V. Leib. P., 1945. Т. 3.
42. *Заборов М. А.* Введение в историографию крестовых походов. М., 1966.
43. *Литаврин Г. Г.* Становление Второго Болгарского царства и его международное значение в XIII в. // *Etudes balkaniques.* 1985. N 3.
44. *Петров П.* Возстановяване на Българската държава. 1185—1197. С., 1985.
45. *Nicetae Choniatae Historia, rec, J. Aloisius van Dieten.* Berolini et Novi Eboraci, 1975.
46. *Malingoudis Ph.* Die Nachrichten des Niketas Choniates über die Entstehung des zweiten bulgarischen Staates // *Byz.,* 1978. Т. 10.
47. *Литаврин Г. Г.* Влахи византийских источников X—XIII вв. // *Юго-Восточная Европа в средние века.* Кишинев, 1972.
48. *Горина Л. В.* Социально-экономические отношения во Втором Болгарском царстве. М., 1972.
49. *Цанкова-Петкова Г.* За аграрните отношения в средновековна България. XI—XIII в. С., 1964.
50. *Цанкова-Петкова Г.* България при Асеновци. С., 1978.
51. *Божилков И.* Фамилията на Асеновци: Генеалогия и просолография. С., 1985.
52. Латински извори за българската история. С., 1965. Т. 3.
53. *Ioannis Cinnami epitomae rerum.* . . Bonnae, 1836.

54. *Гюзелев В.* Българската и римската църква (IX—XIV в.) // България в света от древността до наши дни. С., 1979. Т. 1.
55. *Данчева-Василева А.* България и Латинската империя (1204—1261). С., 1985.
56. *Цанкова-Петкова Г.* Восстановление болгарского патриаршества в 1235 г. и международное положение Болгарского государства // ВВ. 1968. Т. 28.
57. ГИБИ. 1971. Т. VIII.
58. Христоматия по истории на България. С., 1978. Т. 2.
59. *Милатенова А.* «Сказание за Сивила» // Старобългаристика. 1984. № 4.
60. *Тъпкове-Займова В.* «Пророчествата» във византийската и старобългарската книжнина // Старобългаристика. 1984. № 3.
61. *Ангелов Б.* Из старата българска, руска и сръбска литература. С., 1967. Кн. II.
62. *Гюзелев В.* Училища, скриптории, библиотеки и знания в България. XIII—XIV в. С., 1985.
63. *Kizev A.* Die mittelalterliche Stadt Varna // Le pouvoire central et les villes en Europe de l'Est et du Sud-Est du XVe siècle aux début de la révolution industrielle: Les villes portuaires. S., 1985.
64. ГИБИ. 1980. Т. X.
65. *Дуйчев И.* Проучвания върху българското средновековие. С., 1945.
66. *Дуйчев И.* Центри византийско-славянского общения и сотрудничества // ТОДРЛ. 1963. Т. 19.
67. Руско-български връзки през вековете. С., 1986.
68. *Таркова-Займова В.* L'idée byzantine de l'unité du monde et l'état bulgare // Actes du I-er Congrès International des études balkaniques et sud-est européennes: Histoire. S., 1969. V. 3.
69. *Ангелов Д.* Ивайло. С., 1954.
70. *Петров П.* Въстанието на Ивайло (1277—1280) // ГСУ. Филос.-ист. ф-т. 1956. Т. 49 (1).
71. *Ангелов Д.* Исихазмът — същност и роля / Старобългаристика. 1981. № 4.
72. *Бакалов Г.* Средновековният български владетел (Титулатура и инсигнии). С., 1985.
73. *Попруженко М. Г.* Синодик царя Борила. С., 1928.
74. *Цветкова Б.* Героичната съпротива на българите против турското нашествие. С., 1960.

«БОЛГАРСКАЯ АПОКРИФИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ» КАК ПАМЯТНИК ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ БОЛГАР

С. А. Иванов

Широко признано важно значение оригинального памятника болгарской литературы «Болгарская апокрифическая летопись», или «Сказание Исаяи»: этот источник неизменно учитывается в исследованиях по истории и литературе Болгарии периода византийского господства. И тем не менее изучен он крайне плохо: неясна его хронология, лишь недавно поставлены проблемы авторства, источников, а вопрос о структуре Летописи даже не сформулирован. Между тем памятник имеет прямое отношение и к проблеме самосознания. Мы согласны с исследователями, датирующими его

третьей четвертью XI в. (1, с. 94—95). Последнее точно датированное событие Летописи — печенежское вторжение 1048 г. Указание на натуральную форму податей при царе Симеоне (2, с. 283) полемически заострено, по нашему мнению, против денежных налогов, введенных в конце 30-х годов XI в. (3, с. 315): во время создания памятника воспоминания об этой коммутации были еще живы. Что же касается фигурирующих в Летописи «куманов», то это аллюзия не на знакомство с реальным племенем под таким названием в конце XI в., а, скорее, на литературную легенду, бытовавшую в Византии в X в. (4, с. 41). Да и весь цикл апокрифов, с которыми Летопись имеет много общего, тяготеет именно к третьей четверти XI в. (5, с. 68). Автором ее, по всей видимости, был монах (5, с. 67—68), для мировоззрения которого характерно сочетание православных и богомильских черт (2, с. 275—276). Он использовал как устную традицию, так, возможно, и какие-то письменные источники (4, с. 44; 5, с. 87; 6, с. 187).

Первые исследователи Летописи К. Иречек и И. Иванов отрицали ее значение как исторического источника (2, с. 273, 279). Этот вывод отнюдь не предполагает, что сюжетам памятника нет соответствий в реальной истории, однако невозможно верифицировать те сюжеты, о которых не сообщают независимые источники. Рассказ Летописи — не аллегория (содержание которой кодировано сознательно и однозначно), а легенда: автор явно представлял себе историю примерно так, как ее изложил. Поэтому, на наш взгляд, экзегетический подход к данному произведению не вполне правомерен: мифического Изота Летописи можно отождествить с Крумом (6, с. 184), а можно и с Омуртагом (4, с. 43), ибо сам летописец не знал ни Крума, ни Омуртага *. Он знал Изота. Это важно с точки зрения того, что из реальной истории сохранилось в народной памяти, а что мифологизировалось. Поэтому мы будем подходить к Летописи не как к изложению истории, а как к свидетельству об особенностях ее восприятия. Например, понимая, что «исполины» нашего памятника — это русская дружина Святослава, мы вовсе не думаем, что летописец тоже знал это. Напротив, ему это было неизвестно. Важно, однако, что в коллективной памяти болгар вторжение древних русов в 968—971 гг. преобразилось именно таким образом. Избранный аспект позволяет отрешиться от поиска конкретных путей преосуществления истории в миф: так, оценка Василия II могла быть заимствована из какого-либо византийского богомильского источника, но могла оказаться и реакцией на умеренную политику императора в завоеванной Болгарии. Для нас важнее всего тот факт, что, каков бы ни был генезис данной оценки, она свидетельствует о забвении зверств Василия в период покорения Болгарии. Поскольку апокрифы в средние века выполняли функцию «массовой литературы», можно

* Предположение, что автор зашифровал известные ему исторические события, открывает путь для самых произвольных толкований. Ср.: 7, с. 122—158.

полагать, что отразившееся в Летописи мировосприятие находило отклик у значительных слоев болгарского населения, и, следовательно, мы вправе использовать этот памятник как свидетельство самосознания болгар, а не только одного летописца.

Структура представленного в Летописи самосознания многослойна. Прежде всего, болгары для автора — единый народ. Живой памяти о том, что некогда он образовался из двух этносов, в апокрифе нет. Из властителей, фигурирующих в Именнике болгарских ханов, Летопись знает только Аспаруха (Испора). Мало того, «первым царем в болгарской земле» назван не он, а мифический Слав (гл. II), т. е. славянский элемент поставлен впереди протоболгарского (8, с. 74), даже если допустить, что память о последнем как-либо сохранялась. Никакого «тюркского оттенка» в апокрифе нет (в отличие от Именника); ни один правитель не назван ханом или хаганом (9, с. 48), а второе имя Деляна «Гаген» независимо от своего происхождения не воспринималось автором как титул. Единственное отличие Испора от других властителей Летописи — указание на его рождение от коровы (гл. III), что восходит скорее к мифологии оседлых славян (ср.: 10, с. 5) *, чем к преданиям кочевников. Итак, болгары предстают в Летописи как славянская народность.

Чрезвычайно интересно, что самый этноним «болгары» вводится в апокрифе как бы дважды: во II главе бог повелевает Исае: «Отлучи третью часть от коумани, рекоми бльгаре», а в следующей главе говорится: «И по умретью же Испора цара бльгарского, нарекошесь ** коумане бльгаре, а прежде бяхоу Испора цара погани зело. . . и бивахоу всегда врази гръчьскомуу царствоу. . .» Перед нами сразу несколько противоречий: во-первых, непонятно, назывались ли куманы болгарами изначально или же обрели это имя только после смерти Испора; во-вторых, о крещении Болгарии рассказывается лишь в V главе, и, значит, «погаными» (язычниками) болгары оставались, по логике самой Летописи, и при Испоре, и при Изоте; в-третьих, во II главе летописец утверждает, что земля, занятая болгарами, «бьяше бо опоустела оть елинь за 130 леть»; о вражде с «греческим царством» не сказано ни слова. Однако все эти парадоксы разрешимы, если мы допустим, что понятие «болгары» воспринимается автором на двух разных уровнях: во II главе это лишь имя, в III — уже «качество». Возможно, в исторической перспективе двойное введение этнонима отразило реальную метаморфозу понятия «болгары»: в VII в. это тюркская кочевая орда, а к X в. — единый славянский народ. Однако для нас важнее этическое осмысление этой двойственности: куманы, первоначально являвшиеся болгарами лишь по имени, приди

* Хотя В. Бешевлиев и утверждает, будто в Летописи заметны «два предания: славянское, сильно поobleкшее, и протоболгарское, еще живое» (4, с. 41), однако сам он не относит упомянутый мотив к протоболгарским мифам (11), хотя в этом исследовании даже Слав Летописи объявлен тюркским героем (11, с. 87).

** Мы следуем новейшему прочтению, предложенному А. А. Туриловым.

и осев на землю, заселив города и основав собственные, получив своих царей, научившись побеждать врагов (обо всем этом и рассказывается во II и III главах), как бы заслужили право именоваться болгарами в истинном смысле. Так это понятие обретает черты этнического автостереотипа, который всегда положителен. Только в таком контексте понятно странное, казалось бы, противопоставление в цитированном отрывке («нарекoшеся. . . бльгаре, а прежде. . . погани. . .»): пусть даже болгары формально оставались язычниками, но, став настоящими болгарами, они уже не могли быть «погани зело и безбожныи соуште и въ нечъстиа много». Точно так же не могли они отныне быть и «врази гръчьскому царьствуоу на лета много». Дружба с греками предстает здесь как неотъемлемая черта истинных болгар. Но об этом ниже.

Летопись создавалась в мрачную эпоху болгарской истории, и ее автор видел свою задачу в том, чтобы вдохновить соотечественников примерами славного прошлого, напомнить о древней государственной традиции Болгарии. Цари здесь возводят новые города (Испор, Изот, Симеон, Селевкий, Константин, Никифор, Гаген), выказывают святость и целомудрие (Борис, Петр, Константин, Василий, «сын Феодоры»), побеждают врагов (Испор «множество много измаильтене погоуби», Изот «погуби Озия царя. . . и Голиада фруга поморского», Никифор «погуби Максимиана царя безаконного», Василий «погуби. . . език погание»), страна при них благоденствует (гл. VI, VII, XII, XVI). Но кроме народностного патриотизма существовал и «христианский патриотизм, странный и чуждый современному способу мышления» (12, с. 24). Основная его черта — мессианиззм, ярко проявляющийся в Летописи: самым богом предначертано болгарам населить «землю Карвунскую», и ведет их туда Исая, самый популярный у богомилов пророк (2, с. 200). Автор уподобляет болгар евреям, идущим в землю обетованную, а Исаяю — Моисею; библейская аллюзия усиливается еще одной деталью: «поведоух ихъ поутем, тръстию показоуе» (ср. Моисеев посох). Самый факт столь высокого покровительства языческому народу свидетельствует о его важном предназначении. И все же мессианизм апокрифа отступает на второй план, лишь только перед летописцем встает проблема взаимоотношений с греками. Продолжение библейской метафоры требовало бы от автора показать, что болгары отвоевали себе новую родину, но он предпочитает говорить про «землю Карвоунскоую, еже опоустише римляне и елини», что та «бъаше бо опоустела от елинь за 130 летъ».

Византийцы называли эллинами язычников, но чаще всего своих, принадлежащих к римскому культурно-государственному кругу. Судя по контекстам (гл. II, VII, VIII), так же понимает это слово и автор апокрифа. Казалось бы, нет ничего предосудительного в том, чтобы богом избранный народ силой отвоевал обетованную землю у язычников, тем более что ниже (как бы задним числом) летописец признается, что до Испора болгары-куманы «бивахоу всегда врази гръчьскому царьствуоу». И все же

автор не хочет описывать, как болгары (пусть даже еще «не настоящие») отторгли землю у империи (пусть даже еще «языческой»). Так лояльность по отношению к византийской государственности с самого начала выступает не менее четко, чем конфессиональная и этническая. Впрочем, конфликт снимается крещением Болгарии (гл. V) и Византии (гл. VII—VIII). Начинается мистическое объединение православных народов под одним скипетром; Петр оказывается первым общим царем: «Преем царство бльгарское. . . царь Петр, и быст царь бльгаромь еште же гркомь». Затем властителями «царства болгарского и греческого» названы Алусиан (гл. XIII), «сын Феодоры» (гл. XVI), Гаген (гл. XVII), Тургин (гл. XIX — имя этого загадочного персонажа мы склонны связывать не с реальными турками, а с византийским названием венгров). Да и остальные цари мыслятся автором как вселенские православные государи. При этом отнюдь не предполагалось подчинение греков болгарам — речь идет скорее о некоем христианском симбиозе. Конечно, болгарам отведено первое место, но и греки не обижены: апокриф подробно рассказывает о событиях в империи (гл. VII—VIII), а персонажи, явно имеющие прототипами византийских императоров, называются царями болгарскими — таковы Никифор (какой из двух византийских Никифоров, неясно (7, с. 140) и не столь важно), Роман (Аргир) и, наконец, Василий — тот самый Василий II, который ликвидировал независимость Болгарии и получил прозвище Болгаробойца. В Летописи он удостаивается такой характеристики: «И приеть Василие царство и погоуби все земле ратние и език погание, яко неки моужь храбрь. Въ дъни Василиа царя много блага быша въ людехъ. Пребысть же Василие въ царстве си леть 30, ни жени ни греха имее, и благословено бысть царство его» (2).

В научной литературе эти особенности Летописи не нашли объяснения. Наша задача состоит в том, чтобы понять, как в сознании людей той эпохи сочеталось стремление к независимости (доказанное многочисленными антивизантийскими восстаниями и самим возрождением болгарской государственности) и отмеченная выше интериоризация политической жизни угнетателей.

Заметим, что, восхваляя Василия, автор Летописи умалчивает о завоевании им Болгарии. С другой стороны, Гаген-Одолоен, т. е. Петр Делян, глава антивизантийского восстания, бушевавшего на памяти старших современников автора, вызывает у последнего несомненную симпатию. Однако о самом восстании в апокрифе — ни слова. «И потомь изыде инь царь. . . Оделень, красн зело. И тыи преем царство бльгарское и гръчское. . . И създа 3 градове въ земли бльгарской». О гибели его сказано туманно: «Оусекновень бысть оть иноплеменника». Эта фраза справедливо расценивается как отголосок участия норманнов в подавлении восстания в 1041 г. (5, с. 63—64). Для нас же интересно, как летописец цепляется за любую возможность скрыть антагонизм между болгарами и ромеями. Итак, неизвестный составитель апокрифа с любовью пишет об эпохе болгарской независимости,

но сочувственно говорит и о византийских правителях периода господства империи; он не забывает о «национальных» интересах, но помнит и о византийских. Как возможен компромисс между столь несовместимыми позициями? Автор достигает его с помощью двух принципов — ойкуменизма и эсхатологизма.

Византийская политическая философия строилась на аксиоме превосходства императора над всеми остальными суверенами. Молодое Болгарское государство частично заимствовало этот принцип, а царь Симеон даже хотел объединить православный мир под собственным скипетром. Пусть в действительности объединение произошло позже и осуществили его ромеи, но сама идея единства находила, видимо, определенный отклик в сознании части правящего класса Болгарии. Этому способствовал и «наднациональный» характер византийской монархии. Отметим, что соединение болгарской и византийской истории в Летописи, о котором говорилось выше, начинается не с Симеона, имя которого ассоциировалось лишь с военным воплощением идеи ойкуменизма, но с его сына Петра. Его длительное мирное правление стали воспринимать как эпоху истинной конвергенции православных держав. Военная развязка этой эпохи и завоевание Болгарии не вписывались в христианскую модель, и эти события в Летописи нарочито пропущены; в ней названы самые различные враги болгар, как реальные, так и сказочные: «измаильтяне», «эфиопы», печенеги, «исполины»*, но вот для главного врага (ромеев) места не нашлось. Ведь ромей Василий II осуществил тот самый принцип ойкуменизма, за который веком раньше боролся болгарин Симеон. Летописец молчит об этих усилиях обоих правителей; видимо, он не одобряет вызванных ими кровопролитий, но готов одобрить полученный результат — единую православную империю.

Что касается принципа эсхатологизма, то он проявляется в Летописи не сразу. То, как автор излагает события до середины X в., обнаруживает некоторое «чувство истории», определенную соразмерность: после Аспаруха, несомненно заслужившего особого упоминания в летописании, следует мифический Изот, словно воплотивший всю череду менее видных правителей, а затем — сразу Борис, креститель Болгарии. С него как будто начинается уже реальная, а не легендарная история: последовательность Летописи Борис — Симеон — Петр истинна. Кажется, что чем ближе автор подходит к современности, тем больше история оттесняет миф. Но эта иллюзия рушится тотчас после рассказа о смерти Петра. Тон повествования резко меняется: из эпичного и неторопливого он становится нервным и сбивчивым, мерное чередование правителей сменяется калейдоскопом царей, в большинстве своем лишенных какой бы то ни было индивидуальности (иногда — даже имен). Чем ближе к современности, тем меньше реальных событий, тем

* Упоминание о них является еще одной, не замеченной до сих пор богомильской чертой Летописи: в мифологии богомилов «исполины» играли важную роль (13, с. 1305).

больше Летопись напоминает апокалипсис. Почти все совпадения между нею и другими апокрифами той эпохи (именно они позволяют постулировать наличие единого литературного цикла — 5, с. 55—56) содержатся во второй части произведения. Из рассказа о прошлом Летопись превращается в пророчество о будущем*. Эсхатологизм предсказаний не оставляет места для злости дня: различия болгар и греков отступают перед лицом грядущего конца света, история рассыпается в хаос. Другие апокрифы того же периода — «Сказание Исайи», «Видение Даниилово», «Толкование Даниилово» — демонстрируют то же «рассыпание истории» (популярность этих сюжетов в болгарской среде делает для нас несущественным то обстоятельство, что многие из них восходят к греческим прототипам). Отличие Летописи в том, что она показывает этот процесс как закономерный итог исторического развития.

Самый факт появления этих памятников свидетельствует о том, что эсхатологические настроения в конце XI в. широко распространились в Болгарии. Обычно причину этого усматривают в приближении 1092 г., т. е. 6600 г. от сотворения мира, с которым христианская мистика связывала ожидание конца света (5, с. 62). Но существовали, возможно, и более глубокие корни для вселенского пессимизма: после мощных восстаний против византийского господства в 1040—1041 гг. и в 1072 г. в повстанческой деятельности болгар заметен спад, «восстания локальны и быстро затухают» (3, с. 426). Этот период продолжался до победоносного восстания 1186 г. Поскольку интересующие нас апокрифы (включая Летопись) создавались накануне этого длительного «глухого» периода, логично допустить, что в них отразился дух безысходности и уныния. Стоит ли бороться, если мир приближается к своему концу, общему и для болгар, и для греков. Конечно, подобные настроения не были всеобщими, но и их, видимо, нельзя сбрасывать со счета.

Итак, специфика Летописи состоит в ее двойственном характере: реальное историческое время сосуществует в ней с апокалиптическим безвременьем. Это обстоятельство чрезвычайно важно при выяснении структуры этнополитического самосознания тех социальных групп, мироощущение которых отражала Летопись: по нашему мнению, идея единства болгарского народа сосуществовала у них с лояльным подданством Византийской империи; гордость за отечественную историю уживалась с уверенностью в превосходстве религиозного над этническим; пессимизм соседствовал с надеждой; эсхатологизм был оборотной стороной мессианизма. Соотношение этих уровней самосознания было, конечно,

* Между двумя половинами Летописи много и чисто формальных различий: так, в первой части самая характерная формула воцарения «преем царство», во второй — «встань инь царь», «обретеся инь царь»; основанные царями города в первой части перечисляются с повторением одного слова «сзда», во второй — под номерами и т. д. Видимо, одна восходит к историографической традиции, вторая — к фольклору.

разным в разные периоды и у разных социальных групп. К сожалению, скудость источников не позволяет детализировать картину. Однако самый факт усложнения иерархии болгарского этнополитического сознания в эту эпоху доказывается анализом не только апокрифов, но и многих других явлений реальной истории.

1. *Каймакамова М.* Две старобългарски летописни съчинения от XI в. // ИИ. 1976. Т. 32. № 5.
2. *Иванов Й.* Богомилски книги и легенди. С., 1970.
3. *Литаевин Г. Г.* Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960.
4. *Бешевлиев В.* Началото на Българската държава според апокрифен летопис от XI в. // Средновековна България и Черноморието. Варна, 1982.
5. *Милтенова А., Каймакамова М.* Неизвестно старобългарско летописно съчинение от XI в. // Старобългаристика. 1983. VII. № 4.
6. *Дуйчев И.* Едно легендарно сведение за Аспаруха // Vjesnik za arheologiju i historiju Dalmatinsku. 1954. V. 56/59, N 2.
7. *Венедиков И.* Военното и административното устройство на България през IX и X в. С., 1979.
8. Развитие етнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
9. *Венедиков И.* Медното гумно на прабългарите. С., 1982.
10. Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2.
11. *Бешевлиев В.* Първобългарите: Бит и култура. С., 1981.
12. *Angelov D.* Patriotism in Medieval Bulgaria // Bulgarian Historical Review. 1976. IV. N 2.
13. *Euthymii Zegabeni Panoplia dogmatike* // Patrologia Graeca. P., 1860. V. 80.

ИСТОРИЯ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА И ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ БОЛГАР В XII—XIV вв.

Е. В. Чешко

История болгарского языка XII—XIV вв. охватывает так называемый среднеболгарский период, с которым в живом болгарском языке связан переход от синтетизма к аналитизму, определивший особую судьбу болгарского языка в семье славянских народов. Ярче всего этот процесс проявился в утрате склонения. Отражение утраты склонения в среднеболгарских рукописях может быть принято как рубеж, разделяющий ранний и поздний среднеболгарский период в истории болгарского языка.

Язык является существенной характеристикой этноса, так как общность языка предполагает не только общий запас языковых знаков и наименований, но также общий фонд понятий и суждений, составляющих значение языковых знаков, а также общность чувств, способов поведения и оценки, вызываемых языковыми сообщениями, что вместе с тем составляет важные признаки самого этноса. Как часть этноса язык может быть объектом этнического самосознания, т. е. объектом сознательного отношения языкового

коллектива, которое проявляется в оценке состояния языка, соответствия возлагаемым на него функциям, определяемым целями, которые ставит перед собой этническое сообщество на данном этапе его развития, а также в заботе о совершенствовании языка, его нормировании. Такому сознательному воздействию общества подвергается в первую очередь язык письменности, литературный язык, понимаемый как язык сознательно нормируемый. Поэтому история литературного языка, определение ведущих тенденций, этапов и закономерностей его развития в связи с развитием самого этнического сообщества, является одним из важных аспектов изучения истории этнического самосознания.

Однако развитие литературного языка определяется не только целями, которым он должен служить, но также той языковой ситуацией, которая сложилась к данному периоду, т. е. соотношением литературного языка с живым народным языком и с другими языками, с которыми он вступает в контакт. Языковая ситуация во многом определяется историческими судьбами данного народа и его языка. Здесь следует указать на «интенсивное» языковое общение между болгарскими славянами и другими народностями и племенами Балканского полуострова в период до XIV в. как на важное условие специфического хода развития болгарского языка от синтетизма к аналитизму» (1, с. 173).

Роль языка в развитии этнического самосознания связана прежде всего с прагматическим аспектом функционирования языка (симптоматической функцией — выражением чувств и эмоций, сигнальной функцией, направленной на то, чтобы вызвать у получателя информации определенное поведение, определенные действия, а также функцией оценки — положительного или отрицательного отношения к тем или другим явлениям, которая находится в определенной связи с симптоматической и сигнальной функциями (2, с. 20). Людвиг Фейербах, говоря о действительности и значении религиозного языка, писал: «Слова обладают революционной силой, слова владеют человечеством. . . Поэтому религия должна признать силу слова божественной силой» (3, с. 112). Отношение священного писания к слову как аналогу божественной сущности определило отношение к письменному литературному языку, который был создан славянскими просветителями Кириллом и Мефодием для проповеди христианства среди славян. И в дальнейшем на всем протяжении его истории, как в Болгарии, так и в других странах православного славянства, язык богослужебных книг служил образцом нормированного литературного языка, и ранее, чем другие виды письменности, отражал проводимые по упорядочению и совершенствованию литературного языка реформы. Поэтому характер сохранившихся среднеболгарских источников (это главным образом тексты конфессиональной литературы) дает возможность проследить историю норм книжного языка в Болгарии.

Сложность изучения процесса перехода живого языка от синтетизма к аналитизму связана с почти полным отсутствием текстов

деловой и светской письменности. Известным исключением является Троянская притча (4, с. 147—188; 5, л. 42—63), которая в Ватиканском списке Манасиевой хроники XIV в. представлена в двух вариантах — на книжном языке и на языке, близком к народному. Косвенным источником может служить также язык Чергетских молитв XIII в. (6) и валахские грамоты, сохранившиеся с XV в. (7), а также грамоты болгарских царей (8) и отчасти эпиграфические материалы (9, с. 33—48).

Два обстоятельства играли решающую роль в истории среднеболгарского литературного языка: изменение языковой ситуации и сохранение литературным языком болгар двойной функции — литературного языка в пределах Болгарии и общеславянского литературного языка. Именно общеславянская функция, т. е. восприятие своего литературного языка не как узколокального языка только болгарской народности, а как языка, объединяющего весь православный славянский мир, имела первостепенное значение для сохранения литературным болгарским языком архаического строя, общего с другими славянскими языками. Нормализация литературного языка углубляла разрыв между живым и литературным языком, так как все эпохи усиленной нормализации (при Асене II и при Евфимии Тырновском) связаны с архаизацией литературного языка (10, с. 67—72).

Можно привести некоторые свидетельства из рукописей XIII—XIV вв., говорящие о восприятии книжного языка как языка болгарского и вместе с тем — славянского, адресованного всем славянам. Так, в рукописи середины XIII в. Скопской миссии, в службе Кириллу, читаем: и послѣ тѣхъ ѡчитѣ книгами равно българскими: азыки западныхъ ѡче кириле прѣславне: . . . книгами българскими вѣжне: азыки ѡбогати ги билъ разбѣмъ. . . проповѣдалъ вѣсѣмъ странамъ и азыкомъ вѣсѣмъ глѣ: и книгами българскими. . . И далее: рѣшитѣ книгами словѣнскими триязычници крѣпко повѣдиѣ» (11, с. 291—292, 295).

Развитие письменности и литературного языка во многом определяется историческими судьбами болгарского народа. В XII в., в период византийского ига, сокращается производство богослужебных книг, так как богослужение на славянском языке постепенно вытесняется греческим и сохраняется только в монастырях. Как правило, книги переписываются грамотными книжниками, которые хотя и придерживаются древнеболгарских книжных норм, но вводят известные новообразования в орфографию.

Широкое развитие получает апокрифическая и богомилская литература, носящая демократический характер. Однако эти произведения сохранились лишь в поздних списках и не могут служить источником для изучения литературного языка XII в. Этой цели служат только сохранившиеся от XII в. богослужебные книги: Добромирово евангелие начала XII в. (12), Кюстендильский палимпсест конца XII—начала XIII в. (13), Апостолы — Слепенский (14) первой половины XII в. и Охридский конца XII в. (15). Битольская триодь второй половины или конца XII в. (16),

Григоровичев паримейник конца XII—начала XIII в. (17). Ранее мы специально рассмотрели вопрос о том, к какому периоду следует относить литературный язык этих памятников XII в. (18). Мы могли убедиться в том, что орфографические системы этих рукописей отражают характерные признаки среднеболгарской орфографии. Это прежде всего новые типы смещения или искусственная нормализация употребления кириллических букв *ъ* и *ѧ*, *ж* и *ѧ*, *ѣ* и *ѧ* как следствие противоречия между фонетической системой живого языка, в котором по сравнению с древнеболгарским сократилось количество гласных, и приспособленной к другой фонетической системе кириллической азбукой (19, с. 426).

1) Развилась одноеровые системы письма, употребляющие только *Ъ* или только *Ѣ*, что характерно для среднеболгарских рукописей.

2) Представлена нормированная мена юсов — характерный признак среднеболгарских рукописей. Только в Добромировом евангелии мена юсов имеет ограниченное распространение. Однако аналогичные ограничения представлены в Добрейшевом евангелии (20, с. 58).

3) Отмечено смешение носового *ж* с неносовыми гласными *ѣ* и *ѧ*. Отсутствие таких примеров в Слепенском апостоле находится в полном соответствии с поздними восточноболгарскими рукописями.

4) Орфография *Ѣ* отражает перемены, происшедшие в живых говорах. Таким образом, орфография рукописей XII в. позволяет относить их к памятникам среднеболгарского литературного языка.

В области грамматического строя рукописи XII в. также фиксируют многие явления, типичные для среднеболгарских памятников. Они содержат примеры, свидетельствующие о формировании общей (единой) падежной формы, ошибки в употреблении падежей, особенно после предлогов, аналитические конструкции, которые употребляются параллельно с беспредложными падежными формами. Например: *Прѣ[о]рѣци* на *Д[оу]хъ*, *прѣ[о]рѣци* *Д[оу]хъ* — Григ. пар. 796; в этих рукописях встречается членная форма существительных, например: *ѣко приджътъ къѣ си на родста* — Кюст. 1а; плеонастическое употребление местоимений: *да не би имъ прѣдана индешма* — Кюст. 4б — и другие особенности. А главное, сопоставление с языком рукописей первой половины XIII в. показывает, что принципиальных отличий между собой в отступлениях от древнеболгарского падежного синтаксиса рукописи XII и первой половины XIII в. не имеют. (Это можно проследить по материалам К. Штейнке, который провел сопоставительное исследование падежного синтаксиса Охридского апостола конца XII в. с двумя апостолами первой половины XIII в.) (21)

Все это подтверждает традиционный взгляд на то, что литературный язык рукописей XII в. составляет ранний этап литературного языка среднеболгарского периода*.

* Иную точку зрения см. (22, с. 283).

Новый период болгарской письменности относится к царствованию Асеня II, когда завершается объединение болгарских земель, укрепляется самодержавная власть, утверждается политический и духовный центр Тырново. Расширяется тематика дошедшей до нас рукописной книги. Кроме новозаветных и старозаветных текстов до нас дошли сборники с широким содержанием, например Драганова минея, где приводятся службы и памяти болгарских просветителей и церковных героев (11, с. 296—305), Берлинский сборник (23, с. 18—47; 24, с. 56—68) с нравоучительными и богословско-догматическими статьями, произведения летописно-исторического жанра, такие, как рассказ о зографских мучениках. К этому времени относятся рассказы о Борилевом соборе 1211 г. и восстановлении болгарской патриархии 1235 г. (дошли в списке XIV в. Синодика царя Борила) (25).

Об этом периоде развития письменности в македонских землях В. Н. Щепкин писал: «Очевидно, только промежуток времени 1230—1241 гг. был благоприятен для возрождения славянской письменности, притом особенно, если принять в расчет личность Асеня II и его духовные интересы. Охрида, с восстановленным болгарским патриархом, на время стала важным культурным центром» (10, с. 84). Происходит распространение тырновской книжности в юго-западные области. Так, Болонская псалтырь, как показал на анализе палеографии и языка В. Н. Щепкин, является списком с восточноболгарского оригинала (10, с. 20—36). Охридскую школу В. Н. Щепкин считает лучшей школой письменности того времени. Характеризуя памятники первой половины XIII в., в которых смешение ж и з сведено до минимума, как в Болонской псалтыри, Щепкин пишет: «В таких памятниках и примеры падения флективных форм языка отсутствуют или оказываются спорадическими. Все эти памятники можно относить к первой половине XIII в., именно — к лучшей школе письменности того времени» (10, с. 65). Нормализация письменного языка этого периода характеризуется архаизацией в начертаниях букв и орфографии (10, с. 67—72). Не случайно в рукописях первой половины XIII в. находим иногда более правильное употребление падежей, чем в рукописях XII в., или те же ошибки и новообразования, которые отмечались в рукописях XII в. Так К. Штейнке (24) приводит: ошибки в дательном самостоятельном, конструкция с предлогом СЪ вместо творительного беспредложного, иногда с общей падежной формой, нарушения в согласовании, смешение падежей после предлогов, замена родительного партитивного конструкцией с предлогом ОТЪ (Ѡ хѣѡа да ѡста — Охр. 65б, Ап. № 882 67б). Замену родительного аблятивного родительным с предлогом ОТЪ отмечает Г. Д. Богатырева в восточноболгарском памятнике — Евангелии Кохно: не бойте ѡ ѡубикажцихъ тѣло — 106б (26, с. 60, 70); ошибочное употребление И/В вместо родительного: прежде щестыи днѣ — 61а; И/В вместо дательного: оуп[одо]ви ѡ цѣтко нѣное дѣлагъ д[ѣ]къ — 65б (26, с. 70—71).

В западноболгарском памятнике — Добрейшевом евангелии — Б. Цонев отмечает обычное употребление дательного вместо родительного приименного, ошибки в согласовании падежей, местный вместо творительного, ошибки в употреблении падежей после предлогов (20, с. 92). Отступление от старого синтаксиса наблюдается в употреблении причастий. Отмечено употребление членных форм на -ОТЬ и -ОСЬ. Впервые зафиксирована членная форма в прилагательном ЗЛЫСОТЬ РАБЬ — 23а, «которая показывает, — пишет Цонев, — что уже в XIII в. отделился элемент ОТ как самостоятельная частица, сперва как указательная частица, а потом как член. Как настоящие членные формы рассматриваю: къ поуѣтѣи тои — 35², в соответствии с чем в Зогр. и Мар. стоит къ поуѣтѣи, а в греч. 'εν τῇ 'ἐρήμῳ; вѣ же на мѣстѣ тѣмѣ, идеже пропащѣ иѣа, градъ — Зогр. и Мар. на мѣстѣ, греч. 'εν τῷ τόπῳ» (20, с. 88). В Боловской псалтыри В. Н. Щепкин отмечает членные формы на -осъ и реже -отъ — кесотъ, псалмосъ (10, с. 103).

Итак, в отношении именных форм памятники первой половины XIII в. мало отличаются от рукописей XII в. Не случайно мнения ученых относительно приуроченности отдельных памятников колеблются между XII и началом XIII в. (Охридский апостол, Григоровичев паримейник, Евангелие Кохно).

«Как болгарские царства X в., — пишет В. Н. Щепкин, — оставили свой след в дошедших до нас старославянских рукописях XI-го, так кратковременный расцвет македонской письменности при Асене II продолжал чувствоваться во второй половине XIII-го» (10, с. 85). Тем не менее рубеж первой и второй половины XIII в. является резкой гранью в истории среднеболгарского литературного языка. После распада царства Асеня II начинается период феодальной раздробленности. Центробежные тенденции проявляются и в состоянии письменности, о чем свидетельствует обильное проникновение диалектизмов в язык некоторых рукописей. Так, например, Е. Русек отмечает глагольные формы, свойственные дебрскому говору, в Орбельской триоди: флексия -МЕ в первом лице атематических глаголов имаме, свѣме, еме. Наряду с этим атематические глаголы принимают флексии тематических: азъ сж, вѣда, заповѣда (27). Мы отметили диалектические формы у писца второй руки Пловдивской триоди (28): имаме — 79a9, немаме — 78a7 — в первом л. ед. ч.; ходими 1 л. мн. ч.; вспомогательный глагол сж (сжтъ) — 78b5, сзма (емъ) — 79a2 — или смж — 81a8 сн; причастная форма виенъ — 111a5 сн., яко моро прими — 78a11, слыши (вместо слышали) — 111a12 сн., жтробѣ тоа (вместо ткоа) — 83b19, ѣденъ (вместо единъ) — 124a10 — и др. В этот период литературный язык в Болгарии в известной мере утрачивает общеславянский характер, так как развитие живого языка характеризуется центробежными тенденциями (к этому времени заканчивается формирование основных болгаро-македонских диалектов), а экстралингвистические условия ослабляют центростремительные тенденции литературного языка. Языковая

ситуация этого времени резко изменяется, так как в живом языке уже в значительной мере развились черты, определившие переход к аналитическому строю в области склонения (утрачены родительный, местный и творительный падежи) (29, с. 301). Установление аналитизма предвзяли ряд перемен в болгарском склонении, например ограничение мягких разновидностей склонения имен О и А основ (это упрощение склонения стоит в связи с отвердением болгарского консонантизма), обобщение падежных окончаний, возрастание числа предложно-падежных конструкций, замена различных падежных форм формой именительного падежа, нарушение согласования в падеже между определенным и определяемым (19, с. 429). Развивается суплетивное употребление местоимений и другие балканизмы.

Направление развития болгарского языка было общим с другими балканскими языками, но развитие шло с использованием специфических для каждого языка грамматических средств. Несмотря на консерватизм среднеболгарских памятников, немало новых грамматических особенностей закрепляется в литературном языке. К. Мирчев указывает такие явления, как утрата родовых окончаний прилагательных и местоимений множественного числа, распространение окончания -ОВЕ, ограничение употребления форм инфинитива, употребление причастий в значении личных глагольных форм, смешение флексий имперфекта и аориста и образование этих времен от разных основ, возникновение нового глагольного А-спряжения, обобщение флексии повелительного наклонения 1-го л. мн. ч. -игѣ, появление новой формы притяжательного местоимения, образованной от р. п. указ. местоимений: егокъ, негокъ, сегокъ, тогокъ, онгокъ, а также замена старых относительных местоимений иже, ѡже, еже новыми формами, образованными от вопросительных местоимений (19, с. 431—432). А. Минчева называет и другие черты, вошедшие в структуру письменного языка: «использование форм родительного падежа егѡ и ихъ (вместо и и ѡ), неизменяемое относительное местоимение иже (ѡже), расширение употребления дательного падежа принадлежности, использование неизменяемых причастных форм в функции деепричастий» (30, с. 202). Таким образом, в литературном языке среднеболгарского предъевфимиевского периода появилось немало новообразований, многие из которых вошли позднее в книжную норму. В дальнейшем они были пополнены синтаксическими новообразованиями, обязанными своим возникновением влиянию греческих текстов, усилившемуся в связи с новыми принципами перевода.

Характеризуя состояние фонетического строя среднеболгарского языка, К. Мирчев пишет: «Можно смело сказать, что в фонетическом отношении болгарский язык в среднеболгарскую эпоху достиг такой степени развития, которая близка к его современной фонетической системе» (19, с. 426).

Широкое распространение славянской письменности вовлекает в круг переписчиков людей, недостаточно искушенных в древне-

славянском литературном языке, которые допускают массу оплошностей в употреблении падежных конструкций, чуждых их живому языку, широко вводят диалектные формы, аналитические конструкции. Ярким примером этому является Хлудовская триодь (ГИМ, Хлуд. 102), изученная и описанная Л. Милетицем (31. с. 95—112) и Е. Русеком (32). Большой материал для характеристики рукописей этого периода содержится в работах Б. Цонева (33, с. 217—223; 34), К. Мейера (35), К. Мирчева (36), описании Банишкова евангелия Е. Дограмаджиевой (37), статьях современных историков болгарского языка (38). Я располагаю также материалом собственных наблюдений над рукописями: Орбельской триодью (ГПБ. F n 1 — 102) начала второй половины XIII в. (29, с. 291—300), Пловдивской триодью (НБИВ. № 57), Евангелием Верковича (ГПБ. Q n 1 — 43), Синайским Златоустом, описанным Ягичем И. В. (ГПБ. Q n 1 — 56) конца XIII — начала XIV в. (39, с. 101—108), Хлудовским паримейником (ГИМ. Хлуд. 142) конца XIII — начала XIV в. К этому периоду относятся памятники «с поколебленными графикой, орфографией и флективным строем», пишет В. Н. Щепкин и отмечает далее, что многие перемены, только намечившиеся в начале этого периода, к концу его «достигают крайних пределов» (40, с. 72—73). В области фонетики наблюдается полное падение юсовой системы, что объясняется совпадением юсов с неносовыми гласными и отвердением согласных. Ѡ перестает обозначать мягкость предшествующего согласного, поэтому он может заменять ж и после твердых согласных, например: злат: гла чрѣбы — 139б 7, ка единж кѣра (вместо кѣрж) — 138а 8, сѣтъ (вместо сѣтѣ) — 109б 17, — и, наоборот, ж может употребляться после исконно мягких согласных: кажѣтъ ѡдамокъ Злат. — 61а, 5, ѡ земѣж — 102а, 2 рѣвинж (вместо рѣвина и. п. мн. ч.), оужѣдетѣ — 233а 8, краткие формы местоимений мж, тж, сж. Пловд. тр.: измыкаши сж — 23б 4, имж (има) — 75б 1. Обратная замена: на (вместо нж) — 77а 2, црѣскжж драгма — 83б 14.

Из графических явлений, характерных для рукописей этого периода, отметим также ж на месте ѡ: Пловд. тр. сѣмж — 77а1 — и сѣма — 77а10 сн., ѡ на месте ж: сѣѡ — 77б3, прѣкѣж (вместо прѣкѣжж) 77б8 сн., е и ѣ на месте ѡ: брѣме — 77а5, леже (вместо лежа) — 77б3 сн., ѡ марие — 77а10; смешение Ы и И: казмы — 77а5 сн., мыноуѣтъ вѣтѣж — 80а12, митарѣ — 77б2, ридание — 86а2 сн.; ѡ на месте ѣ после ц: цѣтѣ — 77б8 сн.

Какие данные свидетельствуют о падении флективного строя? Чем отличаются памятники второй половины XIII в. от рукописей XII в. и первой половины XIII в. в области падежного синтаксиса? Прежде всего тем, что в рукописях XII — первой половины XIII в. отступления от старославянской формы встречались в качестве единичных случаев, в рукописях же второй половины XIII в., особенно юго-западных, эти отступления носят массовый характер; во вторых, смешение падежей в рукописях второй по-

ловины XIII в. широко представлено в случаях, где оно не может быть объяснено фонетическими причинами; и наконец, оно охватывает более широкий диапазон функций. Идет усиленный процесс формирования общей падежной формы. Если в Орбельской триоди, рукописи начала второй половины XIII в., находим многочисленные случаи беспорядочного смешения форм И и В падежей, например: *прѣдати сѣднѣ осѣднѣ* — 178бII, 15 сн. (И вместо В); и *сѣднѣ шѣднѣ выѣдетъ* — 89аII 6 сн. (В вместо И); кто та *постакѣ княза нама или сѣднѣ* — 176б I 1 (именительный на месте второго винительного); *рече ко фомѣ аще не кидѣж не кѣроуѣ* — 225а II 16; *ты еси аще шрѣжжѣ нше и стѣнѣж* (В вместо И в сказуемом) 68а I 6, то в рукописях конца XIII в. — в Синайском Златоусте, Хлудовском паримейнике — роль общей формы закрепляется за одним из падежей — именительным, а обратную замену находим лишь в единичных случаях. Примеры относятся как к случаям, где возможны фонетические замены, так и к случаям, где флексия И вместо В не имеет фонетической основы. Так, в Хлудовском паримейнике находим *оукѣдѣка же адама ека жена еста* — 34а 5; *дѣга мѣга постакла на облацѣ* — 65а 3; *нко мѣжа оубиѣз кз крѣдз мнѣ и юноша ка тѣзж мнѣ* — 40а 11. В мягкой разновидности флексия -ѣ в функции винительного зафиксирована нами только в слове *землѣ*: *дѣлати землѣ ѿ нежже кзата бы* — 27б 1; *дѣлажи землѣ* — 37а 5; На месте винительного в предложных конструкциях: *за сѣддога оума* — 46б 9, *ѿиди ка землѣ бытнѣ* — 12б5—6; *ѿ кыта иѣз* — 48а 6.

Процесс формирования общей падежной формы, начавшись в существительных женского рода единственного числа, охватил и другие категории слов, например множественное число: и *да оустроит сѣ кода и покрнѣтъ египтѣне и колесници же* — 8А14 (вместо египтеня, колесница); *ѿимѣта иудѣне ѿ ерлѣма* — 29а18—19 (вместо иуден); и *потрѣбѣла дѣижжѣи сѣ* — 52а 9 (вместо дѣижжѣла сѣ, -ѣжа сѣ) и т. п.

Часто встречается И/В форма существительных мужского или среднего рода ед. ч. вместо местного падежа, например: на *прѣстолѣ дѣдѣѣ* и на *црѣтко его* — 5а 2 сн.; и *снимѣт сѣ жижжѣи кз пѣтѣи градѣ* — 18а8—9. Другие категории слов: и *жыкѣ на земла настѣвиши* — 9а 15—16; и *бращно мое ка областа тѣста да еста* — 28б 11—12; *ходит ка пѣти неблагѣа* — 43б16. На замену винительного местным встретился только один случай. Таким образом, и здесь замена в основном односторонняя, что говорит об утверждении общей падежной формы.

Чаще, чем в предыдущий период, встречаются конструкции с предлогом НА в значении, близком или идентичном дательному падежу. Например: *не кражоуи на члѣтка безоумна да не нѣчто дѣтѣа на та зла* — Хлуд. 32б 10—11; *егда придетѣ на кы па-*

гоуба — 23а 2 сн., наряду с или егда придетъ камъ печалъ — 23б 1—2. Внат ли оубо на раба моего иужа — 112а 3—4 (вместо рабову моему). Аналитическая конструкция на месте дательного, в свою очередь заменившего местный, представлена в Евангелии Верковича: приближи сѧ на кѡи црѣтво бжїе — 150а; на + Д на месте дательного приименного: что оубо да члкъ изманж на дши скоеи — 75б 13; на + М вместо дательного адресата, и дашж и на семѧ (та вместо ꙗ) еждѣтници — 128б.

Разные рукописи имеют свои характерные способы падежных замен. Например, в Синайском Златоусте творительный беспредложный в функции субъекта при страдательных причастиях заменяется творительным с предлогом сѧ: и сѧ женами ескрѣнами шкльщена — 59б 8—9; сѧ страхомъ и трепетомъ одражимъ лютомъ — 14а. В других памятниках — Ѡ + Р: Хлуд. пар.: похвалена баклюга Ѡ мжжа — 65б 1; в Пловдивской триоди: ѡнѣ повѣждена страстно Ѡ льбодѣца — 84а 8—9; предлоги, требующие творительного падежа, в разных памятниках могут употребляться с другими падежами: сѧ раба и рабина (В. мн.) — Злат. 5б 3 сн.; безначална Ѡца и блж сѧ безначална сѧ и дхѧ твоего стго . . велич(аема) (при предлоге сѧ стоит В/Р с прилагательным в членной форме) — Орб. 948 II 13 сн.; рыдающе сѧ каздиание и горакыми слззми — Злат. 148а 1—3; с другой стороны, творительный находим при предлоге, требующем местного падежа: ѡ спостатомъ бл[а]гомъ ѡ клететникомъ — Злат. 41б; В вместо Т — и тоу окрѣщени глакж мож казде подз зема лежщж — Злат. 87а 15—16. Разные способы выражения однородных членов: казлабниши гѧ бл твоего Ѡ всего срѧ твоего и всеж дшеж своеж и Ѡ всеж крѣпостиж своеж (в последнем случае контаминированная форма конструкции Ѡ с творительным падежом) — Ев. Верк. 52а 8—10. Часто смешиваются формы родительного и местного падежей, например: крава его на на и на чада ншихѧ — Ев. Верк. 142 — и завади ѡги колесницѧ — Хлуд. пар. 8а9. Замена родительного дательным, типичная для приименных конструкций, распространяется и на другие функции, например Ѡ домоу ѧскою — Хлуд. пар. 4бб сн.; при степени сравнения: кацши кина мста Ѡпоуцению ми — Хлуд. пар. 37а2—1.

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех возможных вариантов смешения падежей, встретившихся в обследованных рукописях, и приобретения отдельными падежами новых для них функций или утраты старых. Первое наблюдается у форм винительного и именительного падежей (29, с. 270—300), второе — у дательного падежа (29, с. 304). Отметим лишь, что родительный, творительный и местный падежи, насколько можно судить по ошибкам

в их употреблении в рукописях второй половины XIII в., в живом языке были уже утрачены. «Расглатше се словета», — так характеризовал Константин Костенечский письменность своего времени, что в еще большей мере относится к юго-западной письменности второй половины XIII в. Восточноболгарская, насколько можно судить по дошедшему до нас Тырновскому четвероевангелию 1272 г., «И ка трънов'скии бо страна писмена тако погылаа била соута, но црѣа и патрѣрха прѣскѣтише» (43, с. 391), Норовской псалтыри, относящейся к рубежу XIII—XIV вв. или началу XIV в., была в лучшем состоянии, что объясняется тем, что восточноболгарские диалекты сохранили фонетический строй, в большей мере соответствующий старославянскому алфавиту, а также более устойчивыми традициями литературного языка у тырновских книжников (10, с. 157—158). Однако смешение падежей места и направления и утрата отдельных падежей (родительного, творительного и местного) нашли своеобразное отражение и в восточноболгарских рукописях, например в Норовской псалтыри (ГИМ. Увар. 285).

Встречной тенденцией, направленной на упорядочение книжного языка, была тенденция нормализации, в которой существенную роль играли влияние греческой книжности (введение ударений и различных надстрочных знаков, введение ряда греческих букв, вышедших из употребления в болгарской письменности: з кси, ф пси, ө фита, ү ижица), упорядочение графики и системы письма, архаизация языка и новые принципы перевода.

В эпоху царствования Ивана Александра (1331—1371) происходит укрепление центральной власти и вновь возрастает роль Тырнова — центра политической и культурной жизни страны. От этого времени сохранились рукописи, написанные специально для царской библиотеки: Софийская псалтырь 1337 г. (София. БАН. № 2), богато иллюстрированное Евангелие Ивана Александра 1356 г. (40), сборники смешанного содержания — Ловчанский и Лаврентьевский 1348 г., в которых преобладают статьи нравственно-поучительного характера (рассказы из патериков, агиографические произведения), толкования общечеловеческих недостатков («О восьми духовных пороках»), толкования догматических вопросов, вопросов церковной политики («Сказание о вселенских соборах») и другие традиционные произведения, подобранные с учетом интересов Ивана Александра; произведения исторического жанра — Манасиева хроника, переведенная по заказу царя (Патриарший список 1345 г.), с приписками по болгарской истории от пришествия славян на Балканский полуостров до порабощения Болгарии Византией. Ватиканский список Манасиевой хроники содержит 69 миниатюр, причем большая их часть иллюстрирует болгарскую историю (41). Рукописью, созданной в духовной или боярской среде, является Псалтырь Томича (ГИМ. Муз. № 2752). Ее миниатюры не содержат мотивов прославления царской власти, толкуют о бренности земной жизни, отра-

жая господствующую в то время в духовной среде философию исихазма. По бумажным знакам рукопись датируется началом 60-х годов (42).

Рукописи времен Ивана Александра интересны прежде всего как определенный этап в формировании тырновской книжной нормы в области орфографии и системы письма, подготовивший орфографическую реформу, связанную с именем Евфимия Тырновского. Вопросы истории тырновской орфографии пока еще недостаточно исследованы, хотя и привлекают к себе серьезное внимание лингвистов. Никаких трактатов или других письменных свидетельств о евфимиевской реформе орфографии не сохранилось. О ней можно судить лишь по анализу рукописей евфимиевского времени и косвенно по трактату Константина Костенечского, относящемуся к XV в. (43, с. 383—487).

Тырновская орфография времен Ивана Александра не была единой. Различия были связаны как с разными скрипториями (об этом говорит разница в системе письма двух одновременно написанных рукописей — Псалтыри Томича и Евангелия Ивана Александра 1356 г.), так и с эволюцией во времени. Примером последнего могут служить два списка Манасиевой хроники: Патриарший 1345 г. и Ватиканский, написанный, как считает Э. Георгиев, несколько позднее — в 60-х годах. Так, на пяти страницах текста Патриаршего списка (л. 54аб, 55аб, 56а) и соответственно 64—73 страницах издания Ватиканского списка встретилось более 250 различий в графических вариантах букв, употреблении буквенных и надстрочных знаков, не считая морфологических форм и текстологических расхождений, которые насчитывают до 3—4 десятков случаев. Различное начертание буквы еры: Патр. Ы, Ват. — Ы; африкаты ДЗ: Патр. S, Ват. -З, различия в употреблении славянских и греческих букв в греческих словах: егѣпетѣкъи — египетѣкъи, итака — иѣака, различия в употреблении омеги и о широкого: в Патр. в начале слова пишется о широкое, в Ват. — ѡ (омега). То же соответствие во второй части сложного слова и в суффиксе -ѡста. В Патр. омега употребляется во флексиях родительного и дательного падежей мн. ч., чему в Ват. соответствует обыкновенное о узкое. В Патр. часто употребляется буква Ѫ (ук) в разных позициях, чему в Ват. обычно соответствует диграф су. Хотя обе рукописи двуеровые, различия обычно наблюдаются в написании предлогов, приставок и суффиксов. В Патр. здесь обычны написания с з, в Ват. — с л. Регулярное соответствие находим в корне кѣл-, кѣл-. В окончаниях слов Патр. более последовательно выдерживает этимологический принцип в написании ѣ, в Ват. здесь часто находим з; в корнях слов и в сочетаниях с плавным в Ват. наблюдается замена ѣ на з, чего не наблюдается в Патр. В употреблении юсов разноразной наблюдается в позиции после гласного, однако регулярные различия отмечены только во флексиях винительного мн. ч. -жж — -жа и в корне -ат-, -жт-. Наблюдаются различия в употреблении йотированных букв: Патр. ја после ѣ, Ват. — йотация отсутствует, и наоборот:

е нейотированное в Патр. и йотированное ѥ в Ват. Наблюдаются также различия в ударении, в формѣ и употреблении спиритусов. Таким образом, вопрос о создании единой орфографии был актуален и для тырновской книжности.

Нормализация книжного языка касалась не только орфографии, но также морфологии и синтаксиса, принципов перевода и отношения к архаическим старославянским текстам. Первые опыты нормализации книжного языка и правки церковных книг И. В. Ягич относит к концу XIII—началу XIV в., не позднее первой его половины (44). Примером начального этапа нормализации книжного языка может служить Норовская псалтырь — восточноболгарская рукопись первой половины XIV в. Переходный характер этой рукописи сказывается в том, что в ней отмечаются не только черты нормализации, но также некоторые особенности живого языка в употреблении падежей (смещение падежей места и направления, смещение падежей после предлогов, механическое калькирование греческого глагольного управления, нарушающее нормы славянского употребления падежей) (29, с. 198—200, 214—216).

Принципы перевода резко отличаются от тех, которые действовали в древнеболгарский период, когда превалировал принцип «разумности», и при условии пословности перевода допускались отступления в пользу славянских средств выражения, всякий раз, как дословный перевод мешал правильному пониманию смысла. Теперь господствует строго дословный перевод с соблюдением количества и порядка слов, калькированием греческого синтаксиса, словообразованием, стремлением передать даже внутреннюю форму греческого слова. Например, вместо *кознести* сѧ употребляется слово *козкысити* сѧ: да козкысит сѧ бѧ (XVII, 47) в соответствии с греч. *ὀψοθήτω*; систематически употребляется глагол *дѣлати* вместо *творити*: дѣлажцие безаконие в соответствии с греч. *οἱ ἐργαζόμενοι τῆν ἀνομίαν*. Греч. *στρογγίον πονέζον* передается как птица единств.коужшгга на задѣ (CI, 8) вместо славянского *осаца* сѧ. Вместо глагола *оумрткити* создается глагол *ЕЖЕ ОЖЕЛМРТИТИ* в соответствии с греч. *τὸ θάνατοναι* (XXXVI, 32) и т. п. В Норовской псалтыри зафиксировано до 40 типов синтаксических грецизмов. Соблюдение количества и порядка слов греческой фразы приводит к тому, что нарушаются правила славянского построения предложения: например, опускается связочный глагол при именном сказуемом, так как он отсутствует в греческом, страдательные формы причастий со связкой заменяются страдательно-возвратной формой на -сѧ (*видѣмъ бышъ — видѣшъ сѧ*), предложные конструкции заменяются беспредложными и наоборот, в соответствии с греческим текстом, например: греч. *παραστήσομαι σοι*, переведенное в Синайской псалтыри *СТАНЖ прѣдъ твоѣж*, в Норовской переводится *прѣдстанж ти* (V, 4). Стремление найти соответствие каждому элементу греческой фразы при-

водит, например, к стремлению передать греческий артикль с помощью несклоняемой формы *еже*: *кѣхсждѣше еже видѣти* (греч. τὸ ἰδεῖν); предложные конструкции с артиклем, например *πρὸ τοῦ ἐκπαθεῖναι*, калькируются дословно: *прѣжде еже издрѣкати сѣ излѣше* (СХХVІІІ, 6), в Син. *прѣжде коздрѣканиѣ*. Греческая конструкция *ἐν + τῷ +* винительный субъекта передается оборотом *кѣнегда +* инфинитив + дательный субъекта, например *кѣнегда сѣидити сѣ емюу да изидет осждѣенѣ* (СVІІІ, 7) *ἐν τῷ χρίνεσθαι ἀθτόν ἐξέλθοι καί αὐδεδιχαζμένος*.

Калькирование греческого глагольного управления относится к тем падежам, которые уже исчезли в живом языке, например употребление родительного вместо винительного при некоторых глаголах, которые в греческом требуют родительного (помѣнѣти, забыти, оуслышати и др.), употребление конструкции В' + местный падеж в значении творительного беспредложного в соответствии с греч. *ἐν +* дательный в орудийном и некоторых других значениях.

В середине, а возможно, со второй трети XIV в. начинается правка церковных книг на Афоне в лавре св. Афанасия. Старец Иоанн правит славянские книги по греческим с соблюдением формальной точности перевода, однако не нарушая норм славянского употребления, критерием которого является для него древнеболгарский язык. Так, в большей части рассмотренных выше конструкций афонская редакция возвращается к архаическому варианту (45, с. 81—85). Правке подвергаются болгарские книги, и новые редакции создаются на Афоне, в первую очередь для болгарских церквей, о чем имеются письменные свидетельства. Так, в приписке иеромонаха Мефодия к Октоиху № 19 из монастыря св. Екатерины на Синае сообщается, что старец Иоанн «*прѣложи и исписѣ*» многие книги и «*прѣдѣде ѡжтѣны и стѣимѣ црквама блгарскыж зема*» (46, с. 17—19). Созданные на Афоне новые редакции богослужебных книг, канонизированные Евфимием Тырновским, получили широкое распространение в балканских землях и у восточных славян. Они принесли с собой и новые языковые особенности литературного языка славян (47).

С середины XIV в. над Балканским полуостровом нависает угроза османского завоевания. В борьбе за единение православного мира против вторжения иноверцев-магометан политическими и церковными идеологами большая роль отводится прославлению православной веры на едином, понятном всем славянам литературном языке. В этом, возможно, одна из причин архаизации литературного языка и изгнания из него специфических особенностей живого болгарского языка в тырновской книжной школе, созданной Евфимием Тырновским. Во времена патриарха Евфимия в болгарском литературном языке вновь на первый план выдвигается его общеславянская функция. В этом отношении тырновская школа выступает продолжателем кирилло-мефодиевских традиций. «Особенно нужно подчеркнуть, — пишет П. Динеков, — что впер-

вые со времен Кирилла и Мефодия в болгарской литературе проявляется такой большой интерес к вопросам языка, в первый раз перед болгарской интеллигенцией ставится вопрос об исполнении такой грандиозной задачи, как установление единства языка и правописания и основательная проверка переводов» (48, с. 19). В философско-богословском отношении тырновская школа продолжала традиции школы Феодосия Тырновского в Килифаровском монастыре, в основе которых лежала философия исихазма. Последователи этой философии отождествляли слово священного писания с его божественной сущностью. Отсюда особое внимание к вопросам языка, орфографии, точности перевода. Не случайны памятник, связанный происхождением с Килифаровским монастырем — Псалтырь Томича, отличается строгой системой орфографии (49) и принадлежит правленной афонской редакции (50, с. 37—58), наиболее авторитетной в то время. Орфографические традиции Псалтыри Томича продолжают такие рукописи евфимиевского времени, как Синодик царя Борила (НБКМ. № 289), Евфимиев служебник (НБКМ. № 231), произведения гимнописца Ефрема (в сборнике XIV в. Хиландарского монастыря на Афоне № 342), исследованные и изданные П. Матенчем (51). (Исключения касаются лишь конечного Б.) Рукописям тырновской книжной школы посвящен ряд исследований (52; 53).

1. *Дуриданов И.* Към проблемата за развоя на българския език от синтетизъм към аналитизъм // *Годишник на Софийския университет. Филол. фак. С.* 1956. Т. LI, 3.
2. *Клаус Г.* Сила слова. М., 1967.
3. *Фейербах Л.* Сущность христианства. М., 1965.
4. *Miklošič F.* Trojanska griča // *Starine. Zagreb, 1871.* Кн. III.
5. *Летописца на Константин Манаси: Фототипно издание на Ватиканския препис на среднобългарския превод / Увод и бележки на Иван Дуйчев. С., 1963.*
6. *Милетич Л.* Седмоградските българи и техният език // *Списание на Българската Академия на науките. С., 1926.* Кн. XXXIII.
7. *Бернштейн С. Б.* Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М.: Л., 1948. Т. 1.
8. *Ильинский Г. А.* Грамоты болгарских царей. М., 1911.
9. *Гълъбов И.* Приносът на епиграфския материал за решаване на лингвистични проблеми // *Известия на Народния музей. Варна, 1976.* 12.
10. *Щепкин В. Н.* Болонская псалтырь. СПб., 1906.
11. *Иванов Й.* Български старини из Македония. Фототипно изд. С., 1970.
12. *Добромирово евангелие български паметник от началото на XII век / Подготви за издание Б. Велчева. С., 1975.*
13. *Кюстендильский палимпсест: Рукопись. Пловдивская б-ка им. Ивана Вазова, № 7, 9 л.*
14. *Ильинский Г. А.* Слепченский апостол XII века. М., 1912.
15. *Кульбакин С. М.* Охридская рукопись апостола конца XII в. С., 1907.
16. *Витольская триодь: Рукопись XII в. Софийская б-ка Болгарской Академии наук, № 38; Zaitov J. The Kǐbevo trǐodium // Полата књигописнај Nijmegen, 1984, N 10/11.*
17. *Григоровичев паримейник: Рукопись конца XII—начала XIII в. ГБЛ. Григ. № 8.*
18. *Чешко Е. В.* XII век в истории болгарского литературного языка // *Этнические процессы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1988.*

19. *Мирчев К.* Българският език през вековете // Език и литература. 1956. № 6.
20. *Цонев Б.* Добрейшево четвороевангеле, среднобългарски паметник от XIII век // Български старини. С., 1906. Кн. 1.
21. *Steinke K.* Studien über den Verfall der bulgarischen Deklination. Das bulgarische Kasussystem zu Beginn des 13 Jahrhunderts. München, 1968.
22. *Иванова-Мирчева Д.* Исследования по истории болгарского языка в болгарской лингвистике после второй мировой войны // Советская болгаристика: Итоги и перспективы М., 1983.
23. *Кульбакин С. М.* Материалы и заметки по славяноведению // ЖМНП. 1904, июль. Ч. CCCLIV.
24. *Jagić V.* Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovenskih rukopisa // Starine. Zagreb, 1873. Кп. V.
25. Синодик царя Борила: Рукопись XIV в. // НБКМ. № 289. лл. 28а—29б, 30а—32б.
26. *Богатырева Г. Д.* Из истории славянской письменности. Кишинев, 1982.
27. *Rusek J.* Triod Orbelsci — Sprawozdania z pos. Komisji Naukowej. Oddział PAN w Krakowie. 1970. N 1.
28. Пловдивская триод XIV в.: НБИБ. № 57.
29. *Чешко Е. В.* История болгарского склонения. М., 1970.
30. *Минчева А.* К синтаксической характеристике среднеболгарских евангельских списков (Рыльское Б евангелие) // Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982.
31. *Милетич Л.* Интересен среднобългарски паметник от XIII век // Периодическо списание на Българско книжовното дружество в София. 1905. Т. LXVI. Св. 1—2.
32. *Rusek J.* Deklinacja i użycie przypadków w Triodzie Chłudowa. Studium nad rozwojem analityzmu w języku bułgarskim. Wrocław; Warszawa; Kraków. 1964.
33. *Цонев Б.* История на българският език. С., 1919. Т. 1.
34. *Цонев Б.* Врачанско евангеле: Среднобългарски паметник от XIII век // Български старини. С., 1914. Кн. 4.
35. *Meyer K.* Der Untergang der Deklination im Bulgarischen. Heidelberg, 1920.
36. *Мирчев К.* Историческа граматика на български език. С., 1963.
37. Банишко евангелие: Среднобългарски паметник от XIII век / Подгот. за печат с увод и коментар Е. Дограмаджиева и Б. Райков. С., 1981.
38. Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982.
39. *Чешко Е. В.* Заметки о среднеболгарском Златоусте // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
40. *Живкова Л.* Четвороевангелие царя Ивана Александра. С., 1980.
41. Летописца на Константин Манаси. С., 1963.
42. *Щежкина М. В.* Болгарская миниатюра XIV в. Исследование Псалтыри Томича. М., 1963.
43. *Константин Костенечский.* Сказание о письменехъ // Изв. ОРЯС. СПб., 1885. Т. 1.
44. *Jagić V.* Zwei illustrierte serbische Psalter — Denkschriften der kaiser. Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klass. Wien, 1906. В. 52.
45. *Чешко Е. В.* Об афонской редакции славянского перевода Псалтыри в ее отношении к другим редакциям // Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982.
46. *Розов В.* Болгарские рукописи Иерусалима и Синая // Минало. С., 1914.
47. *Чешко Е. В.* Второе южнославянское влияние в редакции псалтырного текста на Руси (XIV—XV вв.) // Palaeobulgarica. 1981. N 4.
48. *Диневков П.* Търновска книжовна школа в развитието на българската литература // Търновска книжовна школа. С., 1974.
49. *Чешко Е. В.* Система письма Псалтыри Томича // Palaeobulgarica. 1983. N 4.
50. *Чешко Е. В.* Редакция и особености перевода Псалтыри Томича // Старобългарска литература. 1983. Кн. 14.

51. *Матеев П.* Български химнописец Ефрем от XIV век: Дело и значение. С., 1982.
52. Търновска книжовна школа, 1371—1971. С., 1974.
53. Търновска книжовна школа. С., 1980. 2: Ученици и последователи на Евтимий Търновски.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Ап. 882 — Апостол первой половины XIII в. Софийской НБКМ.
- Ват. — Ватиканский список (5)
- Григ. пар. — Паримейник Григоровича (17)
- Злат. — Синайский Златоуст ГПБ Q п1—56
- Зогр. — Зографское евангелие
- Ев. Верк. — Евангелие Верковича ГПБ 1—43
- Кюст. — Кюстендилский палимпсест (13)
- Мар. — Маринское евангелие
- НБИВ — Народная б-ка им. Ивана Вазова в Пловдиве
- НБКМ — « им. Кирилла и Мефодия в Софии
- Орб. — Орбельская триодь ГПБ Фп 1—102
- Охр. — Охридский апостол (15)
- Патр. — Патриарший список Летописи Константина Манахии 1345 г. (ГИМ)
- Пловд. тр. — Пловдивская триодь (28)
- Син. — Синайская псалтырь
- Хлуд. пар. — Хлудовский паримейник (ГИМ. Хлуд. 142)

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОМЕТЫ

- И — именительный падеж
- Р — родительный »
- Д — дательный »
- В — винительный »
- М — местный »
- И/В — именительный—винительный, В/Р — винительный—родительный
- жен. р. — женский род
- ед. ч. — единственное число
- мн. ч. — множественное число

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
В СЕРБИИ И БОСНИИ В XII—XIV вв.

Е. П. Наумов

1. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ
И ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В РАМКАХ СЕРБСКОГО И БОСНИЙСКОГО ГОСУДАРСТВ
XII—СЕРЕДИНЫ XIII в.

К началу XII в. на территории этих двух югославянских политических образований формировалась и развивалась раннефеодальная сербская народность (1, с. 181—195), которую можно называть также древнесербской народностью в отличие от соответствующей этносоциальной общности рассматриваемой здесь эпохи. Эта территория включала земли нынешних СР Сербии, СР Боснии и Герцеговины, СР Черногории и некоторые районы СР Хорватии, где в эпоху средневековья существовало много разных (крупных и мелких) феодальных государств, развитие которых находилось во взаимосвязи с этническими процессами той поры.

Сложность и противоречивость прослеживаемых на материале памятников XII—XIV вв. тенденций этносоциального развития делают целесообразной следующую периодизацию эволюции главных форм самосознания на данной территории: первый этап (XII—первая половина XIII в.) характеризуется в целом как время перехода от раннефеодальной структуры общества к развитой феодальной и соответственно — как время перехода от единой раннефеодальной народности к этносоциальным организациям эпохи зрелого феодализма. В политической сфере эти процессы совпадали с формированием и утверждением двух феодальных государств — Сербского и Боснийского. Второй этап (середина XIII—последняя четверть XIV в.) связан с расцветом сербской и боснийской государственности, с экономическим прогрессом и внешнеполитическим усилением этих стран, с подъемом их культуры и развитием идеологии, находивших соответствующее отражение и в области этнических представлений местного населения (2; 3; 4; 5; и др.).

Важно учесть при этом, что названные два этапа, предлагаемые нами для характеристики этносоциального развития на этой территории, различаются и с точки зрения обеспеченности их материалом источников. Следует отметить, что для изучения истории

Боснии наука располагает гораздо меньшим числом памятников, чем для Сербии. Тем большее значение для изучения этнических процессов имеет тот факт, что для первого этапа (как и всей раннефеодальной эпохи) ощущается особый недостаток в свидетельствах местного происхождения. Лишь от конца XII в. сохранились источники актового характера, написанные по-славянски, но и эти первые памятники славянской письменности данных стран весьма немногочисленны. Поэтому при освещении первого этапа необходимо широко использовать также источники иностранного происхождения (византийские, западноевропейские и др.), как и некоторые местные материалы, написанные по-латыни, хотя в историографии имеются разногласия по поводу их датировки, степени достоверности и пр. (мы имеем в виду, в частности, так называемую Летопись попа Дуклянина и грамоты Локрумского монастыря) (2; 3; 5; 6).

Начиная с XIII в. число отечественных источников по истории Сербии и Боснии постепенно увеличивается, но с точки зрения их значимости для нашей темы нужно подчеркнуть, что их главная масса происходит из центров феодальной государственности и отражает доктрины правивших тогда династий, непосредственно — господствующей верхушки средневекового общества (таковы дарственные грамоты феодалам, дипломатическая переписка, а для Сербии — также биографии правителей и православных иерархов, юридические памятники и пр.). По преимуществу внешнеполитические вопросы освещаются в византийских, венгерских, западноевропейских памятниках, в том числе — в сочинениях участников и историографов крестовых походов. И для этих источников характерны, таким образом, одноплановость и односторонность свидетельств по этнической истории Сербии и Боснии, не позволяющих судить о самосознании широких слоев местного населения.

Разумеется, столь ярко выраженные особенности источникововедческой базы определили и недостаточную изученность данной проблематики в современной историографии СФРЮ, обуславливая порой и серьезные расхождения в оценках, и явную гипотетичность тех или иных суждений о характере этнических общностей той поры (7; 8; 9; и др.). В советской литературе до настоящего времени также рассматривались лишь отдельные аспекты этой тематики (10; 11; 12; 13; 14; 15) либо общеметодологические вопросы, имеющие принципиальное значение для воссоздания этнических процессов прошлого на современном уровне науки (16; 17).

Несомненно, общеметодологическая сторона проводимого ниже анализа эволюции форм самосознания в Сербии и Боснии XII—XIV вв. чрезвычайно важна, так как в литературе на этот счет имеются серьезные расхождения, недостаточно разработана научная терминология этнических процессов и общностей средневековья. Так, например, в советской науке уже выработана система обозначений разных проявлений и уровней этносоциальных общ-

ностей (в частности, такие понятия, как «феодалная народность», «протонародность», «субэтнос» и др.), а в югославской историографии говорится обычно о «народе», «народе в феодальном смысле», даже о «нации» (13, с. 193—194). Поэтому в данной главе мы ставим целью охарактеризовать, насколько позволяют материалы источников, наиболее важные особенности и тенденции развития этнического самосознания населения Сербского и Боснийского государств в XII—XIV вв.

На всей этой территории в эпоху раннего средневековья протекал весьма сложный процесс формирования самосознания древнесербской народности, который не завершился полностью к исходу XI в. Многоплановость и неоднозначность этого процесса выразились, в частности, в сохранении прежних представлений о локальной этнической и политической принадлежности (на уровне «своего» княжества, т. е. протонародности), а также в наличии в пределах Сербского королевства (в Южной Далмации) автохтонного романского населения. Впрочем, наличие этих «влавов» создавало ситуацию этнической оппозиции романского и славянского элемента и тем самым могло усиливать у большинства населения представления о широкой славянской общности (1, с. 192—193).

Для понимания этносоциальных процессов, исходным пунктом которых была, таким образом, весьма обширная по размерам и еще недостаточно сплоченная этнически древнесербская народность, особенно важно не упускать из вида наиболее характерные черты того периода в истории раннефеодальной государственности в данных землях Балканского полуострова, который начался на рубеже XI—XII вв. и завершился в 80-х годах XII в. (18, с. 210—212, 307—308). Это было время ослабления Сербского (Дуклянского) королевства, от которого постепенно отделились Рашка, Босния, Захумье и другие земли, превращавшиеся в самостоятельные или полусамостоятельные княжества. Возрождение такого политического полицентризма на всей территории Сербии и все более отделявшейся от нее Боснии, восстановление в некоторых случаях прежних государств, существовавших еще в IX—X вв., должны были, естественно, привести к заметному оживлению чувств принадлежности к «своей» земле, «своему» княжеству (т. е. протонародности) — в противовес сознанию единства сербской народности и (еще шире) осознанию единства славянской семьи народов. Не менее важно для оценки политической обстановки этой поры (т. е. первых трех четвертей XII в.) учитывать такие факторы, как соперничество сербских и боснийских династий, гегемония Византии в этой части Балкан, обусловившая участие местных князей в войнах Византии с Королевством Венгрия, наконец, неустойчивость границ многих из этих княжеств, временно объединявшихся, а затем снова разделявшихся на уделы.

Все это, без сомнения, замедляло центростремительные тенденции в рамках уже существовавших этносоциальных общностей, делало весьма неустойчивой и иерархию названных выше уровней,

и всю систему этнического самосознания населения. В известной мере эти процессы нашли отражение в источниках той поры, среди которых наиболее многочисленными являются свидетельства византийских современников. Несмотря на обычное для них стремление к архаизации этнической терминологии (жителей данных земель в византийских сочинениях XII—начала XIII в. они зачастую именуют не только «сербами», но и «далматами», «даками», «трибаллами» (19, с. 43), эти свидетельства весьма ценны не только ввиду скудости и фрагментарности материалов местного происхождения. Примечателен тот факт, что византийские писатели XII—начала XIII в. (Анна Комнина, Иоанн Киннам, Никита Хониат и др.) говорят обычно о едином сербском народе, нередко причудливо сочетая этот реально существовавший этноним с античными наименованиями, а иногда выразительно подчеркивают обширность населения сербами ареала (20; 21). Так, например, в своей речи «консул философов» Михаил Анхимальский (60-е годы XII в.) отметил, что сербы, которых он называл «даками», — это «народ многочисленный, ни в коей мере не стесненный узкими границами, омываемый потоками Истра (т. е. Дуная. — *Е. Н.*), простирающийся до Вумелиев и Илирии, соприкасающийся с Адриатикой и обитающий близ Ионического моря. . .» (20, т. 4, с. 203). Иными словами, для византийцев-современников, или иногда посещавших Сербию, либо получавших сведения о ней от своих полководцев и сербов — сторонников империи, было очевидно прежде всего единство сербской народности, хотя в некоторых случаях отдельные, причем хорошо осведомленные, византийские авторы сообщают о локальных этнических общностях в рамках единой сербской народности.

Уже Иоанн Киннам, описывая события середины XII в., замечал, что тогда во главе «далматской (т. е. сербской. — *Е. Н.*) земли Боснии» стоял самостоятельный правитель — бан Борич, что река Дрина отделяет «Боснию от остальной Сербии». По его словам, сама «Босния не подчинена архижупану (т. е. великому жупану) сербов, а народ ее (*ἔθνος*) имеет особый образ жизни и управления» (20, т. 4, с. 51, 28). Весьма знаменательно и то, что стремление Киннама как-то выделить жителей Боснии из общей массы «далматов» (или сербов) находит соответствие и в упомянутой речи Михаила Анхимальского, который ставит «боснийца» наравне с «хорватом», т. е. с представителем давно уже сформировавшейся хорватской раннефеодальной народности (20, т. 4, с. 206; 1, с. 167—178). Во многом сходна с приведенной этнической терминологией и система обозначений населения Сербии и Боснии, содержащихся в латинских памятниках западноевропейского и венгерского происхождения.

Любопытно, что католические историографы крестовых походов (Вильгельм Тирский, Арнольд Любекский, так называемый Ансберт), когда речь заходит о Сербии XII в., говорят лишь о «сербях», не употребляя античных названий и четко отделяя сербов от греков, болгар и влахов (22; 23; и др.). Напротив, в памятниках

Венгрии, граничившей с Рашкой, примерно в это время появляется новое наименование для сербов — «рац», восходившее, видимо, к латинскому термину «Расция» (т. е. Рашка, или Сербия) или к названию города Рас, важного центра Рашки (24, т. 1, с. 554; 25, с. 454; 26; и др.).

Особый интерес для целей нашего исследования представляет весьма своеобразная система этнических терминов, характерная для Летописи попа Дуклянина, возникшей в Южной Далмации (в г. Бар) в середине или конце XII в. (14, с. 25—35). Все встречающиеся здесь обозначения жителей западной части Балканского полуострова, вероятно, можно объединить в виде последовательной иерархии разных уровней этнического самосознания. Причем термин «славяне» в данном случае (в латинском тексте — *Slavi*) применяется в неодинаковом значении. Первый отраженный в Летописи уровень самосознания — это «славяне» в самом широком смысле, люди, принадлежавшие к славянскому этносу; вместе с тем термин «славяне» в Летописи употребляется и в плане над-народностной общности (вместо терминов «сербы» и «хорваты» — эти наименования совсем отсутствуют в данном сочинении). Наконец, в качестве третьего уровня самосознания здесь могут быть отмечены названия локально-этнического или социально-политического характера: «рашани» — жители внутренней Сербии, или Рашки; «народ Травунии», или Требинья; «сремцы» — обитатели Срема; «боснийцы».

Столь сложная картина этнических представлений анонимного автора (или авторов) Летописи Дуклянина явилась, по нашему мнению, следствием не только конкретных политических целей самого автора или его покровителей, которые стремились обосновать «права» династов Дуклянского королевства на все югославянские земли этой части Балканского полуострова (от Винодола на севере и до Диррахия на юге), включая Хорватию и Северную Далмацию. Без сомнения, все эти этнические обозначения ясно отражают также характерные черты этносоциальных и политических процессов и явлений той поры: и наличие в городской среде Далмации местного романского населения («романи» или «латини») (27, т. 2), тесно связанного с Италией, и сохранение в этой среде давних этнических стереотипов и традиций, обусловленных противостоянием славянского и романского этносов, и, наконец, возросшее тогда в известной мере значение широких этнических обозначений (в том числе — «сербы», даже «славяне» — в латинских и византийских источниках). В свою очередь, усилившиеся в обстановке гегемонии Византии, экспансии Королевства Венгрия осознание общеславянского единства могло закономерно приводить к некоторому снижению роли народностного уровня самосознания, с одной стороны, и к известному оживлению прежних, узколокальных традиций раннефеодальных «прото-народностей», т. е. представлений о принадлежности прежде всего к своей «земле», княжеству (1, с. 189).

Говоря об этом локальном уровне самосознания, вероятно,

следует особо упомянуть о сильных местных традициях в Захумье («Захулмия», или «Хумская земля») и заметной обособленности жителей Требинья (Травунии). Показательно, например, что в грамотах Локрумского монастыря близ Дубровника даже при противопоставлении другому этносу («латинянам» — романским далматинцам) речь идет не о «славянах» вообще, а о «людях Захулмии» или «всех славянах Захулмии» (6, с. 194—195). Подобные определения жителей Захумья четко выражены и в других латинских актах, составленных на побережье Адриатики. В данной связи любопытны этнические термины, которые зафиксированы в мирном договоре Дубровницкой республики с правителями Сербского государства (Неманей и его братьями) от 27 сентября 1186 г. Составителям договора пришлось неоднократно говорить о разных аспектах взаимоотношений жителей Дубровника и их соседей — подданных Сербии, но характерно при этом, что этническая терминология договора неравнозначна и во многом сходна с названными выше латинскими документами. В частности, обитатели Дубровника именуются здесь «рагужанами» (а не «латинянами»), тогда как для обозначения всех тех, кто был подвластен великому жупану Немане и его братьям, применяется широкое определение — «славяне» (но не «сербы») или же более конкретное и узкое — «славяне из Хельмунии» (Захумья) (28, с. 133). По нашему мнению, такое оживление местных этносоциальных и политических традиций, нарастание тенденций к возрождению или укреплению небольших «протонародностей» (в противовес представлениям о принадлежности к единой сербской народности) были обусловлены общим процессом усиления (продолжавшимся до конца XII в.) феодального партикуляризма и ослаблением центральной власти в Дукле и Рашке.

Именно поэтому образование единого Сербского государства, включившего в конце XII—начале XIII в. под эгидой Стефана Немани и первых Неманичей Рашку, Дуклю (Зету), Захумье, Требинья и другие земли, и упрочение самостоятельной Боснийской державы (при бане Кулине — в 1180—1204 гг.), как и подавление сепаратизма местной знати и князей, находящаяся в теснейшей взаимосвязи с важнейшими переменами в этносоциальной структуре этих стран (1, с. 212—215; 3, с. 46 и след.; 5, с. 177 и след.). Составляя кардинальный рубеж в истории политического и социально-экономического строя Сербии и Боснии, этот период открывает вместе с тем новую эпоху, ознаменованную значительными изменениями в системе и соотношении разных уровней этнического самосознания местного населения; он означает переход от раннефеодальных этнических общностей к народностям эпохи развитого феодализма. На смену единой (хотя и весьма рыхлой) раннефеодальной сербской народности приходили две феодальные общности, формировавшиеся и утверждавшиеся в пределах двух государств — Сербии Неманичей и Боснии.

Становление сербской феодальной народности, как можно судить по данным сохранившихся источников (конца XII—пер-

вой половины XIII в.) — главным образом актов государственной канцелярии и биографий Немани и его потомков, протекало под сильным воздействием доктрины династии Неманичей, взаимосвязанной с идеологическими нормами господствовавшей в Сербии православной автокефальной церкви (5, с. 188 и след.; 8, с. 505). Целенаправленный курс Немани и его сыновей, Стефана I и первого сербского архиепископа Саввы, на сплочение сербских земель, на ликвидацию разобщенности княжеств и уделов наглядно проявился и в официальной титулатуре правителей нового Сербского государства, и в создававшихся тогда (в начале XIII в.) описаниях борьбы наследников Немани.

Закономерно, что в нарративных и актовых памятниках уже первых десятилетий существования державы Немани с особой силой подчеркивался тот факт, что сам Неманя и его сын Стефан I явились объединителями всех сербских земель, что им принадлежала по праву полная власть на этой территории. Такое акцентирование внимания на государственном единении сербских земель и единовластии их новых повелителей выражалось в разных формах, которые с одинаковой настойчивостью внедряли в сознание подданных династии Неманичей идеи сербской общности и незыблемого единодержавия.

Отнюдь не случайно во введении к Житию Немани, написанному (в 1208 г.) его сыном Саввой, сразу же сказано о «господине нашем и самодержце, царствующем над всей сербской землей, Стефане Немане». И в следующих ниже строках агиограф подчеркивает вновь, что сам бог назначил Неманю «царствовать над всей сербской землей» (29, с. 151; 5, с. 186). Точно так же и его преемник Стефан I титуловался как «великий жупан всей Сербии» (30, с. 14). Более того, даже жена Немани называлась «госпожой всей земли сербской» (29, с. 161). В других случаях факт объединения Сербской державы раскрывался путем подробного перечисления всех земель, оказавшихся под эгидой династии Неманичей.

Так, например, в 1-й Хиландарской грамоте сам Неманя с гордостью повествует о том, что его «владычество» включало не только его «дедину» — «сию землю сербскую», но также «от морской земли — Зету и с городами», а от «греческой земли» (т. е. из бывших владений Византии) области Дубочицу, Лепеницу, Лаб и др. (30, с. 12). Столь же обстоятелен и титул Стефана I, который именовал себя повелителем «всей Сербской земли и Диоклии и Далмации, и Травунии, и Хумской земли» (30, с. 18, 24). Лишь позднее эта пышная и пространная титулатура сербских королей упростилась и стабилизировалась, и примерно с 30-х годов XIII в. обычно указывалось, что они — обладатели «всех сербских земель и поморских» (5, с. 231—234 и др.).

Необходимость такого подчеркивания единения сербских областей и единодержавия Неманичей должна была, видимо, найти определенное отражение и в сфере этнической терминологии. Примечательно, что в памятниках конца XII—первой половины XIII в. само название народа «сербы» встречается редко, оно за-

меняется разными описательными и неопределенными выражениями церковного и общелитературного характера. В известной мере, возможно, это было обусловлено спецификой сохранившихся источников, а в некоторых случаях и отсутствием нужды в указании на различия в среде в целом близкого по языку и обычаям населения и в его противопоставлении другим этносам. Однако нельзя ли тем не менее высказать предположение, что ввиду наличия в составе населения Сербской державы жителей разной этнической принадлежности (сербов, романских далматинцев, владхов, албанцев и др.) средневековым сербским книжникам казалось более удобным говорить вообще о «стаде отечества» Немани, о «людях своих», о «стаде» самого Немани, не прибегая к этнонимам, четко противопоставляющим один народ другому (29, с. 171; 31, с. 31, 57)?

Как и в нарративных памятниках, эта заметная неопределенность терминов для обозначения подвластного Неманичам населения проявляется и в сербских грамотах, причем даже в тех случаях, когда правителям было необходимо сказать о своих подданных в противовес иностранным либо об одной из категорий жителей Сербского государства в отличие от других. Так, например, в договоре Стефана I с Дубровником (примерно в 1214—1217 гг.) назван «серб» как представитель славянского населения державы Неманичей в противопоставление романскому далматинцу (т. е. дубровчанину) — «влаху» (30, с. 16, ср. с. 17). Когда же речь заходила о наименованиях разных групп населения внутри самой Сербии, то в актах той поры говорилось о «влахх» (т. е. здесь — о крестьянах-скотоводах романского происхождения), а об остальном населении — в весьма общей форме: «земские люди» или «монастырские люди» (если грамота давалась монастырю) (30, с. 14, 21, 22).

Поскольку в сербских памятниках этой поры особое место занимает термин «влахи» — как в применении к романским далматинцам (преимущественно жителям приморских городов), так и по отношению к довольно широко распространившимся в Рашке крестьянам-скотоводам, — необходимо, на наш взгляд, рассмотреть, хотя бы кратко, и вопрос об этнической принадлежности владхов внутренних районов Сербии, ибо он, бесспорно, тесно связан с проблемой развития самосознания сербской народности. Причем следует учесть, что в историографии все еще остается дискуссионным вопрос о степени славянизации (или сербизации) этих владхов, а следовательно — и проблема значения сербовлашских контактов и взаимосвязей в процессе консолидации сербской феодальной народности.

В противовес давнему тезису о полной славянизации сербских владхов (уже в далекие времена, во всяком случае к XIII в.), который был выдвинут сербским историком С. Новаковицем, в современной югославской литературе высказываются и иные точки зрения. Говоря об этническом облике этой категории населения, С. Чиркович пишет: «Хотя влахи приняли язык и имена своего

славянского окружения, хотя они (правда, весьма поверхностно) были охвачены господствующей церковью, они не воспринимались своим окружением в качестве членов той же общественной и этнической общности» (32, с. 66), т. е. сербской народности. На наш взгляд, конкретный анализ влашской антропологии и других данных, содержащихся в грамотах конца XII—XIII в., подтверждает в целом такой вывод и позволяет уточнить наши представления о том, как формировалось и развивалось сознание этносоциальной принадлежности населения державы Неманичей и как изменялось соотношение разных уровней его этнического самосознания (12; 13; 15).

Нет сомнений в том, что, несмотря на постепенно нараставшие процессы политического сплочения и культурной консолидации, в пределах Сербского государства сохранялись различия как в славянской среде (т. е. в недрах сербской общности), так и среди неславянского (по языку и происхождению) населения. Вероятно, именно влахи (в отличие от романцев Далмации и албанцев) по составу оказывались наиболее неоднородными ввиду притока значительных групп их (почти неславянизированных или отчасти грецизированных) из Византии и Болгарии и благодаря сильному воздействию славянской среды либо далматинцев, а, быть может, в известной мере и албанцев.

Сохранившиеся источники позволяют составить довольно полное представление о характере сербо-влашских взаимосвязей. Косвенно они свидетельствуют и о глубинных тенденциях консолидации сербской народности, об упрочении многосторонних контактов славянского и неславянского населения на территории Сербии в результате ликвидации независимых княжеств и феодальных перегородок между разными областями. Как известно из грамот XIII в., многие влахи уже носили славянские (сербские) имена, в некоторых случаях там сообщаются и их славянские отчества (т. е. имя отца). Все это оправдывает, видимо, предположение, что часть влашского населения переходила к двуязычию и постепенно включалась в состав сербской народности. В то же время другие влахи (особенно лишь недавно перешедшие в границы Сербии) воспринимались их соседями-сербами еще как «чужаки», «иноземцы», хотя деятели сербского двора могли и их уже рассматривать в качестве «сербов» (в государственно-правовом смысле), т. е. как своих подданных — в противовес приморским «влахам»: жителям Дубровника, Сплита и других городов Далмации, не входивших в состав державы Неманичей.

Ускорившееся с конца XII в. социально-экономическое развитие Сербии и Боснии постепенно оказывало все более сильное воздействие на консервативный быт и обычаи местного населения, проживавшего даже в малодоступных горных районах (в том числе влахов). Налаживание внутренней и внешней торговли, заметное развитие прежних и новых городов все больше привлекало жителей разных областей к участию в системе общественных и экономических связей, сплачивавших этнические общности, и

способствовало укреплению чувства принадлежности к более широкой этносоциальной общности, нежели прежние узколокальные единства отдельных «земель» или областей. Распространение письменности на родном (славянском) языке также, без сомнения, содействовало сближению или слиянию существовавших ранее этнических групп и этносов. Но процессы консолидации крупных этнических общностей (народностей) оказывались весьма сложными и противоречивыми.

О неоднозначности процесса формирования развития этнического самосознания можно до некоторой степени судить и по материалам источников, воссоздающим историю Боснии. Как отмечается в югославской историографии, с конца XI в. с возрастанием самостоятельности Боснии здесь появляется особое «этническое ядро» (отличающееся от «сербского ядра»), которое затем «укрепляется» в XIII—XIV вв. (7, с. 43). Обособление Боснии от Сербии, о котором упоминают и названные выше византийские авторы (Иоанн Киннам и Михаил Анхимальский), было, вероятно, связано с укреплением у жителей Боснии чувства местного патриотизма, с начавшимся развитием боснийской общности.

От периода упрочения самостоятельной Боснийской державы при бане Кулине, к сожалению, не сохранилось документальных свидетельств (местного или иностранного происхождения) об этнонимах, которые применялись тогда населением Боснии. Так, Кулин в договоре с Дубровником (1189 г.), упоминая о «дубровчанах», о своих подданных говорит лишь как о жителях «всей нашей страны» и «моего владения» (30, с. 5—6). При оценке данных сведений следует учесть их определенное сходство с упомянутыми выше сербскими свидетельствами (мы имеем в виду, в первую очередь, весьма неясные в этническом смысле наименования подданных династии Неманичей), а также заметные отличия этнических процессов на территории Боснии сравнительно с пределами Сербского государства.

Речь в данном случае идет о большей однородности населения Боснийской державы, ибо она при Кулине и позднее, при бане Матвее Нинославе (около 1232—1250 гг.), включала только некоторые внутренние районы западной части Балканского полуострова, т. е. лишь центральные области нынешней Боснии (а отчасти и местности на ее северо-востоке и юго-западе) (3, с. 64). Здесь, видимо, славянский этнос решительно преобладал, а неславянские элементы (как-то: вlahи, а позже и «саксы» — немецкие колонисты) были весьма незначительными. В свою очередь, необходимость отражать неоднократные попытки правителей Королевства Венгрия, папской курии и высшего католического клира добиться прочного подчинения Боснии и подавления местных «еретиков» (богомилы), уже создавших самостоятельную «боснийскую церковь», могла содействовать укреплению у местного населения вековых представлений о «славянской» (или же «сербской») общности, единстве происхождения, языка, обычаев и политических традиций. Вместе с тем длительное противостояние державы

Кулина и его преемников католическому Королевству Венгрия, объединенному с Хорватией, создавало, вероятно, предпосылки и для четкого размежевания жителей Боснии от своих соседей-хорватов, хотя и славян, но «иноверных» и «иновластных».

Именно поэтому, как уже отмечалось в историографии (27, т. 1, с. 194; и др.), в грамотах боснийского бана Нинослава (в 30-х и 40-х годах XIII в.), жители его владений обозначались только термином «серб» (в оригинале «Срьблинь»), тогда как романские далматинцы из Дубровника именовались не «дубровчанами», а лишь общим этнонимом «влахи» (28, с. 144—146). Иначе говоря, при этом не делалось никаких уточнений этногеографического плана, подобных тем, которые имелись в названных выше Локрумских актах («влах из Дубровника», «славяне из Захулмий»). Такое преобладание в сознании жителей Боснийской державы XIII в. самых широких понятий о своей этнической принадлежности (либо об этнических общностях «чуждых» им соседей) можно, вероятно, объяснить либо полным отсутствием, либо неразвитостью в ту пору на этой территории сколько-нибудь устойчивых тенденций к формированию или возрождению локально-политических традиций, характерных для особой общности в пределах крупной области, «земли» или полусамостоятельного княжества (вроде Рамы, Усоры, так называемых Нижних краев) (3; с. 63, 73).

Вместе с тем отсутствие в сохранившихся источниках свидетельств о центробежных этнических процессах, а соответственно — и об их проявлениях в сфере самосознания жителей Боснии той поры, видимо, не следует переоценивать как доказательство набравшего силу поступательного развития самостоятельной (боснийской) этносоциальной общности, отделявшейся и от сербской, и от хорватской. Нет сомнений в том, что частые внутренние распри, обострившиеся почти непрерывным антагонизмом с Королевством Венгрия и римской курией, и религиозные противоречия в недрах боснийского общества и его феодальной верхушки, сосуществовавшие становлению особой, «еретической» (с точки зрения католиков и православных) церковной организации, — все это во многом затрудняло и явно замедляло формирование и консолидацию важнейших элементов этнического самосознания жителей Боснии на этом этапе развития здесь самостоятельной государственности.

2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БОСНИИ И СЕРБИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII—ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIV В.

Рассмотренные выше данные источников достаточно наглядно, по нашему мнению, показывают, что середина XIII в. может быть признана важным рубежом в истории развития этнического самосознания жителей рассматриваемых в главе югославянских земель. К этому времени вместо прежней, единой древнесербской

раннефеодальной народности оформились в целом и стабилизировались новые этносоциальные общности, появление которых было обусловлено новым уровнем развития феодального строя и значительными изменениями политического характера. Так, в границах Сербского государства Неманичей происходило упрочение сербской феодальной народности, тогда как в пределах Боснийской державы завершалась этническая консолидация местного населения, считавшего себя хотя и близким соседним славянским, но уже особым народом (до середины XIII в. в Боснии, как мы видели, в качестве единого этнонима еще использовали термин «сербы»).

Какова же была дальнейшая эволюция зафиксированных выше форм этнического самосознания в Сербии и Боснии во второй половине XIII в.? Как и для более раннего периода, для Сербии этого времени основным источником служат дарственные грамоты королей, а также материалы их переписки и соглашения с Дубровником. Бесспорно, продолжавшееся укрепление центральной власти в державе Неманичей в 50—70-х годах XIII в. (5, с. 239—247) содействовало и прочному преобладанию этнонима «сербы» при обозначении славянского населения страны. Это обстоятельство было характерно не только для указанного периода, но и для XIV в. Например, в договорах с Дубровником, составленных при королях Драгутине и Милутине, неизменно присутствует термин «серб» применительно к любому жителю Сербии. Но и в этих актах можно заметить некоторые детали, говорящие об изменениях этнических определений и ситуаций (хотя бы по сравнению с грамотами первой половины XIII в.). Так, иногда теперь среди подданных Неманичей выделяется особая группа — «саси» (т. е. саксы, немецкие колонисты в городах и на горнорудных промыслах); вместо прежнего широкого обозначения романских далматинцев («влахи») упоминаются «дубровчане» или же «латины» (28, с. 160, 162, ср. с. 138 — с неверной датой около 1220 г.). В одной из грамот Милутина (1299—1300 гг.) среди представителей разных народностей названы «грек или болгарин, или серб, латинянин, албанец, влах. . .» (28, с. 620).

Иначе обстоит дело с материалами источников о населении Боснии с начала второй половины XIII в. Не вызывает сомнения тот факт, что кардинальные перемены в политическом положении боснийских земель (уже в 50-х годах этого века) могли оказывать и действительно оказывали негативное воздействие на развитие самосознания местного населения — как в государственно-правовом, так и в этносоциальном плане. В это время боснийские земли попали под прочный контроль феодальной верхушки Королевства Венгрия, в составе которого прежние владения Кулина и Нинослава были разделены на несколько (от двух до четырех) административных единиц, подчиненных непосредственно венгерскому двору и не связанных между собой. Сократилось резко и число свидетельств о внутреннем положении Боснии. Что же касается немногочисленных упоминаний (от конца XIII в. в латинских

частноправовых актах Дубровника) об уроженцах этих районов, попавших в рабство, то эти известия сопровождаются лишь скупой пометой «из Боснии» (3, с. 70—77; 30, с. 59, 64, 66).

Учитывая охарактеризованную выше политическую обстановку, можно предположить, что в боснийских землях уже с 50-х годов (а еще более вероятно — с 70-х) XIII в. нарастало значение узколокальных понятий, обозначающих жителей лишь с помощью указания на место их рождения и проживания; в иностранных источниках, как было показано выше, взамен прежнего общего этнического наименования «славянин» (аналогом которому в грамотах Нинослава был этноним «серб») приводится лишь географическое.

Для дальнейшего развития этнического самосознания населения в Сербии и Боснии, на наш взгляд, особое значение имело время на рубеже XIII и XIV вв., ознаменовавшееся важными переменами в политическом и социальном облике этого региона. Несмотря на локальные различия судеб обеих стран, о чем уже сказано выше, на данном рубеже проявились также и общие черты в развитии феодального общества, которые сыграли существенную роль в эволюции сложившихся здесь и складывавшихся этнических общностей.

Прежде всего, по нашему мнению, следует отметить, что в конце XIII—начале XIV в. на соотношение разных уровней и основных форм этнического сознания, характерное для сербской народности, заметно воздействовал резкий рост феодальной децентрализации в державе Неманичей, который привел к ее разделу на два королевства (5, с. 244 и след.). Выделение государства Драгутина («королевство Сербия», или «Сремская земля»), несмотря на признаки экономического подъема в Сербии в целом, явилось результатом постепенного нарастания центробежных тенденций, сопровождавшихся возрождением прежних локальных традиций. Государственная структура владений династии Неманичей все более усложнялась. Помимо «королевства Сербии» существовали уделы королевы Елены, сына Милутина — Стефана (Зета), видимо, и небольшой удел отца Милутина — Уроша (в Хумской земле) (5, с. 248, 250 и др.). Показательно, что политическая разобщенность разных районов Сербской державы сохранялась и после ликвидации (в 1314—1316 гг.) владений Драгутина и Стефана Дечанского. В годы междоусобной борьбы претендентов на престол (в начале 20-х годов XIV в.) вновь фактически было восстановлено разделение Сербии на два королевства во главе с наследниками Драгутина и Милутина, а соправитель Стефана Дечанского (Душан) получил зетский удел (5, с. 256—258).

Следует, видимо, иметь в виду, что нарастание тенденций феодальной децентрализации и укрепление позиций местной знати закономерно вело не только к изменению роли разных уровней этнического сознания (в частности, к известному ослаблению сознания общесербского единства) и возрождению прежних локально-партикуляристских настроений (особенно в Зете, За-

хумье, Требинье), но и к появлению новых этносоциальных особенностей (например, в «Сремской земле» Драгутина, включавшей Северную Сербию и смежные районы Боснии).

Не менее важен для понимания этнических процессов того времени и тот факт, что все эти явления политического и этносоциального плана в Сербской державе серьезно отразились и на судьбах Боснии. Значение этих явлений было неоднозначно в разные периоды, в том числе — с точки зрения горизонтальной динамики этносоциальных общностей, связанной, в частности, с появлением на данной территории так называемых промежуточных или параллельных политических образований. Одним из них, как упоминалось, было «королевство Сербия» Драгутина Неманича, включавшее и часть Боснии. Но одновременно в силу ослабления боснийской государственности и все более прогрессирующего ее «поглощения» (вместе с боснийской знатью, что не менее важно) феодальной системой Королевства Венгрия и Хорватии наметилась и другая тенденция, прямо противоположная по направлению (т. е. Неманичи не получали часть этих земель), но идентичная по своей сути. Речь идет о подчинении остальных районов Боснии, еще остававшихся под властью местного бана, хорватскими феодалами — князьями из рода Шубичей (3, с. 75 и след.).

Такая перспектива постепенной ликвидации самостоятельной боснийской государственности в результате образования «королевства» Драгутина и «державы» Шубичей (на землях Хорватии, Далмации и Боснии) не могла, на наш взгляд, не найти определенного соответствия и в этнических процессах той поры. Применительно к той части Боснии, которая была подвластна Драгутину, мы вправе, видимо, предположить известное нарастание форм общесербского самосознания (соответственно представлениям, отраженным в грамотах Нинослава), но уже с большим подчеркиванием государственного и религиозного единства в силу устремлений правительства Драгутина и его православных иерархов (3, с. 75; 33, т. 1, с. 189—190).

Напротив, в той части Боснии, которая находилась под эгидой Шубичей (вплоть до 1322—1324 гг.), возможно допустить формирование представлений о единстве славянского населения Хорватии и Боснии, т. е. здесь уже могло иметь место в какой-то мере «возрождение» тех понятий о славянской наднародностной общности, которые отражены в Летописи Дуклянина. Понятно, что сохранение такого «промежуточного» образования, как «держава» Шубичей, внутри Королевства Венгрия могло быть в конечном счете связано и с ослаблением этнического сознания самостоятельной боснийской общности, которая в случае дальнейших успехов Шубичей оказывалась бы на уровне «протонародности», локальной этнополитической единицы низшего плана.

Но, как известно, обе эти неравнозначные тенденции остались незавершенными в силу упрочения центральной власти в Сербии, как и крушения эфемерного могущества Шубичей и ряда других

перемен на политической карте 20-х годов XIV в. Все это сделало возможным новое усиление боснийской государственности, более того — расширение владений боснийской династии Котроманичей за счет западных районов «державы» Драгутина (областей Усора и Соли), соседних пределов Хорватии и, наконец, Хумской земли, окончательно потерянной Неманичами в 1326 г. (З, с. 87—90, 162). Таким образом, уже к 30-м годам этого века Босния превратилась в гораздо более обширное политическое образование, нежели прежние владения Нинослава, охватывая уже земли от Савы до Адриатического моря.

Столь значительное увеличение размеров Боснийского государства (по сравнению с владениями банов конца XII—XIII в. примерно вдвое) было закономерно связано, безусловно, и с принципиальными изменениями в сфере этнического самосознания. В состав владений Котроманичей тогда впервые вошли земли, жители которых ранее находились в сфере воздействия иных государственно-правовых и этнических традиций (сербской, хумской, хорватской). Этническая неоднородность населения, подвластного бану Степану II Котроманичу (1314—1353), особенно возросла с присоединением Захумья, в котором проживало немало влахов, в том числе принадлежавших и сербской Хумской епархии (12, с. 36—38).

Без сомнения, правящая феодальная верхушка столь усилившейся Боснии уже в то время вполне отдавала себе отчет в том, что при столь разном составе населения страны требуются постоянные и энергичные меры по его сплочению. Отсюда, вероятно, вытекало последовательное стремление подчеркнуть общегосударственное и этническое единство Боснии — в противовес соседним политическим образованиям. В доказательство этого обратим внимание на весьма длинный титул Степана II, в котором фигурируют помимо самой Боснии (т. е. центральной части СР Боснии и Герцеговины) и все присоединенные им земли, и даже Захумье, за которое еще шла борьба с Неманичами и местными феодалами Бранивиевичами. Этот титул в грамоте его, изданной примерно в 1324 г., гласит: «Я... господин всем землям Босанским и Соли и Усоре и Нижним краям и Хумской землей господин» (30, с. 105). Возможно, именно в связи с новыми условиями развития боснийской этнической общности потребовалось и ее новое обозначение, позволившее отделить ее от соседних славянских народов.

Таким новым этнонимом стал термин «бошняни» (т. е. боснийцы), о появлении которого как показателя «формирования боснийского самосознания принадлежности народа в феодальном смысле», «сознания объединения в новых политических рамках», уже говорилось в литературе (7, с. 45; 8, с. 506). Но этот общий и в целом верный вывод требует, по нашему мнению, детализации и уточнений именно в плане оценки этносоциальной ситуации внутри державы Котроманичей. Весьма важно, что само «внедрение» нового этнонима началось «сверху», т. е. из канцелярии боснийского бана, посредством его официальных актов, причем тогда, когда

окончательное оформление политической системы Боснии еще не совсем завершилось. Показательно, что в упомянутой выше грамоте бан Степан, перечисляя своих вельмож — «добрых бошнян» (в их числе — феодалов из Центральной Боснии, Загорья, Рамы, Усоры, Соли и других областей), не называет, однако, ни одного из своих вассалов из Хумской земли. Между тем, как мы видели, сам же Степан II объявил себя ее полноправным повелителем (30, с. 106).

Не менее примечательно и другое обстоятельство. То, что расширение и усиление Боснии совершалось в обстановке войны против Сербии, когда в походах против «безбожных и поганых бабунов» (т. е. боснийских феодалов) участвовал и «молодой король» Сербии Стефан Душан (34, кн. 1, с. 25; 3, с. 91), заставляло особенно целенаправленно применять новый этноним «бошняни», чтоб тем самым в государственно-правовой и этносоциальной терминологии специально подчеркнуть самобытность Боснии и ее жителей. Уже через несколько лет в договоре Степана II с Дубровником любой житель Боснии (а не только ее вельможи) именуется «бошнянин», а не «серб», как это было в грамоте Нинослава (35, кн. 1, д. 1, с. 43—44). Правда, несмотря на вполне понятное преобладание нового термина в официальных документах боснийского двора, все же иногда и в эти годы в них проскальзывали обозначения, свидетельствующие о привычности понятий прежней, «сербской» этнической принадлежности (например, в 1333 г. грамоты бана названы «сербскими» — в отличие от их «латинских» копий) (35, кн. 1, д. 1, с. 46).

Иными словами, если учесть, что даже во внешнеполитических актах Боснийской державы, правители которой тогда усиленно внедряли новый этносоциальный и государственный термин («бошняни»), случались такого рода «обмолвки», мы можем предположить, что в действительности этническое сознание жителей владений Котроманичей во второй четверти XIV в. оставалось далеко не столь целостным, как этого хотелось бы господствующей верхушке Боснии. Видимо, в народных массах представления о своей этнической принадлежности были еще неодинаковыми; вполне возможно, что жители Центральной Боснии в большей мере ощущали себя «бошнянами», тогда как их соседи нередко считали себя просто «сербами» либо «хумлянами», быть может, даже «славянами» или «влахами».

Такая гетерогенность этнического самосознания в той или иной степени проявлялась, видимо, и в ареале сербской феодальной народности в первой половине XIV в. Как известно, в городах Сербского Приморья (т. е. Южной Далмации) в тот период сохранялись романские далматинцы. В связи с этим нет как будто оснований пренебрегать сообщениями (при всей их тенденциозности) западноевропейских публицистов, которые в начале этого столетия заявляли: «В этой Приморской области обитатели являются истинными католиками и даже как бы латинянами», резко отличаясь поэтому от прочих жителей Сербского королевства — «коварных

схизматиков» и «худших еретиков» (36, с. 250, 252). С этим утверждением анонимного автора «Описания Восточной Европы» (1308) во многом сходны относящиеся к 1332 г. высказывания другого поборника экспансии западноевропейских феодалов на Балканах — псевдо-Брокарда (или Гильома Адама) (37, с. 216—217). По его словам, Сербию было бы очень легко захватить, ибо помимо прочих живут «там два народа, а именно один — албанцы, а другой — латиняне, и все [они] пребывают в вере, обрядах и повиновении римской церкви». О «латинянах» псевдо-Брокард сообщает далее, что они «имеют шесть городов со своими епископами» (т. е. Бар, Котор, Улцинь, Скадар, Свач и Дриваст), причем «эти [города] населяют только латиняне», а албанцы расселились «во всем их диоцезе вне городских стен». Этот автор уже знал, что албанцы и романские далматинцы различались по языку: «И хотя албанцы имеют совсем другой язык, и отличный от латинского, все же они пользуются латинской письменностью и применяют ее во всех своих книгах».

В трактате псевдо-Брокарда содержатся также примерные данные о численности албанцев в пределах Сербского королевства: по его словам, жители Северной Албании могли выставить на поле боя 15 тысяч конных воинов (38, т. 2, с. 618—619). Хотя, конечно, этот западноевропейский публицист, ратуя за крестовый поход против Сербии, всячески преувеличивал желания албанцев и «латинян» Приморья выступить под флагом Филиппа VI Французского против «несносной» власти Неманичей, все же сообщения псевдо-Брокарда свидетельствуют о сложной этнической ситуации, о существенных особенностях этносоциальных отношений в Сербском Приморье.

Такая неоднородность населения в той или иной мере ощущалась и во внутренних районах Сербского государства, в частности в быстро развивавшихся тогда городах и горнорудных центрах, где проживало уже довольно много (по масштабам той поры) и немецких колонистов-«саксов», и далматинских купцов и ремесленников, и, наконец, представителей других народов (греков, болгар и т. д.) (28, с. 620). Но гораздо более многочисленными по сравнению с этими иноэтничными или же иноверными жителями сербских городов и «торгов» были здесь, разумеется, неоднократно уже упоминавшиеся влахи, основную массу которых составляли крестьяне-скотоводы, подвластные в своей большей части разным сербским монастырям (Хиландарскому, Дечанскому, Баньскому, Архангельскому близ г. Призрена и др.) (39; 40; и др.). Грамоты этих монастырей, составленные в первой половине XIV в. и содержащие перечни влашских общин (катунов) и поименные списки зависимых влахов, позволяют не только судить о расположении соответствующих влашских поселений в державе Неманичей, об ономастике влахов, их повинностях и некоторых мероприятиях (в отношении их) центральной власти и церкви, но и до известной степени сопоставить эти данные с аналогичными сведениями о влахах XIII в. Можно получить, таким образом, некоторое пред-

ставление о демографических и этносоциальных изменениях во влашской среде и о развитии сербо-влашских связей.

Примечательно, что и в первой половине XIV в., несмотря на заметные успехи процесса консолидации сербской народности, на явные признаки славянизации (сербизации) значительного числа влахов, переходивших к оседлому образу жизни и к земледелию, влахи тем не менее в дарственных актах сербских королей монастырям неизменно отделены от остальной массы славянского земледельческого населения (сербов) (30, с. 102—104, 138, 140, 142 и др.). Немаловажно и зафиксированное в некоторых грамотах стремление королевского двора и высшего православного клира воспрепятствовать смешанным сербо-влашским бракам. Так, в Дечанской и Баньской грамотах содержится категорическое требование: «Серб пусть не женится во влахах». При этом имелся в виду, вероятно, уход сербов во влашские катуны, в семью своего тестя и других родичей жены (30, с. 93, 114).

Объяснять такие запреты лишь узкохозяйственными соображениями, в частности старанием помешать сокращению числа зависимых земледельцев-барщинников, на наш взгляд, невозможно. Влашская среда в Сербии была действительно этнически неоднородной. Это подтверждает анализ влашских имен. Так, если судить по материалам Баньской грамоты, изданной в 1314—1316 гг., и сравнить их с данными сербских грамот XIII в., легко убедиться в том, что и в начале XIV в. среди влахов преобладали славянские имена. Более того: у влахов Баньской вотчины доля собственно сербских имен даже несколько возросла по сравнению с актами XIII в. Но и в это время все еще заметное число влахов сохраняло свои имена, присущие только данному этносу (из так называемых романо-влашской и сербо-влашской групп) (12; 39; 40).

Что же было причиной столь бесспорной устойчивости влашской антропонимии, незавершенности процесса их ославянивания (сербизации)? На наш взгляд, главной причиной этого был постоянный приток с юга и востока (из бывших византийских провинций, присоединенных Неманичами, и Болгарии) новых влашских общин, которые испытали гораздо меньшее влияние славянского этноса, а иногда, видимо, в какой-то мере смешивались с греками и албанцами. Возможно, что приток влахов с юга еще более возрос в 30-х и 40-х годах XIV в. в связи с завоеваниями Душана и включением в состав Сербской державы обширных земель (в том числе Албании, Эпира, Фессалии). Вместе с тем материалы влашской антропонимии содержат любопытные указания на укрепившиеся связи влахов не только с соседними крестьянами-сербам из окрестных сел, но и с романскими горожанами Южной Далмации, у которых они брали чисто католические имена (Лукар, Балдовин и др.).

Все это дает основания говорить о неоднозначности этнических процессов в Сербском государстве в первой половине XIV в. Не может быть сомнений в том, что экономический подъем, развитие торговых связей внутри страны и с внешними рынками, рост

городов содействовали консолидации сербской феодальной народности, укреплению взаимосвязей местного населения, славянизации отдельных иноэтнических и иноязычных элементов. Бесспорно и то, что успешная внешняя политика Неманичей в ту пору, победоносные войны с соседними державами (Византией, Боснией, Болгарией) и присоединение многих новых областей явно способствовали подъему сербского этнического самосознания, утверждению представлений о неодолимой мощи своей родины, которая стала в качестве нового, Сербского царства (провозглашенного Душаном) наравне с великим «Греческим царством» (2; 4; 5; и др.).

Этот период был ознаменован также расцветом сербской феодальной культуры, появлением новых оригинальных и переводных сочинений (сборник житий сербских королей и архиепископов, созданный Данилом II, переводы западных романов — «Александрии» и пр.), развитием языка и культурных связей с Византией и другими странами (41; 42; и др.). Разумеется, поступательное развитие сербского феодального общества вовсе не исключало, как мы видели, проявлений локального партикуляризма, известной обособленности жителей отдельных краев и горных районов, отгороженных друг от друга феодальными перегородами уделов и имений (30, с. 94—95). Не исключало оно также и резких сдвигов (миграции) населения (особенно влахов).

Новый этап в развитии этнических процессов на территории Сербского и Боснийского государств начался с середины XIV в. При бесспорной специфике этносоциальных перемен в каждом из этих феодальных образований все же можно отметить, на наш взгляд, и некоторые общие черты, связанные с внутривосточной динамикой, ростом могущества светской знати и экспансией соседних держав. К числу таких черт, видимо, нужно отнести следующие: в первую очередь, вероятно, — чередование периодов определенного регресса и, напротив, ускоренного прогресса в развитии самосознания сербской и боснийской феодальных общностей, далее — постоянное нарастание миграции населения (в особенности — ввиду османского нашествия), приводившей к нарушению этнического единства разных районов, а вместе с тем — к расширению рамок изучаемых этносоциальных организмов. Наконец, одной из наиболее важных особенностей этнической ситуации середины и особенно конца XIV в. нужно признать заметное возрастание реальных предпосылок к возникновению новых протонародностей (или «субэтносов») в рамках возникавших тогда полусамостоятельных княжеств, уделов, владений наиболее могущественных феодалов той поры.

Наглядное проявление, как известно, этот процесс феодальной децентрализации получил уже в 50-х годах в пределах громадного Сербо-Греческого царства, начавшего тогда распадаться «на множество частей», как писал очевидец и противник Неманичей Иоанн Кантакузин (33, с. 237 и след.; 43, с. 10; и др.). Так, уже к 1360 г. Зета образовала собой полунезависимое владе-

ние Балшичей, и тогда же наметилось обособление западных и северо-западных краев державы Неманичей («княжества» Воислава Воиновича, позднее — Николы Алтомановича). С ослаблением центральной власти в Сербо-Греческом царстве (процесс его распада завершился примерно к 1371 г.) и другие районы, входившие в ареал сербской народности, подверглись также разделению на особые уделы и княжества. В Южной Сербии возникает «держава» Вука Бранковича, в Восточной и Северо-Восточной — владения князя Лазаря и Растислаличей, помимо которых здесь тогда было немало фактически самостоятельных, но более мелких владетелей. Несомненно, что ожесточенная борьба наследников Душанова царства, ослабление (а иногда и разрыв) давних хозяйственных и культурных связей оказывали негативное воздействие на представления местного населения о принадлежности к своей этнической общности.

Приблизительно в это же время в истории боснийской феодальной государственности и этносоциальной общности также наступил резкий поворот, вызванный серьезными политическими причинами — тяжким натиском ее сюзерена, короля Венгрии Лайоша (Людовика) I Анжуйского. Если раньше Босния расширила свои пределы за счет областей, входивших прежде в состав Хорватии и Сербского королевства, то теперь Лайош I отобрал у Боснии ряд краев (Хум, Завршье) и в 1357 г. подчинил своей непосредственной власти некоторых боснийских феодалов из Нижних краев (3, с. 123—125). Понятно, что ослабление Боснии в середине XIV в. сказалось и на судьбах местной этнической общности. К тому же в 60-х годах вспыхнула война Лайоша с новым баном Боснии Твртком, за чем последовало свержение Твртка недобровольными вельможами, а позднее — раздел территории Боснии между братьями-банами (Твртком и Вуком) (3, с. 129—132).

Сложность и неустойчивость внутренней обстановки в Сербии и Боснии и их внешнеполитического положения в 50—70-х годах XIV в. порождали противоречивые тенденции и в развитии государственного строя этих стран, и в сфере этнического самосознания их населения. Не случаен тот факт, что во второй биографии сербского короля Стефана Дечанского (она была написана, по нашему мнению, примерно в 1360—1380 гг.) (44, с. 60 и след.) содержится специальное, по сути дела уникальное для сербских житий, восхваление «великого и славнейшего сербского народа». Автор жития считал важным начать свой рассказ с этой похвалы, подчеркнув, что сербский народ «не только военными силами превосходит другие народы, и [не только] славой и богатством, и красотой своих мест, и величием», отличаясь этим от соседей, «но [он] украшается и может [также] похвалиться [своими] царями благочестивейшими и премудрыми. . .» [45, с. 64].

Яркий всплеск патриотических настроений во *Втором Житии Стефана Дечанского*, столь непривычный для сербской агиографии, можно объяснить несомненным желанием представителей разных прослоек сербского общества (в данном случае, видимо,

духовенства) в трудные годы феодального хаоса апеллировать к воспоминаниям об эпохе единства и могущества державы Неманичей. Подобного рода стремления были понятны в период нарастания локально-сепаратистских тенденций, которые вдобавок осложнялись переходом многих областей Сербского царства под эгиду боснийских правителей (в частности, Подринье, Требинье и соседние земли были присоединены Твртком в 1373—1377 гг.) (3, с. 135).

Все эти отличительные черты политической обстановки в Сербии и Боснии позволяют считать конец третьей четверти XIV в. очередным важным рубежом в истории феодальной государственности и этносоциального развития на этих территориях. Данный рубеж характеризуется, с одной стороны, завершением распада Сербского царства и стабилизацией возникших в его пределах новых княжеств и уделов, а с другой — присоединением Боснией некоторых областей Душановой державы, а затем (в конце века) смежных районов Далмации и Хорватии. Но значение названной хронологической грани не исчерпывается переменами на политической карте этой части Балканского полуострова и не сводится лишь к нарастанию феодального сепаратизма и ослаблению центростремительных тенденций. Не менее важным для последующего развития этнических общностей региона было непрерывно возраставшее воздействие османской экспансии, которой Сербия подвергалась уже с начала 80-х, а Босния — с конца 80-х годов. Снашествием османских завоевателей усиливается приток разноплеменных беженцев (влахов, греков, албанцев, болгар). Началось и перемещение местного населения — на запад, вплоть до стен Дубровника, в Далмацию и Боснию, либо на север — в южные провинции Королевства Венгрия, а также в горные, малодоступные местности современных Черногории, Герцеговины, Хорватии, Боснии (46, с. 55). Все это должно было вызвать, несомненно, появление новых черт в системе этнического самосознания населения, анализ которых должен стать предметом особого исследования на основе источников эпохи османского завоевания (т. е. с конца XIV и до 50—60-х годов XV в.).

Итак, рассмотренные выше данные источников говорят нам о сложности процессов развития этнического самосознания населения Сербского и Боснийского государств в XII—XIV вв., подтверждая уже сделанный в советской литературе для эпохи средневековья общий вывод, что «противоположные тенденции пронизывают всю этническую историю», проявляясь «во всех видах и на всех уровнях иерархии этнических общностей» и протекая «подчас даже в разных направлениях» (17, с. 76). Как и в других славянских странах, в Сербии и Боснии в ту эпоху система этнических общностей и соответственно — разных уровней самосознания претерпевала в ходе своего развития постоянные изменения.

Вряд ли можно сомневаться в том, что главная роль в данном регионе принадлежала тогда сербской и боснийской этносоциаль-

ным общностям; чувство принадлежности к этим народам у местного населения в той или иной мере сочеталось с иными, более широкими или более узкими этническими представлениями. У нас есть основания для заключения о существовании здесь этнических наднародностных понятий, сознания славянского единства, общего происхождения и близости. Вместе с тем сохранение, наряду с народностными, также наднародностных форм самосознания сочеталось нередко, причем весьма противоречиво, с появлением или возрождением этносоциальных тенденций локального характера, связанных с намечавшимся обособлением какой-либо области (княжества) и выделением ее жителей в качестве новой (либо «воссоздаваемой») протонародности или же народности феодального типа. Примером таких крупных сдвигов в сфере самосознания является постепенное становление в Боснии новой этносоциальной общности, сопровождавшееся сменой этнонимов у представителей местного населения. Вместо прежнего обозначения «сербы», общего и для обитателей Боснии, и для подданных Сербского королевства, в боснийских актах распространяется новый термин — «бошняни», который был связан с политикой правителей этого феодального государства.

Изучение истории сербской раннефеодальной народности, а позднее — двух феодальных общностей (сербской и боснийской) позволяет поставить вопрос об основных отличиях между народностями эпохи развитого феодализма и периода раннего средневековья (1, с. 259). Есть основания говорить о значительно большей устойчивости и прочности феодальной народности по сравнению с раннефеодальной. Главные причины этого состояли, без сомнения, в большей роли феодальной идеологии и культуры, в более высоком уровне социально-экономического развития, в усилении значения городов и расширении торговли, упрочении единых норм права. Отнюдь не случайно, по нашему мнению, выделение Боснии в качестве самостоятельного политического и этнического организма произошло на последнем этапе истории раннефеодальной народности и раннесредневековой государственности. Дальнейшего членения этническая карта здесь уже не знала вплоть до конца третьей четверти XIV в., несмотря на чередование периодов некоторого «подъема» или «упадка» самосознания жителей этих земель.

1. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
2. Историја народа Југославије. Београд, 1953. Т. 1.
3. Ђурковић С. Историја средњовековне Босанске државе. Београд, 1964.
4. Историја српског народа. Београд, 1981. Кн. 1.
5. Наумов Е. П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII—XIV вв. М., 1975.
6. Шимић Ф. Летопис попа Дукљанина. Београд; Загреб, 1928.
7. Grafenauer B. Die ethnische Gliederung und geschichtliche Rolle der westlichen Südslawen in Mittelalter. Ljubljana, 1966.
8. Ćirković S. Srbi. Etnički razvoj // Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1968. Т. 7.

9. Етногенеза Црногораца и марксистичко одређење нације // Пракса (Титоград). 1981. № 4.
10. *Корољук В. Д.* Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. М., 1985.
11. *Наумов Е. П.* Волопшкая проблема в современной югославской историографии // Славяно-волопшские связи. Кишинев, 1978.
12. *Наумов Е. П.* Балканские влады и формирование древнесербской народности // Этническая история восточных романцев. М., 1979.
13. *Наумов Е. П.* Процессы формирования средневековой сербской народности и балканские влады // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981.
14. *Наумов Е. П.* Этнические представления на Балканах в эпоху раннего средневековья (по материалам «Летописи попа Дуклянина») // СЭ. 1985. № 1.
15. *Наумов Е. П.* Этнические процессы в средневековой Сербии и Боснии // СЭ. 1986. № 5.
16. *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М., 1973.
17. *Бромлей Ю. В.* Современные проблемы этнографии. М., 1981.
18. Раннефеодальные государства на Балканах (VI—XII вв.). М., 1985.
19. *Бибиков М. В.* Византийские источники по истории Руси, народов Северного Причерноморья и Северного Кавказа // Древнейшие государства на территории СССР. 1980. М., 1982.
20. Византијски извори за историју народа Југославије. Београд, 1966—1971. Т. 3—4.
21. *Радојчић Н.* Како су називали Србе и Хрвате византијски историци XI и XII века Јован Скилица, Никифор Вријеније и Јован Зонара? // Гласник Скопског научног друштва. 1927. Т. 2.
22. *Patrologiae cursus completus / Ed. J. Migne. P., 1855. Ser. lat. T. 201.*
23. *Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I / Hrsg. v. A. Chroust. B., 1928.*
24. Социјалистичка Република Србија. Београд, 1982. Т. 1.
25. *Кнезса Ј.* A magyar nyelv szlav jovevenyszavaí. Вр., 1955. I. köt. 1. resz.
26. *Scriptores rerum Hungaricarum / Ed. E. Szentpetery. Вр., 1937—1938. V. I—II.*
27. Зборник Константина Јиречка. Београд, 1962. Т. 2.
28. *Новаковић С.* Законски споменици српских држава средњег века. Београд, 1912.
29. *Ђоровић В.* Списи св. Саве. Београд, 1928.
30. *Соловјев А. В.* Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века). Београд, 1926.
31. Светосавски зборник. Београд, 1938. Кн. 2.
32. *Војтџ I.* i dr. Istorija Jugoslavije. Beograd, 1972.
33. *Јиречек К.* Историја Срба. Београд, 1952. Т. 1.
34. *Стојановић Ј.* Стари српски записи и натписи. Београд, 1902. Кн. 1.
35. *Стојановић Ј.* Старе српске повеље и писма. Београд, 1929. Кн. 1. Д. 1.
36. *Наумов Е. П.* «Завистник венецијског чекана» // Дантовские чтения. М., 1973.
37. *Наумов Е. П.* Славянские страны в западноевропейской публицистике XIV в. // Славяне и Запад. М., 1975.
38. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. Скопје, 1977, т. 2.
39. *Грковић М.* Лична имена у Дечанским хрисовулама. Нови Сад, 1983.
40. *Грковић М.* Имена у влашким катунима Призренског властелинства // Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику. 1984—1985. Кн. 27/28.
41. *Кашањин М.* Српска књижевност у средњем веку. Београд, 1975.
42. *Наумов Е. П.* Античне мотивы в средневековой сербской литературе // Славянские литературы. М., 1978.
43. *Наумов Е. П.* Южнославянский эпос и проблемы сербского средневековья // Славянский и балканский фольклор. М., 1971.

44. *Наумов Е. П.* Кем написано второе житие Стефана Дечанского? // Славянский архив. М., 1963.
45. *Давидов А. и др.* Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. С., 1983.
46. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. М., 1984.

ЭТНИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ САМОСОЗНАНИЕ СЕРБОВ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ПИСЬМЕННОСТИ (ЛИТЕРАТУРЫ) И ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В XII—XIV вв.

Н. И. Толстой

Историческая, этническая и языковая ситуация в сербских землях в период, предшествующий рассматриваемому, т. е. до XII в., сводилась к следующему.

На территории, занятой пришедшими на Балканы славянскими племенами, называемыми Константином Багрянородным одновременно то славянами, то сербами, существовали, так же как в окрестностях Солуни и в других зонах, небольшие полугосударственные, полуплеменные образования — Славинии *. В недрах определенной части этих Славиний, по свидетельству того же августейшего хрониста, постепенно зарождалась древнесербская государственность, которая в середине IX в., после ликвидации аварского господства над славянами, достаточно окрепла, так что в правление сербского архонта Властимира и его сына Мутимира даже смогла противостоять болгарскому хану Персияну, а затем и Борису. Все же болгарскому царю Симеону в конце IX в. удалось на короткое время распространить власть над Сербией, но после его смерти в 927 г. Сербия при Чаславе Клонимировиче возрождает свою государственность и сохраняет ее до тех пор, пока в начале XI в. (в 1014—1018 гг.) влияние Византии не сменяется ее прямым господством. В XI в. лишь небольшая территория, примыкающая к Адриатике в районе от Скадарского озера до реки Неретвы, известная под названием Дукли, Зеты и Травунии, при князе Стефане Воиславе (1037—1051) и его сыне Михаиле (около 1052—около 1082 г.) обладала относительной, временами почти полной независимостью от византийцев. Таким образом, в IX—XI вв. внешнеполитическая ситуация — сначала власть аваров, затем сопер-

* Венценосный историк пользуется термином *Славинии* и для восточнославянских племенных образований, в частности для указания на Славинии кривичей, дреговичей, северян и др. (1).

ничество Болгарии и Византии и стремление последней к безраздельному господству на Балканах — препятствовала созданию прочной, длительной и вполне самостоятельной сербской государственности.

В этот период большое значение для формирования сербской народности и сербского этнического самосознания имело принятие христианства. Оно, по свидетельству того же Константина Порфирогенета, происходило дважды: первый раз в царствование византийского императора Ираклия (610—641) и второй раз в царствование Василия I (867—886). Второе крещение понадобилось, видимо, потому, что первое дало малые результаты. По авторитетным расчетам Дж. С. Радойчича, оно могло произойти в промежутке между 867 и 874 гг. (2, с. 31—34). Первый, ранний период христианства у сербов проходил под знаком двойного влияния из Рима и Константинополя, т. е. церковного влияния латинского и греческого образца, о чем свидетельствует ряд источников, в том числе и письмо папы Иоанна IV сербскому князю Мутимиру, датированное маем 873 г., о неканонических действиях некоторых священников и о необходимости церковного подчинения сербских земель Паннонскому диоцезу, во главе которого стоял знаменитый просветитель славян епископ Мефодий. Можно даже с известной долей вероятности говорить о преобладании до XI в. латинской сферы влияния, прежде всего в административном отношении, так как в ту пору сербские земли тяготели к двум церковным центрам — к Сплиту, центру фемы Далмации, и Драчу, центру Драчской фемы (3). Сербские земли как раз находились у той границы, по которой в 1054 г. произошло разделение христианской церкви на западную и восточную (католическую и православную). Граница эта в общих чертах сохранилась до нашего времени. Постепенно все более обостряющееся противопоставление западного и восточного церковного канона и обряда и связанных с ними конфессионально-культурных традиций сглаживалось во многом наличием у сербов, хорватов и болгар славянской письменности и книжности — важного объединяющего фактора, действующего во многом независимо от религиозной ориентации ее хранителей и потребителей. Эта письменность в течение всего средневековья поддерживала и укрепляла важный компонент сербского этнического самосознания и сербской этнической культуры — славянский. Славянский этнокультурный ареал был противопоставлен не столько географически, сколько структурно (даже внутрискруктурно) одновременно и латинскому и греческому культурному и религиозному массиву. Это противопоставление означало во многих отношениях сосуществование и близкое соприкосновение, о чем более подробно будет сказано ниже и что в полной мере относится не только к периоду IX—XI вв., но и к рассматриваемому историческому промежутку XII—XIV вв.

Этническая структура сербов в период их предьстории и самой ранней истории (VII—IX вв.) изучена слабо, что объясняется не столько недостаточным вниманием к этому вопросу, сколько

почти полным отсутствием исторических данных. Этот пробел во многом восполняется работой Е. П. Наумова (4, с. 181—195). Опираясь на эту работу и ряд других трудов, можно с большой долей вероятности предположить, что славянский этнос, отличающийся от близкородственных ему славянских этносов, заселивших Балканский полуостров, этнос, носящий, по свидетельству Константина Багрянородного, этноним «сербы», делился на ряд племен, имевших свои названия, подобно тому как делились восточные славяне, по данным «Повести временных лет», на полян, древлян, дреговичей, северян, вятичей и т. д. Однако сербские этнонимы, отражающие древний тип номинации по особенностям географической среды (такие, как у восточных славян «древляне, зане сѣдоша в лѣсѣх», поляне, дреговичи и т. д.) или по другим нетопонимическим показателям, в большинстве нам не известны. До нас дошел лишь письменно засвидетельствованный, более поздний тип оттопонимических названий сербских племен, явно связанный с новыми географическими и историческими условиями. При этом большинство топонимов, на основе которых возникли древние сербские этнонимы — неславянского происхождения (неретвяне по р. Неретве от древнего *Narona*, дукляне по городу Дукле (из *Dioclea*), конавляне от лат. *canale* — «водопроводный канал», тимочане от р. Тимок (от античного *Timacus*)), но были и славянские этнонимы типа «захлумы» (от города и местности Хлум и Захлумье — «местность за Холмом»). В первой половине X в. при этом помимо собственно Сербии существовали в достаточной мере самостоятельные приморские сербские княжества — Травуния, Дукля, Захумье и соседняя Пагания. К концу X в., после гибели князя Часлава (960 г.), известную независимость приобретает и Босния, которая затем в XI в. аннулируется сначала византийским господством, а потом, со второй половины XI в., возвышением сербского Зетского государства. Государственные и «полугосударственные» образования и их функции, изменения границ как самой Сербии и примыкающих к ней и повременно обособляющихся княжеств и областей вызвали действие двух противоположных процессов: дивергенции, т. е. усиления областного сознания, и конвергенции, т. е. формирования общесербского народного сознания.

Эти процессы находили отражение как в этнической структуре сербского народа, так и в характеризующих ее отдельных топонимах и связанных с ними этнонимах, значение и географическая привязанность (географический охват) которых менялись. Так, некоторые топонимы, как и образованные от них этнонимы, расширяли сферу своей территориальной привязки, как это было, например, с Боснией, название которой относилось первоначально к сравнительно небольшому центральнобоснийскому региону*.

* Аналогичным образом небольшая область в Центральной Боснии — Раша в титулах венгерских королей (в XII—XV вв.) означала Боснию в целом, точно так же, как этникон *гас* (серб), употребляемый венграми, по всей вероятности, восходит к названию сербской земли Рашки, со столицей

Сербских памятников письменности до XII в. не сохранилось, и потому, вероятно, не следует идти путем догадок и восстанавливать книжный язык того времени. Памятник старославянского языка XI в. Мариинское евангелие содержит, по мнению И. В. Ягича, П. Ивича и других ученых, отдельные сербские языковые черты, и это указывает на то, что он мог возникнуть в сфере древнесербского языкового (диалектного) влияния.

Сербские диалекты IX—XII вв., по мнению А. Белича, пережили такой период развития (по его классификации → четвертый), когда уже обрисовывавшиеся в VII—VIII вв. чакавский и штокавский диалекты будущего сербскохорватского языкового массива продолжали развивать ряд общих черт и тем самым скорее приближались, чем отдалялись друг от друга. Большинство этих общих черт, однако, обособляли сербскохорватский языковой массив от других славянских языковых зон (5, с. 1—13). Этот процесс продолжался и в течение XIII—XIV вв., и о его отличительных особенностях будет сказано ниже. Сам же сербскохорватский язык (как язык, а не как определенная диалектная сфера общеславянского — праславянского языка) образовался, по мнению П. Ивича, не ранее XI в., что, надо полагать, вполне соответствует действительному положению дел и мнению о распаде праславянского языка таких крупных ученых, как Н. С. Трубецкой, Н. Н. Дурново и др. (6, с. 139).

Историческая обстановка в период со второй половины XII в. до конца XIV в. резко изменилась по сравнению с обстановкой предшествующего периода. Она ознаменовалась подъемом сербской государственности и расширением ее территории, усилением ее международного и внутреннего положения, возникновением и укреплением позиций династии Неманичей, правившей со второй половины XII в. до 1371 г., созданием сербской автокефальной церкви (1219 г.) и усилением ее авторитета, развитием жанров древнесербской литературы, обогащением литературного языка, этнической консолидацией сербской народности. Всем этим процессам был нанесен в конце XIV в. мощный удар османской агрессией: в 1389 г. на Косовом поле сербы были разбиты, а предводитель сербского войска царь Лазарь убит. Поражение это, как известно, не привело сразу к полной потере сербской государственности, а тем более к ликвидации сербской церкви, книжной образованности (литературы), сербского национального самосознания. На протяжении последующих пяти веков Косовская битва, как и культ св. Саввы Сербского и Неманичей, являлись символами сербского духовного единения и борьбы за национальное возрождение и освобождение. Сербский героический эпос и другие фольклорные жанры воплотили эти символы во многих произведениях.

в Расе (сравни также название р. Рашки, притока р. Ибар). Латинские источники по отношению к средневековому сербскому государству применяли название *Rascia*, *Raxia*, а к ее жителям — *Rasciani*, *Rassani*.

Возвышение династии Неманичей, связанное с именем великого жупана Стефана Немани (1166—1196), привело к объединению большинства сербских земель вокруг Рашки — политического и культурного центра Сербии конца XII—начала XIII в. Пограничное расположение Сербии между двумя крупнейшими европейскими конфессиональными массивами сказывалось во многих сферах ее политической и культурной жизни. Можно привести известные факты, что сам Стефан Неманя был крещен дважды: первый раз, при рождении, в Рибнице (в Зете) по западному обряду и второй раз — в Расе (в Рашке) по обряду восточному, что сын Стефана Немани Стефан Первовенчанный принял в 1217 г. корону от римского папы, а его младший брат Савва получил автокефалию от константинопольского патриарха, находившегося в Никее. Достаточно обратить взор на памятники знаменитой церковноархитектурной «рашской школы», гармонично объединившей строгие черты византийского монументального зодчества с живостью романского стиля, чтобы понять, сколь глубоким и органичным было восприятие культурных ценностей двух соприкасавшихся миров и сколь самобытно было их воплощение в сербской культурной среде. В религиозно-догматической и обрядовой сфере в итоге правления династии Неманичей и развития сербского самосознания той поры окончательно утвердилась приверженность сербской церкви (с 1219 г. автокефальной, а с 1346 г. возглавляемой патриархом) и ее паствы к восточному христианству, к его православной разновидности, чему немало способствовала деятельность первого сербского архиепископа Саввы и его последователей*. Именно этот вероисповедный признак стал впоследствии основным, в некотором отношении и в некоторых условиях единственным дифференциальным признаком, отмежевывающим хорватов от сербов. В качестве такового он сохранился вплоть до XX в. Этот же признак определил характер древнего сербского литературного языка и древнесербской литературы, развивавшейся в тесной связи с византийской литературой и другими литературами славянского мира.

Период XIII—XIV вв. А. Белич не без основания считает очень значительным и «центральным» периодом эволюции сербскохорватского языка. Основные языковые процессы этой поры начали протекать еще раньше, в XII в. Они привели к изменениям как фонетического строя (прояснение редуцированных в сильной позиции в *a*, появление различных рефлексов *ятя*, отраженных и в современном народном языке, переход конечнослогового *l*

* В Закопнике Стефана Душана уже говорится о латинской «ереси» и строго запрещается обращение православных подданных в католичество. Ср. § 6—8 по Призренскому списку (XV в.): «О ереси латинской. И за ересь латинскую; што (се) су (о)брали христиане въ азимство (от греч. ἄζιμος 'опреснок'. — Н. Т.); да ее възврате опеть въ христианство, ако ли се кто обрьте пръчовъ (=ослушавшийся) и не въвративъ ее въ христианство, да ее каже (=пусть будет наказан) како пише у законнику светыхъ отць. . . И поць латиньскы, ако се наиде обративъ христианина въ вьру латиньску да се каже по закону светыхъ отць» (7, с. 11).

в о: *pisal* → *piſao* и др.), так и грамматической структуры и придали сербскохорватскому языку новый ряд специфических черт, отличающих его от других славянских языков. Процессы эти охватили основную массу сербскохорватских диалектов, не достигнув, однако, отдельных крайних, периферийных говоров, сохранивших во многих случаях более архаические языковые черты. В то же время они привели к более четкому выделению ряда диалектных зон, в первую очередь чакавской, западноштокавской и южной, или юго-западной, штокавской. Существенно, что еще до османско-турецкого нашествия штокавский диалект начал свою экспансию на юг и юго-запад. Все это осложнило диалектную картину, преимущественно в приморских и хорватских и в меньшей мере — в сербских землях (5, с. 6—8).

Диалектная дифференциация слабо отражалась в книжном языке сербов XII—XIII вв., который в это время был уже достаточно нормирован и упорядочен. До нас дошел ряд замечательных памятников древнеславянского языка сербской редакции, демонстрирующих непосредственную преемственную связь с кирилло-мефодиевскими протографами. Это сакральные тексты: Мирославово евангелие (XII в.) и Волканово евангелие (около 1200 г., писанное «в Печи в граде Расе»), Псалтырь из Синая (начало XIII в.), Апостол Матицы Сербской (XIII в.), Требник Груича (вторая половина XIII в.) и др. Для текстов этого типа характерно наличие отдельных сербских языковых черт, таких, как замена ж (юса большого) γ (сγ или δ), д (юса малого) є, написание вместо љ и ѓ одного ѓ, смешение ѓ и и и т. п., о чем говорится подробнее в главе о функции древнеславянского языка у славян. Тот же извод господствует в текстах, примыкающих к упомянутому, — в минеях, паримейниках, гомилиях, кормчих и типиконах (Оливерова минея 1342 г., Дечанский паримейник середины XIII в., Печский патерик конца XIII в., Иловицкая кормчая 1262 г., московский Шестоднев Иоанна Экзарха 1263 г., ленинградская Беседа Константина Пресвитера 1284 г., гомиляр Михайловича конца XIII в. и др.) (8; 9). Наряду с упомянутыми видами текстов, характерных для всех зон культурного и конфессионального ареала *Slavia Orthodoxa*, у сербов отмечается рано возникшая деловая письменность, язык которой близок к диалектам, к разговорной речи, но в то же время, безусловно, обладает многими чертами нормированного языка.

Уже древнейшая датированная грамота — грамота боснийского бана Кулина 1189 г., по справедливому замечанию П. Ивича, «написана так, что она могла звучать одинаково на почти каждом штокавском говоре того времени», потому что ее язык «очень архаичен и унифицирован, а дифференциация штокавских говоров тогда еще была слабо выражена» (10, с. 127) *.

* Следует отметить, что текст грамоты бана Кулина понятен и сейчас внимательному русскому читателю не в меньшей мере, чем современному сербскому, из-за архаизмов и славянизмов, сохранившихся в русском, и, конечно, из-за значительного общего славянского словарного фонда, суще-

Обобщенность черт делового языка, прежде всего языка сербских грамот, которые, в отличие от болгарских, сохранились в большом количестве (до 1000 грамот), не стерла некоторых локальных особенностей, выступающих в ряде случаев довольно четко. Так, выделяются группы грамот и деловых документов в рашской (собственно сербской), боснийской и дубровницкой канцеляриях (12, кн. 3, с. 217—260, кн. 4, с. 1—29). В рашских грамотах можно найти следы косовско-ресавского диалекта, в боснийских — боснийской штокавщины, а в дубровницких — некоторые специфические элементы славянской речи знаменитого города-республики. Общий, достаточно нормированный деловой язык, часто в сочетании с языком книжно-возвышенным, отражен в дарственных грамотах монастырям разных сербских владетелей, — церковнославянизмов в них больше, чем в обычных светских грамотах. Сербские державные правители пользовались и греческим языком для своих государственных, административных и прочих нужд (13). Такое греко-славянское параллельное функционирование языков аналогично латинско-славянскому функционированию в хорватских землях, где, однако, латынь в этот период в деловой письменности почти полностью преобладала, как преобладала она, в общем, абсолютно в западнославянских землях.

В произведениях древнесербской литературы региональные, диалектные черты часто малоприметны, и потому в большинстве памятников несакрального и неделового характера XIII—XIV вв. представлен древнесербский книжный язык литературного образца. Языковые различия в этих памятниках — в основном различия не междиалектного характера, а книжного-некнижного порядка, в каком-то отношении высокого и невысокого (среднего) стиля. Под книжными языковыми особенностями при этом понимаются слова и формы древнеславянского языка сербского извода, а под некнижными — особенности древнесербского языка, близкого к народному. Различия книжных и некнижных элементов на сербской почве не были резкими и значительными, во всяком случае более слабыми, чем в книжном и некнижном языке древней Руси, где все южнославянизмы относились к книжному языку, к сакральному и высокому слогу, а в сербском и в сосед-

ствующего и поныне. Приводим первую половину грамоты с некоторыми упрощениями в орфографии: «У нме отца и сина и светаго духа: Я бань босьньски (=боснийский) Кулинь присезаю (=клянусь) тебѣ кнеже Крѣвашу и въсьмь грабамъ дубровѣчамъ (=дубровницким) правы (=истинный) приятель бытъ вамъ отъселѣ и довѣка и прави гои (=мир) дрѣжати съ вами и праву вѣру докола съмь (=есмь) живь. И вси дубровѣчане кире (=которые) ходе (=ходят) по моему владанию, тръгуюѣе (=торгую), годѣ ся кто хоѣе (=кто хочет) крѣвати (=пребывать, проживать), годѣ си кто мине (=кто минует, пройдет) правое вѣровь (=с истинной верой, доверием) и правымъ срьдцемъ держати е (=принимать их) безъ всакое зледи (=зла)». Слово *крѣвати* вышло из употребления в сербском языке, *въсьмь* изменилось в *свим*, *всако* в *свако*, исчезли и слова *гои*, *кире*, а сочетания *годѣ . . кой* стало устойчивым в форме *ко год* — 'кто-нибудь, кто угодно' (11).

них славянских языках такие элементы, естественно, к нему не относились.

Различия в языке памятников рассматриваемого периода чаще всего наблюдаются в текстах разного жанра, т. е. зависят от жанра памятников, а не от места их написания. Наиболее последовательный древнеславянский язык сербского извода наблюдается в книгах литературных, богослужебных, а наиболее близкий к народному язык — в текстах деловых, в грамотах, записях и повествованиях, близких к фольклорным. Некоторые произведения древнесербской литературы написаны или переписаны языком, синтезировавшим древнеславянские и сербские языковые черты.

За два столетия, с начала XIII и до конца XIV в., древнесербская литература развила богатую систему жанров, в широкий спектр которых помимо переводных (преимущественно с греческого и некоторого числа из других славянских литератур, преимущественно из болгарской) произведений вошло немало оригинальных сочинений. Помимо традиционного состава литературных и других богослужебных текстов (служб святым и т. п.), патристических и гомилетических сочинений, корпуса переводных церковно-юридических книг, наконец, переводной агиографической, апокрифической и исторической литературы (хроники и т. п.) в Сербии существовали оригинальные произведения разных жанров, прежде всего яркие по поэтической форме и богатые содержанием жития сербских святых и службы им. повести, поучения, похвалы и плачи, слова, послания и письма, летописи, родословные, записи, судебники («законики»).

Едва ли не самым значительным жанром древнесербской литературы, рельефно очерчивающим ее самобытность, четко выражающим характер сербского этнического самосознания и идею средневековой сербской государственности, был жанр житий, авторами которых нередко были сербские правители и архиепископы; им же, как правило, и посвящались жития. Жития эти возвеличивали знаменитую «лозу» (династию) Неманичей, прославляя их духовное благочестие и попечение о могуществе сербской державы и независимости сербской церкви. Так возникла серия агиографий: Житие св. Симеона (Стефана Немани), написанное в 1200 г. его сыном Саввой Сербским, и другое Житие св. Симеона, сочиненное в 1216 г. старшим братом Саввы Сербского королем Стефаном Первовенчанным; в 20-х или 30-х годах XIII в. появилось и Проложное Житие св. Симеона, принадлежащее, вероятно, монаху Спиридону из Студеницы. Эти тексты представляют собой так называемый Жичский (по монастырю Жича) круг житий в отличие от Хиландарского (по монастырю Хиландару) круга текстов — Жития того же св. Симеона, принадлежащих Доментину (середина XIII в.), и Службы св. Симеону, сочиненной младшим современником Доментинана Феодосием. Перу Доментинана и Феодосия принадлежат также два разных Жития св. Саввы, написанные соответственно в 1243 г. и в конце XIII в. Продолжением этой серии в сербской агиографии оказался сборник серб-

ского архиепископа Даниила начала XIV в. Жития королей и архиепископов сербских, включающий в себя помимо житий Симеона и Саввы жития королей Уроша, Драгутина, Милутина, королевы Елены и ряда архиепископов.

Култ Неманичей нашел свое отражение не только в агиографической, но и в гимнографической литературе, в довольно многочисленных службах, так как многие авторы создавали одновременно житие и службу новоканонизированному святому. Так возникли службы св. Симеону (авторы св. Савва Сербский, Феодосий), служба св. Савве (автор Феодосий, неизвестные авторы хиландарского круга), службы на перенесение мощей св. Саввы и на его усупение, общий канон св. Симеону и св. Савве (автор монах Феодосий) и др. (14, с. 9—93). Все эти службы, в отличие от житий, написаны на строго нормированном древнеславянском (церковнославянском) языке сербского извода, т. е. в языковом отношении подчинены слогу и нормам литургического языка.

До нас дошла богатая иконография Неманичей (15, с. 143—268) в виде фресок, икон, отдельных книжных миниатюр. Сохранилось также немалое число монастырей, кигорами которых были Неманичи. С деятельностью Саввы Сербского, Стефана Первовенчанного и Стефана Немани (в иночестве Симеона) связано основание таких крупных монастырей (центров сербской архиепископии или письменности), как Жича (основан в 1208 г.), Печ (основан в 30-е годы XIII в.), Хиландар (получен от византийского императора в 1198 г.). Монастырь Хиландар был духовным, а не административным центром сербской церковной и книжной образованности и литературы. Может показаться парадоксальным тот факт, что именно территориальная оторванность Хиландара от сербских земель, его «надстроенность» над сербской государственной, социальной и экономической структурой и жизнью сделали этот монастырь «всесербским» объединяющим центром, призванным осуществлять прочную и прямую связь с византийским культурным ареалом и с ареалом Slavia Orthodoxa, т. е. со всем греко-славянским миром в целом и с каждым входящим в него этнически обособленным культурным ареалом в отдельности. Вне круга агиографических текстов о Неманичах стоит Житие св. Петра Корышского, сочиненное Феодосием в 1310 г. Оно преисполнено символики, психологической углубленности и тонкой словесной поэтики. Это едва ли не лучшее произведение сербской средневековой агиографии повествует не о венценосных правителях и церковных владыках, а о простом сербском пустыльнике, подвизавшемся в конце XIII в. в окрестностях Призрена.

Общее развитие сербской агиографии в рассматриваемый период шло параллельно с возникновением и активизацией деятельности скрипториев в Хиландаре, Студенице, Милешеве, Жиче и Пече, где в принципе придерживались одной общей (общесербской) литературно-языковой нормы — рашской (16, с. 142—173). Сербская агиографическая литература выработала высокий книжный слог, называемый «плетением словес». Книжники, пользующиеся

этим слогом, отличались большим вниманием к слову, к его звучащей стороне (аллитерации, ассонансы) и к стороне смысловой (этимологические связи, глубинная семантика), к синонимическим связям и к параллелизму слова и значения, к тавтологии и т. д. Слог этот, характерный прежде всего для афонской (хиландарской) сербской традиции, отвечал философским и духовным исканиям, «уравновешенному психологизму» того времени, имевшему широкое распространение в Византии и в сопредельных с ней единоверных странах и известному под названием «исихазм». Таким образом, обладая прочными византийскими корнями и образцами, сербская житийная литература разрабатывала свой славянский оригинальный стиль, нашедший, как известно, свой отклик и отчасти свое продолжение в русской житийной литературе. Естественно, что «плетение словес» опиралось не на народный слог, а на языковой наддиалектный фонд, прежде всего на древнеславянскую (церковнославянскую) книжную традицию, во многом искусственную и приспособленную для высокого и тонкого поэтического выражения смысла, осложненного абстрактной символикой и метафорическим иносказанием. Все это приближало литературный древнесербский язык того времени к древнеславянскому языку любой локальной разновидности, делало его достаточно сложным, несколько различающимся по жанрам, но не по локальным (диалектным) особенностям и тем самым, в общем, единым в системном и функциональном отношении. Что касается области функционирования древнесербского книжного языка, то он, как и всякий литературный язык донационального периода, был ограничен письменной сферой и то не во всем ее объеме.

Наиболее яркие представители исихазма в Сербии вступили на книжное поприще в 50—60-х годах XIV в., незадолго до трагических битв на Марице (1371) и Косовом Поле (1389). Это были чернецы Ефрем, автор христовых и богородичных канонів и стихир, а также «Молебствия о деспоте Стефане Лазаревиче»; Силуан, сочинитель Проложного Жития св. Саввы и сборника писем «Эпистолии кир Силуяновы»; старец Исаяя, переводчик псевдо-Дионисия Ареопагита, популярнейшего византийского теолога. Их именами не ограничивается исихастская литература в Сербии (16, с. 182—189). Любопытно отметить, что старец Исаяя превозносит не только псевдо-Дионисия Ареопагита и других византийских писателей, что было характерно для книжников его круга, но и греческий язык, который, по его мнению, превосходит славянский. «Богом хорошо сотворенный наш славянский язык», рассуждает старец Исаяя, не удостоился такой искусности, как греческий, «из-за отсутствия любви к книжному учению» у тех, кто им пользовался (17, с. 282). Можно предположить, конечно, что эти слова старца — скорее риторическая фигура, ставящая целью побудить собратьев к книжному труду, чем твердое убеждение. Однако при всех обстоятельствах авторитет греческого языка как некоего образца был очень высок в южно- и восточно-

славянской книжной среде. Второе южнославянское влияние на Русь было, как свидетельствуют новые факты, не просто восприятием ряда южнославянских текстов и книжных норм, но и своего рода возрождением кирилло-мефодиевской ситуации, когда греческий язык был эталоном для создаваемого славянского литературного языка.

Тенденция к нормализации сербской государственной жизни и жизни феодального общества на началах, отличающихся от древних славянских народных юридических обычаев, ярко выражена в известном памятнике древнесербского права и в то же время древнесербского языка, в Законнике Стефана Душана. Язык этого крупного кодекса близок к народному, хотя и не лишен целого ряда древнеславянизмов, число которых в более поздних списках нередко увеличивается. Во многих отношениях он приближается к языку деловых грамот и в то же время расходится с ним из-за наличия целой серии специальных юридических клише, вероятно, достаточно давнего некнижного происхождения (18, кн. 1, с. 125—160, 213—219; кн. 2, с. 67—72, 107—110, 155—168). Резкой противоположностью светскому юридическому языку является язык церковных, преимущественно переводных, юридических кодексов и сочинений — кормчих, номоканонов, церковных и монастырских уставов, типиконов. Он почти во всех отношениях сугубо книжный, как и в литургических текстах, иногда, правда, с отдельными сербизмами. Именно на примере светских и церковных юридических текстов рельефно выступает литературно-языковое двуязычие в Сербии в рассматриваемый период. Двуязычие это было различно по жанрам: в некоторых жанрах, в жанрах более высокого ранга, связанных с сакральными функциями, двуязычие отсутствовало и употреблялся лишь древнеславянский язык сербской редакции, так же как в деловой письменности бытовал лишь древнесербский язык, близкий к народному (19, с. 15—25). Однако обе языковые стихии постоянно взаимодействовали, что благоприятно сказывалось на развитии древнесербской системы стилей языка.

В XII—XIV вв. помимо сербской державы Неманичей существовало и отдельное от нее Боснийское государство. Оно возникло как объединение ряда жуп на территории между Дриной и Врбасом, входило то в состав соседних славянских государств, то, при усилении византийского господства на Балканах, подпадало под власть Византии, то было вынуждено признавать верховную власть венгерских королей. Зависимость от венгерской короны в XIII в. была значительной. В первой половине XIV в. при правлении бана Степана II Котроманича (1322—1353) эта зависимость как будто сошла на нет, но во второй половине того же века племяннику Степана бану Твртку пришлось вести с венгерским королем Людовиком (Лайошем) длительную борьбу с переменным успехом. В последнее десятилетие своего правления Твртко добился немалых успехов, венчался в 1377 г. в Милешево королем «Срблем и Боснии» и значительно распространил границы

своего государства за счет сербских и хорватских земель. В 1390 г. он уже именуется себя королем Рашки, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья. Однако в самом конце XIV в. у границ Боснии помимо Венгрии появляется новый опасный враг — османы.

Босния с конца XII в. и до укрепления власти турок, т. е. до второй половины XV в., была средоточием богомилства на Балканах. Позиции этой ереси в Боснии были сильными, так как ее временами поддерживали и боснийские правители (баны), и крупные феодалы (властела). По свидетельству хронистов, они были искусны в «латинских и славянских книгах», но не поклонялись «святым иконам и кресту». Наиболее яркий след они оставили в искусстве сооружения и орнаментации каменных надгробий, из которых многие наделены богомилской символикой. Такие надгробья сконцентрированы в Центральной Боснии и Герцеговине (Хуме).

Памятники письменности, которые предположительно атрибутируются как богомилские (евангелия Никольское конца XIV—начала XV в., Груичево конца XIII—начала XIV в., Копитарево второй половины XIV в. и др.) или просто боснийские, по тексту и языку мало отличаются от других древнесербских текстов соответствующих жанров*. Собственно богомилских сочинений, систематически излагающих их вероучение, не сохранилось: они либо были уничтожены, либо отражались только в устных преданиях и в отдельных апокрифических текстах, частично до нас дошедших, но имеются памятники антибогомилской литературы, относящиеся ко времени распространения богомилства в Болгарии и в других странах.

Богомилство было третьей религией в Боснии и прилегающих землях, как позже третьей религией оказался ислам. Это делало средневековую Боснию не просто пограничьем православия и католицизма, зоной их столкновения или смешения связанных с ними культур и обычаев, а зоной своеобразного и довольно устойчивого сосуществования и конкуренции трех конфессий, в которой ни одна из них в рассматриваемый период не одерживала верх. Это, видимо, сказалось на том, что Босния и ее население, хотя и имели свой, пусть не всегда прочный, институт государственности и свои отличительные этнографические черты, не выработали собственного, отдельного самосознания, а сохранили сербское (православное) самосознание или римско-католическое (хорватское), а позже приобрели и самосознание, базирующееся на принадлежности к исламу. Некоторые характерные локальные черты, вроде боснийского типа кириллицы у католиков и т. п., относятся к периоду османского владычества.

* А. И. Соболевский пишет: «Сербы, придерживавшиеся богомилской ереси, жившие в Боснии, выработали в своих книгах несколько иной вид церковнославянского языка сербского извода. Из их кирилловской письменности дошло до нас всего несколько книг, все XIV в. и начала XV в.». В качестве особенностей орфографии этих книг, отражающих местные фонетические явления, А. И. Соболевский отмечает написание *и* вместо *к*, отсутствие *юсов*, йотированного *а* и др. (20, с. 80—81).

1. *Латъшев В. В., Малицкий Н. В.* Сочинение Константина Багрянородного «Об управлении государством» // Изв. ГАИМК. 1934. Вып. 91.
2. *Радойчић Б. С.* Творци и дела старе српске књижевности. Титоград, 1963.
3. *Ђирковић С. М.* Православна црква у средњовековој српској држави // Српска православна црква 1219—1969. Београд, 1969.
4. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
5. *Белић А.* Периодизација српскохрватског језика // Јужнословенски филолог. 1958. № 1/4.
6. *Ивић П.* Језик и његов развој до друге половине XII века // Историја српског народа. Београд, 1981. Књ. 1.
7. *Новаковић С.* Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354. Београд, 1898.
8. *Ђорђић П.* Историја српске ћирилице. Београд, 1971.
9. *Богдановић Д.* Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI—XVII века). Београд, 1982.
10. *Ивић П.* Српски народ и његов језик. Београд, 1971.
11. *Ильинский Г. А.* Грамота бана Кулина: Опыт критического издания текста с комментариями. СПб., 1906.
12. *Долобко М. Г.* О языке некоторых боснийских грамот XIV в. // Изв. ОРЯС. 1914. Т. XIX.
13. Грчке повеље српских владара / Објавили А. Соловјев и В. Мошин. Београд, 1936.
14. *Трифуновић Ђ.* Стара српска црквена поезија // О Србљаку. Београд, 1970.
15. *Милошевић Д.* Срби светитељи у старом српском сликарству // О Србљаку. Београд, 1970.
16. *Богдановић Д.* Историја старе српске књижевности. Београд, 1980.
17. *Кашанин М.* Српска књижевност у средњем веку. Београд, 1975.
18. Законик цара Стефана Душана. Београд, 1975—1981.
19. *Толстој Н. И.* Однос старог српског књишког језика према старом словенском језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1978. 8.
20. *Соболевский А. И.* Славяно-русская палеография. СПб., 1908.

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ХОРВАТОВ В XII—XIV вв.

О. А. Акимова

В пределах современной Хорватии к концу XI в. отчетливо выделялись три области с несхожей исторической судьбой, разным уровнем политического и социально-экономического развития, со своими этническими особенностями и традициями (1; 2; 3; 4; 5). Территория Далматинской Хорватии была местом формирования в IX—XI вв. раннефеодального Хорватского государства и сложения древнехорватской народности, собственно и обозначавшейся в источниках этнонимом «хорваты». Менее развитая область Паннонской, или Посавской, Хорватии (Славония), отделенная от Далматинской Хорватии горами, временами входила в состав Хорватского государства, а в конце XI в. перешла под власть Венгрии. Ее обособленность от Далматинской Хорватии выражалась в наименовании этой области *pag excellence* — «Склавонией», «Склавинией» и т. п., а ее жителей «склавами» — «славянами». Во второй половине XI в. к Хорватскому королевству были присоединены приморские города и острова Далмации — бывшие территории римской, а затем византийской провинции с остатками романского и романизованного населения.

В начале XII в. Хорватия, а также далматинские города и острова перешли под власть венгерского короля. С ликвидацией самостоятельной хорватской государственности процесс образования хорватской общности и формирования хорватского этнического самосознания, к тому времени едва начавшийся, был значительно заторможен и деформирован. На протяжении XII—XIV вв. между указанными областями в условиях их политической зависимости от Венгрии, Венеции и Византии сохранялись существенные отличия, и в каждой из них обнаруживались свои особенности в развитии компонентов этнического сознания и связанной с ним системы ценностей.

При рассмотрении этих особенностей следует учитывать неравномерность освещения в источниках истории Далмации, Хорватии и Славонии, в том числе и вопросов развития этнического и культурного самосознания их населения. Большую часть имеющихся по этой проблеме материалов составляют источники из далматинских городов, меньшую — из Далматинской Хорватии

и Славонии. Этим объясняется и вынужденная диспропорция в содержании данной главы, отражающей в большей степени материал далматинских городов, и неизбежная гипотетичность при реконструкции особенностей этнокультурной эволюции северо-западных областей Балкан.

Романское и романизованное население приморских городов византийской провинции Далмация по время нашествия аваров и славян в начале VII в. нашло убежище на близлежащих островах. Впоследствии романцы вернулись в некоторые из этих городов или основали новые (Сплит, Дубровник), оформив отношения со славянами заключением мирных соглашений (6, с. 43). Положение городов, территория которых теперь находилась в окружении славянских земель, обусловило неизбежность активных контактов романцев и романской традиции со славянским (хорватским и сербским) этнолингвистическим и культурно-историческим элементом. Важным импульсом для расширения таких контактов было присоединение городов северной Далмации к Хорватскому, а городов южной Далмации — к Сербскому государству. В составе Королевства Венгрия северодалматинские города и земли Далматинской Хорватии составляли одну административную область «Хорватия и Далмация», находившуюся под верховным управлением «младшего короля» — наследника престола, или «приморского бана».

Что касается вопроса о времени славянизации далматинских городов, то его решение затрудняется существующими в историографии разногласиями по поводу методики его изучения. В настоящее время все большую поддержку приобретает метод антропонимического анализа, предложенный в работах В. Якич-Цестарич, согласно которому, славянскими следует считать не только имена со славянскими корнями, но и имена, имеющие славянские суффиксы (7; см. также 8). Преобладание славянских антропонимов, исчисленных таким образом, отмечается в далматинских городах для периода XII—XIII вв., который, согласно этой методике, можно считать временем превращения населения городов в славянское по преимуществу. Однако при численном возрастании в далматинских городах жителей славянского происхождения они оказывались подверженными интенсивному культурному воздействию старого романского населения. Это проявлялось прежде всего в широком распространении и длительном применении в городах наряду с сербскохорватским языком романско-далматинских диалектов, особенно в элитарной среде, где они играли роль отличительного социального признака.

На протяжении XII—XIII вв. в далматинских городах происходило и формирование социальной и политико-административной коммунальной структуры: выделялся привилегированный слой патрициата, складывались институты городского самоуправления — Большой совет, курия, магистратуры, кодифицировалось городское право (3, с. 250—284). При том что города Далмации в разное время на протяжении рассматриваемого периода находились под суверенитетом Венгрии, Венеции и Византии, утвержде-

ние в них коммунального управления вело в конечном счете к их политико-административному обособлению, а принятие городами своих сводов законов означало и их правовую замкнутость. Развитие городской коммуны сопровождалось обособлением коммунального сознания. Укреплялось представление о своем городе как превосходящем соседние. В историческом плане прошлое своего города расцветивалось легендарными героическими подробностями, выделявшими его среди других городов, жители которых наделялись стереотипными характеристиками, рисуящими их пороки и недостатки. Общая картина замкнутости городского сознания не столько существенно дополняется, сколько проясняется тем обстоятельством, что чувство родины связывалось у горожан прежде всего со своим городом и идентификация «мы — наши» относилась к жителям своего города (9, р. 218; 10, р. 28).

Славяно-романское взаимодействие и славянизация, с одной стороны, и становление коммун, с другой, образуют два ключевых момента истории Далмации развитого средневековья, определивших в конечном счете особенности развития городской культуры, в том числе и городского самосознания.

Первоначально этнически неоднородное, а впоследствии большей частью славянское население северодалматинских городов тем не менее выступает в источниках как «латинское» или «далматинское» (с вариантами «сплитское», «трогирское» и т. д.) в отличие от проживавших за пределами городской территории «хорватов», или «славян» в терминологии источников. Такое этнонимическое размежевание явственно подчеркивается в порядке перечня свидетелей в обоюдных договорных обязательствах, касающихся, как правило, поземельных отношений. Свидетели, удостоверявшие документы, подписывались как «латиняне» и «славяне», даже если «латиняне» носили славянские имена. Жители городов могли прямо и не называться «латинянами», но всегда как «горожане», представители «другой стороны» противопоставлялись «славянам». Хорватская земля — «Хорватия», или «Склавония», как ее именовали источники, — начиналась сразу за территорией, принадлежавшей городу. «Выйти за пределы города» значило «выйти в Склавонию» (11, IX, р. 61). «Славяне»-«хорваты» рассматривались в городах как «чужаки», «иностранцы», но, становясь горожанами, видимо, автоматически переходили в категорию «латинян». В то же время хорваты, не являвшиеся горожанами и временно проживавшие в городах, оставались «славянами» (11, IX, р. 66—68).

Такое же дихотомическое деление, выраженное в тех же терминах, имело место и в южнодалматинских городах, входивших в сферу политических интересов Сербского государства (11, VIII, р. 85—89; 12, с. 34—36). С наибольшей наглядностью это демонстрируют материалы из Дубровника. В сознании дубровчан более важным оказывалось не этническое разделение горожан, а их противопоставление сельским жителям, к которым только и был применим термин «слав» («склав») (13, с. 28).

Представление об этносоциальной противопоставленности «латинян» и «славян» выходило за пределы далматинского побережья. Так, папа Гонорий III призывал на борьбу с «еретиками» жителей Далмации — «славян и далматинцев» (11, III, р. 192), а будущий король Венгрии Эндре II писал о порядке судопроизводства на территории задарской архиепископии, которому должны следовать «как венгры, так и латиняне и славяне» (11, II, р. 297).

Распространение термина «латиняне» на всех граждан не свидетельствовало о подчиненном положении славянского элемента в городе или его дистрикте. Уже в XII в. славяне представляли все социальные группы городского населения, в том числе и нобилитет, и выдвигались на все выборные должности вплоть до высших. Видимо, не случайно документы не фиксируют проявлений этнической розни в среде городского населения.

«Романизация» населения городов имела вполне определенную социальную подоплеку, и использование термина «латиняне» в отношении всего городского населения следует рассматривать как проявление городской сплоченности и особого городского самосознания, отражающего стремление горожан обосновать свои права на коммунальную привилегированность и превосходство над жителями соседних хорватских и сербских земель. Тот факт, что горожане пользовались для этого традиционной терминологией этнического деления, распространенной еще в эпоху византийской Далмации*, только усугублял социальный смысл такого противопоставления.

В представлениях горожан, видимо, складывался стереотип «славянина» — неотесанного, грубого и вместе с тем лукавого. В протоколах судебных разбирательств трогирской курии встречаются протесты горожан по поводу привлечения в качестве свидетелей «славян», показания которых якобы «недействительны». «Нрав (mos) славян таков, — говорит один из горожан, — что они нарушают клятву и путают показания» (15, II, 1, р. 143, 182). Впрочем, подобные представления не носили всеобщего характера, в тех же протоколах имеются и позитивные суждения об участии «славян» в судебных процессах.

Появлению негативных отзывов о «славянах» способствовало и то, что в ходе закрепления в городах системы коммунальной автономии городам приходилось бороться с притязаниями окрестных феодалов, стремившихся подчинить города своей власти. В хронике сплитского автора середины XIII в. архидиакона Фомы записан рассказ, очевидно, из круга городских преданий, относящийся к событиям второй половины XII в., о неудавшейся попытке Хрели, «князя хорватов», встать во главе Сплита, натолкнувшейся на противодействие горожан, «не допускаявших даже мысли о правлении мужа, славянина родом» (10, р. 69). В конце XIII в. в договоре между Задаром, Сплитом и Трогиром выделялся

* По свидетельству Константина Багрянородного, жители современных ему далматинских городов «и теперь называются римлянами» (14, с. 283).

пункт, обязывающий горожан иметь подесту (выборного платного чиновника на службе у коммуны) или «князя» — комита, «который не был бы из Склавонии» (11, VI, р. 6), пункт, непременно присутствующий впоследствии в сборниках законов (статутах) далматинских городов.

Отмежевание обитателей городских коммун от собственно хорватских и сербских областей способствовало сохранению в течение длительного времени представлений о единстве всех городов Далмации, являвшихся отголоском памяти об их былом политическом единстве в составе римской, а затем — византийской провинции. Преемственная связь обнаруживала себя двояко. Во-первых, терминологически — в распространении наименования жителей ранее входивших в провинцию городов не только «латинянами» или «далматинцами», но и «сопровинциалами» и в обозначении романского городского диалекта как «далматинского языка» и, во-вторых, в сохранении и развитии далматинской историко-культурной традиции. Наиболее ценные данные об интеллектуальных усилиях, направленных на воссоздание древней истории Далмации, содержатся в «Истории Салоны» Фомы Сплитского. Именно совокупность собранных хронистом сведений стала впоследствии основой исторических знаний о Далмации. Само по себе внимание к далматинским древностям, очевидно, соответствовало направленности общественной мысли городского населения, которому их высокий авторитет придавал ощущение устойчивости и превосходства. Представляется возможным интерпретировать ряд известий Фомы и как свидетельства сохранения в памяти горожан далматинской историко-фольклорной традиции. Так, рассказ о разорении «варварами» Далмации, насыщенный эпическими чертами, составлен, по признанию самого автора, по письменным известиям (*scripta*) и устным преданиям (*relata*). Еще более конкретная подробность, сообщаемая в пересказе мифа о Кадме и Гармонии и их превращении в змей в Иллирии: возле Дубровника, в Эпидавре было распространено, пишет Фома, народное поверье о драконе, живущем в местной пещере.

Интерес к прошлому Далмации и любованье этим прошлым в далматинских памятниках свидетельствовали о том, что жители городов хранили память и о своей причастности к былому далматинскому единству. В городской среде бытовало мнение о родственной близости жителей Далмации. Фома Сплитский, например, именно этим аргументировал свое убеждение в противоположности вражды Сплита и Трогира в первой половине XIII в.: «Поправ законы природы, отец восстал на сына, сын на отца, брат поднял руку на брата, друг на друга. То была борьба не с врагом, а домашняя гражданская война» (10, р. 192). Сохранению чувства единства способствовали традиционные социально-экономические контакты. Как отмечалось в одном из межгородских договоров, люди из соседних городов «в силу необходимости имеют много поводов стремиться из одного города в другой» (11, IV, р. 430—431). Поводов было действительно много: торговля, аренда,

наличие наследственной недвижимости на территории другого города и др.

При сохранении черт далматинской монолитности, противостоящей «Славониям», в рассматриваемый период намечается тенденция к их сближению. Приблизительно со второй половины XIII в. к числу «далматинских» начинают причислять и некоторые прибрежные города, также развивающие систему коммунального управления. Так, в 1312 г. один именитый житель Шибеника назывался «знатным мужем из Склавонии» (11, VIII, р. 310), а по прошествии короткого времени Шибеник считался уже неотъемлемой частью далматинского содружества. «И задарцы, и шибеничане, и мы сами — все мы далматинцы», — говорилось в решении трогирской коммуны по поводу примирения Задара и Шибеника в 1324 г. (11, XI, р. 194). В этом же документе граждане Трогира называли шибеничан своими братьями (11, XI, р. 193). Процесс сближения далматинских городов с хорватскими приморскими центрами был не только следствием этнической гомогенизации городского населения или развитием в них схожей социальной и политической структуры, но и в какой-то степени обусловливался развитием в них торговли и мореплавания и как следствие — широкими торговыми контактами между адриатическими портами. В середине XIII в. дубровницкие купцы отказывались платить пошлину в хорватском Сене, ссылаясь на существующий порядок, согласно которому «никакой город Далмации не должен платить пошлину в другом городе Далмации» (11, V, р. 66).

Обращает на себя внимание отсутствие у далматинских горожан территориальных притязаний на земли далматинского хинтерланда, являвшиеся частью провинции Далмация до варварских вторжений. Рассуждая о размерах Далмации, Фома Сплитский отмечал, что Далмацией называли некогда обширную территорию, так как считали «вместе с Хорватией» одной провинцией (10, р. 27). Более того, для хрониста казалось непререкаемым, что хорватские короли «по наследству от своих предков — отцов и прадедов — имели верховную власть над Далмацией и Хорватией» (10, р. 43). Далмация в представлении хрониста и его современников ограничивалась, как правило, территорией нескольких адриатических городов. Вместе с тем имелись и примеры использования в городах названия «Склавония» или «Далмация» для обозначения всего далматинско-хорватского региона либо Далмации как части Хорватии.

Характерно, что и в сочинениях иностранных авторов этого периода не было единообразия в обозначении Далмации и Хорватии. Во второй половине XII в. для географа Идриси приморские области были хорватскими территориями. В XIII в. автор «Истории дождей венецианских» определенно представлял Далмацию как часть «Склавонии». О «Славонии, которая зовется также Далмацией», писал итальянский хронист Салимбене. В канцелярии неаполитанского короля, говоря об «областях Склавонии», уточняли — Задар, Сплит, Рагуза, Трогир (16, с. 3, 100; 17, р. 74;

18, р. 552; 11, VI, р. 125, 309). Вместе с тем, отрекаясь в 1358 г. от прав на Далмацию в пользу венгерского короля, венецианский дож называл в числе далматинских хорватские города Нин, Скрадин, Шибеник и др. (19, р. 369).

Особенности взаимоотношений жителей городов и их хорватского окружения не позволяют определять их как сугубо враждебные, несмотря на резкое противопоставление горожан и «славян». Это наглядно демонстрируют разнообразные и тесные связи: купля-продажа земли (церемония ввода горожан во владение землей, находившейся на хорватской территории, проводилась «согласно старому хорватскому обычаю»), оформление хорватами в городах документов, проживание в городах хорватов знатного происхождения и т. д. Численность городского населения постоянно увеличивалась за счет притока извне. Красноречиво упоминание в договоре между Сплитом и Шибеником о возможности переселения в эти города хорватов из Омиша, которые «по доброй воле пожелали бы прийти на жительство со своими семьями» (11, VI, р. 86—88). В числе лиц, упоминаемых в городских грамотах, нередко люди вроде «Радована, некогда с Брача, ныне жителя Трогира» (15, I, 1, р. 76). В то же время в документах зафиксированы данные о переселении горожан в Хорватию (например, 15, II, 1, р. 214).

Интенсивность контактов обуславливала необходимость регулирования отношений между людьми различного правового статуса, подчинявшимися, с одной стороны, «городскому закону» и «обычаю», а с другой — «славянскому закону» и «славянскому обычаю». Об основных тенденциях в развитии регулирующих норм дает достаточно ясное представление текст договора, заключенного в 1328 г. по поводу разграничения территории и прав между сплитской коммуной и хорватским князем Юрием Шубичем. За пределами городской территории, подчеркнута в договоре, «иные законы, владения и земли». Недвижимость князя и его людей, расположенная на городской земле, охраняется княжеским законом; равным образом люди князя, находящиеся по своим делам в городе, подчинены княжеской юрисдикции. С другой стороны, если «на территории князя Шубича были бы мельницы, владения и земли архиепископа, монастырей, церковей и отдельных лиц коммуны и ее дистрикта», то все это должно принадлежать коммуне и охраняться городским правом, «как если бы было в ней», т. е. в самой сплитской коммуне (11, IX, р. 439). Аналогичные договоры заключались и Дубровником (11, X, р. 135—137). Давность стремления к такому порядку подтверждается, в частности, документами середины XIII в. К примеру, служанка Ягода заявляет о своем праве не отвечать перед трогирской курией, так как находится под юрисдикцией хумского жупана (15, I, 1, р. 30).

Вместе с тем материал ряда конкретных судебных дел показывает, что в сознании горожан границы применения славянского закона или городского права оставались достаточно зыбкими. В наиболее концентрированном виде эта особенность выступает

в материалах длительного судебного разбирательства в трогиурской курии по поводу порядка наследования. Часть свидетелей отказывала истице, некоей Клане, и ее детям в праве получения своей доли в наследстве, на которое претендовал ее племянник (сын брата), ссылаясь на то, что ее отец, живя в свое время «в Славонии», женился «по обычаю Славонии», а согласно этому обычаю, «сестра не имеет права наследования имущества» (15, I, 1, р. 501; II, 1, р. 60—61). Иными словами, они считали возможным для горожанина во втором или даже в третьем поколении следовать «славянскому обычаю». Одновременно некоторые из этих свидетелей, защищая интересы ответчика, апеллировали и к постановлению трогиурской коммуны, изданному во время сплитско-трогиурского конфликта и запрещающему жителям города и дистрикта наследовать имущество, находящееся на вражеской территории, а мать Клани жила в то время «в дистрикте Сплита». Наконец, в курии разгорелся спор и о том, распространяется ли действие трогиурского закона на селение Острог, где женились родители Клани и территория которого была предметом спора Сплита и Трогира, а во время разбирательства принадлежала Трогиру.

Подобные истории показывают, что противоречие между постулируемым в коммунах превосходством городов и их жителей над «славянами», с одной стороны, и процессом их этнической гомогенизации, с другой, находило разрешение в множественности промежуточных состояний между «далматинским» и «славянским» сознанием жителей городов. Обнаруживается это и на уровне сознания исторического. В центре внимания здесь оказываются сведения далматинских памятников о появлении хорватов на Балканах, рассматриваемые в сопоставлении с древним хорватским преданием о переселении. В предании, сохранившемся в составе труда Константина Багрянородного «Об управлении империей», рассказывается, как хорваты — пять братьев и две сестры «вместе с их народом» — пришли «из-за Багиварии» (Баварии) и поселились в Далмации (14, с. 291).

Очевидно, через хорватов, которые разными путями становились жителями старых далматинских центров, это предание стало широко известным в городах — отдельные его элементы сохранились в памяти горожан еще и в XIII в. Вместе с тем, по всей видимости, именно в XIII в. в интеллектуальной городской среде в условиях преобладания хорватского элемента началась радикальная смена представлений о появлении хорватов на Балканах и их ранней истории, связанная с утверждением идеи об автохтонности хорватского населения в Далмации (20). Одна из соответствующих версий древней хорватской истории содержится в хронике Фомы Сплитского. Хорватия, как ее описывает Фома, — горная страна, с севера примыкающая к Далмации, которая «в старину называлась Курецией, а народы, именуемые теперь хорватами, раньше назывались куретами или корибантами». Версия, связывающая (на основе фонетической близости названий) хорватов с широко известными по сочинениям античности куре-

тами — жрецами Реи, матери Юпитера, не только доказывала автохтонность хорватов, но и придавала большую значимость их древней истории, открывала широкие возможности для дальнейших исторических мистификаций, возвышающих хорватское прошлое.

Однако в дальнейшем в обосновании автохтонности хорватов центральное место занимали уже не поиски античной Хорватии, а непосредственное освоение элементов романской далматинской историко-культурной традиции, которые переносились на хорватскую историю. Этот путь вел в конечном счете к развитию представлений об общности хорватского происхождения всех жителей Далмации и Хорватии, известных по сочинениям далматинских гуманистов XV—XVI вв. Хорватия виделась им уже не мифической Курцией, а античной Иллирией или Далмацией, издревле заселенной «славянами» — иллирийцами или далматинцами; «славянами» или «хорватами» объявлялись именитые люди древности, чья жизнь и деятельность были связаны с балканскими землями. Основа этих взглядов, по всей видимости, закладывалась также в XIII в. На это может указывать письмо папы Иннокентия IV епископу хорватскому города Сения от 1248 г. по поводу употребления в богослужебных текстах славянской письменности. Папа пишет о дошедших до него слухах, что клирики «Склавонии» пользуются особыми письменами, полагая, что «получили их от блаженного Иеронима» (11, IV, р. 343). Позднее св. Иероним (IV в.), уроженец далматинского города Стридона, известный создатель Вульгаты, будет прямо именоваться «славянином», «славой хорватского языка» (21, р. 7).

Хорватская историческая традиция, перенимая некоторые элементы традиции далматинской, однако, не растворялась в ней, а с ней соединялась. Одним из проявлений такого симбиоза, вероятно, является упоминавшееся утверждение Фомы Сплитского о наследственной власти хорватских королей над Далмацией и его известия (часто легендарные) о старых хорватских правителях.

Процесс сближения хорватской и далматинской исторической традиции, ведущий к осмыслению общности происхождения жителей Далмации и Хорватии, хронологически совпадает с временем распространения в разных слоях городского населения славянской письменности (глаголицы и латиницы) и славянских сочинений церковного и светского содержания. По-видимому, речь может идти о наметившейся в XIII—XIV вв. тенденции к осознанию горожанами своей принадлежности не только к определенной коммуне или миру далматинских городов, но шире — к этнокультурному единству населения далматинских центров и их хорватского окружения.

В связи с тем, что далматинские города находились под властью различных государственных образований, неизбежно встает вопрос о глубине осознания в них принадлежности к иным этнополитическим структурам, о возможной культурной ассимиляции и т. п. Характерно относительное безразличие, которое демон-

стрируют далматинские авторы к факту того или иного политического суверенитета при заинтересованности в результатах политики государственной власти в отношении их родных городов. (Особенно наглядно это проявляется в сплитских хрониках — Фомы Сплитского, Миши Мадия, автора из семьи Кутея.) Такое отношение обуславливалось развитием коммун как своеобразных социоэтнических общностей, что и отражалось в узком понимании «родины» — лишь как своего города. В результате в далматинских сочинениях совмещаются порой диаметрально противоположные тенденции в освещении событий в Венгрии или Венеции, соединяются различные историко-государственные традиции. Не случайно в имеющихся источниках не встречается характеристика «венгров» и «венецианцев», которые показывали бы интерес далматинцев к народам, представители которых держали власть над городами Далмации. Имеется лишь одна негативная характеристика «венгров», принадлежащая Фоме Сплитскому. Однако в этом случае хронист описывал в этнических терминах социально-политические противоречия Венгрии с далматинскими городами и его антивенгерские высказывания имели определенный социальный адрес: «венгры» (*hungari*), пишет Фома, «испытывали радость исключительно от чувственных утех», «меняли внешность мужчины на убранство, свойственное женщине», «тратили целые дни на пиры и забавы» и т. п. (10, р. 142—143).

Не исключено, что в городах имели хождения суждения об этнической инородности венгров, которая могла восприниматься в первую очередь как языковое отличие. Косвенное тому свидетельство — документ, уточняющий вопросы совместных действий против Венгрии в 1326 г. Трогира и Шибеника (признававших тогда власть венецианского дожа) и ряда хорватских феодалов, — венгры выступают в нем как *lingua extranea* (в значении «чужеземный народ») (11, IX, р. 305—306).

Венецианская пропаганда для привлечения городов на свою сторону и закрепления в них своей власти использовала идею равноправия и родства далматинцев и венецианцев. В 1357 г. в послании дожа подчиненным ему тогда Сплиту и Трогиру говорится: «Мы всегда считали вас своими детьми и братьями» и «более всего заботились о защите вас и всех ваших как все равно наших венецианцев» (11, XII, р. 424). Из-за отсутствия прямых свидетельств трудно говорить о том, являлось ли употребление в городах термина «латиняне» свидетельством осознания и горожанами их родства с венецианцами или жителями других городов Италии. Судя по тому, что в хронике Фомы и других источниках термин «латиняне» никогда не употреблялся для обозначения и далматинцев и итальянцев и в тех пассажах, где описывались действия в Далмации «латинян» — итальянцев, этот термин уже не употреблялся в отношении далматинцев, можно предположить как многозначность самого термина, так и осознание этнических различий между «латинянами» Далмации и Италии. Во всяком случае в середине XV в. дубровчане настойчиво подчеркивали,

что они не итальянцы, но «по языку и по положению далматинцы» (13, с. 28—29).

Для рассмотрения вопросов, связанных с развитием этнического самосознания в хорватских землях, существенно, что после завоевания Хорватии Венгрией в начале XII в. хорватские феодалы, в сущности, остались хозяевами на своей территории. При относительно слабой выраженности здесь центральной власти и все усиливавшейся феодальной раздробленности происходил естественный процесс стабилизации и укрепления родственных коллективов на основе феодальной общественной системы. Приблизительно со второй половины XII в. источники фиксируют наличие в хорватских землях сплоченных аристократических родственных общностей, аналогичных западноевропейским линьяжам. Позднее в источниках появляются сведения о таких сложных семейных структурах и в славонских землях. Они объединяли широкий круг родственников нескольких поколений (а также лиц, связанных с ними спиритуальным родством), счет родства в них велся обязательно по мужской линии, и они владели нераздельной наследственной землей — патримонием. Примеры, иллюстрирующие «линьяжную» форму организации феодальных хорватских и славонских семейств, многочисленны и разнообразны. Жупан Чернослав заключает мир с Рабом от своего имени, своих племянников, всей своей родни, рода и родственников, «рожденных и кто еще родится» (1268, 11, V, р. 474—475). Князь Бутко из рода Шубичей от имени своих братьев закладывает патримониальные владения, выступая при этом «отцом семейства» (1368, II, XIV, р. 152). Род определял и порядок вступления в брак, заключавшийся за пределами рода. Об этом свидетельствует расписка крского князя Ивана о получении жениного приданого от рода ее прежнего мужа (1266, 11, V, р. 378). Обширные семейные организации состояли из более мелких единиц. Так, договор семейства (domus) Бабоничей с Сенем подписали представители пяти его ветвей (1343, 11, XI, р. 43).

Внутри родственных коллективов могли возникать конфликты, вестись борьба за земли и влияние в рамках территории патримония и за ее пределами (11, V, р. 22; VI, р. 14). Однако интересы небольшой группы или личные интересы, как правило, не перекрывали интересов родственного коллектива в целом, к экономическому и политическому укреплению которого стремились все его члены.

Семейная солидарность и сознание отражались прежде всего в появлении родового имени — патронима или производного от названия местности, где располагались родовые земли. Начавшись (исходя из антропонимии грамот) во второй половине XII в., этот процесс продолжался еще и в XIV в. Об этом говорят факты неустойчивой дифференциации знатных семейств, в частности именованная отца и сына по разным местностям, что приводило подчас к недоразумениям в праве наследования (11, IX, р. 224). Семейная солидарность находила свое выражение и в утверждении общесемейной символики — гербах, святом покровителе и т. п.

В этой связи можно упомянуть о провозглашении Павлом Шубичем Иоанна Крестителя «святым покровителем и господином» «всего рода Шубичей» и о строительстве церкви его имени возле Скрадина (1299, 11, VII, р. 331—336), которая, таким образом, становилась родовой святыней.

При отсутствии в Хорватии и Славонии собственных политических организмов и нарастании междоусобной борьбы особое значение здесь приобретал факт принадлежности именно к узким общностям и прежде всего к родственному коллективу. Сознание обособленности этих общностей обнаруживалось в обозначении их в ряде источников тем же термином, что и некоторых территориальных общностей — *natio*. В одной из грамот конца XII в. среди свидетелей «из Хорватии» значились лица «родом» (*natione*) Гусичи и Лапчане (знатные хорватские роды) и «родом кливляне» (из жупании Кливно) (11, II, р. 268; ср. 11, V, р. 227—228). Показательно употребление той же формулы в отношении граждан далматинских коммун (11, II, р. 367). Даруя привилегии городу п острову Паг, венгерский король Бела IV отмечал, что граждане Пага составляют «один из многочисленных родов» (*nationum*) нашей страны (*gente nostre*) (11, IV, р. 220—222). Приведенные известия, подчеркивая «линьязную» сплоченность, в то же время раскрывают глубокое ощущение и иных связей, земляческих. Речь может идти о сохранении чувства обособленности некоторых исторических областей Хорватии.

Политическая история Хорватии XII—XIV вв. — это история борьбы хорватских феодальных семейств за влияние в хорватских землях и далматинских городах. На развитие этой борьбы существенное влияние оказывала атмосфера политического кризиса и анархии, охвативших земли королевства Венгрии во второй половине XIII—начале XIV в.

На северо-западе региона постепенно выделялись крские князья (будущие Франкопаны). К концу XIII в. они владели Модрушей, Винодолом, Гацкой и Дрежником, а также являлись «вечными господами» Сены.

На прибрежной территории, приблизительно от Сплита до реки Цегине, включая близлежащие острова, во второй половине XII в. укреплялось многочисленное и разветвленное семейство Качичей. Лишь в 1258 г. Качичи впервые признали венгерского короля своим господином. До этого времени их княжество было, по существу, самостоятельной единицей с центром в Омише. Основной статьей дохода его жителей было пиратство. Сильный флот обеспечивал им господствующее положение на море, и Качичи собирали дань с обоих берегов Адриатики. Взаимоотношения омишан с другими адриатическими центрами (Дубровником, Венецией, Пизой и др.) оговаривались в пунктах мирных договоров, которые Качичи подписывали как суверенные правители, вольные их заключать или расторгать.

На территориях, расположенных между владениями крских князей и Качичей, укреплялось семейство брибирских князей

Шубичей. Возвышение Шубичей сопровождалось в первой трети XIII в. борьбой с другими хорватскими феодалами, также стремившимися к расширению своего влияния в Хорватии и Далмации, — князем Домальдом из сидражской жупании, Вишеном из Луки, возможно родственником Шубичей, и др.

Венгрия активно выступила против «хорватов, которые, — писал король Ласло IV, — пожелали выйти из-под нашей юрисдикции» (11, VI, р. 385—386) «для усмирения необузданного народа хорватского, упорно сопротивляющегося нашему достоинству» (11, VI, р. 430—431). Несмотря на стремление Венгрии приостановить стремительное возвышение Шубичей, в 1273 г. князь Павел уже исполнял обязанности приморского бана (*visem gerit pro bano maritimo*), и король был вынужден признать это его положение (11, VI, р. 43).

Так на территории хорватских земель, на прилегающей к морю полосе от Винодола до реки Цетине наметилась тенденция к оформлению автономных по отношению к венгерской власти политических структур, объединяемых под господством отдельных феодальных семейств. С одной стороны, они, а с другой — городские коммуну становились носителями государственности. Для их консолидации и централизации требовалось то, без чего в средние века создание государства оказывалось невозможным, — национальная монархия. И поскольку, как показывает европейская история XII—XIII вв., образование централизованного государства и обособление народности были процессами тесно связанными и взаимобусловленными, особую важность для рассматриваемых здесь вопросов приобретают известия о попытке объединения земель Далматинской Хорватии под властью хорватского владетельного рода, предпринятой представителями семейства Шубичей.

В конце XIII—начале XIV в. Павел Шубич и его братья Юрий и Младен смогли занять большую часть владений Качичей вместе с городом Омишем; его вассалами стали крбавские князья из рода Курьяковичей, петинский и книнский князь Нелипчич и другие хорватские феодалы. Шубичи остановились лишь перед владениями крских князей. Карл II Анжуйский, во многом обязанный венгерским престолом поддержке Шубичей, утверждая право Павла и его родственников на их обширные владения, писал, что он «признает и дарует» им земли «Хорватии и Далмации, которые располагаются от границ комитата Кливно до Сеня, Гацки и Модруше со всеми баронами, вассалами, крепостями и весями, а также всеми расположенными в море островами и со всеми правами» (11, VII, р. 104—105).

В грамоте 1293 г. впервые зафиксировано стремление Павла к созданию независимой от Венгрии политической организации — он провозглашает себя «баном хорватов», и это вынужден признать и Карл II (11, VII, р. 145, 173). В этом документе нашли отражение и наметки политико-административной структуры предполагаемого государства с учетом интересов представителей владетельного рода: брату Павла Юрию выделялась в управление об-

ласть приморских городов, он становился ее князем. Его двор располагался в Клизе (11, VII, р. 174). Впоследствии свои титулы получили и сыновья Павла — «князя Триполья, Кливно и Дувно» (11, VIII, р. 3). Павлу удалось расширить свою власть и на Боснию, управление которой передавалось его брату Младену. Стремление Павла к статусу самостоятельного правителя наиболее откровенно обнаруживает себя в чеканке им приблизительно между 1301 и 1312 гг. собственной серебряной монеты с надписью на аверсе «князь Павел» и «бан Младен». Для укрепления своих позиций Павел создавал слой преданного дворянства, награждая за заслуги и верность династии землями из собственного патримония (11, VIII, р. 309).

При преемнике Павла — его старшем сыне Младене — к Хорватии была присоединена и Хумская земля. Однако Младен II не сумел противстоять оружию Карла II Анжуйского, обеспеченного усилением Шубичей. С падением Младена в 1322 г. эфемерное хорватское государство перестало существовать. Способствовали этому и сепаратистские настроения самих членов династии, и яростное сопротивление далматинских коммун, и противодействие хорватских феодалов, во многом обусловленное их тесными связями с Венгрией (участие в сословно-представительных собраниях королевства, активная поддержка ряда кандидатур на венгерский трон и т. д.).

К условиям Далматинской Хорватии рубежа XIII—XIV вв. оказалась неприменима общеевропейская схема централизации — опора монархии на свои наследственные земли, вовлечение в процесс централизации городов и сплочение вокруг одного из них. Брибирские князья пытались противопоставить не желающим признавать их власть старым далматинским городам иные центры, на которые они могли бы опереться в процессе объединения страны — Сидрагу, Нин, Шибеник. Они, по сути, способствовали развитию в них автономной системы управления, а в Шибенике во многом благодаря их усилиям была учреждена собственная епископия (22, S. 64, 65). Однако ни один из этих городов не смог соперничать со старыми адриатическими центрами и заявить о себе как о метрополии Хорватского государства. Положение же хорватских феодалов на их землях оставалось достаточно прочным, и непосредственной опорой «национальной династии» оказывалась сравнительно небольшая территория патримониальных владений Шубичей.

Вместе с тем попытка создания государства показала наличие сильных центристских тенденций. Характерно использование брибирскими князьями понятий, отражающих стремление к централизации и независимости, — «князь хорватов», «господин Хорватии» и т. п. Имеются сведения о сословных собраниях хорватской знати — так, Младен решал спорные земельные вопросы «с совета нобилей и знати Хорватии», «согласно обычаям Хорватии», причем синонимом к слову «Хорватия» выступало слово «отечество» (*patria*) (11, IX, р. 21—23).

После падения брибирской династии понятия, обусловленные осознанием хорватского единства, продолжали употребляться, но приобретали иное политическое и эмоциональное звучание, поскольку опорой объединения Далматинской Хорватии становилась уже не «национальная» монархия, а центральная венгерская власть, стремившаяся путем создания «княжеств» на территории Королевства стабилизировать положение в стране. Этнический фактор сыграл немаловажную роль в формировании такого «княжества» на территории «Хорватии и Далмации». Венгрия, укрепляя свои позиции в Хорватии, изменила политику. Венгерский король Людовик (1342—1382) отвоевывал у хорватских феодалов их земли, создавая комплекс домениальных владений, и подчинял крепости, которые становились форпостами его суверенитета. Бан Николай, посланный в Хорватию во главе венгерского войска, говорил, что он должен «возвратить для господина нашего короля земли, крепости, владения и села, о которых известно, что они по праву принадлежат святой короне» (11, XI, р. 205—208).

Пользуясь раздорами в Хорватии из-за возобновившейся борьбы хорватских родов за главенство, Людовик заключал сепаратные договоры о «верности» с хорватскими феодалами, жаловал им рыцарское достоинство и земли. Формируя тем самым слой верного дворянства, король в то же время оставлял мелких дворян под юрисдикцией знатных хорватских семейств. Именно в это время в хорватских источниках появляются сведения о «союзе двенадцати родов». «Союз» знатных родов объединил хорватские земли в «Королевство Хорватию» во главе с венгерским королем.

Представители «двенадцати родов» пользовались значительными привилегиями: они освобождались от выплаты «цеза» королю и от личной военной службы. Именно об этих привилегиях идет речь в грамоте о судебном разбирательстве между цетинским семейством Грубичей и Иванишем Нелипчичем, во владениях которого оно проживало. Грубичи не соглашались со своим подчиненным положением, показывая, что они «от деда и прадеда nobили» и всегда принадлежали к числу «nobилий двенадцати родов Королевства Хорватии». Однако Иваниш не признавал за ними связанных с таким положением прав и заставлял платить «цез» и нести военную службу (11, XIII, р. 86). Хорватские дворяне стремились любыми путями приобрести статус членов «союза». Так, семейство Веревичей добились членства в «союзе» брачными связями (11, XI, р. 631).

Власть короля в Хорватии осуществлялась королевским баном, под руководством которого проходили собрания хорватской феодальной знати. После победы Венгрии над Венецией, когда по договору 1358 г. «вся Далмация от середины Кварнера до Диррахия» переходила королю, Людовик, стремясь к политическому соединению Далмации и Хорватии, объединил должности бана и князя Задара. Во главе управления городов также оказывались люди, преданные королю. Отдельным представителям

городского нобилитета присваивалось рыцарское достоинство (11, XIV, р. 59), они и их семьи получали от короля земельные владения за пределами дистриктов городов и жаловались «теми же свободами, которыми пользовались в своих владениях другие нобили двенадцати родов Королевства Хорватии» (11, XIV, р. 268—269). Возможно, центром объединения Хорватии и Далмации мыслился Нин. Во всяком случае в 1371 г. для подтверждения некоторых владений хорватской и далматинской знати Людовик созвал «в нашем столичном (kapitali) и королевском далматинском городе Нине общее собрание всех нобилей и городского населения наших королевств Далмации и Хорватии» (11, XIV, р. 321).

Итак, XIII—XIV вв. показали альтернативные пути развития хорватских земель — создания «национального» независимого государства и оформления своего рода федерации под эгидой венгерского монарха. Каждый из этих путей отражал определенный уровень сознания единства, и каждому из них соответствовали интеллектуальные течения, воплотившиеся в исторических представлениях о переходе древнего хорватского королевства под власть венгерского короля.

Как очевидный призыв к сплочению и независимости следует рассматривать так называемую «Легенду о смерти короля Звонимира». Легенда дошла до нас в составе текста хорватской редакции южнославянского памятника XII в. Летопись попа Дуклянина (23, с. 67, 68). Текст хорватской редакции датируется большинством исследователей XIV веком.

В Легенде последний монарх суверенной Хорватии Звонимир представлен идеальным правителем, наделенным многими добродетелями. Он был «добрым», «славным», «святым», почитал церкви, добрым помогал, а злых изгонял. При нем «вся страна была весела, потому что полна была всяким добром, а города — серебром и золотом. И не боялись убогие, что их тронут богатые, а слуга — что ему причинит зло господин. . . И такое изобилие было как в Загорье, так и в Приморье». В Легенде рассказывается, как Звонимир, откликнувшись на просьбу папы и «царя великого города Рима» помочь в освобождении гроба господня, призвал хорватов выступить на защиту святых мест. Однако хорваты, не желая идти на верную смерть в дальние страны, накинулись на Звонимира и «пролили кровь своего доброго короля и господина». И Звонимир, «лежа в крови, проклял тогда неверных хорватов, чтобы хорваты больше никогда не имели господина своего языка, но всегда были подчинены [господину] языка чужого».

Легенда о смерти Звонимира — красочное идеологическое свидетельство пробуждения хорватского «национального» самосознания, патриотическое осмысление печальной участи хорватского народа. Автор этого произведения был, безусловно, прозорливее многих, но его горестные слова: «По своей воле хорваты попали в неволю к венгерскому королю» (23, р. 68), очевидно, рассчитаны на широкий отклик и понимание. Патриотическая

идея о вине самих хорватов за иноземное правление, столь глубоко понятая в Легенде о Звонимире, начала формироваться, по всей видимости, в XIII в. Одна из ее модификаций, подчеркивающая пагубность раздоров в хорватских землях, зафиксирована в хронике Фомы Сплитского, в рассказе о начале венгерского владычества над Далмацией и Хорватией. После смерти Звонимира, не оставившего наследника, между хорватскими вельможами «возникли раздоры. . . то здесь, то там кто-либо, обуреваемый честолюбием, заявлял о своих притязаниях на владычество; начались разбои, грабежи, убийства». Тогда один человек «из вождей Славонии», претерпев «от своих» обиды и лишения, уговорил венгерского короля Ладислава (Ласло) занять Королевство Хорватия, что тот исполнил без труда, поскольку хорватские «племена» не поддержали друг друга (10, р. 43—44). Оригинальный вариант этой версии содержится в сплитской хронике XIV в. После смерти Звонимира хорваты междоусобной борьбой причинили себе много зла. Они нападали и на приморские города, грабя их жителей и похищая их жен и дочерей, чем вынудили граждан Сплита обратиться за помощью к венгерскому королю (24, s. 321).

Усматривая отражение в Легенде складывающегося «национального» чувства, следует также подчеркнуть, что именно в этом тексте впервые высказывается мысль о единой исторической судьбе славянского населения Далматинской Хорватии (Приморья) и Славонии (Загорья), процветавшего под властью хорватского правителя.

Политической идее признания особого статуса ряда хорватских семейств, объединенных под властью венгерского короля, соответствовало идеологическое течение, обосновывающее добровольное присоединение хорватских земель к Венгрии. В наиболее выраженной форме оно представлено текстом договора «двенадцати хорватских родов», якобы заключенного их представителями с королем Кальманом в 1102 г. Текст договора дошел до нас в составе ряда списков «Истории Салоны» Фомы Сплитского*.

В этом памятнике повествуется, как Кальман задумал подчинить себе всю Хорватию. Хорваты, узнав о намерении короля, «собрали войско и приготовились к бою». Тогда Кальман «послал своих гонцов, намереваясь вести с хорватами переговоры» и «заключить соглашение в соответствии с их желаниями». Хорваты, посоветовавшись, изъявили свою готовность и послали на переговоры двенадцать «наиболее рассудительных и известных» представителей от двенадцати хорватских родов — Качичей, Кукаричей, Шубичей, Чудомирничей и др. Явившись к королю, они «оказали ему должное почтение», а король встретил их поцелуем в знак ми-

* Среди югославских исследователей нет согласия по вопросу о времени составления текста договора, определяемого и как памятник, синхронный описываемым событиям, и как поздняя подделка. Соответственно датируется и время оформления «союза двенадцати племен» (см.: 25). Доводы в пользу составления этого текста в XIV в. (26) представляются более чем убедительными.

ра. По заключенному соглашению все поименованные роды получали возможность владеть своим достоянием «в мире и спокойствии», они и их потомки освобождались от выплаты королю налога. «И лишь в случае вторжения в подвластные королю земли и если король пошлет на ними» они обязывались выставить определенное количество рыцарей.

В XIII—XIV вв. сохраняется обособленность хорватских и славонских земель. Наличие четко осознаваемой географической границы между ними подчеркивается в договоре славонского рода Бабоничей с хорватским городом Сенем, который подписывают «нобили из Хорватии» и «нобили из-за Железных Альп (*ultra Gozd*)» (11, IV, р. 181—182; XI, р. 42—44). Трудно сказать, как сами славонцы ощущали разницу между двумя этническими группами и как она выступала в их сознании. Вполне возможно, что различие воспринималось прежде всего на языковом уровне, поскольку Далматинская Хорватия и Славония были областями формирования преимущественно двух диалектов — соответственно чакавского и кайкавского. Молчание синхронных источников о глубине осознания различия между «хорватами» и «славонцами» в какой-то мере может восполнить свидетельство доминиканского монаха Петра Ранцано, путешествовавшего по между-речью Савы и Дравы в XV в. Со слов местных жителей он записал вульгарную этимологию названий этой территории и ее жителей, которая объясняла их отличие от «славян» Хорватии и Далмации. Имя этой страны и ее народа, рассказывали Ранцано местные жители, происходит от названия реки Савы. Соответственно ее жители зовутся «савонцами (*Savones*), а не славянами (*Sclavones*)», а их земля — «Савонией (*Savoniam*), а не Склавонией (*Sclavoniam*)» (27, р. 329).

Славонские феодалы, как и хорватские, были тесно связаны с центральной королевской властью. Кроме того, славонские феодалы имели владения на собственно венгерских территориях, а венгерские поместья встречались в Славонии (28, s. 100—101). Неизбежные в такой обстановке языковые и культурные контакты, возможно, содействовали культурной мадьяризации славонских феодалов.

Свидетельством восприятия в Славонии тесной исторической связи с Венгрией может служить фрагмент хроники XIV в., авторство которой приписывается Ивану Горицкому (29, р. 471—473). В этом сочинении сообщаются подробности из жизни венгерских королей X—XI вв. — Стефана, Имре, Белы, Гезы и Ласло, связанные с распространением их власти на территорию Славонии. Автор фрагмента, несомненно пользуется сведениями официальной королевской историографии, сохраняет и их идеологическую направленность. Прежде всего это относится к обоснованию династических прав Венгрии на славонские земли перед хорватскими королями: дочь хорватского правителя Крешимира IV получила Славонию потому, что была невестой венгерского короля Имре; подобным образом снискал это право и Звони-

мир, женатый на сестре короля Ласло. Иван Горицкий сохраняет и основной довод венгерской историографии, которым мотивировались наследственные права венгерских королей на Хорватию: благодаря родству Звонимира с королем «Звонмир стал достаточно могущественным, чтобы занять королевство Хорватию» (29, р. 471—472).

В Венгеро-польской хронике — сочинении, сохранившемся в списках XV в. и основанном на исторической традиции (в том числе далматинской, хорватской и славонской) более раннего времени, — приводится легенда о женитьбе Аттилы (в хронике — первого венгерского правителя) и его приближенных после завоевания земель в междуречье Савы и Дравы и переправы через Драву на знатных славянских девушках и о рождении у Аттилы от этого брака сына — будущего венгерского короля (30, р. 16—19). В этом свидетельстве можно видеть очевидное стремление славонских феодалов обосновать свое родство с венгерской правящей верхушкой.

В самой Венгрии территория Славонии могла восприниматься как «венгерская». При короле Беле III, писал неизвестный автор второй половины XIII в., «землями Венгрии были: Венгрия — голова королевства, Хорватия, Далмация и Рама (Босния)». Далее автор рассказывал о церковном делении «Венгрии», в частности о владениях загребского епископа «за рекой Савой» (11, II, р. 133—134). Характерно, что среди основанных францисканскими монахами для распространения своего влияния «провинций» «провинция Славония» охватывала Далмацию и Хорватию, а области Славонии включались в «провинцию Венгрия» (31).

В отличие от Хорватии, в Славонии домениальные владения составляли основную часть ее территории. В конце XI—начале XII в. здесь была введена территориально-административная система, характерная для страны в целом, — крепости, центры территориальных единиц — комитатов (жупаний) становились и центрами королевских владений. Опорой короля в жупаниях были славонские семейства, которым подтверждался или даровался нобилитет, жаловались привилегии и земли и которые обязаны были королю военной службой. В первой половине XIII в. Славония получила статус автономной политической единицы (*regnum*) в рамках Королевства. Верховные его управители — члены королевской семьи или королевские баны — были, по существу, самостоятельными владыками Славонии. «Славонский дукат — честь королевского рода», — называл Славонию Эндре III (11, VII, р. 350).

Хотя политическое объединение и административное освоение Славонии осуществлялись венгерской королевской властью, успеху этого процесса способствовало осознание необходимости интеграции славонских земель в самой Славонии. Первым по времени событием, которое может быть интерпретировано с точки зрения реализации объединительных устремлений,

было «общее собрание всего королевства Славонии», проходившее в Загребе в 1273 г. На собрании, в котором принимали участие знать и свободные земледельцы (*iobagiones castri*), главенствовал бан Матей Чак, однако очевидна инициатива самих славонцев в созыве собрания (32, s. 332). Решения, принятые собранием, закрепляли наследственное право «рода» на землю владельца, умершего без наследника, узаконивали право «нобилей королевства Славонии» идти по требованию короля на войну во главе с теми «баронами, которых они себе выберут»; оговаривались и некоторые ограничения по сбору королевской дани — мартурины (11, VI, p. 26—27). Нобили «Загорья и других комитатов» освобождались от суда жупанов и переходили под непосредственную юрисдикцию бана. В целом принятие «писаных законов королевства и баната», как и сама возможность проведения подобного собрания, свидетельствовало о развитии в славонском феодальном обществе курса на единение и политическую самостоятельность.

В Славонии на базе крепостей постепенно происходило развитие сети городов — варошей. Некоторые из них, получая привилегии свободных королевских городов, превращались в оплот центральной власти. Так, загребский Градец стал политическим центром Славонии. В процессе становления славонских городов следует выделить одну существенную черту их этнической и демографической истории — активность иностранцев, прежде всего венгров, в заселении и экономической деятельности городов. К примеру, «народ» Загреба состоял из этнических групп «венгров», «латинян» (итальянцев) и «славян» (33, p. 2—3); в Вуковаре жили «тевтонцы, саксонцы, венгры и славяне» (11, III, p. 346—347); в Вараждине обитала колония немецких торговцев (32, s. 229). Каждая из этих групп пользовалась своим «правом» (28, s. 60—62). С введением в XIV в. единых институтов городского управления и привилегий, распространявшихся на всех горожан, земляческая обособленность таких групп тем не менее сохранялась. Не исключено, что именно этнической разобщенностью вкупе с особым положением городов по отношению к венгерской власти следует объяснить их аморфность в деле объединения страны под эгидой славонского монарха, предпринятом в конце XIII—начале XIV в.

Политическая история Славонии конца XIII—XIV в. в своих определяющих тенденциях почти синхронно повторяет историю Далматинской Хорватии. Пользуясь ослаблением власти венгерского короля, славонские феодальные семейства постепенно расширяют свои владения и сферу политического влияния и в конце XIII в. приходят к самостоятельному правлению на подвластных территориях, сохраняя формальную верность королю. Под властью семейств Гисинговцев, Пектаров и князей Мославины оказались территории между Савой и Дравой, а Бабоничи укрепились между Савой и Железными Альпами. В борьбе этих родов произошло возвышение Бабоничей. Их представители объявили

себя наследственными правителями «всей Славонии». Однако Карл II Анжуйский (1308—1342), не заинтересованный в отделении Славонии, возвращает ее под свой контроль, и венгерские короли вновь обращаются к политике создания в Славонии устойчивой политической организации под своей эгидой. Представители славонской знати становятся королевскими рыцарями. Все жители Славонии, независимо от звания и достоинства, переходят под «суд и власть» королевского бана (11, IX, р. 235). Вместе с тем бан управляет Славонией, «советуясь с нобилиями королевства», имеющими и своих судей, и свои собрания, «общие» (*generalis*) и территориальные (по жупаниям). Проводились и представительные собрания знати и «людей всякого положения, достоинства и звания» двух обширных областей Славонии — территории «между Савой и Дравой» и «между Савой и Железными Альпами» (11, IX, р. 468; XI, р. 525; XII, р. 136, 164, 182). В сочетании с известиями о таком же делении земель в ходе междоусобной борьбы славонских феодалов можно предполагать наличие более глубоких исторических связей, объединяющих население этих областей.

Как видно, Хорватия и Славония в XII—XIV вв. представляли обособленные политические единицы, со своей историей и ясным пониманием своей этнической отдельности. Между тем самые первые попытки осмысления их единства, возможно, относятся уже к XIV в. и фиксируются на уровне исторического сознания. К этому времени относятся сочинения, в которых отражается процесс зарождения общей исторической традиции. В Хорватии это «Легенда о смерти короля Звонимира», где говорится о богатой и счастливой жизни «Приморья и Загорья» под властью одного короля. В Славонии — это уже упоминавшийся фрагмент хроники XIV в. Несмотря на явную провенгерскую направленность фрагмента и отсутствие в нем идеи единения во имя блага Хорватии и Славонии, в нем обнаруживаются и знания славонского автора (хотя и очень приблизительные) об истории Хорватии, и попытки соединить имеющиеся сведения о связывающих Славонию и Хорватию исторических событиях. Красноречиво уже само начало фрагмента, демонстрирующее интерес автора к тому, «когда и как отошли хорватским королям» земли Славонии между Савой и Дравой (29, р. 471—472). Упоминаются здесь и реальные исторические лица хорватского королевства — король Крепимир, баны Годамир и Праск. Отсутствие исторической и хронологической достоверности в описании автором ряда событий — факт в данном случае второстепенный.

Исторические представления средневековых авторов Далмации, Хорватии и Славонии наиболее полно и ясно отразили происходящие здесь в условиях политической несамостоятельности этносоциальные процессы. Осмысление своего прошлого, возможно, стало здесь ведущим компонентом сложной системы этнического самосознания. И путь к обоснованию этнического и культурно-исторического единства Далмации, Хорватии и Славонии

лежал через создание общей далматинско-хорватской и хорватско-славонской исторической традиции, элементы которой явственно обнаруживаются в XIII—XIV вв.

1. *Наумов Е. П.* Возникновение этнического самосознания раннефеодальной хорватской народности // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
2. *Акимова О. А.* Формирование хорватской раннефеодальной государственности // Раннефеодальные государства на Балканах (VI—XII вв.). М., 1985.
3. *Фрейденберг М. М., Чернышов А. В.* Города-коммуны далматинского побережья (VII—середина XIII вв.) // Раннефеодальные государства на Балканах (VI—XII вв.). М., 1985.
4. *Klaić N.* Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Zagreb, 1971.
5. *Grafenauer B.* Etnička struktura in zgodovinski pomen jugoslovenskih narodov v srednjem veku // Zgodovinski časopis. Ljubljana, 1967. T. 21.
6. *Ферлуга Г.* Византийска управа у Далмацији. Београд, 1957.
7. *Jakič-Cestarić V.* Etnički odnosi u srednjovjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena // Radovi Instituta JAZU u Zadru. 1972. Sv. 19.
8. *Lučić J.* O etničkim odnosima na dubrovačkom teritoriju u XIII st. // Dubrovnik. 1969. P. XII. Br. 4.
9. *Farlati D.* Illiricum sacrum. Venecija, 1786.
10. *Thomas Archidiaconus.* Historia Salonitana. Zagrabiae, 1894.
11. *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae.* Zagreb, 1904—1934. Sv. II—XIV.
12. *Monumenta Catharensis.* Kotor, 1959.
13. *Фрейденберг М. М.* Дубровник и Османская империя. М., 1984.
14. *Константич Багрякородный.* Об управлении империей // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
15. *Trogirski spomenici.* Zagreb, 1950—1951. D. I. Sv. 1—2; D. II. Sv. 1.
16. *Недков Б.* България и съседните ѝ земи през XII век според «Географията» на Идриса. С., 1960.
17. *Historia ducum Venetorum* // MGH. Scriptorum. Hannoverae, 1883. T. 14.
18. *Cronica fratris Salimbene* // MGH. Scriptorum. Hannoverae, 1905. T. 32.
19. *Listine o odnošajih izmetu južnoga Slavenstva i Mletačke republike.* Zagreb, 1872. Kn. 3.
20. *Акимова О. А.* Развитие средневековых представлений о происхождении хорватов // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988.
21. *Verdiani C.* Prose a vérsi inediti di Marco Marulo nel Codice dalmatico laurenziano. Roma, 1958.
22. *Rendeo L.* Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Graz, 1959.
23. *Ljetopis popa Dukljanina.* Zagreb, 1950.
24. *Šišić F.* Priručnik izvora hrvatske historije. Zagreb, 1914.
25. *Antoljak S.* Pacta ili Conventa od 1102 godine. Zagreb, 1980.
26. *Klaić N.* Tzv. Pacta ili Conventa ili Tobožni Ugovor između kralja Kolomana i Hrvata 1102 g. // Zadarska revija. 1983. G. 32. N. 6.
27. *Petri Ranzani Epitome rerum Hungarorum* // Schwandtner J. Scriptores rerum Hungarorum. Wien, 1768.
28. *Klaić N.* Črtice o Vukovaru u srednjem vijeku. Vukovar, 1983.
29. *Documenta historiae chroaticae periodum antiquam.* Zagreb, 1887.
30. *Chronica Hungaro-Polonica* // Acta universitatis Szegediensis. Acta historica. Szeged, 1969. T. 26.
31. *D. M.* Osnutak franjevačke provincije Hrvatske // Dobri pastir. Sarajevo. 1966. G. 15/16. Sv. 1/4.
32. *Klaić N.* Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb, 1976.
33. *Monumenta Historica Episcopatis Zagrabiensis.* Zagreb, 1873. Sv. 1.

ЭТНИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ ХОРВАТОВ
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ПИСЬМЕННОСТИ
(ЛИТЕРАТУРЫ)
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В XII—XIV вв.

Н. И. Толстой

Ранний период исторического развития той части славянского этнического массива, который позже четче обозначился как хорватский, период IX—XI вв., был отмечен, во-первых, процессом вхождения в общеевропейскую культурно-религиозную сферу, выразившимся в крещении хорватов; во-вторых, борьбой за независимость против иноземного и иноплеменного владычества; в-третьих, постепенным формированием и утверждением хорватской государственности.

Принятие христианства славянскими племенами, жившими по побережью Адриатики и в пределах более северных — по правобережью и левобережью реки Савы, которые в те времена и позже назывались Славонией (Sclavonia), можно со значительной долей вероятности отнести к VII—VIII вв., притом это принятие, вероятно, было, как и у сербов, не одновременным. Во всяком случае, археологические материалы свидетельствуют, что еще в VIII в. среди хорватской знати было широко распространено язычество. Окончательное принятие христианства хорватами несомненно относится к началу IX в. и связано с основанием в Нине епископской кафедры.

Как и почти все иные южно- и западнославянские племена и более крупные этнические образования, хорваты испытали в начальный период своей религиозно-культурной истории влияние двух церковно-политических и церковно-административных центров — Рима и Константинополя. Однако недолгое соперничество велось при полном преобладании Рима, окончательно утвердившемся после разделения церквей в середине XI в.

Деятельность солунских братьев Кирилла и Мефодия во второй половине IX в. коснулась, судя по косвенным книжным данным, по всей вероятности, и хорватских земель, в первую очередь северно- и среднеприморских, куда через кирилло-мефодиевских учеников рано проникла глаголическая славянская письменность, сохранявшаяся затем вплоть до XX в.

Достаточно древнее разделение хорватских земель на два крупных региона — далматинский (приморский) и посавский (северный), — характерное и для современного географического контура Хорватии, повлияло на историческую судьбу хорватов и на автономность ряда культурных, этнических и социально-политических процессов в упомянутых ареалах. Освободившись.

в конце первой трети VII в. от аварской зависимости, славяне Посавья и части Приморья начали переживать процесс социального расслоения племенного общества и зарождения феодальных отношений (1). Это создавало условия для возникновения хорватской государственности, которое осуществилось значительно позже — в середине IX в. (2, с. 219). Хорватская государственность появилась в сложных условиях противостояния двух могущественных держав — Византии, которой ряд веков (до XII в.) принадлежала то большая, то менее обширная часть Далмации, и Франкской империи, распространявшей свою власть на Посавье довольно длительный период времени.

Хорватское суверенное государство переживало период своего подъема и расцвета в X—XI вв. при династии Трпимировичей, при королях Томиславе (910—928), Степане Держиславе (969—997), Петре Крешимире (1059—1074), Звонимире (1075—1089) и других правителях. Однако на границах хорватских земель с конца IX в. появляются два новых мощных соперника Хорватского государства: в Далмации — Венеция, а в Посавье — Королевство Венгрия. Соперничеству Хорватии, Византии и Венеции в Далмации особую окраску придавали далматинские города, имевшие сначала неславянский (романский), а затем не чисто славянский (романо-славянский) характер. Эти города далеко не всегда и не все входили в состав хорватского государственного объединения.

Историко-политическая обстановка, изложенная нами предельно кратко, определяла культурно-религиозную и литературно-языковую ситуацию в Далмации и Посавье в период до XII в. Несмотря на присутствие византийской власти в Далмации, присутствие переменное и разнохарактерное, постоянная церковная ориентация на Рим, ставшая еще более стабильной после разделения церквей в 1054 г., окончательно закрепила католичество в Далмации и Посавье и сделала религиозную принадлежность основным, а в целом ряде случаев и единственным признаком, отличавшим хорватов от единоплеменных и в основном абсолютно единоплеменных сербов. Тот же фактор способствовал широкому распространению латинского языка как языка церкви, общеевропейской средневековой литературы и деловой переписки в славяно-хорватской среде. С началом венгерского династического и политического господства в 1102 г. позиции латинского языка и латинской образованности укрепились в еще большей степени, так как этот надэтнический язык, как и конфессия и элитарная (не народная) культура, объединяли хорватов с венграми и другими западными соседями. Все же в Северной и Центральной Далмации и в некоторых прилегающих к ним землях сохранялась славянская глаголическая и в малой мере кириллическая письменность, обслуживавшие литургическую («славянская служба», «глаголическое пение», «глаголание»), юридическую, деловую и литературную сферы. Эта характерная особенность хорватско-далматинской среды,

в первую очередь ее приверженность к глаголице, уже в XII в., не говоря при этом о более поздних временах, выделяла хорватов или определенную их часть из среды южных славян, воспринявших славянское письмо, но довольно рано перешедших от глаголицы к кириллице и сохранивших кириллицу в несколько видоизмененном виде до наших дней. Приморские же хорваты вели борьбу за глаголицу, видимо, почти с начала ее распространения на их территории. Во всяком случае, документы свидетельствуют, что славянская глаголица подвергалась гонению в первой трети X в. На локальном церковном соборе в Сплите латинское духовенство выступило решительно за ее запрещение, настаивая на исключительно латинском богослужении *. Тем не менее можно говорить, что в рассматриваемый нами период XII—XIV вв. хорватская глаголица и глаголическая литература испытывали даже некоторый подъем. Это можно объяснить и усилением славянского элемента в приморских городах и поселениях, и укреплением славянского (хорватского) этнического самосознания, утверждающегося в противовес венецианской и венгерской культурной, экономической и политической экспансии. Экспансия Арпадовичей, сопровождавшаяся развитием феодальной системы венгерского типа, основные представители которой в Далмации и Посавье были далеко не всегда славянского происхождения, привела в XIII в. (в 1260 г.) не только к довольно резкому административному разделению хорватских земель на две части (на два баната), разделению, идущему по горному массиву Гвозда, но в ряде случаев и к более дробному членению на основе автономии отдельных жуп. Так постепенно стала возникать характерная для хорватских земель картина довольно значительного областного дробления — наличия ряда культурных и этнических микроареалов, в которых, однако, сохранялось общее славянское или хорватское народное самосознание, выражающееся особенно ярко перед лицом иноземной агрессии. Такое положение сохранялось почти до XIX в., т. е. до хорватского (и южно- и западнославянского) национального возрождения.

Диалектный ландшафт западной части хорватско-сербского языкового ареала в период, предшествующий XII в., и в XII—XIV вв. демонстрирует активное протекание процессов, ведущих к все более четкому выделению особенностей трех основных хорватско-сербских диалектов — чакавского, штокавского и кайкавского. Последний был, по мнению П. Ивича и ряда других ученых, первоначально ближе к словенскому языковому массиву, чем

* Десятым пунктом решения Сплитского локального собора 925 г. было: «Пусть ни один епископ нашей провинции не решится рукополагать в какой бы то ни было священнослужительский чин для служения на славянском языке. Те, кто уже рукоположены, могут все же вести богослужение в качестве клириков и монахов. Он (епископ. — *Н. Т.*) не может разрешить им служить мессу за исключением того случая, когда ощущается нехватка священников. В этом случае нужно получить разрешение от папы и на основании этого разрешения допустить его к богослужению» (3, s. 52—53).

к хорватско-сербскому, имел с этим массивом общую основу, но довольно рано стал сближаться с хорватско-сербскими говорами, чему также способствовало хорватское этническое самосознание его носителей (4). Как и кайкавское наречие, распространенное на северо-западе Хорватии, чакавский диалект целиком включается в хорватскую этническую зону, занимая в наше время довольно узкую прибрежную зону Адриатики и несколько островных зон в штокавском и кайкавском окружении. В прошлом ареал чакавских говоров был обширнее и компактнее, — он постепенно сужался в результате штокавской экспансии. Штокавская хорватская зона в наше время больше кайкавской и чакавской, вместе взятых, и охватывает всю Славонию, часть Далмации, Лику, Крбаву, Кордун и Банию. Черты различия трех основных хорватско-сербских диалектов — чакавского, кайкавского и штокавского — весьма значительные и довольно древние, т. е. могут быть отнесены к праславянскому периоду. В принципе они — более глубокие и очевидные, чем между белорусским и русским (великорусским) языками или наречиями. Изложенная языковая ситуация и историческая обстановка способствовали созданию и длительному сохранению локальных этнических различий в хорватских землях, что отражалось помимо прочего и в наличии региональных литературных традиций, большинство которых, однако, возникло и развивалось в период после XIV в. Таким образом, хорватский этнический ареал отличался и отличается большим диалектно-языковым разнообразием, чем ареал сербский. Это отразилось и на путях развития хорватского литературного языка, и на самоназвании хорватов, которое и в Далмации и в Посавье звучало то как *hrvat*, то как *sloven* (*slovin*, *narod slovinski*, *jezik slovinski*) * и дало в конечном итоге области, простирающейся севернее реки Савы, имя Славония.

Развитие древнехорватской литературы и древнехорватского литературного языка начиналось и проходило первое время в условиях романско (латинско)-славянского и в меньшей степени греко-славянского симбиоза, при котором славянский компонент был представлен в виде так называемого глаголитизма, т. е. глаголического письма, связанного со славянским языком и богослужением, сохранявшим черты и традиции кирилло-мефодиевских текстов. Симбиоз этот осуществлялся в Далмации, в северной и средней ее части, главным образом на Кварнерских островах, в условиях византийского господства и постоянной духовной и церковно-административной связи с папским престолом в Риме. Ряд исторических документов как бы повторяет постановление Силитского собора 925 г. о том, что уже рукоположенные славянские священники могут совершать славянское бого-

* В рассматриваемый период у сербов самоназвание «словен», «словенски» встречается редко. Между тем книжный язык, которым пользовались сербы, обычно назывался «словенским», и тех же сербов другие народы, прежде всего греки, называли «славянами» (*slavus* и т. п.).

служение и что впредь не следует рукополагать кандидатов, не знающих латинского языка (решение местного Сплитского собора 1060 г., решение муниципалитета в Риеке 1455 г. и др.) (5, s. 18—22).

Следует, однако, заметить, что эпохи гонений на славянскую глаголическую церковную службу иногда сменялись периодами, когда такая служба признавалась (например, в XIII в. папа Иннокентий IV дал привилегии глаголитам: в Сене в 1248 г. и в Омишле в 1252 г.) или допускалась, хотя и неохотно. Сами представители глаголической книжной культуры, которая была, как показывают новейшие исследования, в общем высокой, чтобы поднять престиж своего письма и древнеславянского богослужебного языка, часто аргументировали приверженность к глаголице тем, что ее изобрел Блаженный Августин, согласно книжной легенде, «просветивший, прославивший, обогативший и возвысивший язык свой славянский» (5, s. 25).

Древнейшим хорватским датированным глаголическим текстом считается «Башчанская плита» — надпись на камне 1100 г., свидетельствующая о том, что хорватский король Звонимир дал церкви св. Люции земли, а аббат Добровит с девятью братьями построил церковь. Графика этой надписи — переходная глаголица от древнего, «круглого», образца к новому, угловатому, типу, а язык — смешанный церковнославянско-старочакавский, характерный для богослужебных текстов того времени. На основе сходных палеографических особенностей XI веком датируется и Валунская надпись, а также Кркская надпись, которые считаются старше Башчанской (6, s. 388).

К хорватским глаголическим текстам XII в. принадлежат также Венские листки и Башчанские отрывки, к этому же кругу памятников относятся и возникшие на сербскохорватском культурном пограничье отрывки апостола Грковича и Михановича. Последние являются общесербскохорватскими памятниками, как общим и единым в течение всей своей истории был и штокавский диалект, а в принципе и сербскохорватский язык в целом.

Сохранился ряд текстов XIII в. и более позднего периода, протографы которых восходят к более ранней поре. Это прежде всего глаголические миссалы (литургические служебники) и бревиарии (книги ежедневного чтения для католических священников, содержащие фрагменты библейских текстов, псалтыри, отдельные легенды, гомилии, апокалипсис, молитвы): отрывок миссала Кукулевича, Бирбинский отрывок миссала и отрывки бревиариев Лондонский и Врбничский, отражающие старый тип миссалов и бревиариев.

В начале XIII в. в результате деятельности францисканцев западная церковь произвела реформу в области репертуара литургических текстов, что отразилось на составе глаголических литургических кодексов и бревиариев, тексты которых обновлись новыми переводами или адаптированными в соответствии с Вульгатой.

Среди древнейших нефрагментарно сохранившихся так называемых полных («шпенарных») глаголических миссалов XIV в. находятся Омишальский (Ватиканский) миссал начала XIV в., Хрвоев миссал, Миссал князя Новака и другие и значительное число (до 12) бревиариев, в том числе Бодленский, Лобковича, Ватиканский, Парижский, Люблянский бревиариум. Омишальский фрагмент древнего хорватского глаголического апостола и ряд других богослужебных книг свидетельствуют о близости в XIII—XIV вв. структур церковнославянской хорватско-глаголической литургической книжности и книжности кириллической того же вида и того же и более раннего времени (7, s. 322).

Для хорватской глаголической литературы до XV в. характерно наличие целого ряда повествовательных прозаических произведений, таких, как легенды и апокрифы, дошедших до нас, вероятно, неполно, в ряде случаев лишь в виде отдельных отрывков или даже обрывков или обрезков листа, употребленного для переплета и т. п. Именно к таким обрывкам относятся два листа Легенды о св. Макарии (Будапештские листки) XII в., интересные помимо содержания еще и тем, что они, по предположению И. Хамма и Э. Херцигони, возникли не в прибрежной или островной Далмации, а в материковой зоне Крбавы, Лики или Покупья (5, s. 102—103). Три сохранившихся пергаменных листка XIII в., содержащих отрывки из легенд о сорока себастианских мучениках, о св. Юрии и Легенду об апостоле Иоанне на Патмосе, свидетельствуют о наличии в древнехорватской литературе различных легенд и житий-мартирологий. Ко второй половине XIII в. относится и глаголический фрагмент Жития св. Феклы, равно как и апокрифические Сочинения апостола Павла, связанные с болгаро-македонской и русской традициями минейных чтений. К началу XIV в. относятся глаголические «Пазинские фрагменты», содержащие несколько апокрифов («О крестном древе Господнем», «О мучениях Якова Персиянина», «Евангелие от Никодима», «Об усении Богородицы») и легенда (Легенда об Евстафии), объединенных в одном большом сборнике переводных текстов, отражающих как восточно-, так и западнохристианскую культурно-религиозную традицию. Глаголический отрывок коллекции Загребской академии середины XIV в. представляет собой «Прения Иисуса с дьяволом». Приведенным перечнем, вероятно, не ограничивался корпус апокрифических и легендарных переводных текстов хорватской глаголической литературы рассматриваемого периода, так как некоторые из апокрифов и легенд могли сохраниться в более поздних списках или не сохраниться вообще. Эта же оговорка относится и к текстам гомилетического (проповеди) и нравоучительно-дидактического («Трактат о семи смертных грехах» — отрывки XIV в.) характера, равно как и к произведениям поучительной прозы, встречающимся в сборниках довольно разнообразного содержания (Сборник Бориславича 1375 г., Сборник Иванича XIV—XV вв. и др.).

Почти все перечисленные выше произведения и тексты являются переводными и потому носят неоригинальный характер. Однако именно эта литература — славянская по языку и глаголическая по написанию — в большей мере, чем скромная кириллическая литература в Далмации и только еще нарождающаяся в XIV в. литература с латинской формой письма (но не языка), послужила основой, отправной точкой и стимулом для развития богатой оригинальной литературы на народном языке отчасти уже в XV в. и в особенности в XVI в.

В рассматриваемый период, разумеется, на всей территории, где бытовала глаголица, и шире, где она не была распространена или sporadически появлялась и исчезала, существовала литература в общем тех же и иных жанров на латинском языке: богослужебные книги и книги для религиозного чтения — миссалы, бревиарии, гомилетические, агиографические и легендарно-апокрифические тексты.

Непереводными в рассматриваемый период XII—XIV вв. были юридические кодексы приморских городов и общин, писанные глаголицей. К ним относятся: Винодольский статут, или законник 1288 г., и Кркский (Врбничский) статут, сформировавшийся в период от 1362 до 1526 г. Широко известен историкам и филологам Полицкий статут, древнейший дошедший до нас свисок которого, писанный кириллицей-босанчицей, относится, по предположению И. В. Ягича, к периоду между 1567 и 1605 гг. и восходит к более раннему, утраченному списку 1444 г. Однако и по содержанию, и по слогу он отражает еще более ранний период юридического законодательства и должен рассматриваться в общем кругу ранних и поздних памятников славянского права далматинско-приморского ареала. К этому кругу принадлежат также статуты городов и общин XV—XVII вв.: Кастава (1490), Вепринца (1507), Моштениц (1501), Трсата (1640). Тексты статутов Кастава и Моштениц дошли до нас в латинском графическом облике, но их протографы были глаголическими. Все эти тексты, по справедливому свидетельству В. Мажуранича и Й. Бартулича, насыщены исконно славянскими народными юридическими представлениями, языковыми формулами и фрагментами фольклорного мировосприятия и отношения к социуму (8, s. 102—103; 9, s. 363—382). Их общеславянская правовая основа хорошо показана в классических работах Б. Д. Грекова (10; 11).

Отчасти по своему содержанию и во многом по языку к глаголическим статутам примыкает довольно объемистый памятник «Истрийский развод» — глаголическая рукописная межевая книга, юридически документирующая границы владений Аквилейской патриархии, пазинских (от г. Пазин) графов и Венеции, сохранившаяся в глаголическом списке XVI в., имевшем протографом список 1325 г., восходивший в свою очередь к тексту 1275 г. Текст этот свидетельствует, во-первых, о параллельном употреблении чакавской глаголицы с латинским и немецким языками и, во-вторых, о довольно широком функционировании гла-

голицы в деловой, особенно юридической, сфере. Латинские и немецкие списки не сохранились, но глаголический список свидетельствует о том, что стороны избрали трех нотариусов «едного латинскога, а другога нимшкога, а третога хрвацкога. . . да имамо. . . vsаки на свой оригинал писат поимено од места до места» (12).

Наряду с кодексами, писанными по-славянски (по-старохорватски), на Адриатическом побережье были в употреблении латинские кодексы далматинских городов и островов. Таковы известные нам статуты Сплита (1240 г.; дошел до нас в списке XV в.), Корчулы (1265), Дубровника (1272), Скрадина (XIII в.), Задра (1305), Брача (1305), Млета (1310), Трогира (1322), Раба (1330), Хвара (1331), Котора (1332).

Многочисленная городская, церковная и монастырская документация велась также по-латыни. Среди памятников такого типа сохранился так называемый Супетарский картулярый — сборник имущественных актов, записей и свидетельств первой половины XII в., принадлежавший монастырю св. Петра в Селе на Полицком приморье.

Средняя Далмация, где расположена Полица, известна как область, где бытовала кириллица, графика, малоупотребительная в хорватской среде, если не считать Боснию, где в более поздний период, чем рассматриваемый, в католической францисканской среде господствовала кириллица-босанчичца. Древнейшие сохранившиеся хорватские кириллические памятники связаны с деятельностью бенедиктинского монастыря в Павлях на о-ве Брач. К этим памятникам принадлежит надпись конца XII в. (после 1184 г.) и грамота 1250 г. (со вступительной частью, относящейся, вероятно, к 1184 г.). Эта грамота представляет собой довольно объемистое описание земельных вкладов и имуществ монастыря*. По графике и слогу к ней близки надгробная надпись князя Мирослава Качича из Омиша, что в устье р. Цетине, начала XIII в. (князь Мирослав правил на о-вах Брач и Хвар) и грамота омишского князя Джуры Качича 1276 г. Традиция выдачи кириллических грамот сохранялась в этой зоне и позднее: так, в XV в. князья цетинские и клисские пользовались таким видом канцелярского письма. Бытовала кириллица в Далмации и в XVI в.

Первые хорватские тексты с использованием латинской графики появились также на территории, занятой приморской чакав-

* Повальская грамота — древнейшая хорватская кириллическая грамота и один из старейших памятников чакавского диалекта, хотя язык его — не чисто народный, а со значительной долей древнеславянских канцеляризов и штампов, характерных также для боснийских, захумских, травунских, дубровницких и зетских канцелярий. Приводим начало грамоты: «Въ име шца и сна и стаго дха: Лето въ рошцена га нашего исхво. тисушно и сто осмьдесетъ: и (д). Бы въ дни края (= короля) Бель: бискупа Микули с отокомъ (= островом) Хуарским (= Хвар) и Брачьским (= Брач): Бречько кнезь. . .» (13).

щиной, притом довольно поздно, лишь в XIV в. Среди них особое место занимает «Шибеникская молитва», названная так по месту своего открытия, а вероятно — и возникновения в г. Шибенике (Северная Далмация). Судя по ряду фактов, она возникла в 1347 г., ее протограф неизвестен, и не найден аналогичный или близкий латинский текст, который мог бы послужить образцом. В то же время ряд церковнославянских (древнеславянских) языковых черт в морфологии и лексике «Шибеникской молитвы» как будто свидетельствуют в пользу того, что она могла иметь протограф, написанный славянским письмом — глаголицей или кириллицей-босанчицей. Это в принципе оригинальное произведение состоит из нескольких синтаксически и ритмически не вполне однородных частей*. Своим содержанием и формой оно отражает период восприятия западных влияний и идейной и художественной контаминации исконной литургической и нелитургической книжной кирилло-мефодиевской традиции с новым, в значительной мере светским, направлением литературного, культурного и эстетического развития. Начиная со второй половины XV в. эти новые веяния становятся преобладающими, придающими хорватской книге и по внешнему виду, и по содержанию все более латинизированный характер, хотя с появлением книгопечатания на Адриатике и с общим развитием культуры и образования глаголическая литература тоже испытывала подъем.

Двумя годами раньше «Шибеникской молитвы», в 1345 г., был написан на довольно чистом чакавском диалекте готическим минускулом устав доминиканского женского монастыря в г. Задре под названием «Порядок и закон» («Red i zakon»), представляющий собой отрывок текста в 62 строки. Латиницей написан и старохорватский текст «Житий святых отец» — переводы из латинской книги «Verba seniorum», восходящей в свою очередь к греческому Патерику, повествующему об отшельнической жизни египетских монахов-пустынников и их духовных подвигах. Старохорватская книга житий относится к концу XIV в. и содержит всего 135

* По предположению ряда исследователей, «Шибеникская молитва» могла возникнуть в духовной монастырской среде, близкой к брибирским (от крепости Брибир близ Шибеника) феодалам Шубичам, самым крупным хорватским феодалам XIII—XIV вв., которые помимо латинского письма пользовались кириллицей-босанчицей и для которых в ту пору была типична открытость к нескольким традициям. Первая часть молитвы — похвала Деве Марии, которая начинается со слов: «O blažena, o prisveć ana, o umiljena, o pričista Divo Marije! moli za nas i vas pulk (= весь народ) karstjanski sina božna (= божьего) sina tvoga, ki prije sega vika (= который до сего века) od Boga Oca na nebesih brez matere rodil. . .» Текст дан в новой транскрипции. Оригинал писан готическим курсивом, которому, вероятно, предшествовал готический минускул. По правдоподобному предположению Э. Герцигони, культ Девы Марии имел антибогомильскую направленность и был связан с борьбой Шубичей с боснийскими богемиллами. Таким образом, не исключено, что «Шибеникской молитве» предназначалась роль «боевой молитвы», подобно чешской песне-молитве «Hospodyne, pomiluj nu!», а возможно, и польской «Bogurodzicy» (5, s. 177—186; 14, s. 152—161.)

притч (из 742 в «Verba seniorum»). Язык этой книги содержит, в отличие от языка глаголических текстов, сравнительно небольшое число церковнославянизмов, которые все же, как и славянизмы «Шибеникской молитвы», указывают на связь хорватской литературы, писанной латиницей, с литературой глаголической (15, s. 225—251).

К концу XIV в. появилась, отпочковавшись от глаголической традиции, группа сакральных текстов, писанных по-старохорватски латинской графикой. К ним относятся дошедшие до наших дней памятники письменности: «Ватиканский хорватский молитвенник» XIV в. — сборник псалмов, возникший в районе Дубровника, фрагментарно сохранившийся «Корчуланский лекционарий» XIV в. и ряд более поздних аналогичных текстов. Все они свидетельствуют, во-первых, об активном «охорвачивании» древних церковнославянских текстов; во-вторых, о начале процесса конкуренции языковых норм различных славянских текстов, опирающихся на ту или иную диалектную зону, и, наконец, на сохранение в новых условиях определенной достаточно древней и устойчивой традиции.

Приведенные факты показывают, что авторитет глаголической письменности в период XII—XIV вв. был высоким и преобладающим над престижем письменности кириллической и хорватской, использующей латинскую графику *. В то же время необходимо признать, что глаголическая письменность XII—XIV вв. была локально ограниченной и более изолированной, чем южнославянская кириллическая письменность (сербская, восточно- и западноболгарская, македонская, боснийская). Эта локальная ограниченность глаголизма и преимущественная или почти исключительная его связь с чакавской диалектной зоной, с приморской чакавщиной прежде всего, обусловила в последующий исторический период XV—XVII вв. и в XVIII в. существование ряда областных литератур со своей жанрово-языковой спецификой (16).

Авторитет глаголизма базировался во многом на древней и традиционной для большинства славянских этносов связи с кирилло-мефодиевской первоосновой славянской письменной и литературно-языковой культуры. Среди тех же глаголитов славянской Адриатики бытовала легенда о происхождении св. Кирилла (Константина) и Мефодия Солунских из Далмации, из г. Солина (античной Салоны около г. Сплита), от рода императора Диоклетиана и святого папы Кая **, что не мешало тем же глаголическим

* Любопытно, что глаголические хорватские писцы и переводчики, группировавшиеся вокруг типографии и скриптория в г. Сень, латинскими называли книги, писанные по-итальянски, а латинские книги назывались «дьячками», т. е. учеными, клерикальными. См. в загребском академическом словаре слово *djački* (5, s. 431).

** В глаголическом бревиарии попа Мавра 1460 г. значится: «В Длмации в Солине гр(а)дѣ роисто (=рождение) ст̄ Курила и б̄(ра)та ѿго Методия от рода Дѣоклицѣвна ц̄(а)ра и с̄(ве)т(а)го Кака п̄(а)пи (17, s. 133).

клирикам и их пастве, к которой относились обычно и местные феодалы, придерживаться другой легендарной версии о том, что славянскую глаголицу изобрел блаженный Иероним, знаменитый учитель и «столп западной церкви» IV в., родом из Стридона, что находился на границе Далмации и Паннонии.

Легендарная версия об изобретении глаголицы блаженным Иеронимом — достаточно древнего происхождения. Во всяком случае, в XIII в. она была известна папе Иннокентию IV, который в письме Филиппу, епископу сеньскому (г. Сень находится в Северной Далмации), в 1248 г. писал: «В Славянской стране есть особое письмо, которое духовенство страны считает доставшимся ему от блаженного Иеронима и которым пользуется в богослужениях» (*In Slavonia est littera specialis, quam illius terr[ae] clerici se habere a beate Jeronimo asserentes, eam observant in divinis officiis celebrandis*) (18, паес. XIV, 5). Век спустя Карл IV, основывая Эммаусский монастырь в Праге, в фундаментальной грамоте 1347 г. отметил, что в этом монастыре будет совершаться служба на славянском языке («из почтения и памяти славнейшего христианского исповедника блаженного Иеронима Стридонского, славного проповедника и непревзойденного толкователя и переводчика священного писания с иврейского на латинский и славянский языки») (*ob reverentiam et memoriam gloriosissimi Confessoris Beati Jeronimi Strydoniensis Doctoris egregii et translatoris interpretisque eximii sacre scripture de Ebraica in Latinam et Sclavonicam linguas*) (18, паес. XIII, 9—10). В том же Эммаусском монастыре по указанию Карла IV была освящена церковь, посвященная св. Иерониму, св. Кириллу и Мефодию и другим святым. В последующую эпоху о Иерониме как создателе глаголицы писал знаменитый гуманист Марко Марулич, а в XVI в. — Винко Прибоевич, доминаканец и дворянин с о-ва Хвар, в речи «*De origine successibusque slavorum*» («О происхождении и успехах славян») после ссылки на Марко Марулича отмечал, что «св. Иероним, рожденный в городе Стридоне, которого Птоломей называет «*Sidrona*» и который находится на границе Паннонии и Далмации, был не итальянцем, а славянином» («*Illyricam esse nationem diuimumque Hieronymum ex oppido Stridonis, quod Ptolomeus Sidronam uocat, Pannoniae Dalmatiae [. . .] confinia complectente natum non Italum, sed Slauum extitisse*») (19, s. 66), а также, что св. Иероним, «чтобы прославить свой родной язык (как об этом свидетельствует Сабелик), придумал новые буквы, которыми в наше время пользуются соседи нашего края в священных и светских делах. Он на этот новый язык (как указывают Биондо и Филипп из Бергамо) перевел и литургический обряд, который употребляется католиками и который был одобрен папой Евгением IV» («*Is enim, ut patrium idioma (Sabellico teste) illustraret, noua literarum elementa commentus est, quibus in sacris et prophanis rebus regionis accolae nostra tempestate utuntur. Sed et officium quoque diuinum, quo Catholici utuntur christiani, in id nouum idioma (ut Blondus et Philippus Bergomas refferunt) tra-*

duxit, quod Eugenius quartus Romanus Pontifex approbavit» (19, s. 86).

Мнение о происхождении глаголицы от св. Иеронима сохранилось до XIX в. включительно, как можно судить по изданному в Венеции в 1812 г. букварю П. Соларича, носящему название «Букварь, содержащий азбуку славено-иллирическую святаго Иеронима Стридонскаго». В этом пособии имеются ссылки на букварь Карамана 1753 г. и букварь, напечатанный в Венеции в 1763 г. В 1911 г. И. В. Ягич писал: «Много столетий продолжалась эта вера в Иеронима как изобретателя глаголического письма не только дома, т. е. в Далмации и Хорватии, не только в Риме, через проживавших там южных славян (например, еще в XVII столетии было это убеждение у Рафаила Леваковича), но также и на западе. В Чехию предание занесено в XIV столетии хорватскими монахами-глаголитами, которым поверил даже император Карл IV. По мнению Добровского, на западе много содействовало распространению этого мнения известное сочинение Постеля» (20, с. 52). Речь идет о французском ученом XVI в. Вильгельме Постеле (Постеллусе), авторе книги «Linguarum duodecim characteribus differentium alphabetum», изданной в 1539 г. В ней под заглавием «De lingua Hieronymiana seu Dalmatarum aut Illiriorum» подразумевалась глаголическая письменность (21, с. 15—16). В самой глаголической среде глаголица нередко называлась «иеронимовым письмом» (22, s. 34—35; 23, p. 196—198).

Легенда о письме блаженного Иеронима не только повышала авторитет глаголицы в глазах ее сторонников, но и оказывалась аргументом в пользу автохтонности славян (хорватов) в Далмации и древности их самобытной книжной и этнической культуры. Существенно, что эта легенда передавалась из века в век, от поколения к поколению вместе с глаголической письменностью и глаголическим богослужебным пением (глаголанием). Стремление видеть в автохтонах своей земли тех же славян ярко сказалось в культурно-политическом течении XVI в., возникшем в той же Далмации и известном под названием «иллиризма», которое, однако, не следует смешивать с иллиризмом XIX в. Иллиризм XVI в. был созвучен по духу и идейной направленности польскому сарматизму того же времени. При этом поляки под словом *сармат* видели древнее название славян и даже определенную этимологическую связь со словом *слава*, *славянин*, как и хорваты полагали, что слово *иллир* является древним славянским этнонимом.

1. Бромлей Ю. В. Становление феодализма в Хорватии. М., 1964.
2. Акимова О. А. Формирование хорватской раннефеодальной государственности // Раннефеодальные государства на Балканах VI—XII вв. М., 1985.
3. Novak G. Povijest Splita. Split. 1957. Knj. I.
4. Иећ П. Српски народ и његов језик. Београд, 1971.

5. *Hercigonja E.* Srednjovjekovna književnost // Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1975. Knj. II.
6. Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1960. Knj. 1.
7. *Štefanić V.* Glagoljski rukopisi otoka Krka. Zagreb, 1960.
8. *Mažuranić V.* Hrvatski pravno-povijesni izvori i naša liepa književnost // Ljetopis JAZU. Zagreb, 1912. Knj. XXVI.
9. *Bartulić J.* Iz problematike proučavanja hrvatskih pravnih spomenika kao spomenika književnosti // Slovo. 1976. 25/26.
10. *Греков Б. Д.* Полица. М., 1951.
11. *Греков Б. Д.* Винодольский статут. М., 1953.
12. Die istrische Grenzskunde // Čakavisches Lexikon. Köln; Wien, 1983. T. III. Čakavisches Texte.
13. *Vrana J.* Kulturno-historijsko značenje Povaljske ćiriljske listine iz godine 1250 // Filologija (Zagreb). 1962. Knj. 3.
14. *Malić D.* Šibenska molitva // Rasprave Instituta za jezik JAZU (Zagreb). 1973. Knj. 2.
15. *Ivšić S.* Nekoliko napomena na starohrvatski tekst «Žića sv. otaca» // Starine (Zagreb). 1939. Knj. 40.
16. *Толстой Н. И.* Регионализм и литературно-языковая ситуация в эпоху формирования хорватской национальной литературы // Славянские литературы в процессе становления и развития (от древности до середины XIX в.). М., 1987.
17. *Pantelić M.* Glagoljski brevijar popa Mavra iz godine 1460 // Slovo (Zagreb), 1965. 15/16.
18. *Jelić L.* Fontes historici liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XVIII saeculum. Veglia, 1906.
19. *Pribojević V.* O podrijetlu i zgodama Slavene. Zagreb, 1951.
20. *Ягич И. В.* Глаголическое письмо // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1911. Вып. 3: Графика у славян.
21. *Ягич И. В.* История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1910. Вып. 1.
22. *Štefanić V.* Tisuću i sto godina od moravske misije // Slovo (Zagreb). 1963. 13.
23. *Banas I.* Main Trends in the Slavic Language Question. New Haven, 1984.

ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ СЛОВЕНЦЕВ

В. К. Ронин (I), Вяч. Вс. Иванов (II)

I

История небольшого, но древнего славянского народа в самом сердце Европы полна резких контрастов, крутых переходов от раннего динамичного подъема к долгим столетиям безвестности и вновь к пробуждению и подъему. Уже к VIII в. альпийские славяне создали устойчивое княжество — начальную форму раннефеодального государства. Однако его быстрая интеграция в IX в. в состав Каролингской империи превратила предков современных словенцев в этническое меньшинство, лишенное возможностей самостоятельного развития. В крайне неблагоприятных для них как для народа условиях они смогли на протяжении более чем тысячелетия сохранить, несмотря ни на что, свою этническую идентичность. Этот «словенский феномен» побуждает обратиться к изучению судеб их этнического самосознания — решающего критерия существования этноса.

Однако вплоть до конца средневековья альпийские славяне не оставили о себе письменных свидетельств, которые прямо отражали бы самосознание тех или иных слоев их общества. В XII—XIV вв. местные латинские и немецкие памятники зачастую не позволяют выявить даже объективное этническое бытие альпийских славян, не говоря уже о его субъективном отражении в коллективной психологии народа. О сознании «этнической общности», «взаимной связи и родства» альпийских славян (например, в IX в.) не раз говорилось в работах словенских историков (ср.: 1, s. 130, 133), но лишь в самом общем виде; до сих пор сделаны только первые попытки определить это понятие более конкретно, выяснить, в частности, о *каком* самосознании может идти речь («славянском», «словенском» или «карантанском», связанном с существованием в VII—IX вв. Карантанского княжества) (ср. выступление Б. Графенауэра в дискуссии югославских историков в 1982 г. — 2). Это и неудивительно: не имея прямых свидетельств, исходящих из самой славянской среды, мы вправе судить лишь об объективных *факторах* самосознания и о его немногих косвенных *проявлениях*. Рассмотрим в первую очередь

те социальные, правовые и культурные факторы, которые были этнически значимы, могли так или иначе воздействовать на эволюцию этнического самосознания альпийских славян: ослаблять его остроту или, напротив, усиливать, напоминая славянам об их существенных отличиях от их германских и романских соседей.

Необходима еще одна оговорка. И с лингвистической, и с этнологической точки зрения едва ли можно уже в то время называть «словенцами» славян в Восточных Альпах, в приморских областях Северной Адриатики и в Подунавье к западу от Венского Леса. Сегодня в научной литературе принят более адекватный термин «альпийские славяне», хотя и он не совсем точен географически. Как справедливо указывал словенский историк права С. Вильфан, вопрос о том, «когда альпийский славянин стал словенцем», подразумевает не «резкий переход», но длительный процесс развития (3, S. 35, Anm. 1).

Можно считать доказанным, что славянская колонизация позднеримской провинции Внутренний Норик в Восточных Альпах осуществлялась двумя крупными потоками — с севера и с юго-востока, в середине и в конце VI в. Взаимоналожение миграционных потоков, в которые были вовлечены славянские племенные группы различной этноязыковой принадлежности (4, s. 105—106, 110—111, 132—133; 5, S. 185—188, 191—195), с самого начала придало этой горной стране неоднородный этноязыковой облик. Эту этническую пестроту во многом усиливали оставшиеся здесь разобщенные группы романизированного кельто-иллирийского населения, тесно соприкасавшегося с преобладающей массой славян (6; 7, S. 75—77).

Остатки позднеантичных центров могли сыграть определенную организующую роль: в окрестностях разрушенного Виринума сложилось в VII в. политическое ядро сильного княжества. Отсюда, из «*civitas Carantana*» (Карнбург близ Клагенфурта в Каринтии), местный князь распространил свою власть на территорию к северу от Караванкского хребта, между верховьями Дравы, Средним Энсом и Средней Мурой (8, s. 347—359). Объединение ряда мелких племенных княжеств эпохи колонизации способствовало формированию здесь надплеменной территориально-этнической общности, которую иностранные авторы воспринимали в это время как особое «племя славян», тесно связанное с конкретной местностью: по сообщению Павла Диакона, в 663 г. герцог Фриульский бежал «*ad Sclavorum gentem in Carnuntum. . .*» (9, V, 22, p. 194). В течение VII—VIII вв. эта общность заметно консолидировалась, на что указывают и формирование здесь своеобразной материальной культуры («карантанская» археологическая культура) (10, S. 316—319, 326), и, как предполагается, складывание уже к 800 г. развитого наддиалектального «культурного языка» (11), и, наконец, появление в западных памятниках наряду с «родовым» понятием «славяне» также понятия «видового»: «карантанцы», «славяне, которые зовутся карантанцами» (*Caron-*

tani; Carentani; Carantani; Sclavi qui dicuntur Quarantani — 12; 13; 14, a. 819, 820, 826, p. 151, 153, 169; 15, 3, S. 40).

Появление устойчивого этнонима, генетически связанного с названием политического центра княжества, — решающий показатель качественных изменений и в этнической психологии предков словенцев. Достижение ими новой, более высокой стадии консолидации, непосредственно предшествующей становлению раннефеодальной народности, не могло не отразиться на их самосознании. Основу формировавшегося «карантанского» самосознания составляло, по-видимому, чувство совместной принадлежности к единому централизованному территориально-политическому организму — Карантанскому княжеству.

О значении других компонентов самосознания мы можем судить лишь предположительно. Симбиоз альпийских славян с оставшимся христианским населением бывшей римской провинции должен был сказываться и на самосознании карантанцев, препятствуя жесткому размежеванию по конфессиональному признаку. Языческий «культовый патриотизм» не достиг здесь той остроты и устойчивости, какие были характерны, например, для славянских племен в Полабье. Кроме того, возникшая из смешения различных племенных групп, карантанская протонародность не могла уже с самого начала основываться на единстве диалектно-языковой и культурной традиции: такое единство предстояло еще создать.

Доминантой этнического самосознания карантанцев было, таким образом, единство политическое, носителем которого стала к середине VIII в. княжеская династия. Даже длительное пребывание членов правящего рода на чужбине не умаляло их законных прав в сознании карантанского общества: после смерти князя Борути на престол призвали сначала его сына, а затем племянника, увезенных за несколько лет до этого в качестве заложников в Баварию (15, 4, S. 42). Бесспорно, что приверженность «своей» династии также объединяла карантанцев и была одним из компонентов их самосознания.

Еще в эпоху утверждения в Карантании княжеского единовластия здесь возникла особая церемония возведения на престол нового правителя. Носителями обряда были косезы: очевидно, речь шла о близком к князю привилегированном слое «крестьян-воинов» (16, s. 29—42, 320—383, 499—505; 17, s. 289—298). В своем дальнейшем развитии этот знаменитый обряд интронизации подробно изучен историками (см.: 16; 18—20), но как совершался он в Карантании в эпоху ее самостоятельности — неизвестно. Судя по тем элементам обряда, которые практиковались в XI—XII вв., в нем и в более ранний период выражалось сознание единства «страны», ее единой политической воли, воплощенной в ритуальных действиях косезов. Такое сознание, несомненно, было еще одним компонентом этнической психологии, который мы можем предполагать у карантанцев VIII—начала IX в.

Карантания не охватывала всей этнической территории альпийских славян в ее средневековых границах. К северу и югу от Карантании лежали области, которые после разгрома Каролингами аваров вошли в состав империи. Франкские авторы начала IX в. видели в населении этих областей особые территориально-этнические общности, четко отделяя их от карантанцев. Жители Среднего Подунавья между Энсом и Венским Лесом были известны как «славяне к востоку от Баварии» («*Carantanos. . . et Sclavos qui ab orientali parte sunt Baiogariae*») (13). Область к юго-востоку от Карантании еще с позднеримских времен именовалась «Карниола», ее население франкские анналы называли «карниольцами» (*Carniolenses*) (14, а. 820, р. 153). Очевидно, здесь существовало в VII—VIII вв. зависимое от аваров славянское этнополитическое образование и шли самостоятельные этнические процессы, о которых нам, однако, ничего не известно.

Только Карантанское княжество, оставаясь около двух веков политически самостоятельным, вступило на путь государственной централизации, и именно оно явилось той формой этнополитической консолидации альпийских славян, в которой они начали складываться как раннефеодальная народность. Ни вассальная зависимость карантанского князя от Каролингов с середины VIII в., ни христианизация страны миссионерами из Баварии и Италии не могли помешать этому процессу. В то же время сближение правящего слоя княжества с баварской и франкской аристократией, унифицирующее воздействие христианства скорее ослабляли этническое самосознание карантанской верхушки. Проявлением этого стало принятие некоторыми карантанскими князьями германских имен: Вальтунк (?), Этгар (15, 5, 10, S. 44, 50).

Введение в Карантанию в 20-х годах IX в. власти баварских графов круто повернуло исторические судьбы славянского населения Восточных Альп. Политическая самостоятельность и устойчивое территориально-политическое единство — два важнейших условия развития средневекового этноса — были утрачены. Формирование карантанской народности оказалось прервано.

В зальцбургском трактате «Обращение баваров и карантанцев» (870 или 871 г.) термины «*Quarantani*» или «*Carantani*» употребляются последовательно как этнонимы, обозначающие особый славянский народ («*Sclavi qui dicuntur Quarantani*»), живущий между Баварией и Нижней Паннонией (15, 3, S. 40). Вместе с тем эти термины все больше теряют этническое содержание, превращаясь в политонимы. Ни один из контекстов, в которых мы находим отныне эти термины (см. сводку: 21), не позволяет однозначно отнести их именно к славянам. Скорее речь идет обо всех жителях провинции, подвластных ее правителю (ср.: Гундакар «*praelatus est Carantanis*» в Фульдских анналах; Арнальд «*Bagoariorum et Carantanorum dux*» у Лиутпранда — 22; 23). Среди «наших», т. е. подданных германского короля, помещает «карантанцев» в конце X в. и Продолжатель Регинона (24). В описании одной из вотчин Фрейзингенского епископства в Крайне около

1160 г. четко различаются «Sclavi» и «Carentani» — держатели местного происхождения и те, кто переселился из Каринтии (25, s. 127—128). Традиционная импликация «карантанец» — «славянин» теряет силу.

Хороним «Carantania» также становится обозначением лишь определенной территориально-политической общности (отсюда его производные: «*provincia Carantana*»; «*regnum Carentanum*»; «*orientales partes Charanta nominatae*» — 26, № 15, 55, S. 8, 22; 27, № 3, S. 41). Если в «Обращении» под *partes Quarentanae* подразумевается именно славянская страна, часть некоей общей Sclavinia (15, 7, 8, S. 46, 48), то в грамотах конца IX в. чтобы указать на этническую специфику провинции, недостаточно было уже назвать ее просто «Карантией». Приходилось терминологически подчеркивать, что «Карантия» и есть «Склавиния» (ср.: «*in partibus Carentaniae Sclaviniaequae regionis*» — 26, № 41, S. 16). Подобно тому как термин «Carantani» при обозначении славянского населения на юго-востоке империи вытесняется этнонимом «Sclavi», славянские земли в Восточных Альпах называют теперь просто «Склавинией» (ср.: 26, № 63, S. 27; 28). «Видовые» термины уступают место «родовым»: «Sclavi». «Windische», «Sclavinia».

Мы вправе видеть за этими терминологическими изменениями существенные сдвиги в этнической психологии местного населения. Государственная граница империи, а с X в. и расселение венгров во многом отделили его от его славянских соседей. Находясь под иноэтнической властью, бывшие подданные карантанских князей выступали теперь для составителей грамот и, очевидно, для самих себя просто как «славяне». Представление о себе как о «карантанцах» — особом славянском народе — все больше ослабевало. В условиях интенсивного межэтнического общения более значимой становилась оппозиция «немцы / итальянцы» — «славяне». К тому же административные реформы на юго-востоке империи в IX в. (29, s. 69, 77, 82—87, 107—108) изменили здесь сложившиеся ранее территориально-политические реальности. Если в начале IX в. наряду с «карантанцами» выделяли также «славян к востоку от Баварии» и «карниольцев», то уже во второй половине столетия, как видно из «Обращения...», понятия «Карантия», «карантанцы» начинают охватывать более широкий ареал альпийских славян между Баварией и Нижней Паннонией, а в 70—80-х годах распространяются, видимо, и на паннонских славян (30). Территориально-политические основы особого «карантанского» самосознания части местных славян оказались как бы размыты. Сложившееся в конкретных рамках самостоятельного централизованного княжества, «карантанское» самосознание постепенно затухало. Оставалось лишь самосознание «славянское».

Территориально-политические компоненты, необходимые для складывания устойчивого самосознания любого этноса, в нем отсутствовали. Частые изменения административной структуры и границ Карантии в IX—XI вв. препятствовали возникновению

здесь какой-либо стабильной формы «провинциального» самосознания, в которой продолжало бы развиваться особое народностное самосознание альпийских славян. Предпосылки для подобной этнопсихологической эволюции были: Раффельштеттенский таможенный устав начала X в. знает такое понятие, как «славяне этой страны», подразумевая все славянское население пограничных областей на юго-востоке Германии (31). Наделенные теми же торговыми привилегиями, что и бавары, «*Scravi istius patrie*» противопоставлены здесь чехам и другим «внешним» славянским народам, таких привилегий не имевшим. В дальнейшем, однако, это понятие не встречается: представление о себе как о единой общности «славян этой страны» едва ли могло укорениться в среде местного населения в эпоху политической раздробленности. Между тем без осознания себя единой особой группой славянства альпийско-славянский этнос, оказавшийся одним из меньшинств в империи, не мог уже формироваться как феодальная народность.

Представлениям об исторической целостности Карантании было тем труднее удержаться в сознании местного населения, что этому противоречило и церковно-политическое положение провинции. Еще с 811 г. земли к северу от Дравы подлежали юрисдикции Зальцбургского архиепископства, земли к югу — Аквилейского патриархата (26, № 1, S. 1). С середины X в. восточноальпийские области непосредственно подчинялись двум церковным центрам, расположенным вне славянского ареала. Поэтому и церковная организация не могла быть фактором единства, сохранения традиций карантанской этнической общности.

В XI—начале XII в. герцогство Великая Карантания распалось на небольшие территориально-политические образования — имперские «земли»: Каринтию, Штирию, Крайнюю марку, позднее также Горицу. Сами термины «*Carantani*», «*Carantania*» употребляются все реже: с конца XII в. компиляторы, заимствуя у раннесредневековых авторов сведения об исторической Карантании, превращают ее в «Каринтию» (32; 33). Выделение «земель» обособило отдельные группы альпийских славян, включив каждую из них в самостоятельную феодально-государственную структуру. Это также привело к неизбежным сдвигам в этнической психологии: сознание былого единства карантанского народа было вытеснено быстро утвердившимся в XII—XIII вв. самосознанием «земельным» («каринтийским», «штирийским» и т. д.) (34, S. 38—39).

Особенно неблагоприятной для этнического развития будущих словенцев оказалась социальная структура восточноальпийского региона. Речь идет о судьбах местной славянской знати. Начало франко-баварской вотчинной колонизации восточноальпийских областей повлекло за собой серьезные этнические «передвижки» внутри правящего слоя (см.: 35). В IX—X вв. славянские магнаты были только частью господствующего класса Карантании, и это имело важные последствия для их самосознания. Наиболее чутким индикатором этнопсихологических сдвигов выступает антро-

понимая (связь этнического самосознания славян в Германской империи с их антропонимией мы рассмотрим подробнее в отдельной работе. См. также: 36). Среди славянской верхушки Карантании заимствование иноязычных имен стало в IX—X вв. устойчивой тенденцией. Статистический анализ актовых данных, хотя и весьма неполных, показывает: количество славянских имен в среде знати (князь, граф, «вассал», рыцарь, фогт, «честный муж», «знатный муж», «господин», «госпожа») изменялось от 9 в IX в. до 5 в X в. и до 2 в XI в. Для «среднего слоя» — нетитулованных свободных собственников — эта динамика составляет 20 : 15 : 18, а для зависимых людей — 20 : 33 : 27. Таким образом, только у социальной элиты можно заметить последовательную тенденцию к отказу от славянских имен в пользу более престижных для знати христианских или германских.

Политическое, идеологическое, а затем и социально-экономическое сближение карантанской аристократии с франкскими и баварскими феодалами в IX—X вв. уже выводило ее как бы за пределы этнопсихологических традиций ее соплеменников. Смешанные браки были в среде знати обычным явлением, но еще в XII в. аристократы со славянскими именами брали в жены единоплеменниц (ср.: «происходящий из знатного рода Трдислав со своей женой Славой» в штирийской грамоте 1180 г. — 37, № 690, S. 675), что свидетельствует о сохранении в этих семьях славянского этнического самосознания. Вместе с тем уже в XI—XII вв. лица со славянскими именами и прозвищами встречаются в высших слоях общества скорее как исключение, а для XIII—XIV вв. известны лишь редчайшие примеры. Иногда память о славянском происхождении тех или иных магнатов оставалась и после того, как они принимали германские имена. Так, среди виндишгредской верхушки (Штирия) назван в 1218 г. некий «Sifridus Sclauus», а среди аквилейской и толминской знати в 1244 г. — «Leonardus Sclafo» (26, № 1770, 2285, S. 99, 313). В начале XIV в. видным землевладельцем в Каринтии был «Ot[to] Windischman» (38, N 42, S. 15; 39, N 447, S. 134): прозвище «славянин» выступает здесь уже как фамилия. По самосознанию, языку и культуре господствующий класс был уже германским, отчасти романским. Славянское население лишилось, таким образом, ведущего социального слоя, наиболее способного удержать и закрепить исторические традиции некогда единой карантанской и вообще славянской общности.

Между тем в XI—XII вв., с началом интенсивной колонизации восточноальпийских областей немецкими крестьянами (40; 41), перспектива ассимиляции стала реальной и для славян-кметов. Уже к XV в. территория, занятая альпийскими славянами, сократилась на 2/3. Жившие бок о бок с немецкими колонистами, глубоко интегрированные в иноэтническую структуру сеньориальных отношений, государственной и церковной власти, расколотые границами имперских княжеств и феодальных владений, славянское крестьянство и отчасти горожане могли вскоре утратить не

только «карантанское», но и вообще славянское самосознание, как это и произошло на исходе средневековья в Восточном Тироле, Верхней Штирии, Верхней Каринтии.

Рассмотрев ряд обстоятельств, неблагоприятных для этнического развития альпийских славян, обратимся к факторам, поддерживавшим в них «славянское» самосознание и заставлявшим помнить о том, что выделяло их как славян среди окружавших их этнических групп.

В течение нескольких столетий после включения старой Карантании и прилегающих к ней областей в Каролингскую империю славянское население сохраняло многие элементы своей юридической традиции (42; 43; 3, S. 34, 83, 237). В каринтийских грамотах 1002—1018 гг. в списках свидетелей выделены «*Sclauenic institutionis testes*» и «*testes Sclauigenę*» (26, N 205, S. 87) — свободные люди, публично заявившие о своей принадлежности к «славянскому закону». Для жителей средневековой Германской империи подобное *professio iuris* было ключевым моментом осознания ими своей этнической идентичности. Хотя, как показывают «Рансхофенские конституции» конца X в., многие элементы баварской юридической традиции считались уже в то время обязательными и для славянского населения («славяне также пусть подчиняются. . . или будут изгнаны» — 44), нормы «*institutio Sclauenica*» продолжали, очевидно, играть важную роль в правовом регулировании жизни альпийских славян: так, в Горице славянские правовые обычаи сохранялись, возможно, еще в XIV в. (45, S. 61). Лишь завершение феодализации восточноальпийских областей, резкое сокращение свободного славянского населения, массовый приток немецких колонистов подорвали позиции «славянского закона», существовавшего только в устной традиции. Новое, феодально-вотчинное право устраняло социальные и юридические различия между этническими группами зависимого крестьянства.

До середины XI в. юридическая специфика славянского населения проявлялась и в длительном сохранении такого местного института, как «десятина по славянскому обычаю» («*decima secundum consuetudinem Sclavorum*») (46, št. 117, s. 80). Со времени принятия христианства только славяне платили десятину в точно установленном размере, не зависевшем от величины урожая, что могло быть связано как с особенностями экономической структуры славянской Карантании, так и в еще большей мере с желанием миссионеров облегчить христианизацию. Более двух столетий зальцбургская кафедра позволяла славянской пастве сознавать свое особое положение среди этнических групп, пока в 60-х или 70-х годах XI в. архиепископ Гебхард не «принудил племя славян давать десятины законные», т. е. предусмотренные каноническим правом (47; ср.: 3, S. 76).

Острее всего проблема самосознания славянского населения должна была стоять, разумеется, в зоне наиболее интенсивных немецко-славянских контактов. В Каринтии, вобравшей в себя ядро старой Карантании, решающие факторы сохранения «сла-

вянского» самосознания действовали в сфере публичного права. Именно в представлениях об особых правах местных герцогов и в обряде, эти права утверждающем, воплотилась историческая традиция славянской Карантании.

Говоря об обряде интронизации герцогов Каринтии, остановимся лишь на тех его аспектах, которые могли быть особенно значимы для этнической психологии славянского населения. В Карантании, ставшей уже имперской провинцией, а затем в Каринтии веками повторялась, хотя и в менявшихся формах, особая церемония возведения на престол нового правителя — как символ политического единства герцогства. С установлением же в IX в. франко-баварской власти статус косезов в обществе постепенно понизился, и в XI—XIV вв. они представляли собой прослойку мелких свободных собственников, подчиненных непосредственно герцогу и обладавших помимо некоторых судебных привилегий также уникальным, хотя и все более формальным, наследственным правом «принимать» и утверждать от имени «страны» ее нового властителя.

Косезы избирали «лучших» и «мудрейших» из своей среды. Наиболее уважаемый среди избранных (позднее — свободный крестьянин, в семье которого это право переходило по наследству) руководил церемонией. Сидя на камне на Госпосветском поле (Цолльфельд) к северу от нынешнего Клагенфурта, он ожидал, когда будущий правитель, получив герцогство в лен от императора, явится в крестьянской одежде на поле. Тогда он задавал сидевшим вокруг него косезам-соприсяжникам (по одной из более поздних версий — свите самого герцога) ритуальные вопросы «на славянском языке» о качествах будущего властителя. Косезы (или, по другой версии, окружение герцога), очевидно, также «на славянском наречии» отвечали, одобряя нового правителя. Далее они сажали его на лошадь и трижды обводили вокруг камня, причем все, участники и зрители, «мужчины и женщины», восхваляли бога в ритуальных «славянских гимнах». Затем крестьянин на камне уступал место герцогу.

Во вставном фрагменте в двух рукописях «Швабского зеркала» (архетип вставки восходит к XI или началу XII в. — текст вставки по обоим рукописям и реконструкцию архетипа см.: 16, s. 78—82, 172—174), в «Австрийской рифмованной хронике» Оттокара Штирийского (начало XIV в.) (48, 19979—20126, s. 265—266) и в «Книге достоверных историй» каринтийского аббата Йоханна Виктрингского (40-е годы XIV в.) (49, II, 7, p. 291—292; VI, 13, p. 251) описания обряда более подробны. Но уже из общей схемы обряда видно, как много было в нем элементов, прямо указывающих на породившую его славянскую среду. Торжественный обряд интронизации должен был производить на славян Каринтии большое впечатление: это *их* соплеменники от имени *их* страны на *их* языке творили рожденное еще *их* предками ритуальное действо. Понимание такой связи обряда с самосознанием славянской среды видно, как нам кажется, и

в словах интерполятора «Швабского зеркала»: во время церемонии все собравшиеся пели «свои славянские гимны» (*igen windischen lassen*) (16, s. 80—81, 173). В этих «гимнах» (вероятно, славянских переводах литургических «кирие элейсон» — ср.: 50) они восхваляли бога за то, что он «дал им и стране господина по их воле» (16, s. 81, 173). Этнопсихологическое значение обряда косвенно подтверждает и замечание Йоханна Виктрингского: при интронизации Отто Габсбурга в 1335 г. «народ радовался, видя, что правила его страны соблюдены» (49, VI, 3, p. 195).

В глазах немецкой знати обряд был одной из привилегий каринтийского герцога, обусловленных этнической спецификой управляемой им территории. Источником этой привилегии считалась сама традиция существовавшего там прежде славянского княжества, «обычай страны» (*des landes gewonhait; mos terre* — 16, s. 80, 172; 49, VI, 6, 13, p. 160, 251). Даже в начале XIV в., когда удельный вес славянского населения в Каринтии уже заметно падал, современники продолжали называть ее герцога «славянским государем» (*«der windische herre»*) (48, 19910, S. 264). Отсюда же вытекали и другие, дарованные уже императором привилегии:

1. Право каринтийского герцога носить при дворе императора ту же крестьянскую одежду и «серую славянскую шапку» (*«ainen grawen windischen huot»*), в которых он был возведен на престол (16, s. 80, 173; 48, 20136—20145, S. 267);

2. Право отвечать в императорской курии на жалобу, с которой мог обратиться на него кто-либо из его подданных, «не иначе как на славянском языке» (*«daz er dem niht antwurten sol/wan in windischer sprâch»*) (48, 20146—20152, S. 267; 49, VI, 7, p. 292; 51).

Славянский язык, точнее местный словенский диалект (4, s. 110—111), вообще играл большую роль в политическом и правовом ритуале герцогства, будучи своего рода государственным символом, выделявшим Каринтию среди имперских княжеств. Когда в 1227 г. рыцарь-миннезингер Ульрих фон Лихтенштейн путешествовал в женском платье под именем «королевы Венеры», то на границе Каринтии герцог и его свита приветствовали его словами: «Бог вас прими, королева Венера», — сказанными по-славянски и потому хорошо ему запомнившимися (*Ir gruoz was gegen mir alsus/«Buge waz primi gralva Venus»* — 52, № 1927, S. 161—162). «Славянское наречие» было, как уже говорилось, и официальным языком обряда интронизации: по словам Оттокара, крестьянин, «испытывавший» герцога, был даже обязан «пользоваться славянской речью» (48, 20059, S. 265). Такое косвенное «признание» местного старословенского диалекта немецкими феодальными властями было возможно лишь в условиях, когда он занимал еще видное и прочное место в повседневной жизни (53, S. 255—261).

Еще важнее было другое. По крайней мере до XII в. крестьянин, «испытывавший» герцога, «судья страны» (*«richter des landes»*), был наделен правами апелляционной инстанции для местного свободного славянского населения (16, s. 210—217; 3, S. 95,

Апп. 43). Как гласит вставной фрагмент «Швабского зеркала», только «славянин» («ain windischer man») мог, «если пожелает», обращаться с претензиями к герцогу перед «судьей страны», и притом на своем родном языке («mit windischer zungen»). Впрочем, в судебно-правовом ритуале Каринтии «славянский язык» становился предметом своеобразной «игры». Имея право отвечать на иск в императорской курии «на славянском языке», герцог в то же время был юридически правомочен отклонить жалобу перед «судьей страны», возразив истцу-славянину ритуальной фразой: «Я не знаю, добрый друг, что ты хочешь сказать, я не понимаю твоего языка» («. . ich verstoun diner sprach nitt») (16, s. 81—82, 173—174).

Можно только предполагать, как влияли эти особенности герцогского права в Каринтии на самосознание ее славянского населения. В любом случае правовые обычаи, язык и народная культура («гимны») альпийских славян составляли основу их чувства «мы», осознавались ими как нечто, отличавшее их как славян от их соседей.

Об устойчивости этнического самосознания альпийских славян можно до некоторой степени судить по тому, как долго удавалось им сохранять свою этническую идентичность в преобладающем иноплеменном окружении. Достаточно вспомнить многовековую историю славянских поселений во Фриуле: многие деревни здесь обозначаются в XI—XIII вв. как «villa Sclavorum», «Sclavons», «Sclavoneschis», «Schiavoi», «Sanctus Vitus de Sclabonibus» (см. сводку: 54; 55). Подтверждают это и топонимы на «Winden-», «Windisch-» в уже германизированных областях Штирии, Верхней и Нижней Австрии и Восточного Тироля в XII—XIV вв. (см.: 56, s. 186; 5, S. 88, 197—198).

Но, очевидно, особенно остро сознавали свою «племенную» принадлежность отдельные славяне, оказавшиеся глубоко в иноэтнической среде: например, славяне на территории Верхней Австрии в конце IX—XII вв. При упоминании их в грамотах, как правило, подчеркивалось их славянское происхождение (ср.: «Sclauus nomine Wenco»; «Liubozta Sclava» и ее муж «Laztey Sclavus» — 28, št. 505, s. 394; 57), даже если они уже носили германские имена (ср.: «duo Sclaui Wartmann et Saxo» — 28, št. 287, s. 215). В каринтийской грамоте 1321 г. среди зависимых держателей различаются два Генриха: «der windisch» и «der teutsch» (38, № 600, S. 176). В XIII—XV вв. во Фриуле десятки крестьян и мелких вотчинников имели прозвища «Sclauus», «Sclaf», «Schiavo» (58, s. 101—102). В городах Фриуля славяне даже проявляли склонность к организации на этнической основе: в 1452 г. в Удине было официально учреждено особое «славянское братство св. Иеронима», восходящее, возможно, еще к XIII в. (59; 60).

Этнопсихологическую ситуацию отражает также выбор личных имен. Правда, в грамотах 1002—1018 гг. из 22 свидетелей, живших по славянскому праву, лишь трое еще носят славянские имена (26, № 205, S. 87). С другой стороны, славянские имена встреча-

ются в XI—XII вв. и у свидетелей, вызванных в соответствии с баварской юридической традицией (27, № 36, 74, S. 82, 106). Преувеличивать значение антропонимии как индикатора этнического самосознания, таким образом, не следует. И все же в грамотах и урбариях обращает на себя внимание, что рядом с христианским именем нередко приводится второе, славянское (ср. в XIV—XV вв.: «Jans mit czûnam Maligou»; «Jans Terdugou»; «Kristan Blagonam» — 38, № 415, S. 125; 61, S. 134; 25, s. 238). При этом славянское имя было, по-видимому, более употребительным (ср.: «Juri Mladuan» и его сын «Ruprecht filius Mladuan»; «Jan-nes Yessenko» и его дочь «Margaretha filia Yessenko» — 25, s. 297).

Во многих случаях славянские имена соседствуют в одной и той же семье, в одном поколении с именами христианскими и германскими (ср.: 27, № 164, S. 147; 58, s. 138). Наиболее типична ситуация, при которой отец носит славянское имя, а его дети уже «выходят» из антропонимической традиции своего народа. Тем интереснее для нас проявления тенденции противоположной, когда в одной семье после германского имени вновь появляется в следующем поколении имя славянское. Например, в Крайне в конце XI в. «свободный муж» Адальфрит имел сыновей Ивана и Преслава (ср. тогда же в Каринтии: вольноотпущенник Ацили и его дети Преслав и Станагой; в Горице XIV в.: Братогой, сын Альберта, и Цветко, сын Бернарда и Энгелюссы) (46, št. 306, 379, s. 185, 220; 62). Как нам представляется, в этих семьях мы можем с большой долей вероятности констатировать устойчивое славянское самосознание.

Городское население в восточноальпийских землях было по социокультурному облику близко к немецкой городской среде других областей империи. За границей местных горожан-купцов воспринимали как немцев: в гостиничных книгах итальянских городов XIV—XV вв. к их именам всюду прибавлены прозвища «Teutonicus», «Teotnico» (63, s. 91), а в начале XV в. в Венеции все торговцы из Любляны были приравнены по своим правам к «другим немцам» («alii Teothonicî») (64). На Балкавах также утвердилось представление о выходцах из альпийских городов как о неславянах: когда в XV в. нотарий из Любляны, переехав в Дубровник, заявил о том, что понимает местную речь, городские власти, не поверив, устроили ему экзамен («сказанные ему несколько славянских слов. . . он достаточно хорошо понял») (65, s. 173).

В действительности же городское население на юго-востоке империи было, как правило, этнически смешанным. В числе горожан-купцов, приезжавших в Италию, были и такие беспорные славяне, как «Janez Krstnik», «Ladislav Swetkowitz» из Птуя (63, s. 98, 102). Самосознание их, несмотря на высокий уровень германизации городов, вполне могло быть славянским, как об этом говорит пример горожан-эмигрантов. Особенно четко должны были сознавать свою этническую принадлежность те, кого в Ма-

риборе и Птуе называли «Windischgassnern» — обитатели «славянской улицы» (66, S. 9, 15).

Между тем иностранные писатели XII—XV вв., перечисляя славянские народы, по-прежнему называют в их числе «карантанцев» или «каринтийцев», подразумевая при этом все славянское население Восточных Альп. «А се ти же словени: хрвате белии и серебь и хорутане», — сообщает русский летописец (67). В конце XII в. Гельмольд упоминает среди «Slavorum nationes» также «каринтийцев» (68, I, 1, p. 5—7). Среди славянских народов, которые «все друг друга понимают и схожи между собой во многом», помещает «каринтийцев» и Бартоломей Английский (около 1240 г.) (69). О том, что средневековые хронисты продолжали сознавать историческую связь альпийских областей со славянским миром, свидетельствует, кроме того, легендарное известие Винченга Кадлубка: древний польский князь Крак прибыл как раз из «Каринтии» (70). Даже в XV в., когда больше половины населения герцогства составляли немцы, Энеа Сильвио Пикколомини, объясняя, почему при интронизации герцога здесь пользуются «славянской речью», замечает: «Ведь и сами каринтийцы славяне» (71).

С объединением Каринтии, Штирии и большей части Крайны в 30-х годах XIV в. под властью Габсбургов значение славянских «реликвий» в политической и правовой жизни заметно упало. «Старое право» Каринтии, включавшее в себя элементы славянской юридической традиции, но к началу XIV в. уже во многом забытое и отмиравшее, было заменено или дополнено «новыми установлениями», заимствованными из судебно-правовой системы германизированной Штирии (49, VI, 8, p. 213). С самого начала Габсбурги не скрывали своей неприязни к «крестьянскому» обряду интронизации герцога, хотя и вынуждены были некоторое время считаться с «обычаем страны». После 1414 г. эта церемония с ее славянской символикой уже не возобновлялась.

Однако память об исторической связи герцогства со славянской Карантаньей была жива. Борьба сословий за территориально-политическое единство Каринтии и сохранение ее привилегированного положения в империи способствовала развитию в среде немецкой каринтийской знати своеобразного идеологического мотива, ясно прозвучавшего уже в конце XV в. в «Каринтийской хронике» Я. Унреста: Каринтии подобает статус «эрцгерцогства», ибо она, в сущности, «славянская земля» и ее происхождение от славянского княжества является в течение столетий источником ее особых «вольностей и прав» (72; ср.: 73, S. 152—160; 74).

Рассмотренные выше некоторые косвенные признаки убеждают, что к XV в. славянское население в Восточных Альпах продолжало сознавать себя особым этносом, отличным и от немцев, и от романцев. Вместе с тем представление о себе как о едином особом народе, начавшее складываться здесь в VIII—IX вв. («карантанское» самосознание), вскоре утратило и территориально-политические основы, и социальную опору, уступив место самосозна-

нию «земельному». Лишь позднее, в эпоху Реформации и великих крестьянских восстаний, обыденное «славянское» самосознание части местного населения, соединившись с сохранившейся в среде господствующих слоев общества памятью о славянском прошлом юго-восточных габсбургских земель, могло явиться отправной точкой длительного процесса формирования словенского народного, а затем национального самосознания.

II

Протословенский язык обнаруживает тесные диалектные связи с протословацкой западнославянской группой. В исследованиях недавнего времени подтверждено, что уже к концу VII в. и последующим столетиям можно отнести наиболее ранние следы контактов тех групп славян, которые заселили восточноальпийские области, с романцами — следы контактов, отраженные в ранних заимствованиях (75). К концу IX в. осуществляется ряд фонетических процессов, приводящих к исчезновению архаических открытых слогов и к началу падения редуцированных, деназализации носовых гласных и развитию новой системы словенского консонантизма, позволяющей с надежностью говорить об обособлении древнесловенского языка (76) (название для этой эпохи условно).

Этот этап развития — IX или X вв. — отражен во Фрейзингских фрагментах. Они представляют собой тексты, в языковом отношении достаточно неоднородные. Их можно считать одновременно и наиболее ранним памятником древнесловенского языка, и своеобразными текстами панноно-словенского варианта старославянского языка в его весьма архаической форме, близкой к великоморавскому периоду. Для первого и третьего из отрывков достоверно предположено наличие древневерхненемецких оригиналов, тогда как второй (в литературном отношении наиболее интересный) ориентирован на латинский образец («*Adhortatio ad roenitentiam*»), причем в славянском тексте находят и возможные протословенские, и протохорватские черты (обзор высказанных точек зрения см.: 77, S. 55, Anm. 3). Третий отрывок представляет собой архаическую исповедальную форму и молитву, позволяющую предположить, что древнесловенский язык очень рано начал использоваться в качестве вспомогательного языка при литургии. Текст написан латинским письмом, преобразование которого в нормализованную запись древнесловенской речи должно было осуществляться по некоторым правилам. Границы слов в письменном тексте соответствуют акцентуационным единицам, внутри которых могут соединяться два и более слов — энклитических и проклитических. Фонетические особенности передачи аффрикат и некоторых других специфически словенских фонем исключают передачу собственно старославянских форм и скорее говорят в пользу записи именно характерных звуковых единиц древнесловенской речи. Такие фонетические особенности, видимо, до-

статочно хорошо переданные с помощью латинской графики (не имевшей тех фиксированных звуковых значений, которые уже были у глаголических букв), во многом превосходят тенденции живого современного произношения. Текст (как и многие позднейшие собственно словенские) поражает сочетанием архаизмов и далеко зашедших нововведений, в чем можно видеть едва ли не самую характерную черту словенского языка вплоть до настоящего времени (78).

По имеющимся данным можно думать, что уже в IX в. сформировались основные диалекты словенского языка (на что указывают и сравнительная диалектология, и анализ передачи имен собственных). В X—XII вв. формируются и отдельные говоры внутри диалектов. В XIII—XIV вв. говоры Приморья и Карста оказывают влияние на наречие Внутренней Крайны. Позднейшие перемещения, связанные с началом османского завоевания, ведут к смещению границ отдельных диалектов.

Перерыв в словенской письменной традиции (а возможно, и в устной литургической, на которой была основана письменная), уже сложившейся к IX в., представляет собой особое явление. Очевидно, оно свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулось оформление словенского языка и связанного с ним этноса. Однако проследить детали этого процесса нельзя именно из-за отсутствия письменных текстов.

1. *Grafenauer B.* Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja // *Kronika*. 1968. Let. 16. S. 129—136.
2. *Celjani v Slovenskem in srednjeevropskem prostoru* // *ZČ*. 1983. Let. 37. S. 111.
3. *Vilfan S.* Rechtsgeschichte der Slowenen. Graz, 1968.
4. *Bezljaj F.* Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.
5. *Kronsteiner O.* Die alpenlawischen Personennamen. Wien, 1975.
6. *Grafenauer B.* Die Kontinuitätsfragen in der Geschichte des altkarantanschen Raumes // *Alpes Orientales*. Ljubljana, 1969. V. S. 65—70.
7. *Kahl H.-D.* Zwischen Aquileia und Salzburg // *Die Völker an der mittleren und unteren Donau im 5. und 6. Jahrhundert*. Wien, 1980. S. 33—81.
8. *Grafenauer B.* Zgodovina slovenskega naroda / 3. izd. Ljubljana, 1978. Zv. I.
9. *Pauli historia Langobardorum*. Hannoverae, 1878.
10. *Korošec P.* Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov. Ljubljana, 1979. Zv. I.
11. *Prunč E.* Nekateri problemi koroškega slovenskega slovstva do 1848. I. // *Koroški kulturni dnevi*. Maribor, 1973. I. S. 100—116.
12. *Cosmographia Anonymi Ravennatis*, IV, 37 // *Itineraria Romana*. Leipzig, 1940. Bd. II. S. 75.
13. *Ordinatio imperii*, a. 817, 2 // *MGH LL*, 1883. Sectio II. Capitularia regum Francorum. T. 1. N 136. P. 271.
14. *Annales regni Francorum*. Hannoverae, 1895.
15. *Conversio Bagoariorum et Carantanorum* // *Wolfram H.* *Conversio Bagoariorum et Carantanorum*. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantänien und Pannonien. Wien; Köln; Graz, 1979. S. 34—58.
16. *Grafenauer B.* Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev. Ljubljana, 1952.
17. *Vilfan S.* Kmečko prebivalstvo po osebnem položaju // *Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev*. Ljubljana, 1980. Zv. II. S. 279—353.

18. *Grafenauer B.* Deset let proučevanja ustoličevanja koroških vojvod, kose-zov in države karantanskih Slovencev // ZČ. 1962. Let. 16. S. 177—188.
19. *Moro G.* Zur Zeitstellung und Bedeutung des Kärntner Herzogsstuhles // Mundart und Geschichte. Wien, 1967. S. 95—110.
20. *Grafenauer B.* Ustoličevanje koroških vojvod in vojvodski prestol // ZČ. 1970. Let. 24. S. 112—122.
21. *Kuhar A.* Slovene Medieval History. Selected Studies. N. Y.; Wash., 1962. P. 6—11.
22. *Annales Fuldenses.* Hannoverae, 1891.
23. *Liutprandi Antapodoseos*, III, 48 // MGH SS. 1839. T. III. P. 31.
24. *Continuatio Reginonis*, a. 943 // MGH SS. 1826. T. I. P. 619.
25. *Urbarji Freisinške škofije.* Ljubljana, 1963.
26. MHDC. 1904. Bd. III.
27. MHDC. 1896. Bd. I.
28. *Kos F.* Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Ljubljana, 1906. Knj. 2. Št. 306. S. 233.
29. *Grafenauer B.* Zgodovina slovenskega naroda / 2. izd. Ljubljana, 1965. Zv. II.
30. *Grafenauer B.* Pomen Karantanije v oblikovanju zgodnjerednjeveške skupnosti alpskih in panonskih Slovanov in v njihovem kulturnem življenju 9. in 10. stol. // Koroški kulturni dnevi. I. S. 5—13.
31. *Inquisitio de theloneis Raffelstettensis*, 4, 6 // MGH LL. 1897. Sectio II. T. 2. P. 251.
32. *Auctarium Garstense*, a. 655 // MGH SS. 1851. T. IX. P. 563.
33. *Annales S. Rudberti Salisburgensis*, a. 772, 861 // Ibid. P. 769—770.
34. *Grafenauer B.* Die ethnische Gliederung und geistliche Rolle der westlichen Südslawen im Mittelalter. Ljubljana, 1966.
35. *Mitterauer M.* Slawischer und bayrischer Adel am Ausgang der Karolingerzeit // Carinthia I. 1960. Jg. 150. S. 720—726.
36. *Ронин В. К.* Самосознание карantanской и ободритской знати (опыт сравнительной характеристики) // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988. С. 103—104, 107—108.
37. *Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark.* Graz, 1875. Bd. I.
38. MHDC. 1963. Bd. VIII.
39. MHDC. 1963. Bd. IX.
40. *Kos M.* Kolonizacija in populacija // Gospodarska in družbena zgodovina. Ljubljana, 1970. Zv. I. S. 64—88.
41. *Vilfan S.* Die deutsche Kolonisation nordöstlich der oberen Adria und ihre sozialgeschichtliche Grundlagen // Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte. Sigmaringen, 1975. S. 567—604.
42. *Riedler A.* Die rechtliche Stellung der Slowenen im deutschen Reich des Mittelalters // Carinthia I. 1934. Jg. 124, S. 86—98.
43. *Mal J.* Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen. Ljubljana, 1939. S. 99—109.
44. *Constitutiones Heinrici ducis Ranshofenses*, 7 // MGH LL. 1963. T. III. P. 485.
45. *Hoke R.* Die rechtliche Stellung der national gemischten Bevölkerung am Nordrand der Adria im mittelalterlichen deutschen Reich // ZRG GA. 1969. Jg. 86. S. 41—74.
46. *Kos F.* Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Ljubljana, 1911. Knj. 3.
47. *Vita Gebhardi archiepiscopi Salisburgensis auctore monacho Admuntensi* // MGH SS, 1854. T. XI. P. 25.
48. *Ottokars Österreichische Reimchronik* // MGH Deutsche Chroniken. Hannover, 1890. Bd. V/1.
49. *Iohannis abbas Victorienensis Liber certarum historiarum.* Hannoverae, 1909. T. 1—2.
50. *Grafenauer I.* Najstarejši slovenski «kirielejsoni» // Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. 1942. Let. 23. S. 63—73.

51. Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften // MGH Deutsche Chroniken. Hannover, 1909. Bd. VI. S. 140.
52. MHDC. 1906. Bd. IV.
53. *Hugelmann K. G.* Die Rechtsstellung der Slowenen in Kärnten im deutschen Mittelalter // Abhandlungen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte: Festschr. Adolf Zycha. Weimar, 1941. S. 233—264.
54. *Kos M.* Beneška Slovenija — zgodovinsko ime // Trinkov zbornik. Trst, 1946. S. 93—97.
55. *Menis G. C.* Storia del Friuli. Udine, 1976. P. 131, 185.
56. *Kos M.* K slovenski naselitvi na Vzhodnem Tirolskem in Zgornjem Koroškem // ZČ. 1960. Let. 14. S. 179—186.
57. Necrologium S. Floriani // MGH Necrologia Germaniae. Berolini. 1920. T. IV/1. P. 273—274.
58. Urbarji Slovenskega Primorja. Ljubljana, 1954. D. 2.
59. *Corgnati G. B.* La Confraternità udinese di S. Girolamo degli Schiavoni // Archivio Veneto. 1942. Vol. 30. P. 112—120.
60. *Cremonesi A.* La confraternità udinese di S. Girolamo degli Schianovi // Ce fastu? 1982. 58. P. 7—15.
61. Gurker Urbare. Wien, 1951.
62. *Kos F.* K zgodovine Gorice v srednjem veku // Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. 1924—1923. Let. I/III. S. 6; 1924—1925. Let. IV/VI. S. 8.
63. *Gestrin F.* Trgovina slovenskih dežel z italijanskimi ob koncu srednjega veka in v XVI. stol. // ZČ. 1975. Let. 29. S. 89—107.
64. Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku. Ljubljana, 1958. Zv. III. N 37.
65. *Voje I.* Ljubljančani v srednjeveškem Dubrovniku // Kronika. 1980. Let. 28. S. 171—175.
66. *Pirchegger H.* Der deutsche Bevölkerungsanteil in den untersteirischen Städten Marburg a. d. Dr. und Pettau im Mittelalter und in der frühen Neuzeit // Südostdeutsches Archiv. 1961. Bd. 4. S. 3—18.
67. Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 11.
68. *Helmoldi Cronica Slavorum.* Hannoverae et Lipsiae, 1937.
69. *Bartholomaeus Anglicus.* De proprietatibus rerum, XV, 140 // *Schönbach A.* Des Bartholomaeus Anglicus Beschreibung Deutschlands gegen 1240 // MIOG. 1906. Bd. 27. S. 77.
70. *Magistri Vincentii Chronicon Polonorum*, I, 5 // MPH. 1961. T. 2. S. 255.
71. *Aeneae Sylvii Piccolomini postea Pii II. papae opera geographica et historica.* Helmstadii, 1699. P. 261.
72. *Jakob Unrest.* Kärntner Chronik // Collectio monumentorum veterum et recentium ineditorum. . . Brunsvigae, 1724. T. I. P. 482—485.
73. *Neumann W.* Wirklichkeit und Idee des «windischen» Erzherzogtums Kärnten // Südostdeutsches Archiv. 1960. Bd 3. S. 141—168.
74. *Mihelič D.* Karantanija v očeh zgodovinarjev od konca 15. do 18. stoletja // ZČ. 1977. Let. 31. S. 289—292.
75. *Katižič R.* Slavica Foroiuliensia // Wiener Slavistisches Jahrbuch, 1980. Bd. 26. S. 28—32.
76. *Kolarič R.* Periodizacija razvoja slovenskega jezika // Slavistična Revija. 1958. S. 69—76.
77. *Birnbaum H.* Zur Problematik des Westkirchenslavischen // Litterae Slavicae Medii Aevi Francisco Venceslao Mareš sexagenario oblatae. München, 1985.
78. *Топоров В. Н.* Slovenica // Вопросы славянского языкознания. М., 1959. Вып. 4. С. 90—99.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЧЕШСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ В XII—НАЧАЛЕ XIV в.

Б. Н. Флоря

Этническое самосознание чешской феодальной народности в XII—начале XIV в. развивалось на базе традиций предшествующего периода. Наиболее ярким доказательством этого служат историко-литературные судьбы хроники Козьмы Пражского. Именно этот труд, в котором наиболее полно выражено самосознание верхов чешской феодальной народности на рубеже XI—XII вв., был положен в основу возникавших в это время памятников исторической мысли. Налицо тесная преемственность между системой взглядов Козьмы и системой взглядов, отразившихся в хрониках середины—второй половины XII в. Их авторы — неизвестный каноник вышеградского капитула и «нотарий и каноник пражской церкви» Винцент — принадлежали, как и Козьма, к верхушке чешского духовенства, связанной с княжеским двором. Близок к ним по общественному положению был и автор написанной около 1177 г. хроники — монах Сазавского монастыря *. Преемственность взглядов в пределах одного социального слоя позволяет лишь опосредованно судить о развитии этнического самосознания чешской народности в целом.

Как и у Козьмы, у хронистов XII в. представление о существовании особого «чешского» народа выступает в неразрывной связи с территорией, которую он заселяет, «чешской землей», и с политической организацией этого народа — «Чешским государством». Наиболее полно эти понятия сливались в представлении об «отечестве» — patria. Именно в отношении к patria и ее судьбам самосознание хронистов проявлялось наиболее ярко. Так, для Винцента князь, защищающий страну от врага, сражается «за отечество» и достойный правитель — это «отец отечества» (2, s. 409, 412). В некрологе князю Собеславу I, написанном Вышеградским каноником, также сказано о столь проникновенной «любви к отечеству» князя, что он был готов умереть «за свободу и честь подданных» (2, s. 232). Особенно ярко привязанность к отечеству проявлялась в условиях временной раз-

* Главным источниковедческим исследованием чешских хроник XII в. до сих пор остается (1).

луки с родиной. Показательно в этом плане свидетельство Винцента о переживаниях его и его спутников («дорогих наших»), оставшихся в Италии после ухода оттуда чешского войска. Хронист пишет об охватившей их глубокой скорби, вспоминает о «святом городе Праге», возносит благодарность богу за возможность вернуться *ad nostra*. Любовь к своей стране и ее столице сливается, таким образом, с любовью к ее жителям, членам одного с хронистом этноса — «нашим» (2, s. 443—452).

Представление о нерасчлененном, целостном единстве «народ—страна—государство» уже в период раннего феодализма получило свойственное эпохе идейное осмысление в культе «святых патронов» Чехии и чехов — Вацлава и Войтеха. Памятники XI—XIII вв. сохранили много свидетельств об упрочении и распространении культа Вацлава и Войтеха (3; 4; 5), к которым с течением времени стали присоединять и других святых чехов, как, например, канонизированного в 1204 г. аббата Сазавского монастыря Прокопа. В летописных известиях 1260 г. фигурирует уже целый пантеон чешских святых (2, s. 318—319). Однако само содержание и функции культа «патронов» в этот период оставались прежними: «патроны» мыслились как защитники Чехии и чешского народа от внешних врагов и внутренних раздоров. Новым было подчеркивание личного «участия» святых в борьбе с врагами чехов. Так, Вышеградский каноник рассказывает под 1126 г., что священник Вит, державший в битве с «саксами» копьё Вацлава, видел святого на белом коне, «сражающегося за наших» (2, s. 204). К 1260 г. относится «видение» рыцаря Яна Свэйслава, где говорится о выступлении на помощь чешскому войску всего сонма чешских патронов во главе с Вацлавом (2, s. 318—319).

Как и в XI—начале XII в., чешская народность и в последующий период состояла из двух областных общностей, связанных с территорией собственно Чехии и Моравии. Различие заключалось лишь в том, что за населением Моравии к XII в. прочно утвердилось название «мораване».

К предшествующим традициям восходил в хрониках XII в. сложившийся в среде господствующего класса автостереотип «чеха» как война, превосходящего благодаря своей смелости и искусству представителей других этносов. Эта тенденция нашла наиболее яркое выражение в рассказах Винцента о заграничных походах чешского войска. «*Fortitudo Bohemorum*» так устрашает врагов чехов, что они обращаются в бегство, не оказывая сопротивления (2, s. 431, 437, 455—456).

Другая важная черта этнического автостереотипа «чехов» раскрывается при анализе высказываний хронистов о взаимоотношениях Чехии с Империей. Сама тема была унаследована хронистами XII в. у Козьмы Пражского. Ему, как известно, было присуще высокое представление о власти императора как главы христианского мира. Он полностью признавал его верховную власть над Чехией, но вместе с тем полагал, что обязательства чешского князя перед императором четко определены еще при

Карле Великом, и в случае одностороннего нарушения этих норм чехи имеют право отстаивать свои интересы с оружием в руках (6, s. 7—9).

Хронистам XII в. также присуще высокое представление о власти императора. Для Винцента, например, он «orbis terrae dominus» (2, s. 453). Чешские князья должны оказывать императору помощь, и эта помощь ставится им в заслугу (например, Собеславу I) (2, s. 233). Но попытки императоров вмешиваться во внутренние дела чехов вызывают у них резкий протест. Наиболее ярко это отразилось в рассказе сазавского монаха о конфликте в 1126 г. между королем Лотарем и князем Собеславом I, когда, игнорируя желание чехов, король попытался силой посадить на чешский стол угодного ему ставленника. Гордости и высокомерию Лотаря в рассказе противопоставлено поведение князя Собеслава и чехов, готовых соблюдать традиционные нормы отношений с Империей (предусматривавшие утверждение императором предложенного чешскими феодалами кандидата), но не желающих «склонить свои шеи под ярмо нового закона». Чехи готовы скорее погибнуть, чем подчиниться несправедливому решению (2, s. 254—256). Таким образом, чехи не только храбры и мужественны, но и непоколебимы в защите своих прав перед лицом внешней опасности. Вместе с тем хронисты середины—второй половины XII в., в отличие от Козьмы, не воспринимают чешско-имперские конфликты как проявление славяно-германского антагонизма. Резко критикуя действия «короля саксов» Лотаря или его вельмож, хронисты не видят за ними каких-либо далеко идущих целей, направленных на подчинение чешского народа враждебному этносу*.

XII век — время феодальной раздробленности чешских земель, усобиц между членами княжеского рода Пржемысловцев, которые и создавали благоприятные условия для вмешательства иноземных правителей в чешские внутренние дела. В хрониках встречаются и описания распрей между князьями, и их осуждения как «войны больше чем гражданской» (так как она велась не только между гражданами, но и между родственниками). День битвы в такой войне — это «день скорби и бедствия» (2, s. 395, 411—412). Однако тема эта в чешских хрониках отнюдь не доминирует и такого же глубокого осознания опасности феодальной раздробленности для судеб народа, как у ряда польских хронистов XIII в., у чешских авторов нет. Следует учесть при этом, что феодальная раздробленность в Чехии не достигла такого уровня, как в Польше или на Руси. Особые княжества младших членов рода возникли лишь в Моравии, в то время как собственно Чехия оставалась под властью одного правителя, верховенство которого так или иначе признавали все остальные члены княжеского рода. В этом и состоит одна из причин того, почему во взглядах храни-

* Помимо рассказа сазавского монаха см. также и рассказ о конфликте Собеслава и Лотаря у «Вышеградского каноника» (2, s. 203).

стов середины—второй половины XII в. сравнительно мало отличий от взглядов Козьмы Пражского.

Важным объективным признаком роста этнического самосознания всего чешского общества в XII в. является зарождение именно в этот период представления об особом — «чешском» — языке. Еще для Вышеградского каноника в начале 40-х годов XII в., судя по его терминологии, существовал, по-видимому, лишь «славянский язык» (2, s. 205, 206, 210). В Градишско-Опатовицких анналах, составленных во всяком случае ранее 1167 г., терминология смешанная. Так, под 1096 годом сообщается о рождении у одного из моравских князей сына, которого звали «*Spes latine sclavinice Nadeu*», а под 1105 годом сказано, что князь Борживой проводил императора Генриха IV до горы, «*qui bohemic dicitur Wissechore*» (2, s. 391—392). Таким образом, здесь хронист говорит уже не о «славянском», а о «чешском» названии. Писавший в 20-х годах XIII в. Ярлох сообщал под 1170 годом, что на пражскую кафедру был избран епископ, совершенно не знавший «чешского языка» («*bohemicae linguae*») (2, s. 463). Сказано уже совершенно определенно о «чешском языке». Сопоставим эти данные нарративных источников с актовыми. Так, в грамоте 1181 г. говорится о пожаловании Вальдсаскому монастырю земли «*ugiez (т. е. уезд. — Б. Ф.) bohemicae appellatum*» (7, N 295). В грамоте папы Иннокентия III от 1207 г. упоминается денежный сбор в государственную казну, «*que in vulgari bohemico berna vocatur*» (8, № 64). Учитывая случайный характер этих упоминаний, можно все-таки полагать, что во второй половине XII в. распространилось уже на обыденном уровне представление, что чехи говорят на чешском языке.

С XIII в. в истории Чехии и ее взаимоотношений с соседними странами наступил новый этап. Объединение чешских земель в единое государство в то время, когда в жизни соседивших с Чехией стран проявились тенденции к политической раздробленности, объективно способствовало превращению Чехии в одно из крупнейших государств Центральной Европы. С распространением власти короля Пржемысла II Отакара на австрийские земли возникла большая держава общеевропейского масштаба. Ее правительство строило широкие политические планы. Стремясь завоевать поддержку римской курии и общественного мнения европейского рыцарства и духовенства, оно распространяло определенные представления о странах и народах, входивших в орбиту чешской политики, и влияло таким образом на формирование у разных кругов чешского общества отвечающих правящей верхушке воззрений.

Правда, это влияние не всегда можно выявить, опираясь на свидетельства XIII в. Историко-литературных памятников, созданных в XIII в., известно очень мало. А главное — созданные в этот период новые редакции Жития Вацлава и компиляция конца XIII—начала XIV в., так называемое Второе продолжение Козьмы, написаны лицами, принадлежавшими к клиру со-

бора св. Вита в Праге, и отражают представления верхушки чешского духовенства (9; 10, s. 97—48).

Существенно изменились взаимоотношения Империи и Чехии. С начала XIII в. Империя постепенно втягивалась в глубокий политический кризис. Значение власти императора падало, а самостоятельность князей росла. Империя превращалась в конгломерат больших и малых государств. Зависимость чешских правителей от Империи не только фактически, но и формально свелась к минимальным обязательствам, а чешский правитель, войдя в число курфюрстов, от которых зависел выбор императора, получил возможность воздействовать на положение дел в Империи. Все это не могло не влиять на отношение к Империи разных слоев чешского общества.

Курс Пржемысловцев на освобождение чешских земель от обязанностей в пользу императора был поддержан верхушкой чешского духовенства. В новых редакциях Жития Вацлава, созданных в этой среде (сначала «*Ut annuncietur*» около 1230—1250 г., затем «*Oriente I*» около 1260 г.), появился рассказ о том, как император, уверившийся в святости Вацлава, подарил ему часть мощей св. Вита. Если учесть, что по старой традиции немецкой хронографии (начиная с Видукинда) переход имперской власти от франков к саксам сопровождался переносом мощей св. Вита из Корби в Северной Франции в Новую Корвейю в Саксонии, то цель включения данного эпизода в Житие Вацлава станет ясной. Тем более что агиографы отчетливо связывали с передачей реликвий освобождение Чехии от повинностей в пользу Империи*.

Рассмотрение под тем же углом зрения написанной в начале XIV в. хроники Далимила (подробнее о ней см. ниже), значительная часть сведений которой о взаимоотношениях Чехии и Империи черпалась из устной традиции дворянских родов, свидетельствует о внимании и чешского рыцарства к изменениям характера связей Чехии и Империи. Далимил говорит о пожаловании чешскому князю титула имперского чашника, о приобретении им права участия в выборах императора, и об освобождении чешского правителя от платы за подтверждение его избрания императором, и о праве чешских феодалов выбирать себе монарха в случае пресечения династии (12, s. 98, 105, 135). При этом перемены, действительно происшедшие лишь в XIII в., хронист датировал второй половиной XI—началом XII в. В этом проявилось, как представляется, стремление доказать древность новых форм отношений, выгодных для чешской стороны**.

Переосмысливалось и самое представление о системе связей между Чехией и Империей. Ранее Чехия в политическом плане рассматривалась как часть Империи, хотя и занимающая особое

* Так, уже в «*Oriente I*» — «*et potitus patrie liberacionem, que prius tributaria erat*» (11, s. 414). См. и у хрониста начала XIV в. Далимила — «*tehdy ciesař z své milosti vsie roboty zemi sprostí*» (12, s. 59).

** См. коммент. З. Кирстена к известиям Далимила (13, s. 261—262, 264, 272).

положение, но подчиненная верховной власти императора, теперь же находили отражение иные воззрения, в частности в легендарном рассказе Второго продолжения Козьмы под 1271 годом о том, как имперские князья предложили Пржемыслу II императорскую корону. Но чешские паны посоветовали ему отклонить предложение (2, s. 236). Как заявил казначей Ондржей, Пржемысл II, «сидя на троне своих отцов», «господствует над князьями и правителями земли», и нет никого, кто бы мог противиться его воле; так что его власть практически ничем не уступает власти императора, который, «если будет нужно, будет повиноваться приказам» чешского короля. Иными словами, Пржемысл II не нуждается в императорской короне (6, s. 12). В рассказе интересна еще одна мысль: Пржемыслу II советовали отказаться от императорской короны также и потому, что «неизвестны тебе люди разных народов», живущие в Империи. Тем самым Чехии, как государству одного народа, рекомендовалось отгородиться от многоэтнической Империи.

В Чехии создавалось особое представление о месте и роли Чешского государства в политической структуре Европы. В послании епископа оломоуцкого Бруно папе Григорию X (1273 г.) Чешское королевство выступает в качестве единственного защитника христианской веры и Европы от «схизматиков», мусульман и язычников и резко противопоставляется немецким землям, правители которых, не желая подчиниться единому главе, опустошают свою страну и неспособны защищать христиан (14, № 845, s. 344). Борьбу чешских правителей с венгерскими за австрийские земли также представляли как защиту христианского мира от внешних враждебных и иноверных сил. Так, в послании Пржемысла II папе Александру II победа чешского войска в битве у Крейсенбрунна в 1260 г. трактовалась как победа «над бесчисленным множеством бесчеловечных людей — куманов, венгров и различных славян. . . валахов, печенегов и исмаилитов, а также схизматиков греков, болгар, сербских и боснийских еретиков» (14, № 271, s. 103). В рассказе Второго продолжения Козьмы о том же событии войску врагов («неверных» и «тех, кто были с ними») противопоставляется войско «верующих» во главе с чешским королем, за успех которого возносит молитвы «большая часть христианства вплоть до великого Кельна» (2, s. 315).

Эти свидетельства отражают появление представлений о чехах как «избранном народе», занимающем особое место в христианском мире (15, s. 131—133). Таким народом («sancta natio», «patrio christianissima»), который заботится о распространении и сохранении христианского порядка, в публицистике XIII в. обычно изображались немцы. Размах политической деятельности Пржемысла II обусловил зарождение в чешском обществе представлений об аналогичной исторической роли чехов. Одним из следствий такой направленности идейно-политической деятельности чешской королевской власти (она, несомненно, оказывала серьезное влияние на взгляды по крайней мере части господствующего

класса) стало отнесение южных и восточных славян к тому внешнему враждебному миру, который чешскому оружию предстояло приобрести к «истинной вере»*.

Иным было отношение к верным католичеству польским княжествам, нашедшее четкое проявление уже в послании Пржемысла II краковскому епископу Прандоте от 19 июня 1255 г. (17, № 44, s. 61—65). Благодаря епископа за присылку реликвии (руки недавно канонизированного польского патрона св. Станислава), Пржемысл II выражал надежду, что в результате их совместных усилий все польские князья (подобно соседним стенам, объединяемым угловым камнем) соединятся с ним узами «неразрывного союза и дружбы». При этом Пржемысл II брал на себя обязательство защищать польские земли от всех врагов, в том числе от «схизматиков» — восточных славян и язычников. Притязания Пржемысла II на роль защитника польских земель от внешнего врага обосновывались тем, что речь идет о соседней стране, положение в которой не может быть безразличным для чешского короля, а также тем, что польские князья — это его «друзья и родственники» (14, № 1089, s. 457).

Политика Пржемысла II не увенчалась полным успехом, но она способствовала развитию польско-чешских связей. Наиболее тесными были контакты между чешским и польским монашеством, принадлежавшим к «нищенствующим» орденам доминиканцев и францисканцев (18). Именно в этой среде, как увидим далее, стали искать более глубокого обоснования польско-чешского сближения, чем простые ссылки на факт соседства или родственные связи правящих династий.

Наряду с изменениями в международном положении Чешского государства в XIII в. произошли существенные изменения в этническом составе населения Чехии. Оно и в период раннего средневековья не было этнически однородным. В Чехии, как и в Польше, уже в XI—XII вв. существовало еврейское меньшинство, занимавшееся торговлей и ростовничеством. Однако евреи, как иноверцы, стояли за рамками сложившегося в стране социально-политического строя (они считались собственностью королевского фиска) и не могли претендовать на улучшение своего положения. Поэтому присутствие этого меньшинства не привлекало к себе особого внимания чешского общества, за исключением круга фанатических католиков, желавших обращения иноверцев. По их наущению на евреев периодически возлагалась ответственность за те или иные беды, перенесенные страной, что приводило к еврейским погромам, но как элемент, совершенно лишенный власти, это меньшинство не могло создавать каких-либо проблем для господствующих слоев чешского общества. Совсем иначе обстояло дело с другими этническими группами, появившимися в Чехии в XIII в. Прежде всего на чешской тер-

* Отражение таких взглядов в сознании чешского рыцарства см. (16; s. 117—118).

ритории во второй половине XII—XIII в. сложился компактный и достаточно замкнутый слой немецкого духовенства. Это явление как бы «вторичной германизации» (после постепенной ассимиляции немецких священников и монахов, пришедших в Чехию с принятием христианства) было связано с характером корпораций цистерцианцев и премонстрантов в XII—начале XIII в., францисканцев и доминиканцев — в последующее время; именно их дочерние обители основывались в этот период на территории Чехии. В отличие от старых орденов, обители которых объединяло лишь следование определенному уставу, новые конгрегации являлись частью строго централизованных корпораций, в которых не только распорядок жизни, но и самый состав отдельных коллективов жестко регламентировался распоряжениями центральных властей.

Тем самым затруднялся естественный процесс ассимиляции пришельцев местной средой, но еще более существенно, что сознание пришельцев и на новом месте определялось прежде всего их связью с центрами корпораций, лежавшими за пределами Чехии, на территории немецких княжеств Империи. Хотя высшая власть и чешские паны сами пригласили этих монахов в свою страну, такая ориентация этого слоя духовенства могла стать источником межэтнических конфликтов.

XIII век был также временем быстрого развития товарно-денежных отношений, находившего наиболее яркое выражение в образовании городов как центров ремесла и торговли, обладающих особым юридическим статусом. Видя в городах важный источник пополнения государственной казны и опорные пункты в борьбе с сепаратизмом знати, Пржемысловцы стремились ускорить этот процесс и охотно давали право на основание городов колонистам из немецких земель. К 70-м годам XIII в. в стране было уже несколько десятков таких городов. Разумеется, не все их население даже на начальном этапе было немецким, но именно немецким колонистам, получившим королевские привилегии, принадлежала монополия на городские должности. В крупных центрах немцами было и большинство купцов и квалифицированных ремесленников — полноправных членов городской общины. Так, с созданием города как особой самоуправляющейся единицы осложнилась не только государственная и социальная, но и этническая структура чешского общества. Появился еще один слой людей, живущих в Чехии, но не чехов *. В глазах современников представители этого иноэтнического слоя обладали монополией на особое социальное положение. Для внешнего наблюдателя понятия «горожанин» и «немец» совпадали. К сожалению,

* Можно отметить и еще один слой — немецких крестьян, появившихся в Чехии в XIII в. с развитием сельской колонизации. Это явление оставило заметный след в этнической истории страны, но, насколько можно судить, не оказало серьезного влияния на этническое самосознание чешского господствующего класса.

данных о реакции современников на развитие немецкой городской колонизации в Чехии XIII в. ничтожно мало.

Межэтнические конфликты во второй половине XIII в. проявлялись прежде всего в среде монашества*, внутри одних и тех же обителей (или конгрегаций) — между их властями из числа пришлых иноземцев и монахами — выходцами из местного населения. Об этих конфликтах свидетельствуют два текста в сборнике образцов писем жены Пржемысла II Кунгуты, составленном в 1271—1272 гг. магистром Богуславом, по-видимому, капелланом королевы (19, s. 44—45). Первый из них — письмо Анне, аббатисе Тшебницкого монастыря в Силезии. В письме выражается удивление, что монахини поддерживают выступления немецких францисканцев, «губителей вашего языка», против их собратьев, чехов и поляков, которых королева берет под защиту (20, № 54, s. 287—288). Другое письмо, адресованное неизвестному по имени римскому кардиналу, содержит жалобу на преследования монахов-францисканцев, чехов и поляков. В обители на территории Польши и Чехии переселяют слишком много монахов «lingae Theutonicae», а чешских и польских монахов выселяют «ad extraneas nationes». Эти действия квалифицируются как «ущерб», нанесенный «славянскому языку» и как опасность «душам славянского народа» (20, № 55, s. 288).

Независимо от того, были ли действительно такие письма отправлены или это лишь плоды литературного творчества Богуслава, ясно, что типичный для средневековья конфликт между монахами — местными уроженцами и руководством надэтнической духовной корпорации был воспринят в местной среде как конфликт с немцами, как посягательство немцев на то положение, которое должно было традиционно принадлежать местным уроженцам. Такое восприятие, в свою очередь, пробудило у чешских и польских монахов сознание чувства принадлежности к единой славянской общности и сознание того, что действия немцев угрожают существованию этой общности. Появление образцов писем — довод в пользу того, что обсуждался вопрос о мерах, которые Пржемысл II, как чешский король и «защитник» польских земель, должен был бы предпринять, чтобы изменить это положение. Дальнейшее развитие некоторые из подобных представлений получили в так называемом Манифесте Пржемысла II, обращенном к польским князьям.

Появление этого документа тесно связано с тем внутриполитическим и международным кризисом, который привел во второй половине 70-х годов XIII в. к распаду державы Пржемысла II. Причиной кризиса явился завершившийся к середине XIII в.

* Взаимоотношения между чешским и немецким населением в Чехии XIII—XIV вв. носили противоречивый характер, имели и положительное и отрицательное значение для обеих сторон. Если в дальнейшем изложении речь пойдет по преимуществу об отрицательных сторонах чешско-немецкого сосуществования, то лишь потому, что именно они оказывали влияние на развитие этнического самосознания.

распад системы институтов раннефеодальной монархии, связанных с системой централизованной эксплуатации, и превращение господствующего класса из живущей на государственные доходы дружины в сословие феодалов-землевладельцев. Социальные сдвиги не сопровождались, однако, такой же перестройкой государственного устройства: отсюда — напряженность во взаимоотношениях между господствующим классом и монархией. Обострение взаимоотношений между монархом, пытавшимся править по-старому, и феодалами отдельных «земель», добивавшимися признания своих сословных привилегий и участия в управлении государством, совпало с ухудшением международного положения, когда против Пржемысла II выступил император Рудольф Габсбург при поддержке ряда имперских князей и венгерского короля. Благодаря тому, что внешнее вмешательство совпало с выступлением внутренней оппозиции, Пржемысл II в 1276 г. утратил власть над австрийскими землями. Он, однако, намерен был продолжать борьбу. В преддверии нового столкновения с Рудольфом был написан упомянутый выше Манифест (14, № 1106).

В нем налицо весь круг мотивов, уже встречавшихся в более ранних документах Пржемысла II: близость польских и чешских земель благодаря соседству и родственным связям Пястов и Пржемысловцев и обязательство чешского короля защищать польские земли от всех врагов, как язычников, так и христиан. Но налицо и два принципиально новых момента. Во-первых, в обращении речь идет о близости не только князей, но и народов и раскрывается, в чем она заключается: «*spaciose Poloniae natio*» — самая близкая к чехам «из всех областей мира», язык поляков схож по звучанию с чешским («*in lingue consonancia*»), поляков объединяет с чехами «единство крови» («*unione sanguinis*») и «узы родства». Второе — это объяснение того, почему чехи и поляки должны объединиться для борьбы не с язычниками и схизматиками, а с немцами. Если Пржемысл II потерпит поражение, «тем свободнее станет распространяться ненасытная жажда немцев и тем легче им будет в своем вредоносном стремлении протянуть нечистые руки и на эту страну (т. е. Польшу. — *Б. Ф.*)». «Каким мучениям, — продолжается далее, — был бы подвержен ваш столь многочисленный и так ненавидимый немцами народ и каким тяжелым ярмом неволи была бы подавлена свободная Польша, как бы распалось от поражения единство вашего народа» («*universitas vestri gentis*»). Таким образом, обоим народам грозит со стороны немцев страшная опасность: поражение может привести к гибели государства, может возникнуть угроза самому существованию народа.

В вопросе о том, взгляды какой общественной среды были отражены в этом документе, между исследователями нет единства. Текст обращения сохранился в сборнике образцов писем, составленном Генрихом из Изерни, итальянцем на службе Пржемысла II. Он, как королевский нотариус, занимал высокое положение в королевской канцелярии (21). Это говорит как будто в пользу того, что обращение вышло из королевской канцелярии

как официальный документ. Но вместе с тем присущие документу черты индивидуального стиля Генриха из Изерни, а также то, что сборник играл роль пособия по обучению риторике (19, s. 46 и след.) и, следовательно, мог включать (и включал) литературные сочинения нотария, склоняли некоторых исследователей к тому, чтобы видеть в нем плод литературного вымысла, хотя и отражавшего реальные настроения в некоторых кругах чешского общества. Сторонники этой точки зрения указывали также на то, что резкая антинемецкая направленность обращения не соответствовала реальной политике Пржемысла II, который покровительствовал немецким колонистам в Чехии, а в борьбе с Рудольфом Габсбургом опирался на поддержку и немецких князей, в частности маркграфов Бранденбурга (22, s. 537—539).

Что касается доводов против официального происхождения Манифеста, то следует признать, что их достаточно, чтобы вызвать сомнение в аутентичности обращения, но недостаточно, чтобы полностью доказать его неаутентичность. Наиболее убедительным остается вывод, к которому пришел в свое время Й. Шуста: нельзя быть уверенным, что такое послание было действительно отправлено польским князьям, но нет оснований сомневаться в том, что в нем отражены представления и настроения тяготевшей к королевскому двору интеллектуальной элиты чешского общества (23, s. 253—256).

Можно проследить судьбу круга идей и представлений о близости чешского и польского народов в сознании этих общественных кругов в более позднее время. В разделе о Польше Збраславской хроники, написанной в начале XIV в. в придворной обители сына Пржемысла II — Вацлава II, говорится, что в этой стране в древности были короли «*Slavice gentis*», но затем страна распалась на отдельные княжества, которые безжалостно разоряли «преследователи веры» — русские, литовцы и др. От этой беды их спасла власть чешского короля. Рассказывая об избрании Вацлава II на польский трон в 1300 г., хронист отметил, что поляки руководствовались тем, что наречия чехов и поляков «*non multum dissonant in idiomata Slauice lingue*» (24, s. 60, 81). Очевидна прямая преемственность выраженных здесь представлений с представлениями, отразившимися в адресованных полякам документах Пржемысла II. С одним важным отличием: к началу XIV в. получил уже официальное признание тезис о близости поляков и чехов именно как двух «славянских народов», хотя по-прежнему из этой славянской общности исключались славяне, придерживавшиеся ложного вероучения (25, s. 489—491).

Другая тема, поднятая в Манифесте, — тема опасности, которую несет немецкая агрессия славянским народам, — получила продолжение в памятке, возникшем в Чехии уже в конце XIII в.

Политический кризис в Центральной Европе завершился поражением и гибелью Пржемысла в 1278 г. Правителем (регентом) Чехии в малолетство сына Пржемысла II, Вацлава, стал его дядя,

бранденбургский маркграф Отто. Регент увез малолетнего наследника из Чехии и, поставив в городах свои гарнизоны, стал грабить доверенную его попечению страну. Реакцию на это чешского общества позволяет представить помещенная в заключительной части Второго продолжения Козьмы так называемая «Повесть о злых годах». Это — целостное произведение, принадлежащее перу духовного лица, связанного с собором св. Вита в Праге (9, s. 21—25). Обличение жестокости и беззаконий захватчиков — одна из ведущих тем его рассказа. Их действия квалифицируются как более жестокие, чем действия императоров Диоклетиана и Максимиана, преследовавших христиан (2, 350). Захватчики для хрониста — не «бранденбуржцы» (этот термин им употребляется крайне редко), а «немцы» (*Theutonici*). Злодеяния они совершают потому, что такова их природа, полная жестокости (*saevissima*) (2, s. 344, 347), кроме того, «немцы имеют обычай в большой злобе свирепствовать против чехов» (2, с. 349). «Чтобы ясней стали их деяния, полные лжи и коварства», автор «Повести» привел извлечения из хроники Фрутольфа, в которых рассказывалось о том, как саксы обманом захватили землю тюрингов, и об их упорной приверженности языческим обычаям (2, s. 362 и след.).

Видное место в его рассказе занимает описание массового переселения немцев в Чехию в годы бранденбургского правления. Туда направлялись немцы из разных племен (*diversarum nationum*), знатные и простые, которые разоряли страну, губя жителей и их имущество. Хронист с похвалой отзываясь о деятельности пражского епископа Тобиаша, который разъяснил «благородным земли» опасность создавшегося положения и добился их решения об изгнании немцев из страны. Немцы удалились, как будто пораженные отравленной стрелой, рассеялись как дым, как летучие мыши на утренней заре (2, s. 353—354) *.

Характеристика немцев в «Повести» близка к той, которая дана им в Манифесте, а исходящая от них угроза и здесь расценивается как серьезная опасность для чешского народа. Вместе с тем для автора «Повести», как и для составителя обращения, враг находится не внутри, а вне страны. Автор «Повести» видит угрозу в войсках бранденбургского маркграфа и толпах людей, пришедших с ними в Чехию «ради грабежа», но не в живущих в чешских городах немецких колонистах. Автор «Повести» с сочувствием говорит о бедствиях, постигших в эти суровые годы ремесленников вместе с другими группами населения (2, s. 354, 356).

В итоге следует констатировать появление в последней четверти XIII в. новых особенностей этнического самосознания чешской народности: происходящие в это время столкновения между Чешским королевством и немецкими княжествами в кругах столичного духовенства осмысливаются и воспринимаются как проявление

* Подробнее о взглядах автора «Повести о злых годах» см.: (26). Неосновательно представляется не получившая признания попытка исследователя усмотреть в патристических высказываниях автора «Повести» проявления ренессансной идеологии.

ние традиционного чешско-немецкого антагонизма, как выражение опасности, постоянно угрожающей со стороны немцев. Складывается стереотип немца-агрессора, захватчика по самой своей природе, — обобщение наблюдений над действиями нападавших на Чехию немецких феодалов. В таком духе, хотя пока лишь в узких рамках монашеской среды, начинают истолковываться и конфликты, происходящие внутри страны между чешским населением и постоянно поселившимися здесь немцами. К началу XIV в. эти идеи и представления становятся достоянием и других общественных кругов.

К этому времени относится появление крупных литературных произведений, изучение которых позволяет составить представление об этническом самосознании разных кругов не только чешского, но и немецкого общества в Чехии. Для того чтобы правильно оценить эти данные, следует кратко остановиться на основных чертах социально-политического развития Чехии этого времени *.

Обозначавшееся уже в правление Пржемысла II усиление могущества крупной феодальной знати стало явным в годы смут, последовавших после его смерти. В эти годы, когда малолетний монарх оказался фактически в бранденбургском плену, чешское панство стало самостоятельно собираться для принятия общегосударственных решений. И после возвращения Вацлава II в Чехию монарх не мог без согласия чешских панов принимать важных политических решений. Роль крупной знати еще более усилилась во время смут, начавшихся после пресечения в 1306 г. династии Пржемысловцев. Магнаты расхитили земли королевского домена, они же захватили практически в свои руки государственные доходы. Действия знати явились стимулом для активности патрицианской верхушки наиболее крупных и богатых городов Чехии — Праги и Кутной Горы, переживавшей период социального и хозяйственного возвышения. Патриции, сконцентрировавшие в своих руках городскую власть, разбогатевшие на ростовщичестве, финансовых операциях с королевской казной и торговле драгоценными металлами, не только скупали земли разорвавшихся феодалов, но стали претендовать также и на участие в управлении государством. В феврале 1309 г. патриции Праги и Кутной Горы внезапно арестовали ряд крупнейших чешских магнатов, чтобы вынудить чешское панство заключить соглашение, по которому они были бы допущены к решению важных общегосударственных вопросов. Попытка эта закончилась неудачей, но обусловила напряженные отношения между патрициатом и сословием светских феодалов. Поскольку светские феодалы были чехами, а патриции — немцами, социальные противоречия стали приобретать характер межэтнического конфликта.

Во второй половине XIII—начале XIV в. главным в политической жизни страны оставался вопрос о том, каковы будут в ко-

* Главным исследованием по социально-политической истории Чехии конца XIII—начала XIV в. остается (27).

нечном итоге взаимоотношения между монархией и сословием светских феодалов, как пойдет развитие: по пути создания сильной центральной власти или по пути установления режима магнатской олигархии. В стране существовали силы, объективно заинтересованные в политической централизации и ограничении власти магнатов. Одной из таких сил были города, возвышению которых немало способствовали последние Пржемысловцы. Однако социальные верхи горожан, которые, собственно, и участвовали в политической жизни, были немецкими. Другой силой, объективно заинтересованной в укреплении власти и порядка (обеспечивавшего сохранность имущества), была церковь. Однако духовенство не во всех звеньях церковной организации было готово в равной мере поддерживать действия центральной власти. Монастыри, находившиеся под патронатом панских родов, не могли в этом отношении быть достаточно последовательными. Наиболее решительным сторонником централизации являлись монастыри конгрегаций нового типа, не связанные с местным обществом, которые могли добиться процветания лишь под патронатом сильной королевской власти. Монахи этих обителей и в указанное время пополнялись в основном за счет пришельцев из Германии. Аббаты таких монастырей были близкими советниками Вацлава II; они же способствовали вступлению на чешский трон монарха из новой династии Люксембургов. О политических взглядах этой общественной группы позволяет судить Збраславская хроника — сочинение, начатое Отто, а оконченное Петром, аббатами Збраславского монастыря. В их изображении сословие светских феодалов Чехии выступало как косная, консервативная сила, а ей явно противостояла династия, способная, благодаря правильному пониманию интересов страны, принудить эту косную массу идти по «правильному» пути. В этом чешскому монарху, по убеждению хронистов, должны были оказать поддержку другие правители, которых объединяет солидарность перед лицом подданных, и прежде всего император как глава христианского мира, чья историческая миссия состоит в том, чтобы поддержать в нем порядок (28). Эта программа укрепления центральной власти помимо и без участия чешского общества содержала в себе существенный элемент политической утопии, но взгляды этих кругов немецкого духовенства оказывали воздействие на политическую деятельность чешских правителей. Наконец, чешские короли, пытаясь укрепить свою власть и опираясь на крупные доходы от принадлежавших им серебряных рудников, неоднократно набирали в соседних немецких землях наемное рыцарское войско. Неудивительно поэтому, что обострение социально-политических противоречий в Чехии сопровождалось усилением чешско-немецкого антагонизма.

Пржемысловцы прибегали к использованию всех указанных факторов, но действовали умеренно. Свою политику они не строили в расчете на внешнюю помощь. Их преемники, сначала Рудольф Габсбург, затем — Генрих Хорутанский, старались, напротив, укрепить свое положение, опираясь прежде всего на инозем-

ные войска и поддержку иноземных князей — своих союзников. Такая политика вызывала острую реакцию со стороны чешского панства. Стремление обеспечить за чешскими феодалами монополию на отправление государственных должностей ярко проявилось при переговорах с новым претендентом на чешский трон — Яном Люксембургским, сыном императора Генриха VII. Будущий король был вынужден письменно обещать, что не даст иноземцам ни должностей, ни владений в Чехии и запретит им приобретать здесь земли (14, № 2245, s. 974—975).

Условия соглашения, однако, новым монархом были нарушены. В грамоты, которыми король в 1311 г. подтверждал права чешских и моравских феодалов, вошло лишь обязательство не давать никому из иностранцев «*aliquid officium supre*» (28a, № 29), что означало, по-видимому, один из видов должностей в государственной администрации на местах. Управляя страной, Ян Люксембургский опирался на поддержку отца — императора Генриха VII — и его союзников — имперских князей, а также на пришедшее с ним из Империи наемное рыцарское войско. В нарушение договоренности Ян Люксембургский передал немецким рыцарям ряд государственных постов. Пришедшие с ним немецкие феодалы использовали достигнутое положение, чтобы навязываться за счет местного населения, что, конечно, вызывало недовольство не только ущемленных в своих правах магнатов, но и всего чешского рыцарства *.

В этой политической ситуации была написана так называемая хроника Далимила, выдающийся памятник средневековой чешской историографии и одно из первых литературных произведений, написанных на чешском языке. Хроника содержит рифмованное изложение чешской истории от эпохи «разделения языков» до 1310 г. Большая работа по выявлению источников этой компиляции и характера работы над ними хрониста ** позволила прийти к ряду обоснованных выводов о той общественной среде, с которой он был связан и к которой адресовалась его хроника ***. Так, выяснилось, что наряду с некоторыми письменными источниками (хроника Козьмы Пражского и др.) Далимил широко использовал устные предания чешских дворянских родов.

* Хотя отрицательные стороны правления Яна Люксембургского были хорошо показаны уже Й. Шустой, в современной западногерманской историографии проявляется тенденция их игнорировать и отождествлять политику монархии тех лет с политикой последних Пржемысловцев (29, s. 89—92). Тем самым искажаются те исторические условия, в которых протекала социально-политическая борьба в Чехии и появляется возможность для полностью отрицательной оценки взглядов и деятельности антинемецких представителей чешского общества.

** Имя его нам неизвестно. «Далимил» — название, данное по ошибке и закрепившееся в научной литературе как условное обозначение. Попытки установить личность автора, по авторитетной оценке Й. Шусты, остались безуспешными (30, s. 48—49).

*** Обобщение результатов этих исследований, сделанное З. Кристеном, см.: (13, s. 237—316).

Уже эти наблюдения говорят о связи автора со средой чешского рыцарства. В текстах, написанных самим автором, нет цитат ни из Библии, ни из церковной литературы. Автор, напротив, хорошо ориентируется в мире рыцарской эпики, сравнивая своих героев с Роландом и Дитрихом Бернским. Он уделяет мало внимания событиям церковной жизни, а его отзывы о духовных лицах далеки от почтительности. Правда, он использует латинские тексты, и поэтому весьма вероятно, что Далимил был или готовился стать клириком, но, кроме факта знания латыни, возможное пребывание в духовной среде никак не отразилось на его взглядах (31, с. 86—88). Хотя специальному изучению взглядов Далимила посвящено не так уж много работ *, в литературе налицо довольно четкая характеристика его системы воззрений как на чешское общество, так и на взаимоотношения чешского этноса с другими этносами (30, с. 48—51; 31, с. 84—87; 32; 29, с. 33). Далимил с ясностью и последовательностью, которая не присуща более ранним памятникам, утверждает положение, что Чехия должна принадлежать только чехам, что в этой стране нет места представителям других этносов, тем более что они по своей природе враждебны чехам и связаны прежде всего с находящимися за пределами страны землями. Практически таким врагом чешского народа для Далимила являются немцы, а еще конкретнее — немецкие колонисты — горожане, покусившиеся в 1309 г. на приобщение к политической власти в стране. Хронист ненавидит их и как иноземцев, и как «мужиков», претендующих на неподобающее им положение. Единственный выход, который позволил бы обеспечить безопасность чешского народа, — это полное изгнание чужеземцев из страны. Как сила, защищающая чешский народ от угрозы со стороны иноземцев, в хронике выступает неформальное объединение светских феодалов, которое Далимил обозначает терминами «oves» или, что еще более важно, «země» — «земля». Интересы чешского народа хронист также последовательно отождествляет с интересами этой социальной группы. Что хорошо для чешских «земанов», то хорошо и для чешского народа, что плохо для них, то плохо и для народа. Притязания духовенства на эту роль хронист практически не признает. По мнению последнего исследователя хроники З. Ухлиржа, хронист вообще ставит знак равенства между сословием светских феодалов и понятием «народ» как особой этнической общностью (32, с. 14). С этой общей позиции Далимил подходит и к оценке деятельности правителя. В отличие от хронистов более раннего времени интересы правителя не отождествляются у него с интересами Чешского государства и чешского народа. Правитель может изгонять чужеземцев и опираться на чешских феодалов, и тогда он заслуживает признания и поддержки. Но он же может пренебрегать интересами чешских дворян и привлекать к управлению страной чужеземцев, — тогда его деятельность становится вредной для чешского народа и за-

* О литературе вопроса см.: (32, с. 7—8).

служивает порицания. Далимил открыто провозглашает право чешских феодалов отказать такому правителю в повиновении и изгнать его. Некоторые положения в этой характеристике (отождествление интересов народа с интересами светских феодалов, оценка роли монарха) представляются хорошо обоснованными конкретным анализом хроники, другие вызывают ряд сомнений.

Так, знакомство с содержанием хроники не убеждает в том, что для Далимила главный враг — именно немецкие колонисты в Чехии (хотя его враждебное отношение к ним не вызывает сомнений), а рассказ о выступлении немецких патрициев в 1309 г. является «краеугольным камнем всего произведения» (30, s. 47; 32, s. 16—18). О планах немецких патрициев Далимил, по существу, ничего не сообщает, что выглядит странно, если считать, что главной целью его труда было открыть глаза чешским феодалам на угрозу с их стороны. Глава носит название «О дурных обычаях чешских панов», и выступление патрициев — лишь один из аргументов в пользу отказа от «дурных обычаев», таких, как игра в кости, которые приводят чешских рыцарей к финансовым затруднениям и займам у патрициев, от которых тем самым они оказываются в зависимости. Хронист не требует здесь изгнания немецких горожан из Чехии. Он лишь желал бы, чтобы их держали в определенных, строго намеченных рамках.

Выводу о патрициях-немцах как главном враге у Далимила противоречит и данная им характеристика деятельности «дурного» правителя. Главное обвинение в адрес такого правителя, что он призывает к себе людей своего народа и раздает им земли, принадлежавшие ранее чехам («váše dědiny») (12, s. 2). Более конкретно другое место: «дурной» правитель составляет свой «двор» из немцев и ставит по градам немецкие гарнизоны (12, с. 153). Ясно, что лица, на которых «дурной» правитель здесь опирается, — это не горожане, а рыцари, которых он привлекает к себе на службу.

Главный враг чешского народа находится за пределами Чехии — это немецкие феодалы во главе с императором. Я. Б. Новак правильно отметил, что у Далимила освещение взаимоотношений Чехии и Империи приобрело принципиально иной характер, чем у его предшественников (6, s. 14—16). Император для него уже не глава всего христианского мира, который должен руководствоваться в своих действиях высшей справедливостью, а правитель одного народа — немцев * и действует в их интересах. Если император и поступает формально справедливо, то по существу его действия направлены на то, чтобы нанести вред чехам (12, s. 146). Политика императора как выразителя интересов немцев не сводится к планам ослабления Чешского государства. Ее конечная цель — истребление чехов и передача их территории немцам. Эти воззрения особенно ярко выступают в рассказе о нападении Аль-

* Далимил в одном из мест так и называет его — «Bóh nemecský» (12, s. 146).

брехта Габсбурга на Чехию в 1308 г. Согласно рассказу хрониста, Альбрехт, желая «уничтожить чешский народ» («český jazyk zatratiti»), взял с собой много крестьян с косами, которые должны были сжечь хлеб на полях, чтобы чехи разошлись из-за голода, а в их опустевшей земле поселились «швабы» (12, s. 213) *. Как видим, сознание опасности со стороны немцев, о которой говорилось в памятниках конца XIII в., у Далимила достигает предельно возможной степени.

Таким образом, лейтмотив хроники — это идейная борьба против попыток немецких феодалов приобщиться (при содействии монархии) к отправлению государственных должностей в Чехии. И именно борьба за сохранение монополии чешских феодалов на государственную власть трактуется Далимилом как борьба, отвечающая общенародным интересам.

Однако из вышесказанного не следует, что весь «чешский народ» для Далимила ограничивался лишь сословием светских феодалов. Исследователи отметили два места хроники, которые противоречат такому заключению. Первое из них содержится в речи князя Ольдржиха, обращенной к панам, порицавшим его брак с крестьянкой Боженной. Ольдржих говорит, что предпочитает иметь своей женой чешскую крестьянку, чем немецкую королеву (12, s. 83). Второе представляет собой часть речи Собеслава II, обращенной к чешским земанам. Здесь Собеслав говорит, что они не должны терпеть иноземных и онемеченных правителей. Пусть лучше они, как было некогда, возьмут себе в князя пахаря от плуга. Пахарь будет лучшим правителем Чехии, чем немец (12, s. 151; ср. 34, s. 19). Несмотря на условный характер этих высказываний, ясно, что для хрониста крестьяне также входили в понятие «чешский народ», хотя самой этой части «народа» он и не уделяет в своем труде никакого внимания. Обрисованный им стереотип «чеха» как воина, превосходящего мужеством и военным искусством представителей других этносов (похвалы военным подвигам чехов — одна из основных тем хроники), конечно, сложился в среде господствующего класса.

Программа борьбы за сохранение чешского народа не ограничивалась у Далимила лишь негативным требованием изгнания немцев из страны. Не случайно в его хронику включен рассказ о сыновьях Собеслава II, по просьбе коварного императора отправленных на воспитание за границу. Забыв родной язык и обычаи, они оказались чуждыми чешскому народу (12, s. 148 и след.). Из этого следовало, что народ должен хранить свои обычаи и язык. Если автор Збраславской хроники ставил в заслугу Пржемыслу II приобщение чешских земанов к развитой рыцарской культуре Запада (24, s. 9), то Далимил резко критикует чешское дворянство за пристрастие к иноземным новшествам — рыцарским турнирам и азартным играм. Современному положению хронист

* Это лишь наиболее показательное, но не единичное место. Аналогичный рассказ см.: (12, s. 144).

противопоставляет картину старых добрых нравов (12, гл. 79, 84, 102).

Стоит отметить и само название чешского народа у Далимила — «jazyk český». Особый язык для него — главный признак каждого народа, утрата языка означает фактически и утрату этнической принадлежности. Уже поэтому следует полагать, что борьба за сохранение родного языка, за завоевание для него надлежащих позиций в общественной жизни должна была быть также важной частью программы хрониста и стоявших за ним кругов.

Появление хроники Далимила было тесно связано с той внутриполитической борьбой в Чехии, о которой говорилось выше. Хроника была явно направлена против политики короля Яна Люксембургского и его немецких советников. Впрочем, автор хроники, закончивавший ее в 1314 г., этого и не скрывал. Выражая надежду на то, чтобы монарх «*miloval zemanu, a svej radě jměl české rānu*», он недвусмысленно заявлял, что королю следует «*zemanom uveřiti nebo se ctíu z země jiti*» (12, s. 223; 27, кн. 2, s. 218—219). Объективно такое выступление соответствовало интересам крупных магнатов, недовольных политикой Яна Люксембургского. О наличии у хрониста тесных контактов с этими кругами говорит его особое внимание к заслугам рода Роновцев, один из представителей которого — Индржих из Лпы — был главой панской оппозиции (34, s. 360—361).

Можно ли, однако, на этом основании согласиться с заключением З. Фиалы, что хроника представляет собой «похвальную песню чешским панам конца XIII—начала XIV столетия, начинания которых по всем направлениям последовательно отстаивает и хвалит» (31, s. 85, 87)? Сам З. Фиала сделал, однако, существенную оговорку, отметив, что хронист осуждал действия панов, когда они находились в противоречии с интересами страны и народа, имея в виду критику Далимилом панов за выбор иностранных правителей на чешский трон или за разоряющие страну их междоусобные войны (12, s. 113, 197, 208). Далимил, однако, критикует панов и за использование правосудия в корыстных интересах, в ущерб другим феодалам. Так, описывая правление Вацлава II, он замечает, что король часто не присутствовал в суде, а паны, «разбивавшие дела», «*tak sirotky súdiechu, až jich dědiny k sobě přisúdiechu*» (12, s. 202). Вряд ли такое мог написать автор, выражавший интересы панов *. С представлением о Далимиле как выразителе взглядов аристократии не совпадает и такая особенность взглядов хрониста, как подчеркивание им условности общественных различий, зависимости положения человека от количества у него денег. В уста князя Ольдржиха Далимил вкладывает утверждение, что все люди произошли от одного предка, что шляхтичем человека делает серебро его предков, а утратив серебро, шляхтич становится крестьянином (12, s. 82—83).

* См. также в другом месте хроники циничное рассуждение магнатов, намеренных посадить на трон удобного себе князя: «Будем играть им, как ребенком, и брать у него земли, как плоды с дерева» (12, s. 112).

Все вышесказанное позволяет рассматривать хронику Далимила как отражение настроений средних и мелких чешских феодалов, которые, отнюдь не идеализируя панов, готовы были оказать им решительную поддержку против немецких советников Яна Люксембургского. В действиях этих советников земаны видели угрозу существованию и чешского дворянства, и чешского народа.

Насколько широко были распространены настроения, отразившиеся в хронике Далимила, позволяет выяснить развитие событий после ее появления.

Натолкнувшийся на отпор чешского рыцарства и вынужденный отослать иноземных советников, Ян Люксембургский, набрав на Рейне наемные войска, попытался силой расправиться с противниками. В стране началась гражданская война. С приходом немецкого войска, как сказано в Збраславской хронике, распространился слух, что «король намерен выгнать всех чехов из страны». В итоге «весь народ» («*populus universus*») стал проклинать его. Враждовавшие ранее группировки «баронов» объединились, заявив: «Лучше нам быть убитыми, чем изгнанными из своего отечества» (24, s. 245). Эти свидетельства, принадлежащие политическому противнику чешских феодалов, ясно показывают, что во время политического кризиса широкие круги чешских земанов действовали под влиянием тех же представлений, что и Далимил.

С этими сообщениями следует сопоставить данные так называемых дополнений к хронике Далимила. Автором (или авторами) этих дополнений было уже иное лицо, а центральный персонаж его рассказов — Вилем Зайиц с Вальдека, глава группы феодалов, враждебных роду Роиновцев. Кредо составителя этих рассказов выражено в следующих словах: «*Slušie každému dobrým býti a své země životem brániti pro svůj jazyk i smrt přijeti*» (13, s. 174). Любые подвиги, если они совершены не ради «чести» своей земли, не заслуживают похвалы (13, s. 174—175). Вилем Зайиц, «*přítel českého jazyka*», своим мечом защищает чехов от немцев, наемников Яна Люксембургского. Ему покровительствует «святой патрон» Чехии Вацлав, явившийся воинам Вилема Зайица перед боем с немцами (13, s. 173—174, 177—180). Это еще одно свидетельство широкого распространения взглядов, отразившихся в хронике Далимила, в среде чешского дворянства.

В какой мере эти настроения захватывали и другие части чешского народа? Можно ли утверждать, что их разделяло чешское духовенство и в особенности его верхушка, связанная с пражской епископской кафедрой и собором св. Вита? В конце XIII в. эта среда первой выразила патриотические и антинемецкие настроения в чешском обществе. И те и другие традиции нашли определенное выражение и в деятельности пражской кафедры в период правления Яна IV из Дражиц (1301—1343) (о нем см. (35)). Интерес к чешскому историческому прошлому проявился в создании по инициативе епископа собрания материалов по чешской истории, в состав которого вошли как памятники, связанные с культом «патро-

нов» Чехии, так и исторические тексты (9, s. 5—9, 28). В документах, исходящих от епископа, ярко проявились и антинемецкие настроения верхушки чешского духовенства. В грамоте 1333 г. об основании мужского монастыря в Роуднице епископ запрещал принимать в монахи кого-либо, кто не был бы сыном двух родителей-чехов («*Bohemus de utroque parente idiomatis bohemice*»). Опыт научил его, говорилось далее, как в одной сущности нет места двум враждебным силам, так и в одном монастыре не могут быть люди двух враждебных народов (36, № 2008, s. 782). Враждебный чехам народ — это немцы, о чем имеются прямые высказывания епископа (см. подробнее: 37, s. 155—156).

Несмотря на сходство этих воззрений с высказываниями Далимила, епископская кафедра в политической борьбе заняла особую позицию, не совпадающую с позицией чешского дворянства. В 1317 г. епископ призывал чешских «баронов» пойти на мир с королем, чтобы избежать разорения страны и гибели народа (20, № 9; 30, s. 259—260). Уже из этого следует заключать, что представление о происходивших событиях, их месте в истории чешского народа, роли разных социальных групп в его развитии было в среде высшего чешского духовенства иным, чем у Далимила и других писателей, связанных с дворянской средой.

Источником, который позволяет судить о характере разногласий, является труд о событиях чешской истории 1233—1342 гг., написанный по заказу епископа священником при соборе св. Вита Франтишек (39, s. 190—191; 40, s. 150—151). О нем установилось представление как о компиляции из известных исторических источников (31, s. 90—91). Лишь в недавнее время было убедительно показано, что собранные сведения были подвергнуты значительной обработке в интересах среды, которой труд предназначался (41, s. 24—62). В основу хроники Франтишека, была, как уже давно установлено, положена хроника Петра Збраславского — сторонника сильной власти, опирающейся на поддержку немецких советников и императора, и противника чешского дворянства. Франтишек опустил нелестные для чехов высказывания аббата Петра, почти все пассажи, отражавшие приверженность имперской идеологии и высокое представление о власти императора. Напротив, хронист сурово осуждает действия чужеземных правителей, противопоставляя им монархов из родной династии Пржемысловцев. Если Вацлав II был для чешского народа «*fidus zelator*», то Рудольф Габсбург — «*sevus persecutor*» (42, s. 371).

И все же выбор Збраславской хроники в качестве главного источника компиляции не был случайным. Оба хрониста убеждены в необходимости сильной центральной власти, способной установить мир и порядок в стране и обеспечить защиту церковных имуществ, и осуждают действия крупной знати, препятствующей этому. Хотя Франтишек убрал наиболее острые выпады Збраславской хроники по адресу чешских «баронов», основная направленность повествования в этом плане осталась прежней. Аналогичная тенденция прослеживается и в оригинальных текстах Фран-

тишека. Так, он с одобрением описывает суровые меры Пржемысла II по отношению к панам, захватившим королевские имения, резко осуждает отказ чешской знати от письменной кодификации права, ставит в заслугу епископу Яну IV военную помощь королю против непокорных панов (42, s. 350, 359, 378—379, 382, 388). При таком характере политических взглядов хрониста неудивительно, что, хотя хроника Далимила была ему известна, он использовал ее лишь при описании событий середины XIII в. (41, s. 24—25). Таким образом, верхушка чешского духовенства фактически отказалась принять концепцию, согласно которой борьба чешских феодалов с монархией была борьбой за интересы «чешского народа» и даже за его самосохранение. Недовольное анархией и расстройством государственных дел после капитуляции Яна Люксембургского перед чешскими феодалами, чешское духовенство в лице Франтишека возлагало свои надежды не на чешских панов, а на сына Яна, будущего Карла IV.

Обобщая вышесказанное, можно было бы сделать следующие выводы, характеризующие развитие этнического самосознания чешской народности на рубеже XIII—XIV вв. Во-первых, для этого периода налицо свидетельства не только о наличии этнического самосознания у широких кругов господствующего класса Чехии, самосознания столь сильного, что оно находило выражение в литературной полемике, накладывало отпечаток на их политическую деятельность. В этот период под воздействием как международных условий, так и социально-политических противоречий в самой Чехии, осложнившихся различиями в этнической принадлежности разных социальных слоев чешского общества, окончательно складываются такие черты самосознания народности, общие и для светских и для духовных феодалов, как представление об опасности, угрожающей чешскому народу со стороны немцев, и о том, что эта опасность может быть предотвращена лишь в том случае, если чехи станут полными хозяевами в своей стране («Чехия для чехов»). Однако конкретное решение этой задачи светские и церковные феодалы представляли себе по-разному, по-разному оценивали они и свою роль в исторических судьбах чешского народа.

Полемика между представителями разных политических сил неизбежно вела к углублению этнических воззрений тех лиц, которые претендовали на роль идеологов, выражавших интересы народа. Например, Далимил был вынужден уже сознательно поставить вопрос о социальном содержании понятия «чешский народ».

Последующее развитие вело к дальнейшему усложнению общей картины как в связи с образованием новых общественных групп, пытавшихся выработать собственную позицию, так и в связи с вовлечением в идейно-политическую жизнь тех кругов чешского общества, которые ранее не проявляли активного отношения к этническим вопросам.

1. *Novotny V.* Studien zur Quellenkunde Böhmens // Mittheilungen des Institut für österreichische Geschichtsforschung, 1903. Bd. XXIV.
2. FRB. D. II.
3. *Třeštitk D.* Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepiscství a politického myšlení. Pr., 1968. S. 183—232.
4. *Nový R.* Přemyslovský stát 11. a 12. století. Pr., 1972. S. 171—178.
5. *Merhauptová A., Třeštitk D.* Romanské umění v Čechách a na Moravě. Pr., 1983. S. 123—129, 171—172.
6. *Novák J. B.* Idea císařství Římského a její vliv na počátky českého politického myšlení // ČČH. 1924. N 1.
7. CDB. T. I.
8. CDB. T. II.
9. *Bláhová M.* Druhé pokračování Kosmovo // Sborník historický. Pr., 1974. T. 21.
10. *Třeštitk D.* Kristián a václavské legendy 13. století // Acta universitatis Carolinae: Studia historica XXI. Pr., 1981.
11. *Pekař J.* Die Wenzel- und Ludmila-legenden und die Echtheit Christians. Pr., 1906.
12. FRB. D. III. Č. 1.
13. Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, Pr., 1958.
14. Regesta. T. II.
15. *Urbánek R.* Počátky českého mesianismu // Českou minulostí: Václavu Novotnému k šedesátým narozeninám. Pr., 1929.
16. *Alexandreida / Vyd. V. Vážný.* Pr., 1963.
17. Monumenta medii aevi historice res gestes Poloniae illustrantia. Kraków, 1874. T. I.
18. *Třeštitk D.* Anfänge der böhmischen Geschichtsschreibung: Die ältesten Prager Annalen // Studia źródłoznawcze. Poznań, 1978. T. XXIII. S. 22—26.
19. *Třeštitk D.* Formularize czeskie XIII wieku, rękopisy i filiacja // Studia źródłoznawcze. W-wa—Poznań, 1962. VII. S. 44—45.
20. *Palacky F.* Ueber Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Pr., 1842. Bd. I.
21. *Duškova S.* Kdo byl notář Jindřich // Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1960. IX.
22. *Pośpiech M.* Problem autentyczności manifestu Przemysła Otokara II do książąt polskich // Studia historyczne. 1972. 15.
23. *Šusta J.* České dějiny. Pr., 1935. D. II, č. 1.
24. FRB. D. IV, č. 1.
25. *Mikulka J.* Letopisná literatura v Čechách a v Polsku o vzájemném poměru obou národností // Slavia. 1963. N 4.
26. *Mendl B.* Z předvesti českého humanismu: Pořadatel letopisů pražských // Sborník prací věnovaných J. B. Novákovi k šedesátým narozeninám. Pr., 1932.
27. *Šusta J.* Dvě knihy českých dějin. Pr., 1926. Kn. 1; Pr., 1935. Kn. 2.
28. *Флоря Б. Н.* Этнополитическое сознание немецкого населения в Чехии (на материале Збраславской хроники) // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988.
- 28a. Regesta. T. III.
29. *Graus F.* Die Nationalbildung der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen, 1980.
30. *Šusta J.* České dějiny. Pr. 1939. D. II, č. 2.
31. *Fiala Z.* Předhusitské Čechy. 1310—1419. Pr., 1968.
32. *Uhlíř Z.* Pojem zemské obec v tzv. kronice Dalimilove, jako základní prvek její ideologie // Folia historica bohemica, 9. Pr., 1985.
33. *Russocki S.* Spoleczno-polityczna świadomość rycerstwa śródkowowschodniej Europy przełomu XIII i XIV wieku // Z polskich studiów slawistycznych, 5. W-wa, 1978.

34. Šimák J. V. Ještě k dějinám českého dejepisectví // ČČH. 1932. Sv. 2.
35. Chaloupecký V. Jan z Dražic — poslední biskup pražský // Časopis společnosti přátel starožitností českých. 1908. 16.
36. Regesta. T. III.
37. Susta J. České dějiny. Pr., 1946. D. II, č. 3.
38. Chaloupecký V., Ryba B. Středověké legendy prokopské. Pr., 1953.
39. Palacký F. Dílo. Pr., 1940. T. I.
40. Susta J. České dějiny. Pr., 1948. D. II, č. 4.
41. Zachová J. Die Chronik des Franz von Prag. Pr., 1974.
42. FRB. D. IV, č. 4—5.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЧЕХОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV в.

Г. П. Мельников

С середины XIV в. в Чешском королевстве начинается новый этап исторического развития, характеризующийся расцветом чешской государственности в рамках Священной Римской империи. Правление Карла Люксембурга, в 1346 г. ставшего чешским и «римским» (германским) королем (с 1355 г. — императором, а «римским» королем стал вскоре его сын Вацлав), проходило под знаком новой государственно-политической концепции.

Как и во времена Пржемысла II, мы снова сталкиваемся с активной идеологической деятельностью монархии, распространяющей и пытающейся внушить чешскому обществу определенную совокупность представлений о Чехии, чехах и окружающем мире. Об этой системе представлений можно судить по материалам как многочисленных актов, издававшихся с конца 1340-х годов государственной властью, так и нескольких хроник (Франтишека Пражского, Бенеша Крабицы из Вейтмиле, Мариньолы, Пулкавы), писавшихся по прямому заказу монарха. Изучением этой системы представлений довольно много занимались, и ее можно считать хорошо исследованной (1, s. 261—328, 535—538).

С превращением Чехии в центр Священной Римской империи, а, по понятиям времени, тем самым и в центр всего христианского мира, возрождались традиции второй половины XIII в. об особом месте Чехии в ней и об особой исторической миссии чехов, но с одной существенной разницей. Во второй половине XIII в. развитие указанных представлений было связано с противопоставлением Чехии и Империи. Хронисты же и составители государственных актов Карла IV утверждали мысль о руководящей роли Чехии в самой Империи, что предполагало совпадение (пусть в самом общем плане) главных интересов обоих политических организмов и проживавших на их территории народов.

Это представление находило символическое выражение в актах, направленных на одновременную пропаганду двух связанных

между собой культов: культа св. Вацлава (патрона чехов) и культа св. Карла Великого (как патрона Империи) (1, s. 297—300; 2, s. 24). И в государственных актах, и в хрониках достаточно данных, подчеркивающих особое, почетное место Чехии в Священной Римской империи и в христианском мире вообще. В грамотах, вышедших из канцелярии Карла IV, Чехия неизменно именовалась «*membrum nobile*», «*imperii magni ficum et insigne membrum*» (3, s. 492—493). Это положение было закреплено изданной Карлом IV Золотой буллой 1356 г. (4). Придворные хронисты, прославляя деяния Карла IV, также подчеркивали, например, что, создав в Праге университет, он вознес Чехию над всеми остальными «*partes Alemannie*», «благодаря этому она сделалась известной и славной в чужих землях» (5, s. 451—455).

Все эти высказывания и оценки относились к Чехии как к государству, население которого было в ту эпоху по меньшей мере двуязычным. Однако наряду с этим в памятниках, связанных с правительственной деятельностью, есть суждения и оценки, имеющие в виду не только вообще жителей Чехии, но непосредственно чехов и их язык. Так, в Золотой булле указывалось, что имперские курфюрсты должны учить своих сыновей «славянской речи, чтобы их могли понять и они могли бы понимать, ибо в Империи проживает много народов» (6, II, s. 47—48). Это провозглашение принципиального равенства «славянского» языка с немецким в политической жизни Империи имело в виду, конечно, в первую очередь чехов и их язык. Впрочем, в документах, касающихся церковных построек Карла IV в Империи, прямо отмечалось, что их должны были обслуживать монахи «*nationalis boemice*» или — еще яснее — «*amabilis lingue boemicalis*» (7, s. 209—211; 2, s. 24). Из окружения Карла IV исходила и инициатива перевода Библии на чешский язык (8, s. 6).

Придворный хронист Карла IV Мариньола сочинил «родословие» чехов, согласно которому чехи (как и другие славяне) происходят от Яфета через сыновей его Гомера и Янана, являвшихся также родоначальниками галлов (французов), греков и итальянцев, и, следовательно, находятся в родстве с этими «славными народами» (9, s. 522). Эта теория получила столь широкое распространение, что позволила Иерониму Пражскому в 1415 г. с гордостью провозгласить на Констанцском соборе, что «чехи происходят от греков» (10, s. 178). Бенеш Крабце с гордостью сообщал о «неописуемой радости», которая охватила весь «народ чехов» («*omnem gentem Boemorum*») при получении известия о коронации Карла IV в качестве императора (11, s. 17).

Однако право чехов на особое, почетное положение, согласно анализируемой системе представлений, не противоречило в чем-либо интересам Империи. Наоборот, улучшение положения в Чехии отвечало интересам этого более обширного политического организма. Ведь монарх, как полагали, был намерен умножить силу и славу «нашего наследственного чешского королевства» и «его славного потомства», но ведь само «славное потомство этого коро-

левства служит к славе Священной Римской империи» (12, s. 80—83). Университет в Праге был основан для «честь и блага» Чешского королевства и его «жителей», но также и для всего христианского мира, откуда могут приходиться в Прагу магистры и учащиеся (12, s. 80—83).

Карлу IV и его окружению было чуждо получившее в предшествующий период в среде чешского духовенства и дворянства представление о «Чехии для чехов». В официальных памятниках этого времени нет никаких выпадов по адресу немцев, проживающих как в Чехии, так и за ее пределами. В своих актах Карл IV постоянно изображал себя как правителя, не делающего различий между своими подданными разных национальностей. В ситуациях, могущих способствовать возникновению межэтнических конфликтов, правительство Карла IV проявляло деликатность. Так, из составленного в это время обряда коронации чешского правителя видно, что в нем участвовали только чешские подданные, но это никак не подчеркивалось (13, s. 787—789).

В 1348 г. Карл IV обратился к главе цистерцианского ордена с протестом против того, чтобы орденские власти закрывали свои обители для местных уроженцев. Конфликт восходил к более раннему времени, но если тогда речь прямо шла о чехах, которых не допускают немецкие монахи, то Карл IV защищал права «*regnicolas nostras*», т. е. всех жителей королевства, независимо от этнической принадлежности (14, s. 361).

Рассмотренную выше идеологию можно назвать «официальным государственным патриотизмом». Он был присущ окружению Карла IV и высшей иерархии чешской церкви, о чем свидетельствуют памятники письменности и изобразительного искусства, вышедшие из этих кругов. В оценке официального патриотизма исследователи расходятся: большая часть их не видит в нем никаких элементов «национального» самосознания, считая этот тип патриотизма чисто феодальным территориально-государственным (2, s. 9, 28, 32; 15, s. 25; 16, s. 145; 17, s. 17; 18, s. 289). Другие, наоборот, краеугольным камнем официального патриотизма считают «национальные» чувства (19, s. 140—171). Причем и те и другие оперируют одними и теми же цитатами из источников. Очевидно, решение проблемы состоит в уяснении многосоставности и иерархичности сознания средневекового человека и в понимании того факта, что этническое самосознание отражает представление не просто о своем этносе, а об этносоциальном организме и, следовательно, сознание подданства своему государству (включая патриотические настроения) — также естественный элемент этнического самосознания. На наш взгляд, этническое самосознание, безусловно уже сложившееся, было интегрировано в систему государственного патриотизма, входившего в свою очередь в концепцию *Pax Christiana universalis*.

Превращение Чехии в политический центр Римской империи в той конкретной ситуации также объективно способствовало укреплению чешской государственности и росту самосознания чеш-

ской феодальной народности, создавало основы для формирования «национальной гордости» чехов в европейском масштабе.

Характерно, что именно на указанные десятилетия приходится рост внимания правительства к чешским государственно-историческим традициям: древние реликвии включались в процедуру коронации, создавались памятники искусства и литературные тексты, связанные с культом патрона Чехии и чехов — Вацлава (1, s. 297—300, 335, 344—347), наконец, была предпринята попытка создать новое историческое произведение о прошлом Чехии — хронику Пулкавы, дошедшую до нас в нескольких редакциях второй половины XIV в. как на латинском, так и на чешском языках.

Хроника Пулкавы подробно освещала вопрос о происхождении чешского народа. Ее «этногенетический» раздел начинается с библейских реминисценций: после разрушения вавилонской башни образовались различные «языки» (термин понимается как «народ-речь»), среди них и «*řeč slovanská*», по которой «*lidé toho jazyka Slované jsu nazváni*». Приводится этимология этого этникона от слова «слово»: «*A takž od slova. . . nazváni jsú ti lidé Slověné*». Затем славяне заселили север Балкан. «Один человек из Хорватии по имени Чех», убивший вельможу, был вынужден бежать со своим родом. Он нашел новую «родину» на территории позднейшей Чехии, названной так по его имени, а по-немецки «*Vemen*». Так чехи вычленились из южнославянских народов, поэтому хронист при объяснении этимологии названия страны уже различает «славянский» и «чешский» языки. Сама эта этимология весьма примечательна: «Названа эта страна по-латыни Богемией от имени божьего». Хронист проводит мысль, что латиноязычный западный мир, зная славянское слово «бог» и исходя из него, назвал страну потомков Чеха «Богемией», т. е. «божьей страной». Затем приведен рассказ о Чехе и о его брате (или приятеле) Лехе, потомки которого заселили Польшу. После этого сказано, что славяне населили известные средневековому европейцу славянские земли (20, s. 212). Версия о происхождении Чеха из Хорватии встречается впервые у Далимила, но лишь у Пулкавы сформулирована концепция славянского родства, в которой чехам отведено центральное звено между южными славянами, с одной стороны, и поляками, русскими и поморскими славянами — с другой; они являлись к тому же и «*богоизбранным*» народом.

Содержание начальных глав хроники Пулкавы показывает не только присутствие в официальной идеологии понятия «славянская общность», но и определенное изменение его содержания по сравнению со второй половиной XII в. В это понятие включаются теперь не только католические (как поляки), но и православные народы. Дополнительным доказательством этого может служить письмо Карла IV сербскому деспоту Стефану Душану. В письме указывалось на «*Humane parilitatis consorcium*» и «*lingue nativitatis communis*», воздавалась похвала «*nobile Slavicum ydioma*» (21, p. 767). Разумеется, при этом отношение к отдельным славянским народам не было одинаковым (22, p. 180—186).

По контрасту с предшествующим периодом, когда идея славянского родства включала в себя прежде всего тесные отношения с Польшей, в эпоху Карла IV господствует пренебрежительное отношение к ней (23, 24, 25). Это подчеркивалось и в ставшей благодаря хронике Пулкавы официальной легенде о Чехе и Лехе, где Лех занимал подчиненное Чеху положение, и в неуважительной титулатуре Казимира лишь как «краковского» короля в автобиографии Карла IV (20, s. 212; 26, VIII).

Чешская версия хроники Пулкавы была хорошо известна в Польше, что не могло способствовать развитию дружественных чувств между двумя близкими народностями. Более того, полонифобия Пулкавы возмущала польских читателей, о чем имеется любопытное свидетельство — список этой хроники с пометами, вставками и вымарыванием текста в тех местах, где речь идет о поляках (23, s. 494). В грамотах Карла IV, адресованных польскому королю, проводится мысль об общности исторических судеб двух стран, «идущих в будущее одним шагом и с одинаковой судьбой». Однако и здесь, в дипломатической переписке, делается акцент на том, чтобы Польша относилась к Чехии как послушный сын к ласковому отцу (21, p. 222).

Чехи же как «младшие» выступали лишь по отношению к южным славянам. Исток единства всех славян стали видеть на Балканах. По-видимому, эти соображения оказали влияние на решение Карла IV в 1347 г. пригласить в Прагу из Хорватии бенедиктинских монахов-глаголитов, которые в основном для них монастыре на Слованах (Эммаусы) должны были служить литургию на славянском языке. Позднее, обосновывая эти действия Карла IV, Ян из Голешова в «Толковании на песню святого Войтеха» «*Nosprodine pomiluj nu*» (1397) пишет, что «мы, чехи, и родом и языком происходим от хорватов. . . поэтому наш чешский язык по происхождению есть язык хорватский», причем он тождествен церковнославянскому языку, «и кто хочет, может в этом убедиться в Праге у славянских монахов». Следовательно, именно с «прародины чехов» — Хорватии были приглашены в Прагу бенедиктинцы-глаголиты с литургией на «древнечешском» языке, ибо «чехи тогда говорили именно так, как сейчас хорваты» (13, s. 739—740). Обращение к своему «этногенезу» следует рассматривать как составную часть оживления исторического сознания чешского общества. С другой стороны, призвание глаголитов явно находилось в тесной связи с геополитическими и универсалистскими концепциями Карла IV. Этот шаг должен был способствовать утверждению равноправия славян с другими народами христианского мира и превращению Чехии в центр деятельности по приобщению православных народов к католической вере.

Эммаусский монастырь имел большое значение для чешского общества. Он не только утверждал идею славянской общности, но и укреплял убеждение в том, что именно чехи являются сейчас ее носителями и центром славянского мира. Характерен подбор святых патронов монастыря. Он был посвящен исключительно

«славянским» (по представлениям того времени) святым: Иерониму, освятившему славянский язык переводом на него библии *; миссионерам Кириллу и Мефодию ** (первому моравскому архиепископу), осуществившим на основе преемственности от Византии римско-славянский синтез; Войтеху, гнезненскому архиепископу из старого чешского рода Славниковцев, мученически погибшему при христианизации восточноевропейского населения; Прокопу, чешскому аббату, основавшему Сазавский монастырь с богослужением по римскому обряду на церковнославянском языке, т. е. именно с такой литургией, которая была в основываемом Эммаусском монастыре. Деятельность Эммаусского монастыря затронула многие стороны общественной и культурной жизни Чехии, она способствовала тому, что чехи в большей мере, чем прежде, стали осознавать себя частью славянства, причем — и это было новое — ее главенствующей частью.

Каково же было соотношение между официальной идеологией, охарактеризованной выше, и представлениями и настроениями различных кругов чешского общества? Характерно, что полного тождества не было даже между официальными установками и взглядами придворных хронистов. Так, работавший по заказу Карла IV Франтишек Пражский с удовлетворением писал о том, что Вацлав — «patronus noster» — покарал пражских немцев, усомнившихся в его святости (5, s. 426). Ясно, что его взгляд на чешско-немецкие отношения в стране отличался от взглядов монарха.

Еще более существенно было различие между официальной идеологией и взглядами чешского дворянства, которые проявлялись наиболее ярко в отношении к живущим в Чехии немцам. Оппозиция «чехи—немцы», в официальной идеологии универсализма невозможная, здесь как раз была определяющей в этнополитических и идеологических представлениях. Шляхта считала Чешское королевство государством исключительно чехов, где немцы не имеют никаких освященных традицией прав и рассматриваются как пришельцы, «откуда-то какие-то иноземцы», по выражению автора чешской стихотворной Легенды о св. Прокопе (28, s. 66; 28a). Интересна в этой связи эволюция трактовки термина «Bohemus». В середине XIV в. он означал как чехов, так и чешских немцев, что четко сформулировано Франтишеком Пражским (5, s. 451). К началу XV в. этот политоним становится уже недостаточным для определения собственно чехов, которые стали в таком определении нуждаться. Поэтому для адекватной передачи понятия «чех» (Čech) в чешской латиноязычной литературе начала XV в. потребовались уточняющие определения: *rigus Bohemus*

* Иероним уже с XIII в. считался славянином и автором славянского перевода библии. С середины XIV в. его культ получил в Чехии особое распространение (27).

** Культ создателей славянской письменности, известный в Чехии и ранее, именно в это время получил полное официальное признание с учреждением в 1349 г. специального церковного праздника в их честь.

(у Иеронима Пражского) и *vergi Bohemi* (у Яна Есеница) (16, s. 39—43).

Показательно, что хронику Далимила во второй половине XIV в. продолжали распространять и переписывать. Определенным продолжением линии «национального экстремизма» Далимила стал возникший во второй половине XIV в. острый антинемецкий памфлет «*De Theutonicis bonum dictamen*» (29; 30, s. 253—256; 31, s. 221—223; 16, s. 24, 28). В нем очень много общего с хроникой Далимила: автор также порицает коварство немцев, которые приходят в страну сначала как покорные дворовые слуги, а затем овладевают городами и землями, вытесняя местных уроженцев из королевского совета; он враждебен и к горожанам-немцам, создающим цехи, чтобы повысить цены на свои товары; он проповедует, наконец, полное изгнание чужеземцев из страны. Но налицо в памфлете и нечто новое: автор доказывает, что немцы — это *gens servilis*, никогда не имевшие своего государства, а подчиненные власти чужого государя — римского императора, которого немцы стремятся лишить реальной власти в Империи. В условиях, когда императорский трон длительное время находился в руках чешских правителей, эти утверждения приобретали определенную направленность. Таким образом, под влиянием официальной идеологии в сознании чешского общества возродились представления об Империи как надэтничном (а не национально-немецком) политическом единстве. Но выводы при этом были сделаны совсем не те, какие делались правительством Карла IV.

Позиция шляхты нашла отражение в центральном юридическом памятнике эпохи — законнике «*Majestas Carolina*», где в соответствии с традиционными требованиями содержался пункт, по которому все должностными в Чешском королевстве должны занимать лишь лица, владевшие чешским языком (исключая тех, кто получит должность по милости короля) (13, s. 794). Тот факт, что речь идет о памятнике, составленном по инициативе самого монарха, показывает, что в отличие от своего отца Карл IV был готов идти навстречу требованиям чешских феодалов и не ограничивал их прав на участие в управлении страной. Такая позиция должна была содействовать ослаблению антинемецких настроений чешского дворянства. Отсутствие данных о каких-либо серьезных конфликтах между монархом и чешскими феодалами на этой почве является также доводом в пользу того, что настроения, так резко проявившиеся в памфлете, нельзя считать характерными для позиции чешского дворянства в целом. Также следует при этом учитывать, что чешское дворянство извлекало определенные выгоды от политического возвышения Чехии. Есть основания говорить и об инспирирующем влиянии на рост самосознания чешского дворянства правительственных актов, пропагандировавших идею равноправия чешского языка с языками других народов.

Общественное значение первого перевода библии на чешский язык, возникшего в 1360-х годах по инициативе правящих кругов для нужд Эммаусского монастыря или для деятельности связан-

ных с двором проповедников, было ограниченным, ибо при существовавшем запрете мирянам читать библию на родных для них языках чешская библия оставалась доступной лишь части клириков (8, s. 57—60). Бóльшим общественным резонансом обладала оригинальная чешскоязычная светская и духовная литература, для которой вторая половина XIV в. была периодом подъема: она выросла количественно и качественно. Особо почитались старые чешские духовные песни «Hospodine pomiluj nu» и «Svatý Václave»; первая фиксация последней содержится в хронике Бенеша Крабицы (5, s. 538). Однако, несмотря на подъем чешского языка, реальная языковая ситуация рисовалась стороннему наблюдателю несколько иной: страбургский хронист Я. Твингер отметил, что «в Праге и во всей Богемской земле повсюду пытаются говорить по-немецки, так что никто богемский язык не ценит» (30, s. 256).

Какие сдвиги в самосознании чешского дворянства сопровождали процесс становления чешского литературного языка и литературы на этом языке, показывает анализ чешскоязычных сочинений рыцаря Томаша Штитного. По его мнению, для морального воспитания общества необходимо совершенствование в благочестии, которое невозможно без освоения мирянами библии и богословской литературы, поэтому необходимо переводить ее на чешский язык и создавать оригинальные правоучительные трактаты именно на понятном всем чехам языке. Осуждая чешскую фривольную литературу, Штитный пишет, что «хорошо читать по-чешски в замках, или где угодно», чтобы «иметь к богу доброе устремление».

Необходимо усердно «писать чешские книги, относящиеся к священному писанию, ибо тогда каждый сможет понять, какая это хорошая вещь — читать священное писание». Для этого необходимо равенство чешского языка с другими, ибо богу также любезен «*Cech jako latinnik*». Свое требование языкового равенства Штитный обосновывает ссылкой на христианские авторитеты: «Да и св. Павел, кому бы ни писал эпистолы, писал их на их же языке: евреям по-еврейски, грекам по-гречески. Поэтому не кажется мне, что было бы плохо для чехов писать чешские книги, которые могли бы. . . научить добрым чувствам». Равенство чешского языка Штитный ставит в прямую зависимость от равенства чехов среди иных народов, в чем нельзя не видеть результатов универсалистской политики Карла IV. Штитный понимал необычность своих предложений и трудности, связанные с изложением богословских материй на чешском языке: «Для меня эти речи были бы грубы и, очевидно, для вас, ибо на чешском языке они непривычны («необуђеjну»)). Поэтому ему пришлось разработать чешскую богословскую терминологию (32, s. XV, XXII, 3—4). Деятельность Штитного имела сугубо религиозные цели, но объективно его «христианское просветительство» способствовало не только развитию чешского языка и литературы, но и усилению роли мирян в идейной и духовной жизни чешского этноса.

Особое положение в системе этнических отношений в Чехии занимали города, биетничные по составу населения. В результате немецкой городской колонизации предшествующего периода именно города стали в Чехии тем центром, где фокусировались этнические противоречия. Вначале чешско-немецкий антагонизм совпадал здесь с социальной стратификацией: патрициат и значительная часть ремесленников были немцами, на долю чехов, составлявших меньшинство, оставались менее престижные и доходные ремесла и поденная работа. Однако с середины XIV в. начинается процесс чехизации городов (33). Чешский элемент стал распространяться среди ремесленников почти всех специальностей и проникать в среду патрициата. С другой стороны, ряды городской бедноты пополнялись немцами, приходившими из Германии в поисках заработка. Таким образом, этнически смешанными (в разных пропорциях) стали все слои городского населения, и к началу XV в. в городах этническая и социальная стратификация уже не совпадали. Наряду с городами, где большинство составляли немцы, появились города с преобладанием чешского элемента, в других же он постоянно увеличивался. Этот процесс нарастал по мере приближения к гуситскому движению. Наибольшую эволюцию здесь претерпела столица королевства — в Праге к концу XIV в. немцы уже составляли меньшинство. Дальнейший процесс эмансипации чешского элемента в городах и его самоутверждения следует объяснить уже не только социальной, но и политической борьбой — за завоевание мест в органах городского самоуправления, являвшихся монополией немецкого патрициата. Об успешном ходе этого процесса говорит тот факт, что в канцелярии Старого Места с 1340-х годов в общественно-правовых документах немецкий язык был вытеснен латынью. Этническое самосознание чешского населения городов, освободившись от прямой зависимости от социального членения, стало, по-видимому, приобретать форму чисто этнического антагонизма. Однако за весь предгуситский период почти нет свидетельств об этнически мотивированных конфликтах в городах. Очевидно, это связано с развитием в них немецко-чешского симбиоза, т. е. процесса, развивавшегося в противоположном вышеуказанному направлении, но находившегося с ним в диалектическом единстве. Внешне симбиозу способствовали этническая индифферентность городского и цехового права, смешанные браки и развитие билингвизма у значительной части населения, причем не только чехи говорили по-немецки, но также и в немецкой среде (и это чрезвычайно показательно) знали чешский язык. Прекращение притока немцев из Германии при одновременном притоке чешского сельского населения в города и некоторые мероприятия верховной власти были для немцев серьезной причиной к ассимиляции. В упоминавшейся статье законника «*Majestas Carolina*» занятие всех должностей в королевстве, в том числе и в городских магистратах, обуславливалось знанием чешского языка (13, s. 794). Известен королевский приказ о паритетном представительстве

чехов и немцев в магистрате Бероуна и о равном праве представителей обоих этносов заниматься любым ремеслом и приобретать недвижимость (34, s. 229). Напомним, наконец, что в обряде коронации монарха участвовали лишь горожане-чехи. Таким образом, в чешско-немецких отношениях в городах предгуситского времени именно чешский элемент выступал как активный, наступающий. Это, безусловно, связано с объективным процессом чехизации городов.

Этническое самосознание чешских горожан проявилось в последнее десятилетие XIV в. также в разнообразной материальной поддержке, оказывавшейся чешским бюргерством еще одной группе в составе чешского этноса — университетской пражской интеллигенции (16, s. 29—30), начало формированию которой было положено с основанием в 1348 г. университета в Праге. Основанный не только в качестве чешского университета, но в соответствии с общим направлением политики Карла IV в качестве одного из главных культурных центров Империи, университет как корпорация делился на четыре нации, объединявшие профессоров и студентов разной этнической принадлежности (лишь одна из них была чешской). Большую часть трех нечешских наций составляли немцы, что автоматически обеспечивало немецкой профессуре решающий голос во всех делах, касавшихся университета. По мере того как росло число студентов и профессоров чешской «нации», такое положение в университете, ограничивавшее возможности продвижения для местных уроженцев, становилось для них все более нетерпимым, в особенности потому, что университетская верхушка пыталась в еще большей мере изменить университетские статуты в свою пользу. На этой почве уже в 1384 г. вспыхнул конфликт, продолжавшийся несколько лет (35, s. 62—66). Это не могло не способствовать подъему этнического самосознания чешских преподавателей и студентов Пражского университета. Не случайно один из них завещал университету в 1388 г. свое имущество, специально оговорив, что им могут пользоваться лишь те студенты, которые «sint de nacione Военогоum ex utroque parente» («происходят по отцу и матери из чешской нации») (35, s. 65).

Наметившееся к этому времени сближение чешской университетской интеллигенции и чешского бюргерства создавало предпосылки для новой расстановки сил в чешском обществе, имевшей серьезные последствия для дальнейшего развития чешской народности.

Таким образом, процессы, наметившиеся в середине XIV в., во второй половине столетия получили дальнейшее развитие. Рядом с официальной идеологией, включавшей чешское этническое самосознание в систему имперского универсализма, выступали подчас существенно от нее отличавшиеся взгляды и представления разных социальных слоев чешского этноса. Круг социальных групп, чьи взгляды получали отражение в письменных источниках, расширился: в него включились чешское население

городов и пражская университетская интеллигенция, связанная по взглядам и происхождению с бюргерством, мелкой шляхтой и низшим духовенством. Активная роль этих слоев в упрочении самосознания народности для данного периода — особенность чешского развития, не имеющая аналогий в других странах изучаемого региона.

1. *Spěvůček J.* Karel IV. Pr., 1980.
2. *Novák J. B.* Patriotismus Karla IV // ČČH. 1926. N 1.
3. *CJB.* II/1.
4. *Fontes juris germanici antiqui in usum scholarum.* Weimar, 1972. Bd. XI.
5. *FRB.* IV.
6. *Zeumer K.* Die goldene Bulle Kaiser Karls IV. Weimar, 1908.
7. *Navrátíl K.* Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté u sv. Karla Velikého. Pr., 1887.
8. *Kyas V.* První český překlad bible. Pr., 1971.
9. *FRB.* III.
10. *Šmahel F.* Jeroným Pražský. Pr., 1966.
11. *Novák J. B.* Idea císařství Římského a její vliv na počátky českého politického myšlení // ČČH, 1924. N 1.
12. *CJM reg.* B. I.
13. Výbor české literatury od počátků po dobu Husovu. Pr., 1957.
14. *Palacky F.* Ueber Formelbücher zunächst in Bezug auf böhmische Geschichte. Pr., 1842. Bd. I.
15. *Graus F.* Die Bildung eines Nationalbewusstseins im mittelalterlichen Böhmen // *Historica* (Pr.). 1966. T. XIII.
16. *Šmahel F.* Idea národa v husitských Čechách. České Budějovice, 1971.
17. *Spěvůček J.* Myšlenkové zdroje státotvorného úsilí Karla IV // Literární měsíčník. 1978. N 6.
18. *Fiala Z.* Předhusitské Čechy. Pr., 1978.
19. *Kalista Z.* Karel IV. Jeho duchovní tvář. Pr., 1971.
20. *FBR.* V.
21. *Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geylahusen* / Ed. H. Kaiser. Innsbruck, 1900.
22. *Paulová M.* L'idée cyrillo-méthodienne dans la politique de Charles IV et la fondation du monastère slave de Prague // *Byzantinoslavica.* 1950. N 2.
23. *Mikulka J.* Letopisná literatura v Čechách a v Polsku o vzájemném poměru obou národností // *Slavia.* 1963. N 4.
24. *Heck R.* Problem słowiański w średniowiecznej historiografii czeskiej // *Europa — Słowiańszczyzna — Polska; Studia ku uszczeniu Profesora Kazimierza Tymienieckiego.* Poznań, 1970.
25. *Heck R.* Uwagi o rozwoju polskiej i czeskiej świadomości narodowej w średniowieczu // *Studia nad rozwojem narodowym Polaków, Czechów i Słowaków.* Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk, 1976.
26. *VKQ.*
27. *Krásá J.* K ikonografii sv. Jeronýma v českém umění // *Z tradic slovanské kultury v Čechách: Sázava a Emauzy v dějinách české kultury.* Pr., 1975.
28. *Dvě legendy z doby Karlovy.* Pr., 1959.
- 28a. *Мельников Г. П.* Прокопские легенды как источник для изучения этнического самосознания чехов в XIV в. // *Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе.* М., 1988. С. 35—54.
29. *Wostry W.* Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Böhmen aus dem XIV Jh. // *Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.* 1915. 53. S. 193—238.
30. *Šusta J.* Karel IV. Za císařskou korunou. Pr., 1948.
31. *Graus F.* Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen, 1980.

32. *Tomáš ze Štitného*. Knížky šestery o obecných věcech křest'anských. Pr., 1852.
33. *Smahel F.* Výsledky a výhledy výzkumu národnostní skladby českých měst od konce 13. do počátku 15. století // *Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918*. Martin, 1984.
34. *Regesta*. T. VI/2.
35. *Bartoš F.* Čechy v době Husově 1378—1415. Pr., 1977.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ЧЕХИИ В XII—XIV в.

Г. П. Нецименко

Понятие этнического самосознания имеет *комплексный* характер, представляя совокупность тесно взаимосвязанных компонентов, значимость которых у различных этносов, равно как и в разные периоды жизни одного и того же этноса, варьируется под действием политико-экономических, а также этнокультурных факторов. Важное место в этом понятии занимает проблема языка этноса. По мере развития этнической общности, совершенствования ее экономических, политических, социальных институтов изменяется и смысловая наполненность языковой проблемы. Так, если на ранних этапах существования этноса его члены начинают осознавать *сходство/отличие* своего языка от языков, с которыми он находится в контакте, то впоследствии с особой остротой встает вопрос о необходимости *единого* для всей этнической общности языка как неперменного условия самосохранения народа, укрепления государственности. По мере становления литературного языка приобретает актуальность проблема его *культуривования, наращивания* общественных функций, т. е. превращения в *полифункциональное самодостаточное* средство коммуникации в обществе.

Восстановление с достаточной точностью картины древнечешской языковой ситуации затрудняет неполнота и мозаичность сохранившихся памятников письменности, а также невозможность экстраполяции современных потребностей общения на коммуникацию древнечешского этноса. По естественным причинам за пределами наблюдения остается и огромный массив устной речи — по мнению ученых, в ту пору владело грамотой не более 2—3 % населения (это был социально маркированный слой — духовенство, поскольку очагом распространения образования служили школы при храмах и монастырях).

По общепринятому мнению, чешский язык стал использоваться в функции *письменного, литературного*, со второй половины (или же с конца) XIII в. Первыми сочинениями на чешском языке, сохранившимися в виде связных текстов, являются духовные песни «*Svatý Václave*», «*Slovo do světa stvořenie*» (Островская

песнь), «Vítaj, král'u všemohúcí» (Молитва Кунгуты). В отношении песни «Hospodine pomiluj nu» мнения исследователей расходятся: одни (1; 2; 3) считают ее памятником древнечешкой письменности, восходящим к старославянскому оригиналу (т. е. XII или даже X—XI вв.); другие (4; 5; 6 *) в составе древнечешских памятников ее не называют. К XIII в. относят и перевод на чешский язык псалтыри (в середине XIV в. была переведена и вся библия), а также юридические тексты (обычное право) в памятнике «Kniha gozmberská».

Имеются, впрочем, более ранние письменные фиксации чешского языка вначале в виде отдельных слов (имен собственных, топонимов, реже имен нарицательных) в текстах иноязычных памятников (к примеру, старославянских или чаще латинских). Большое количество богемик ** встречается на монетах, печатах, в текстах латинских грамот ***, судебных записей, в формулярах для писцов (образцы писем и грамот на латыни), в некрологах, хрониках и т. д. Более 750 чешских имен собственных было вписано в начале XIII в. в Подлажицкий некролог; около 300 топонимов и имен собственных имеется в тексте хроники Козьмы XII в. (8, с. 155). Множество глосс обнаружено в рукописи толкового латинского словаря библейской лексики «Mater verborum», предназначенного для проповедников (первая половина XIII в.): brieza, káně, kletce, lútká, lúč, skrivanec, slad, člunek, cievka и пр. В числе этих глосс — обозначения реалий из сферы сельскохозяйственного труда, ремесел, предметов домашнего обихода. Чешские эквиваленты латинских обозначений предметов материальной культуры имеются в Хебской библии (ср.: kúpica 'деревянная чашка', góžku 'инструмент для кровопускания' и т. п.). Чешские примеры входят в состав грамматических толкований в сочинениях Абрахама Хладака (6, с. 34).

В связи с тем, что наиболее ранние фиксации чешского языка датируются VIII—IX веками, исторический период чешского языка обычно исчисляется с IX в.****

Начиная с XII и особенно с XIII в. встречаются глоссы в виде развернутых текстовых фрагментов, представляющих собой перевод латинских предложений; ср., например, «Homiliář orato-vický», «Túlec svatého Bonaventury» *****. К началу XIII в. отно-

* Р. Вечерка определяет ее как старославянский памятник чешской редакции (6, с. 23).

** В числе раннеписьменных фиксаций обычно выделяются *богемизмы* (чешские фонетические, морфологические или же лексические элементы в составе старославянского текста), *богемики* (чешские элементы в составе текста на латыни или же другом неродственном языке), *глоссы* (перевод отдельных слов или же отрывков иноязычного текста), *приписки* (небольшие комментарии на чешском языке или пометы, непосредственно не связанные с иноязычным текстом) (7, с. 11).

*** Известно около 6000 таких грамот (4, с. 19).

**** Период с конца X по середину XII в. определяется как прачешский (7).

***** «Hore mnye hospodyne mog. nebo otteusad mnye bog y valka. otteusad letye.otteusad nebezpecenstwie. otteusad priekaza y skoda. Kamos-

сятся первые два предложения на чешском языке, включенные в фундаментальную грамоту Литомержицкого капитула, — (в транскрипции) «Pavel dal jest Ploskovicích zem' u/Vlach dal jest Dolás zem' u bogu/i sv'atému Ščepánu se dvěma/dušníkoma, Bogučēja a Sedlatu» (3, s. 31).

Анализ раннеписьменных фиксаций чешского языка важен не только в собственно лингвистическом аспекте, так как позволяет составить некоторое, пусть даже неполное, представление об особенностях чешского языка этого периода. Опираясь на данные этого анализа, можно с уверенностью утверждать, что уже в X—XII вв. чешский язык, еще не являясь языком письменности, был тем не менее не только средством общения в быту, но и удовлетворял коммуникативные потребности, связанные с «развитыми формами феодального строя, с возникновением городов и с развитием в них специализированных ремесел в эпоху последних Пржемысловцев, начиная с XIII в.» (1, с. 21). Иными словами, чешский язык выполнял функции *устного культурного идиома*. В этом своем качестве он использовался как вспомогательный язык для распространения христианского вероучения — последнее стало особенно необходимым, когда в Чехии с конца XI в. литургическим языком стала исключительно латынь, язык, непонятный для большей части верующих (использование чешского языка в литургии стало возможным лишь в гуситский период). Очень рано чешский язык начал применяться в административно-правовой сфере; ср. его использование в чешском земском суде (вторая половина XIII в.), хотя протоколы велись на латыни.

Широту функционального спектра чешского устного культурного языка подтверждает анализ терминологической лексики раннеписьменного периода. Особенно многочисленным является пласт религиозной терминологии, отражающий сильное влияние старославянского языка (bóh, duch svatý, duša, mučeník, spas, prvénes, hřiech, hřiešník, zákon, vzkříšenie); латино-немецкое влияние можно иллюстрировать такими примерами, как biřmovati, faga, žalm, jěptiška, ofěra, almužna; ср. также лексемы чешского происхождения kázati, sbožný и др. (8, с. 156). К раннеписьменному периоду относится и лексика из области феодального права и судебного делопроизводства; ср.: glava 'убийство', párok 'преступление, сопровождающееся причинением ущерба', róvod 'истец', grdost 'посягательство на имущество'. Примечательны и обозначения платежей: chomútné, otchodné, grnečné, gostiné, žitné и пр. Многочисленными примерами представлена терминология феодальной государственности; ср.: kmet, vláduka или же новообра-

koliwyek sye obrachu. ygednoho nykdyes nenyе bezpecenstwie. ylubez-
neho ytusebneho sye bogu ylacnost y gyedenie y sitost. yssea ybdyneny
yusyle upocog yotpciuanye boigu proty mnye» (конец XIII в. —
«Túlec svatého Bonaventury») (6, s. 35).

зования (dušník, zeměnin, podčěšie, podkonie, panošě, berně и пр.), освоенные заимствования типа hrabie, markrabie, rytieř, léno, lán, koňšel, komorník и др. (8, с. 157). Имеется терминология, связанная с трудовой деятельностью — занятиями сельским хозяйством, ремеслами: črtadlo 'плуг', сěv, člunek, klubko (8, с. 159—160). Достаточно обширна и чешская ботаническая терминология («Olomoucký rostlinář», конец XIII или же начало XIV в.); ср. названия целебных трав: bez, jmelo, kopr, kopytník, kmín, lebeda, mateřie líčko, netřesk, podražec, strašie počka, vratič и пр. (9). В «Mater verborum» имеется около 340 чешских глосс из области естествознания (čistec 'олово', hlemýžď, vápenný kámen, žlútek); медицины (baňky púščedlné, žlázy, kýlovec 'человек с грыжей'), язычества (vlchovec, poludnicě), сельского хозяйства, ремесел и других сфер жизни.

Таким образом, ко второй половине XIII в. чешский язык располагал богатым словарным составом, обеспечивавшим возможность его использования в широком функциональном диапазоне.

Ниже мы попытаемся дать общую характеристику языковой ситуации, сложившейся в чешском этносе исследуемого периода. При этом особое внимание будет обращено на такие вопросы, как тип языковой ситуации (т. е. является ли она моно- или же полиязычной), набор форм существования этнического языка, распределение этих форм в системе коммуникации того времени, состав носителей языка и т. п.

Дифференциация любого языка на отдельные формы его существования находится в соответствии с коммуникативными потребностями общества. В этой связи выделяются две основные сферы коммуникации, в рамках рассмотрения которых и будут ниже намечены основные языковые тенденции, характерные для развития чешского языка исследуемого периода.

Сфера А — коммуникативная сфера *официального* общения, охватывающая *высшие* коммуникативные функции.

Объем высших коммуникативных функций и их соотносительная значимость не являются раз навсегда данными, они меняются в зависимости от конкретно-исторических условий существования этноса. Так, на ранних этапах главенствующую роль играет отправление культа (и соответственно роль языка как средства литургии, религиозно-пропагандистской и религиозно-воспитательной деятельности), начальные формы административно-правовой деятельности.

Для осуществления высших коммуникативных функций необходим языковой идиом с достаточно высокой степенью обработанности, устойчивой нормой, богатым, стилистически дифференцированным словарным составом, развитым синтаксисом и т. п. Если язык этноса по тем или иным причинам не может удовлетворить названные требования, вместо него используется *иной* язык с более длительной культурной традицией и, следовательно, с более высокой степенью обработанности. Именно так и обстояло дело в чешском этносе указанного периода.

Языковое обеспечение сферы А на протяжении XII—XIV вв. у чехов было *полиязычным*. На практике это проявлялось в том, что на самом раннем этапе (с конца IX и по XI в.) в культурной сфере использовались старославянский язык (прежде всего) и латынь. Употребление старославянского языка, не вызывавшего у чешского населения антагонистических эмоций, так как это был близкородственный и, следовательно, понятный народу язык, имеющий высокий статус литургического языка (наряду с греческим и латынью), сыграло важную роль в укреплении этнического самосознания чехов, стимулировало развитие культурных функций этнического языка, способствовало обогащению «культурного» слоя чешского языка, существенно пополнив его прежде всего за счет религиозной терминологии. Старославянская лексика легко вписывалась в лексическую систему чешского языка, не нарушая внутренних языковых закономерностей.

После вытеснения старославянского языка, с конца XI и вплоть до конца XIII в., в этой сфере доминировала латынь (а отчасти также немецкий язык). Вместе с тем на протяжении всего этого периода в сфере А использовался и чешский язык в виде его *устной культурной разновидности*. Функциональный спектр латыни (как в устной, так и в письменной форме) был весьма широк, однако этот язык имел относительно узкий, социально маркированный круг носителей и адресатов: литература на латыни создавалась духовенством, и предназначалась она также в первую очередь для духовенства. Позиции латыни продолжали оставаться сильными и в XIV в., однако тогда в культурную сферу уже полностью включился чешский язык. В этот период латиноязычная литература стала более разнообразной в жанровом отношении. Появляются, к примеру, прозаические сочинения по истории, описания путешествий, произведения любовной (а не только духовной) лирики, идет активный процесс секуляризации литературы. Со времени основания Карлова университета (1348) происходит некоторое расширение социального состава лиц, владеющих латынью, — формируется интеллигенция (преподаватели университета, студенты, определенные круги дворянства, бюргерства и т. п.). В это же время появляются и научные сочинения на латыни; ср. трактат Яна из Голешова, посвященный анализу языковых особенностей песни «*Nosprodiue romiluj nu*», лексикографические труды мистра Кларета (Бартоломея из Хлумца), включающие, впрочем, и обширные тексты на чешском языке. Применение латыни в целом не вызывало у чехов противодействия, так как она имела авторитет, освященный церковью. Среди авторов, пользующихся латынью как международным языком культуры, было немало чехов.

Иное отношение вызывало подчас использование немецкого языка, поскольку его распространение было связано с вторжением чуждого этноса в результате немецкой колонизации, особенно в городах (см. по этому поводу предшествующие разделы работы). Не случайно многие профессиональные обозначения, в том числе

обозначения ремесленников, были исконно немецкого происхождения; ср.: *apotekář, helměř, hokyně, heryněčník, havěř, konvář, koltgář, kramář, loutněř, mincmistr, platněř, šmelcěř* (6, s. 52). Факт широкого использования немецкого языка в городах в деловой и правовой сфере, при написании грамот (при доминирующем положении латыни) подтверждает и анализ так называемых городских книг и грамот XIV в. (9). Немецкий язык получил большое распространение при королевском дворе и в среде высшей знати, увлекавшейся рыцарской любовной поэзией на немецком языке. По утверждению хрониста Петра Збраславского (немца по происхождению), в первой половине XIV в. немецкий язык «почти во всех городах и у двора более распространен, чем язык чешский» (10, с. 70). Немецкий язык оказал значительное влияние на чешский язык, особенно в лексике и синтаксисе.

Таким образом, в силу указанных выше обстоятельств чешский культурный, а впоследствии и литературный язык развивались в условиях *контакта*, а подчас и *острой конкуренции* с литературными языками, имевшими более длительные культурные традиции, — с латынью и немецким. Это создавало экстремальные условия для развития чешского языка: с одной стороны, увеличивалась опасность ассимиляции; с другой — стимулировалось его *функциональное выравнивание* под воздействием иноязыковых «катализаторов». Преобладание в исследуемый нами период переводных произведений делало необходимым подыскание адекватных средств выражения, особенно в лексике и синтаксисе. В первой половине XIV в. за чешским языком все еще, видимо, сохранялась специфическая функциональная маркированность как коммуникативного средства преимущественно бытового общения. Латынь, напротив, имела более высокий статус как язык культурный, язык просвещенных слоев общества. Красноречивой иллюстрацией сказанного являются пасхальные мистерии со смешанными латино-чешскими текстами (ср. «*Mastičkář*»), в которых латынь использовалась для раскрытия религиозных сюжетов (т. е. «высокий штиль»); чешский — в бытовых сценах («низкий штиль»). По мере возрастания обработанности чешского литературного языка становилось возможным использование средств самого чешского языка для фиксации стилового противопоставления.

В том, что чешский язык не только выстоял в единоборстве с более сильными языковыми партнерами, но и стал *автономным полифункциональным* литературным языком, сыграло немалую роль длительное существование устного культурного языка на народной основе с достаточно широким функциональным диапазоном, имевшего в качестве предшественника близкородственный старославянский язык. Укреплению позиций чешского языка во второй половине XIV в. в известной мере способствовала направленность языковой и культурной политики правительства, заинтересованного в устранении языкового барьера между правящей верхушкой и остальной частью народа (см. по этому поводу предшествующие разделы).

Использование чешского устного культурного языка (или же диалекта) подготовило почву для *качественного* скачка в развитии языка чешского этноса, создало объективные предпосылки для формирования и последующего быстрого развития чешского литературного языка.

При характеристике специфики языкового развития чешского этноса привлекает внимание следующее:

1. Стремительное — всего лишь в течение одного столетия — наращение коммуникативной мощи чешского литературного языка: к концу XIV в. он стал полифункциональным языковым идиомом с богатой палитрой выразительных, стилистически дифференцированных средств.

2. Поразительная унифицированность нормы литературного языка, проявившаяся уже в языке первых памятников письменности. В основе этой нормы находится языковой узус Праги и прилегающего к ней среднечешского региона, что говорит о высоте социально-культурного и языкового престижа Праги — консолидирующего ядра государства. Фиксируемые в языке некоторых памятников диалектные вкрапления (см. ниже) не слишком значительны, тем не менее это дает основание полагать, что помимо Праги существовали и другие, разумеется менее крупные, культурные центры, например в Моравии, Южной Чехии и т. д.

Сам факт подобного феноменально быстрого становления чешского литературного языка свидетельствует об активизации духовной жизни этноса, о потребности самовыражения на родном языке. Вместе с тем он косвенно подтверждает существование предшествующего подготовительного этапа, длительность традиции использования чешского языка для обеспечения высших коммуникативных функций, т. е. говорит в пользу вычленения устного культурного языка.

В числе причин подобного ускоренного становления литературного языка чешского этноса следует назвать и интенсивный процесс *языковой интеграции*, опосредованно обусловленной спецификой социально-экономической и политической жизни чешского народа. Назовем здесь лишь некоторые экстралингвистические факторы, существенные для формирования и эволюции языковой ситуации: а) наличие у чешского этноса компактной, относительно густо (для того времени) заселенной территории; б) активный процесс экономической, политической, культурной интеграции, выразившейся в становлении консолидированной, мощной феодальной государственности с центром в Праге; в) относительно ранняя консолидация собственночешских земель (к X в.), что стимулировало и большую языковую интеграцию западного региона по сравнению с восточным. В XI в. к Чехии была присоединена Моравия, в XIV в. — Силезия; г) интенсивный рост городов (см. ниже); д) активные межэтнические и межязыковые контакты, обуславливающие действие «иноязыковых» катализаторов.

Сфера Б — коммуникативная сфера неофициального, непринужденного повседневного общения.

Если ранее речь шла о языковом обеспечении высших коммуникативных функций, то здесь имеется в виду непринужденное общение (с преимущественной ориентацией на индивидуального адресата), например, в кругу семьи и за ее пределами, в частности в ходе трудовой деятельности как в деревнях, так и в городах. В известной мере сюда примыкает и устное народное творчество, письменно не зафиксированное, однако в ту пору уже, несомненно, существовавшее (ср. отражение фольклорных мотивов в любовной лирике XIV в. Небезынтересно, что писатель второй половины XIV в. Смилъ Флашка собрал около 240 древнечешских пословиц и поговорок; изречения народной мудрости встречаются в текстах многих произведений древнечешской литературы, в том числе и самых ранних).

Для языкового обеспечения этой сферы общения использовалась устная речь, в основном территориальные диалекты, носителями которых было прежде всего сельское население, т. е. численно доминирующий социальный слой. Впрочем, говорить определенно о характере чешского диалектного ландшафта до XIV в. не представляется возможным, поскольку раннеписьменные фиксации, а также первые связные тексты малочисленны и в этом отношении неинформативны. Так, по поводу последних Ф. Цуржин пишет, что в них нельзя найти «подтверждения диалектного членения чешского языка. В глоссах, очевидно, можно обнаружить диалектизмы, однако точная их локализация, по сути, невозможна. В некоторых из них можно встретить написание вместо *t'*, *d'* — *c*, *z*. Подобные случаи обычно до сих пор квалифицируются как моравизмы. Однако вполне возможно, что эти явления отмечались и в Чехии» (4, с. 21).

Формирование раннефеодального государства, по мнению Я. Белича, сопровождалось значительной миграцией населения, повлекшей за собой стирание существовавших ранее диалектных границ (11, с. 320). В целом для XIV в. границы диалектных групп хотя и соотносимы с территориальной дифференциацией тогдашнего феодального государства, однако изоглоссы важнейших процессов XIV в. ($\acute{y} > e\acute{j}$, $\acute{u} > ou$) полностью с ними не совпадают. В составе диалектного ландшафта этого времени можно выделить большую диалектную чешско-среднеморавскую группировку, простирающуюся до западных границ нынешних восточноморавских диалектов, и небольшую окраинную восточноморавско-сплезскую группу (11, с. 321). Последующая диалектная дифференциация, сопровождавшаяся обособлением среднеморавских диалектов от собственно чешских, происходит позднее.

Таким образом, начало постепенной диалектной дифференциации чешского языка относится к XIV в., однако истоки ее следует искать раньше (7, с. 18), когда происходил ряд процессов, существенных для диалектной дифференциации чешского языка. Так, на рубеже XIII—XIV вв. прошла депалатализация *d'e*,

t'e, n'e > de, te, ne (ср.: nebudete), не затронувшая восточную часть региона (т. е. силезско-моравскую территорию). На XII—XIII вв. приходится чередование 'ä > ě в собственно чешских, а также среднеморавских (ганацких) диалектах, последовательность проведения которого обуславливалась не только территориально, но и позицией в слове (более строго соблюдалось оно в корне слова, менее строго — во флексии; ср.: slepica, kaša в среднеморавских говорах в отличие от slepice, kaše в чешских). Чередование 'u > i, проведенное во второй и третьей четверти XIV в., последовательно отмечается лишь в собственно чешских диалектах; в переходных моравско-чешских диалектах оно не было проведено во флексии (ogáču, dušu, kost'ou), в среднеморавских и далее на восток практически отсутствует вообще (7, с. 58).

Анализ языкового материала позволил исследователям прийти к выводу о *неравномерности* развития унифицирующих тенденций в диалектах чехоязычного континуума. Так, наиболее унифицированными, как ранее, так и теперь, являются диалекты собственно Чехии (напомним, что они ранее всего консолидировались). Их унифицирующее воздействие сильно сказывалось и на диалектах феодальной Моравии, ее западной и центральной части. Языковая интеграция моравских диалектов не была столь выраженной, поэтому и языковая дифференциация здесь проявлялась всегда более сильно, чем в собственно чешских диалектах (11, с. 321).

Несмотря на отмечавшуюся выше значительную унифицированность языка памятников письменности, в них также обнаруживаются следы диалектного членения чешского языка. Так, довольно последовательно фиксируется чередование 'ä > ě. Перегласовка 'u > i ранее всего была проведена в западной части региона, что последовательно отражено в языке хроники Далимила (ср.: udici вин. п., lid, ukáži 1 л. ед. ч. и т. д.), в тексте Легенды о св. Прокпе; менее последовательна она в «Алекса́ндреиде» (ср.: na lidi вин. мн., lidé, hci, cizi, но: cuzie, juž и пр.). Значительные колебания отмечены в языке Жития св. Катерины, где упомянутая перегласовка зачастую не отмечена вообще.

Анализ языковых особенностей памятников позволяет сделать выводы о территориальном происхождении писца (автора) или местонахождении скриптория, где этот текст был записан. Так, предполагается моравская локализация Жития св. Катерины (12, с. 229) (ср. непоследовательность воспроизведения чередования 'u > i). Как моравизм обычно квалифицируется написание t' вместе с, ě; с вместо t'; ср.: tiesař вместо ciesař (последнее все же встречается чаще), dietietym=dietěcim, chodyety=chodieci, dosyeti=dosieci. Довольно редко встречается t' вместо ě: zatyе=zачě (=začal), na sswem tyele=na svém čele. Далее, с вместо t' (особенно в инфинитиве), mlczeczi=mlčeti, obklíčici=obklíčiti; ср. также: hladse=hladce, sladsé=sládce, matsé=matce. Впрочем, эти диалектные черты проведены не вполне последовательно. В пользу южночешского происхождения автора «Алекса́ндреиды» говорят такие признаки, как протетическое h и вставные гласные

у слогообразующих r и l (1, с. 21); ср.: hi вместо i; tvirdý (=tvrdý), ober (=obr), smirt (=smrt), Āirvený (=Āervený) (приводимые примеры взяты нами из текста «Алекса̀ндреиды»). Южночешские диалектные черты исследователи обнаруживают в тексте лирической песни «Dřěvo sě listem odievá»: наличие протетического h перед звонкими согласными (hřěže, hřěpík, hnás, odhnás); вставное j (bejzez jmene, perějzejž mu, jdivím se tobě и пр.) (6, с. 54—55). Примечательно, что, по мнению Я. Якубца (10), моравизмом является ěriedica в чешских глоссах латинской рукописи (первая половина XIII в.) «Prolog k prorocství Jeremiášovu». Следы западно-словацких диалектов (как привнесенные писцом) обнаруживаются в тексте одного из списков словаря «Bohemár» (середина XIV в.).

Есть основания полагать, что в силу действия интеграционных тенденций, проявившихся достаточно отчетливо в XIV в., начинали постепенно создаваться *предпосылки* для формирования *наддиалектных* образований.

Специфическая языковая ситуация создавалась в данной сфере коммуникации в городах. В отличие от *гомогенной, монопольной* устной коммуникации сельского населения, в городах была представлена ситуация *гетерогенная*, с активным использованием немецкого языка. В противоположность старославянскому языку и латыни немецкий язык употреблялся не только в сфере официальной коммуникации (сфера А), но и при непринужденном повседневном общении в городе. Это приводило к возникновению *билингвизма*, особенно в среде ремесленничества. Под влиянием немецкого языка в чешскую обиходно-разговорную речь, равно как и литературный язык, проникало большое количество германизмов (примечательно, что, несмотря на антинемецкую тональность таких произведений, как «Алекса̀ндреида» и хроника Далимила, в их тексте также много германизмов; ср.: špíleti, špitál, špic, šturm и многие другие). В сложившейся ситуации разговорная речь нередко носила *смешанный* характер, с пестрой комбинацией элементов чешского и немецкого языков, что зачастую «обыгрывалось» в художественных произведениях для достижения комического эффекта; ср. диалоги в мистерии «Mastičkář»: «Rubíne! Rubíne! Rubíne! vo pistu — Sed!, mistře, držu za řit tistu» (2, с. 250). Заметим, что это одна из наиболее ранних (первая половина XIV в.) фиксаций чешской разговорной речи.

Распределение чешского и немецкого языков имело сильную *социальную* подоплеку: помимо лиц, для которых немецкий язык был родным, им пользовались, как более престижным языком, в повседневном общении некоторая часть высшей чешской шляхты, королевский двор.

Образование городов и их превращение в самостоятельные политико-административные центры оказали большое влияние на эволюцию языковой ситуации. Как известно, в XIII и особенно в XIV в. значительную роль в жизни страны играли помимо Праги и другие города (к примеру, Оломоуц, Брно, Пльзень,

Градец Кралове, Кутна Гора и т. д.). Некоторые из этих городов имели достаточно высокую плотность населения. Образование городов сопровождалось миграцией населения, в том числе притоком сельских жителей, являвшихся носителями тех или иных территориальных диалектов, ремесленников, торговцев разной региональной (и национальной) принадлежности. Это способствовало развитию *языковой интеграции и интерференции*, следствием чего явилось постепенное формирование *городских койне* — особой промежуточной языковой разновидности, имеющей *гетерогенную* основу, т. е. вбирающей в себя (в отличие от региональных интердиалектов, базирующихся на *одноуровневых* языковых идиомах — территориальных диалектах) в интегрированном виде элементы *разноуровневых* форм существования языка (разумеется, с известной нивелировкой наиболее специфических, *узкорегionalных* особенностей): территориальных диалектов, зарождающихся интердиалектов, профессиональной речи (в большом количестве в них были представлены, конечно, и германизмы).

* * *

Давая общую оценку языковой ситуации чешского этноса исследуемого периода, следует особо подчеркнуть ее сложность и пестроту. Так, для сферы А (высшие коммуникативные функции) характерна *полиязычность*: старославянский язык (до конца XI в.), латынь, немецкий, чешский языки. Последний до второй половины XIII в. использовался в функции *устного культурного языка*, а позднее — как в *устной*, так и *письменной* реализации. До середины XIV в. доминирующую роль в этой сфере играла латынь, имевшая широкий функциональный диапазон; впоследствии она была оттеснена на второй план быстро развивающимся и набирающим коммуникативную мощь чешским литературным языком.

Сфера Б (непринужденное повседневное общение) прежде всего обеспечивалась *устными* разновидностями чешского языка — главным образом территориальными диалектами, дифференциация которых отчетливо наметилась в XIV в., зарождающимися интегрированными наддиалектными формами, в том числе городскими койне. В этой же сфере в основном в городах — в среде ремесленников, городского патрициата, при королевском дворе — как исконно немецким, так и исконно чешским населением использовался и немецкий язык. В условиях постоянного межэтнического и соответственно межъязыкового контакта создавалась ситуация *билингвизма*. Латынь, будучи мертвым языком, в живом общении вряд ли могла использоваться (за исключением, пожалуй, социально маркированного слоя клириков; впрочем, и они в указанной ситуации скорее всего прибегали к родному языку).

Следует подчеркнуть, что по мере становления чешского литературного языка начали создаваться благоприятные условия для возникновения *диглоссии*, т. е. владения различными структурно

и функционально дифференцированными формами существования чешского языка; ср. использование в сфере Б диалектов, койне, в сфере А — чешского литературного языка.

Использование чешского языка в функции языка литературного явилось переломом в развитии чешской культуры: оно обусловило общую демократизацию литературного творчества, его секуляризацию, т. е. утрату выраженного культового характера, становление реалистических тенденций, увеличение жанрового разнообразия литературы на чешском языке.

Процесс демократизации литературного творчества на чешском языке нашел выражение в изменении как *количественного*, так и *качественного* состава носителей культуры (т. е. как создателей, так и адресатов памятников письменности). По мере роста просвещения в культурный процесс вовлекались все большие слои населения. Так, в первой половине XIV в. помимо духовенства в него включились светские феодалы, как крупные, так и мелкие. Со второй половины XIV в. постепенно активизируется и городское население, в частности ремесленничество, а затем и формирующаяся интеллигенция. Существенно и то, что происходило не только *расширение* социальной основы носителей культуры, принципиально менялась и *расстановка* сил: основной движущей силой в культуре становится уже не духовенство, а светские феодалы. Сказанное, разумеется, не означает, что религиозная тематика полностью отошла на второй план, тем не менее изменение социального состава творцов литературы повлекло за собой и изменение целевой ориентации художественного творчества, а также характера языковых средств, используемых для воплощения авторского замысла.

Расширение сферы использования чешского языка, его превращение в язык литературный находилось в тесной взаимосвязи с усилением этнического самосознания, с пониманием важности сохранения языка для исторических судеб народа. Это нашло отражение и в конкретном содержании появившихся в этот период произведений — таких, например, как «Александрейда» и прежде всего хроника Далимила. Последнее, бесспорно, является самым ярким и демократичным сочинением начала XIV в. Лейтмотив хроники — любовь к родине, ассоциирующаяся с любовью к родному языку. Заметим, что для чешского этноса на всех этапах его истории характерно исключительно бережное отношение к родному языку; особую силу любовь к нему приобретает в переломные периоды жизни народа, когда самому этносу, равно как и языку, угрожает опасность ассимиляции, уничтожения. О том, что в начале XIV в. такая угроза реально существовала, вряд ли можно сомневаться. Именно поэтому автор хроники настойчиво проводит мысль о необходимости языкового единения*, о важности защиты родного

* «Každý kraluje přátely svými, a ijeden múdrý neradi sě s cizími / Pojme k sobě lid jazyka svého / Tomu vy učí ženská hlava, / kde jeden jazyk, tu jeho sláva. . . A proto bude jazyka rozdělení / a inhed země zkažení» (s. 77—78).

языка от чужеземцев*. Верность родному языку — один из важнейших оценочных критериев личности, безотносительно к тому, идет ли речь о феодальном владыке или же о простом смертном**. В силу сказанного неудивительна огромная популярность этого произведения у чешского народа, обращавшегося к нему в трудные годы иноземного вторжения, — подтверждением этого является множество списков хроники Далимйла, сохранившихся до нашего времени. Воспевание доблестного героя, «верного друга чешского языка», характерно и для небольшого поэтического произведения первой половины XIV в. — «Nota ot pana Viléma Zajiese». Острогу чешско-немецкого антагонизма, характерного для той поры, отражает и Легенда о св. Прокопе, основателе Сазавского монастыря, поборнике славянского богослужения, игравшего столь важную роль в этническом самосознании чехов (напомним в этой связи о попытках возрождения славянского богослужения в Эммаусском монастыре, предпринятых Карлом IV).

Усиление социального расслоения общества во второй половине XIV в., затронувшее практически все слои общества, принесло в литературу новые темы — социальное неравенство, нравственный кризис и т. п. (ср. сатирическую направленность таких сочинений, как «Desatero kázanie božie», «Satiry o konšelích a řemeslnících», «Podkoní a žák», отражающих жизнь ремесленников, учеников монастырских школ, государственных чиновников и пр.). Это существенно потеснило тему национальных противоречий, и в частности чешско-немецкого антагонизма, тем более что во второй половине XIV в. происходит постепенная ассимиляция германоязычного населения Империи. Иными словами, положение чешского этноса как такового перестает быть угрожаемым.

Следует отметить, что в произведениях сатирического толка, появившихся в этот период, начинает воспроизводиться *диалогическая* речь с некоторыми специфическими особенностями разговорного языка — упрощенным синтаксисом, отсутствием сложных периодов, нарушением строгого порядка слов, с повторами и пропусками, т. е. начинает передаваться ритмика живой непринужденной речи. В силу этого становится доступной для наблюдения не только письменная, но и устная речь (последняя, разумеется в авторской адаптации). Ср. примеры из «Desatero»: «A když psíka užřě toho/ta paní, ano jmu mnoho/ z jeho očí slez tečieše, / ta paní k téj babě dieše» (13, s. 69); «A kak sě jmá kmoška mojě? / A jakž ta slova otmuví, / inhd jmu o sukně vzmluví / řka: „Kmotřě, kaké sukno jmám! / Třeba-lit', at' jeho prodám / . . .“ Ač sě, kmotřě, líbí tobě, / vezmi to sukénce sobě / Radějí přieteli svému, / tobě, kmotřě, než jinému» (13, s. 80—81). Ср. также намеренное использование деминутивов с пейоративной окраской для передачи не-

* «Za svého jazyka čest nebraňte své životy dáti» (s. 123).

** «Dobry svůj jazyk plodí, / nevěrný o svém jazyku nerodí (ne zaботится. — Г. Н.), / země jest máť každého, / ktož jí nepřeje, nemám jeho za šlechetě něho» (s. 118). Здесь и выше цитация производится по изданию: Nejstarš-česká rýmovaná Kronika tak řečeného Dalimila. Pr., 1958.

гательного отношения: «A *chlápě* nejvíce *chlípá*» (14); «*kniežata* vojny *plodiece*» (13); «*Němčata*» (хроника Далимила); небезынтересно и новообразование *pánkatí* 'часто говорить «pane!», холуйствовать'. Примечательна и столь характерная для разговорной речи насыщенность германизмами типа «цитатных слов»: *vafnrok*, *trank*; ср.: «*jiný trank k každéj nemoci*» (13, s. 78).

Включение элементов разговорной речи здесь обусловлено прежде всего потребностью стилистической дифференциации, т. е. художественными целями, а отнюдь не недостатком высоким уровнем обработанности литературного языка, размытостью его границ с языком разговорным.

Важнейшим событием середины XIV в. явилось развитие *прозы* на чешском языке. До этого чешская литература была представлена рифмованными произведениями, что, несомненно, накладывало отпечаток на их языковую ткань. Вначале древнечешская проза носила сугубо религиозный характер, впоследствии, однако, появилась и развлекательная литература, исторические хроники, дидактические сочинения и т. п.

Во второй половине XIV в. чешской литературный язык постепенно выходит за рамки литературного творчества. Он начинает использоваться в качестве письменного языка в административных документах (конец XIV в.) (см., в частности, 9), а также в судебном делопроизводстве; ср.: «*Řád práva zemského*», «*Práva zemská česká*» Ондржея из Дубе.

Развитие просвещения обусловило и постепенное формирование *научной прозы* на чешском языке (прежде всего из области истории, философии, теологии), начала которой восходят к созерцательной, религиозно-наставительной литературе, а также становление жанра *дидактической литературы*, примером чего являются произведения Т. Штитного, лучшего прозаика древнечешской литературы. Сочинения Т. Штитного «*Řeči besední*», «*Knížky šestery*» и другие сыграли огромную роль в развитии чешской литературы и просвещения, большой вклад он внес и в развитие научной терминологии.

Создание научной прозы (и соответственно терминологии) было подготовлено активной лексикографической деятельностью мистера Кларета (Бартоломея из Хлумца), монаха-бенедиктинца, по инициативе которого и при непосредственном участии (есть мнение, что ему помогали Карл IV, архиепископ Арношт из Пардубиц, Ян из Стршеды, епископ Альберт Пражский) был создан ряд рифмованных латино-чешских словарей, в частности «*Bohemář*» (2500 чешских слов) с чешским разговорником, «*Glosář*» (7000 чешских слов), «*Vokabulář gramatický*» (содержит лингвистическую терминологию). Эти и другие словари представляли собой широкий свод научной терминологии из самых различных областей знания. Чешский язык в них занимал, по сути, равноправное положение с латынью, выполняя функцию своего рода языка-посредника при разъяснении латинской терминологии. Эти словари использовались при обучении в университете, в капитульных, монастыр-

ских школах и т. д. К концу XIV в. относятся и латино-чешские словари, содержащие толкования библии (Mammotrekty).

Развитие письменной традиции, а также создание прозаических произведений, предназначенных уже для чтения, а не для устного (преимущественно) воспроизведения, стимулировало совершенствование чешской графики. Раннеписьменная фиксация чешского языка осуществлялась посредством графической системы латыни, без соответствующей ее адаптации, учитывающей специфику звукового строя чешского языка («примитивное правописание»): к примеру, графема «с» передавала фонемы [с], [č], [k]; «h» — [h], [ch] и т. д. Начиная с XIV в. стали использовать «лигатурное правописание», компенсирующее несоответствие между латинской графикой и фонетикой чешского языка посредством комбинации графем; ср.: различие свистящих s — š, z — ž, c — č: лат. zz=чеш. [s]: wizzal, cziezztu, zzseczi, zzie; лат. SS=чеш. [š]: mSSiu, SScodu; лат. cz=чеш. [c]: czo, mocz, cropicze; лат. chz=чеш. [č]: chzezzt, doconchzaw, uchzennyky; лат. z=чеш. [z]: wiesz, nelzie; лат. s=чеш. [ž]: sacowzztwa, bosí; лат. ie=чеш. [è]: cziezztu, zzie, wiesz, nelzie; лат. c (перед a, u, o, r)=чеш. [k]: casdy, cozztelu, cropicze; лат. c (перед i, e, y)=чеш. [k], записывается как «k»; лат. ch=чеш. [ch]: wchzechach; лат. rs=чеш. [ř]: prsítom, rseczí; лат. g (перед i, e)=чеш. [j]: geSchze, cziezztugie (в других позициях чешское [j] записывается как j, y: iako, yuda). Впоследствии стала использоваться более простая лигатурная система, учитывающая дифференциацию глухих и звонких, но без четкого различения пар свистящих s—š, z—ž, c—č. Ср.: лат. z=чеш. [z], [ž]: genž, zeymena; лат. s=чеш. [s], [š]: yasny, wsyeczeko; лат. S=чеш. [s], [š]: wyehlaSny, wSak; лат. c=чеш. [c], [č]: wyecz, wuczita; лат. rz=чеш. [ř]: trzy (6, s. 37, 55—56).

В XIV в. не только расширяется функциональный диапазон чешского литературного языка, меняется и его норма, особенно в лексике, как наиболее мобильном уровне языковой системы (к концу столетия в спряжении постепенно упрощаются формы прошедшего времени за счет вытеснения аориста и имперфекта; значительно меняется синтаксис). Появляется множество новообразований, обозначающих новые реалии и понятия, обусловленные прогрессом социально-экономической и культурной сферы, а также понятия, ранее называвшиеся по-латыни и не имевшие соответствующих чешских эквивалентов. Ср.: materia — podstat'; forma — postava, obraz; essentia — byt, bytstvie; qualitatis — kakost; historia — vidopis; firmamentum — tvrdost; lector — čítitel; conscientia — svědomie; sacramentum — svátost; deitas — božství; providentia — prozřetelnost и др. Больше всего новообразований в словарях Клапера. Ср.: grammatica — slovočtena; litera — čtena; vocalis — hlása; dyptongus — dvojhlas; metaphysica — nadpřiroznila; phisionomia — přiroznáma; aritmetica — početrna, početerna; dialectica — dvojrěčina; theologia — bohomluvna; rethorica — mluvokrása; creator — stvořitel; demptor — objímatel; redemptor — vykupitel; salvator —

spasitel; geometria — zemořerna, měřozemna; astronomia — hvězdářstvo, hvězděna; musica — vodohlása; alchymia — čistřna и т. п. В числе новообразований и обозначения таких наук, как «медицина», «юриспруденция», «философия», «математика», «механика» и т. п.; ср. соответственно: lékařstvo, zákonopravna, mudromila, myšlečara, chlapisturna. Ср. также обозначения экзотических птиц (větrožil, rájikras), рыб (rakorún), ветров (tichovietř, slunovietř), растений (drakozřna 'алоэ') (8, с. 177) и пр.

Импульс для появления чешских эквивалентов исходил от латыни, однако чешские лексемы зачастую образовывались на основе закономерностей чешского языка. Особое предпочтение при этом отдавалось словосложению. Отмечаются, впрочем, и специфические приемы, например произвольное сокращение структуры слова (uskř < uskřovňovat; tipa < vtřpa; chník < chasník; pňík < pňicník и т. п.), универбизация многословных обозначений (ср.: bohla < bolenie hlavy, desetazn < deset kázání, kozbrad < kozie brada и пр.) (15, с. 77—81; 16; 17; 18; 19). Данные способы образования используются и ныне, особенно при образовании экспрессивной лексики. Некоторые из этих новообразований (с незначительными модификациями) употребляются и сейчас; ср.: děloha, jepice, háv, záhněda, zlatohlav, čtena, brouk, obrat, uspenina, znak, právěpis, hvězdářstvo. Довольно долго использовались и некоторые обозначения планет: Králemoc (Jupiter), Smřtonoš (Mars), Dobřopán (Mercurius), Hladolet (Saturnus) (1, с. 36). Немало неологизмов было создано и Т. Штитным.

Словотворческая деятельность того времени не носила, впрочем, кодификационного характера, о чем свидетельствует богато представленная дублетность (без какой бы то ни было стилистической дифференциации); ср., например: в легенде Житие св. Катерины «палач» обозначается как mukař, stínač, mučes и т. п., либо в правовой терминологии: hlava, mord, vražda 'убийство'.

* * *

В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что если к началу XIV в. чешский язык вышел за рамки элементарного бытового общения и первичных культурных функций, стал языком письменности, то в течение XIV в. он приобрел все необходимые свойства развитого литературного языка, имеющего стабильную, унифицированную норму, стилистически дифференцированную лексику, развитые функциональные стили и в их числе богатую терминологию. Таким образом, языковой вопрос, занимающий столь важное место в этническом самосознании чехов, получил в целом положительное решение. Этому немало способствовала и направленность языковой политики, проводимой во второй половине столетия. С полным основанием можно утверждать, что позиции чешского языка в конкуренции с латынью и немецким языком становились все более прочными и наступательными. Авторитет чешского языка и чешской культуры к этому времени был настолько велик, что он использовался в качестве литератур-

ного языка у таких близкородственных этносов, как словацкий и польский, т. е., по сути, приобрел тот же статус языка межэтнического общения, как некогда старославянский язык и латынь. Соответственно в коммуникативной модели польского и словацкого этносов чешский литературный язык занял высшую функциональную страту, обеспечивая высшие коммуникативные функции, т. е. сферу официального общения. Следует также подчеркнуть, что, будучи близкородственным языком, чешский литературный язык оказывал *стимулирующее* воздействие на развитие этнических языков словаков и поляков. Важную роль в этом процессе сыграло основание Пражского университета, готовившего кадры интеллигенции для других европейских стран.

1. *Havránek B.* Vývoj českého spisovného jazyka. Pr., 1978.
2. Výbor z české literatury: Od počátků po dobu Husovu. Pr., 1957.
3. *Porák J.* Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13—18 století). Pr., 1979.
4. *Cuřín Fr.* Vývoj spisovné češtiny. Pr., 1983.
5. *Cuřín Fr. a kolektiv.* Vývoj českého jazyka a dialektologie. Pr., 1964.
6. *Slosar D., Večerka R.* Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Pr., 1982.
7. *Lamprecht A., Slosar D., Bauer J.* Historický vývoj češtiny. Pr., 1977.
8. *Pauliny a kolektiv.* Čeština: Vysokoškolská učebnica. Br., 1972.
9. *Procházková E.* Národní jazyky v kanceláři Starého Města pražského v době předhusitské // Sborník archivních prací. Pr., 1978. XXVIII. I.
10. *Jakubec J.* Dějiny literatury české. Pr., 1929. I: Od nejstarších dob do probuzení politického.
11. *Bělič J.* Nástin české dialektologie. Pr., 1972.
12. Dvě legendy z doby Karlovy. Pr., 1959.
13. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Šmilovy školy. Pr., 1962.
14. *Alexandreida.* Pr., 1963.
15. *Michálek E.* K zvláštním způsobům Klaretova tvoření slov/Náše řeč. 1975. N 2.
16. *Michálek E.* Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Pr., 1970.
17. *Michálek E.* K rozvoji české slovní zásoby v době Karlově // Náše řeč. 1978. N 5.
18. *Michálek E. a kolektiv.* Přemysl Otakar II a počátky spisovné češtiny // Náše řeč. 1978. N 4.
19. *Michálek E.* Vývoj spisovné češtiny // Náše řeč. 1986. N 3.

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ СЛОВАКОВ

*А. И. Виноградова, Г. П. Мельников, В. П. Шушарин**

Проживание предков словаков на их современной этнической территории с V—VI вв. общепризнано (1, s. 76; 2, s. 380; 3, s. 49—99). Главная трудность при выявлении элементов этнического самосознания словаков в изучаемое время проистекает от отсутствия источников, в которых это самосознание нашло бы непосредственное отражение. Первое упоминание этнонима «словак» в памятнике, написанном на территории самой Словакии, датируется 7 сентября 1444 г. (4, s. 32). Думается, что источником отраженного здесь сведения о человеке по имени Словак было собственное признание его носителя.

Однако дата фиксации этнонима «словак» не идентична времени его возникновения. Он появился, несомненно, задолго до его фиксации. Часть этнической территории будущей словацкой народности входила в IX в. в состав Великой Моравии, поэтому следует учесть и данные источников о терминах, которыми обозначалось население этого государства (5, с. 82—96). В ряде источников, включая созданные в самой Великой Моравии Пространные Жития Кирилла и Мефодия, население этого государства обозначается как «склави» или «словѣне». Весьма вероятно, что это — воспроизведение этнонима (самоназвания) жителей Великой Моравии. Данное самоназвание могло сохраниться и в дальнейшем и сыграть определенную роль при формировании самоназвания словацкой феодальной народности, связанном с видоизменением и переосмыслением этнонима «словѣне» (35, с. 134—135). Можно предполагать, что процесс превращения политонима «мораване» в этноним был прерван распадом Великоморавского государства. Хотя могут быть отмечены, по мнению словацких исследователей, некоторые следы сохранения у местного населения в раннем средневековье сознания связи в прошлом с Великоморавским государством (5, с. 93; 6), но и они постепенно исчезали. Великоморавские традиции стали играть значительную роль в развитии этнического самосознания словаков много позже, начиная с XVII в. Это предположительно относится лишь к запад-

* Авторы: с. 233—241. — В. П. Шушарин; с. 241—243. — Г. П. Мельников; словацкая литература подобрана А. И. Виноградовой.

ной части этнической территории будущей Словакии — к району с центром в Нитре (резиденции князя, затем епископа), поскольку принадлежность к Великой Моравии районов, расположенных к востоку от этих мест, весьма дискуссионна. Общепризнано, что с рубежа X—XI вв. процесс формирования словацкой народности из предшествующего славянского субстрата проходил в рамках раннефеодального Королевства Венгрия (3, s. 151; 7, s. 102). Лишь с его образованием вся территория будущей Словакии оказалась объединенной в одном политическом организме. В этом смысле образование Королевства Венгрия можно рассматривать как одну из объективных предпосылок для формирования словацкой народности в качестве особой этнической общности именно в данных исторических границах.

Изучение источников привело словацкого исследователя П. Рагкоша к выводу о том, что «развитие словацкой народности не было простым, что в начальном периоде ее формирования венгерское государство выполняло позитивную функцию, хотя позже, главным образом в XIII и в XVI вв., невозможно оставить без внимания негативные черты аппарата власти венгерских королей, а также прелатов и магнатов» (12, 119.1.).

Достаточно полно изучены материалы письменных памятников и археологии о важнейшем компоненте, условии развития этнических общностей, в данном случае — словацкой феодальной народности, о ее этнической территории. Обобщая результаты такого изучения, Р. Марсина пишет относительно территории современной Словакии, что «основательный анализ сохранившихся источников показывает, что незаселенными были лишь отдельные части территорий, которые ранее считались совершенно незаселенными. Естественно, что длительное время были безлюдны прежде всего высокие горные хребты (такowymi они остаются и в настоящее время), но имелись незаселенные зоны в западной и главным образом — в северной частях территории современной Словакии. Однако в последней они постоянно сокращались». Важнейшее значение для изучения межэтнических контактов предков словаков XI—XIII вв. (а эти контакты являются одним из объективных факторов складывания этнического самосознания) имеет вывод Р. Марсины, подтверждающий более ранние результаты изучения памятников: «Населением всей Словакии, а также некоторых соседних с ней на юге территорий (южных частей комитатов Абауй, Боршод, Ноград) до середины X в., несомненно, являлось славянское население, конкретной — западнославянское. Вслед за тем на эту территорию вторглись и поселились на ней мадьяры. Их длительное расселение на территории современной Словакии явилось не однократным событием, а происходившим поэтапно процессом, который протекал параллельно с созданием и распространением государства, в котором мадьяры играли роль гегемонов. Прежде всего мадьяры достигли юго-западной части территории современной Словакии, которая расположена южнее линии: Пожонь (Братислава) — Серед

(Середь) — Нитра — Лева (Левице). И здесь они основали новые поселения или на старых поселениях, или рядом с ними, или как раз среди старых поселений, на территориях, которые до того времени оставались свободными, незаселенными. . . К концу XI в. границу распространения компактно расположенных венгерских поселений (но не исключительно только их) можно приблизительно обозначить линией, соединяющей современные населенные пункты Братислава—Середь—Нитра—Левице—Лученец—Римавска Собота—Плешивец—Требешов. Таким образом, проживание мадьяр ограничивалось южными территориями современной Словакии, теми ее частями, где венгерская народность до настоящего времени составляет значительную долю. Однако на этой территории и далее оставались те поселения, в которых проживало первоначальное славянское население. Правда, многие из славян были постепенно ассимилированы. Всюду, где преобладали численно венгерские поселенцы, эти славяне стали мадьярами. Но в некоторых местах, где численно преобладало старое население, несомненно, приходил черед ассимилироваться новым поселенцам. Представляется также бесспорным, что, как и сейчас, в то время существовала такая переходная зона перемежающихся друг с другом словацких и венгерских поселений, которая находилась большей частью южнее названной выше линии. В целом процесс ассимиляции значительно больше пополнил численность мадьяр, нежели первоначального словацкого населения» (2, s. 382—384; 8, s. 39—57). С XII в. происходило расширение этнической территории мадьяр на территории Восточной Словакии. С середины XII—начала XIII в. по соседству с поселениями словаков появились анклавы немецких, в меньшей степени — валлонских поселенцев. В северной и восточной частях территории Словакии имелись поселения поляков, а с XIV в. — русинов (карпатских украинцев) (2, s. 385—388; 9, s. 420—440).

Однако занимаемая словаками территория не составляла территориально-административного единства. Различные ее части входили в состав ряда административных единиц (комитатов, медье) королевства Венгрия. Не существовало и особого термина для ее обозначения. Представления о северной части Королевства как этнической территории невенгерского населения отразились в обозначении составителями документов в качестве «Венгрии» («Хунгария») лишь тех областей королевства, которые были расположены вне комитатов Барш (10, s. 53—58) и Сепеш (11, s. 14—15; 12, s. 104—105). Если добавить к вышесказанному, что этническая территория словаков граничила на западе с территорией чешского, а на севере — польского этносов, то будет ясно, в кругу контактов с какими этническими общностями шло формирование словацкой народности.

Для изучения этнического самосознания, особенно в тех случаях, когда нет данных о его непосредственном выражении в виде этнонима, этнических стерео- и автостереотипов, первостепенное значение имеет рассмотрение этниконов — названий, данных

этнической общности извне (13, с. 38—39). Но выявление этнического самосознания предков словаков затрудняется также тем, что неизвестен этникон, который можно было бы со всей определенностью отнести к словакам XI—XV вв., хотя известен этникон, употреблявшийся венгерским правящим классом для обозначения части славянского населения на территории Королевства Венгрия. Этот этникон — «тот» (мн. ч. «тоток»).

Изучение материала топонимии и лексикографии показало, что этником «тот» мадьяры обозначали ряд славянских этнических общностей, самоназвания (этнонимы) которых начинались сочетанием «слов-». Это — словаки, словенцы и хорваты кайкавского диалекта сербскохорватского языка (11, с. 17—19). Установлено и латинское соответствие этникона «тот». Это — «*slavi*», как явствует из сопоставления названий одних и тех же поселений в ряде документов XIII в. Например, «*Villa Sclavorum*», названная так в документе от 1221 г., в 1277 г. фигурирует под венгерским наименованием «Тотфалу» («Деревня тотов») (14, с. 25, № 36).

О том, что грамотные словаки в латиноязычных памятниках называли себя «*slavi*», можно судить по записи в матрикуле Венского университета под 1438 годом (12, с. 113). Самая ранняя (из сохранившихся) фиксация этнопонима «тот» датирована 1121 годом (14, с. 25, № 49). Возникновение этникона следует относить, разумеется, к еще более раннему времени. Не позднее 1100 в. появился и термин «*slavi*» в латиноязычных источниках Королевства Венгрия. Однако поскольку оба термина имели, по существу, обобщенный характер, то установление времени появления этих терминов в источниках Королевства не помогает решению вопроса о времени оформления особой словацкой народности. В каждом конкретном случае требуется устанавливать, почему этот латинский этникон не может обозначать словенцев или славонцев. Следует также иметь в виду, что даже на этнической территории будущей словацкой народности этот термин может обозначать не словаков, а пришлых колонистов из соседних славянских стран.

Проживавшими компактно пришельцами, в частности саксонцами, ведали особые должностные лица («*comes*», венг. «*ispán*»). Упомянутый в памятнике «*Comes sclavorum*» вместе с «ишпаном» саксонцев должен быть отнесен не к словакам, а к пришлым «*slavi*» (15, с. 95, № 2518). Таким образом, и эти данные нельзя использовать для характеристики особенностей положения именно словацкого населения. Не существовало, видимо, особых терминов для обозначения словаков и у соседних славянских народов в XI—XIV вв. Для изучения положения дел в X—XIII вв. остается еще один путь, который, хотя и не давал прямых результатов, все же позволил бы выделить какие-то аспекты положения словацкого этноса, которые могли бы способствовать выработке у него особого самосознания. Некоторые данные на этот счет могут быть найдены уже в законах королей Венгрии XI в. Наиболее раннее

свидетельство о самосознании славянских народностей Королевства Венгрия (хотя и не названных особыми этниконами) содержится в памятнике конца 1100 г. В нем идет речь о борьбе с языческими верованиями, о наказании тех, «которые по языческому обычаю приносят жертвы у колодцев (водоемов), источников или несут дары к деревьям, источникам и камням. . .» (16, s. 161). Эти черты языческой обрядности неизвестны язычеству мадьярскому (17, s. 556—558). В них ясно проступают черты культуры природы, характерные для язычества древних славян и сохранявшиеся у них и после принятия христианства. Эти черты — элемент именно того хозяйственно-культурного типа, который на территории Королевства Венгрия был представлен только славянскими народами, в том числе — и предками словаков (18).

Упомянутые черты язычества, отделяя предков словаков от мадьяр, с которыми они постоянно контактировали, являлись объективной основой для осознания предками словаков своей общности, для возникновения в их представлениях о себе элементов (наряду с осознанием своеобразия языка и других особенностей) этнического самосознания. В другом памятнике привлекают внимание указания на различное этническое происхождение сервов: «из рода мадьяр», «рожденных в Венгрии», «чужого, чужеземного происхождения» (хотя и рожденных в Венгрии), «чужого языка, приведенных из других стран (областей)» (16, 193.1.). По всей видимости, деление сервов по их происхождению — это проекция на данную социальную категорию структуры всего полиэтничного населения Королевства — подданных «короля Венгрии», которые обозначены в памятнике социальным, а не этническим термином «народ» — «populus». Разделение подданных на людей из «рода венгров» и на «рожденных в Венгрии» возникло как отражение объективной реальности, в результате прежде всего заявлений о себе части самих жителей, указавших, что они не «из рода венгров», но рождены в королевстве и являются его коренными жителями. В указании на «рожденных в Венгрии» не «из рода мадьяр», таким образом, нельзя не усмотреть констатацию проживания в Королевстве этнических общностей, имевших отличное от венгерского самосознание. В их число входили и предки словаков. В нескольких грамотах XIII в., относящихся к территории Словакии, также содержатся сведения, позволяющие судить об особенностях положения проживавших здесь «*sclavi*». Так, в изготовленной предположительно в 1244—1270 гг. подложной грамоте короля Эндре II для монастыря св. Бенедикта «в Гороне» «людям какого-либо народа» («*natio*»), а именно саксонцам, венграм, «*sclavi*» и другим, «которые уже пришли на землю монастыря для проживания или захотели бы прийти», определялись условия их проживания в имении монастыря (10, p. 179, № 227; 19, s. 67—71; 7, s. 109—110). Причины, в силу которых составитель грамоты (т. е. землевладелец-монастырь) счел необходимым указать на этническую принадлежность при-

шельцев, были обусловлены целью данного акта — уравнять права (а в действительности — главным образом повинности) представителей различных этнических общностей. Необходимость в этом возникла в силу того, что крестьяне из каждого народа-этноса приходили с собственными представлениями о себе и своем месте в их социальной структуре: этническая принадлежность означала вместе с тем и принадлежность к особому хозяйственно-культурному типу и к социальному организму. Эти факторы определяли и этносоциальное самосознание (в форме фиксации отличий от других хозяйственно-культурных типов и социальных организмов).

Упоминание «*sclavi*» в таком контексте наряду с венграми и саксонцами можно рассматривать, следовательно, как свидетельство о наличии каких-то особенностей в их положении, что могло способствовать зарождению у предков словаков представления о своеобразии их социального организма как элемента этносоциального самосознания. Конечно, о социальном организме здесь можно говорить лишь на уровне общности крестьян имения.

В грамоте короля Эндре II от 1233 г. сформулированы условия проживания немецких госпитов в деревне Зебехлеб Эстергомского капитула. Определяя обязанности госпитов в пользу их священника, составитель грамоты отмечал: «С других же, которые проживают или будут проживать по эту сторону источника (т. е там, где находится земля указанных госпитов-немцев и, вероятно всего, сама деревня Зебехлеб. — *Авт.*), являются ли они венграми, или «*sclavi*», или немцами, пусть получает четвертую часть четвертины десятины. . .» (10, р. 305, № 417; р. 308, № 422). Это — ценное известие не только о совместном проживании венгров и предков словаков, но и об элементах самосознания словаков: снова перед нами — «уравнивание» групп, имевших, по-видимому, различные обязанности по отношению к церкви, возможно, и представления об этих обязанностях. Если бы представления были одинаковыми, то не было бы нужды в «уравнивании».

«Уравнивание», однако, не всегда удавалось осуществить. Из-за несогласия немцев-госпитов с требованиями землевладельца — Эстергомского капитула последний издал 11 января 1292 г. грамоту об изгнании из села немцев («Немти» — сам топоним свидетельствует об основании села немцами, ныне — с. Гонтянске Немце) и об условиях обитания там госпитов — венгров и «*sclavi*», но «не немцев» (20, т. 2, р. 313). Этносоциальные установки госпитов-немцев, с одной стороны, венгров и словаков — с другой, — различались между собой. Первые были не нужны землевладельцу, вторые устраивали его. Отличия между разными этническими группами госпитов, судя по примеру немцев, сохранялись в течение длительного времени и с этим, несомненно, были связаны различия в их самосознании.

К сожалению, источники не позволяют выяснить, в чем именно заключались особенности положения «*sclavi*» и, следовательно, как эти особенности могли влиять на содержание их этносоциального самосознания. Таким образом, и этот путь изучения проблемы приводит к весьма скромным результатам.

Для развития народности, которая, как словацкая, формировалась в условиях отсутствия собственной государственности, особое значение имел характер контактов с представителями того этноса, верхушка которого обладала социальной и политической властью в государстве, т. е. с представителями мадьярского этноса.

Первоначально представители обоих этносов (предков словаков и мадьяр) резко различались между собой не только по языку, но и по хозяйственно-культурному типу (21). Эти различия, однако, со временем стали ослабевать (34, с. 165), в частности с расселением мадьяр в некоторых районах территории современной Словакии. Можно предполагать, что возрастало значение различий в структуре этносоциальных организмов. В то время как этносоциальный организм мадьяр включал все основные компоненты, характерные для структуры сложившегося феодального общества, словацкая этносоциальная общность состояла в подавляющем большинстве из крестьян, проживавших на землях либо короля, либо светских и духовных феодалов. Данные о территории расселения словаков и мадьяр, на которой в ряде районов они размещались чересполосно, уже заставляют предполагать наличие самых тесных контактов между этой частью словацкого этноса и основной частью мадьярского этноса — крестьянством. О характере этих контактов, в целом мирном и плодотворном для обеих сторон (22, с. 250), убедительно свидетельствует словарный состав обоих языков: в лексиконе словацкого и венгерского много заимствований, которые составляют предмет изучения лингвистов (23, с. 31—73, 86—89). Между трудовыми слоями обоих этносов происходил плодотворный обмен производственным опытом и культурными навыками. Это дало основания полагать, что возникавшие при таком общении этнические стереотипы не содержали взаимных отрицательных оценок. Словацкий этносоциальный организм имел в своей структуре также небольшую прослойку мелких и средних феодалов: как и дворяне-мадьяры, эти выходцы из словаков, сохранявшие свой язык и этнокультурные особенности, являлись вассалами королей и членами господствующего класса, венгерского по его этнической принадлежности (хотя его члены имели разное этническое происхождение). Шел процесс мадьяризации этих выходцев из словаков, которая не предшествовала вступлению словаков в состав господствующего класса — политическую «нацию хунгарика» (7, с. 116) и не являлась условием такого вступления (этим условием была служба королю) (34, с. 162), а была, напротив, следствием такого вступления (24).

Особого внимания заслуживает вопрос об отношении венгерских феодалов к словацкому этносу. Словацкие исследователи

обратили внимание на то, что интересный материал для освещения этого вопроса содержат так называемые Деяния венгров — историческое повествование, по жанру близкое к рыцарскому роману, о древнейшей истории венгров и их переселении на территорию Среднего Подунавья. Сочинение было написано неизвестным (далее обозначается как Аноним) нотарием венгерского короля, наиболее вероятно — Бельи III в 1196—1203 гг. Прежде чем анализировать высказывания Анонима о различных группах «*slavi*», проживавших на территориях, вошедших затем в состав Королевства Венгрия, следует кратко сказать о некоторых общих результатах изучения этого памятника. Его основную часть составляют описания походов венгров во главе с Арпадом, в ходе которых были заняты земли в Среднем Подунавье. Основная часть описаний — плод литературного вымысла автора, старавшегося доказать исторические права определенных родов магнатов Королевства Венгрия (их предки якобы получали земельные пожалования от Арпада) на их имения. Установлено также, что Аноним «поселил» в Среднем Подунавье ряд народов («римляне» — жители Германской империи, чехи, греки), которые не были его жителями в IX—X вв., а проживали в XII—XIII вв. на соседних с Королевством Венгрия территориях (25; 26).

Таким образом, это сочинение не может служить источником для изучения исторических событий и межэтнических контактов X в. и должно использоваться прежде всего для изучения политической идеологии и, конечно, этносоциального самосознания венгерской феодальной знати на рубеже XII—XIII вв.

Упоминания о «*slavi*», с которыми сталкивались венгры во время походов, в тексте Анонима довольно многочисленны. Первое из упоминаний относится к тому моменту, когда мадьяры, перейдя Карпаты, «спустились к области Хунг. . . А склави, жители земли, услышав об их приходе, сильно перепугались и добровольно покорились вождю Альмошу. . . и превозносили они им плодородие их земли» (27, с. 51). В данном месте речь идет о подчинении вступившими на землю Паннонии вождями мадьяр «*slavi*», живших около Мункача (современное Мукачево) недалеко от границы с Русью. Описывая действия одного из отрядов мадьяр в земле «За лесом» (на севере исторической Трансильвании), Аноним вложил в уста разведчика слова о том, «что жители этой земли — самые ничтожные люди во всем мире, так как они Блазии (влахи. — *В. III*) и Склави, так как у них нет другого оружия, кроме луков и стрел. . .» (27, р. 66).

Далее в романе Анонима «*slavi*» оказываются жителями земли на левом берегу северного притока Дуная — р. Ипель (венг. Ипой): «. . . все склави, жители этой земли. . . из страха перед ними (трех военачальниками мадьяр. — *В. III*) добровольно подчинились им. . . И так с огромным страхом и трепетом служили им, как будто они давно уже были их господами» (27, р. 75). Все эти высказывания Анонима касаются населения районов, расположенных вне пределов этнической территории словаков. Этой терри-

тории прямо касается, однако, рассказ о занятии мадьярами области Нитры. Приводим соответствующий текст. Когда «лазутчики быстро дошли до речки Тормош, где она впадает в речку Нитра, они увидели, что жители этой области, склави и чехи, им сопротивляются с помощью князя чехов, так как. . . землю, расположенную между Вагом и Гроном от Дуная до реки Моравы, князь чехов захватил для себя и создал одно герцогство, и в это время по милости князя чехов нитранским князем был поставлен Зубур (Зобор). Когда же лазутчики. . . увидели, что склави и чехи не способны им сопротивляться, они три раза послали в них стрелы и некоторых из них этими стрелами убили. Когда склави и чехи, которых поставил Зубур для охраны, увидели, что [мадьяры] используют такое оружие, они сильно перепугались, так как никогда не видели такого вооружения, немедленно они сообщили Зубуру, их господину, и другим князьям этой провинции». В сражении между войсками мадьяр и Зубура, нитранского князя, «мадьяры убили стрелами многих из чехов и склави. . . наконец, на четвертый день чехи и все нитранские склави, увидев храбрость мадьяр и не выдержав напора стрел, обратились в бегство и ради защиты жизни быстро заперлись в крепости Нитры с огромным страхом» (27, р. 77—78). Характерно, что здесь Аноним четко отличает чехов от «нитранских склави».

В рассказе налицо один из характерных для Анонима анахронизмов. Он говорит о борьбе мадьяр за Нитру с чехами, в то время как чешские князья X в. никакого отношения к Нитре не имели, а сама эта область ко времени прихода мадьяр входила в состав Великоморавского государства. Для нашей темы важно, однако, что «чехов», которым, согласно Анониму, принадлежала власть над Нитрой, он отличает от «нитранских склави», которые, по его словам, как и чехи, были «жителями этой области» (27, р. 77). Этническое различие «нитранских склави» и «чехов» в изложении Анонима однозначно. Как и все вымышленные Анонимы противники венгерского вождя Арпада, обозначенные этническими, «склави» получили в сочинении Анонима пейоративные характеристики (27, р. 51, 66, 75, 78). Важно заметить, что такие характеристики даны Анонимом всем «противникам» Арпада, а не только народу «склави»: «римлянам» («романи»: 27, р. 46, 94, 98, 99), «болгарам» («булгарии»: 27, р. 53, 82, 83, 92, 104), «влахам» («блации», «блаци»: 27, р. 66), «чехам» («боэми»: 27, р. 77, 78, 79), «грекам» («греци»: с. 83). Такая роль указанных этнических общностей в системе общностей сочинения Анонима была связана с «обоснованием» Анонимом прав потомков Арпада — королей Венгрии XII—XIII вв. — распоряжаться их земельными владениями — доменом.

В XIII—XIV вв. с образованием на территории Словакии городов структура словацкого этноса осложнилась. В его составе появилась новая социальная группа — горожане. Как и в ряде соседних европейских стран, основание здесь городов в качестве поселений с особым правовым статусом было связано с деятель-

ностью немецких колонистов. Как правило, колонисты-немцы основывали города, сохранявшие названия старых словацких поселений. Дальнейшие судьбы городов зависели от их экономического положения и юридического статуса. В развитых королевских городах быстро происходило слияние двух этносов в единый социальный (городской) организм при сохранении этнической дифференциации. В таких городах словаки старого поселения, вошедшего внутрь городских стен и обычно называвшегося «platea Sclavorum», «Windisch Gasse» (28), вливались в состав городской общины. В частновладельческих местечках, где не было стен и собственно городского права, еще долго (до XV—XVI вв.) сохранялось разделение на «немецкое» и «славянское» право. Роль, сыгранная немецкими колонистами в самом процессе основания городов, способствовала тому, что именно из их среды выделялась верхушка, сосредоточившая в своих руках управление общиной. Напротив, селившиеся в городах словаки были слабее немцев в экономическом отношении и принадлежали к средним и низшим городским слоям. Тем самым создавалась почва для конфликтов, где социальные противоречия могли переплетаться с этническими. Первое свидетельство о конфликте такого рода относится уже к XIV в. В королевском городе Жилина, имевшем характер ремесленного центра с очень большим процентом словацкого населения, словаки, обозначенные в соответствующем документе термином «slavi», обратились в 1381 г. к королю Лайошу I с жалобой, что немцы не допускают их к участию в городском управлении, и добились от него привилегии, согласно которой устанавливался паритет между немцами и словаками в городском совете (29, s. 354—355). По словам Р. Марсины, Жилинская привилегия — это «старейшее письменное свидетельство сознания своей общности членами словацкой народности, выраженное в коллективной декларативной форме» (30, s. 14). Борьба двух этнических общностей, составлявших единую социальную общность в Жилине, была первым симптомом процесса словакизации ряда городов, развернувшегося в XV в. Проявившийся в этом конфликте этнический антагонизм — прямое свидетельство существования словацкого этнического самосознания, и достаточно развитого. Можно предполагать, что именно словацкое население городов в данный период поднялось на более высокую по сравнению с другими группами словацкого этносоциального организма ступень самосознания.

Первые ясные показания источников о существовании у словаков этнического самосознания уже сравнительно недалеко отстоят по времени от появления особого термина для обозначения человека, принадлежавшего к особой словацкой народности. Но в истории появления и распространения этнонима много неясного. Несомненно, уже ко времени первых контактов с мадьярами предки словаков имели этноним, начинавшийся на «слов-» («слав-»). Этот этноним отражал сознание его носителями своего единства (может быть, в рамках общности народов, этнонимы которых на-

чинались на «слов-», «слав-»: словаков, словенцев, славонцев). Следует признать заслуживающим внимания предположение, что представители словацкой народности до XV в. обозначали себя термином «словенин (словен), словенка, словени, словенский» (7, s. 114). Эта гипотеза обосновывается сохранением и после появления этнонима «Slovák» в словацком языке терминов «Slovenka, slovenský», а также данными, происходящими из чешской языковой среды. «Vocabularium latino-bohemicum Posoniense» (конец XIV в.) дает своеобразный перечень народов: «czeh — Bohemus, Rutenus — rusyeny, Ungarus — Uher, Slovyeny — Sclavus, moravec — Moravus», из контекста которого видно, что чешское слово «Slovyeny» здесь означает только словаков (7, s. 114—115). Об их речи чешский филолог XIV в. Кларет говорит как об искаженном славянском языке, противопоставляя «zkrivených Slověninov» «правильно» говорящим чехам (31, s. 531). Учитывая тот факт, что у чешского хрониста XIV в. Пулкавы термин «slověné» применяется для обозначения всех славян наряду с термином «slované» (32, p. 212), есть основания предполагать два значения термина: широкое (славянин) и узкое (словак) и в самом словацком обществе (11, s. 19).

Вопрос о происхождении этнонима «Slovák», на наш взгляд, требует дальнейшей разработки. Предполагается, что он возник в среде Пражского университета, в документах которого известен ряд подобных словообразований (например, Polák, Pražák) (33). Возможно, в чешской культурной среде для обозначения словаков мужского пола начали использовать и выражения «Slovák, slováci» (11, s. 20; 12, 114. l.). Во всяком случае, в чешских источниках XV в. этот термин появляется ранее, чем на территории Королевства Венгрия. Но при этом остается невыясненным механизм превращения этникона в этноним, который к тому же быстро утвердился. Ясно одно: сам этот факт свидетельствует о процессе формирования словацкой феодальной народности и представляет собой качественный рубеж в развитии ее самосознания.

1. *Dekan J.* A Nagymorva birodalom és az ó-morva nemzetiség problematikája // *Nemzetiség a feudalizmus korában.* Bp., 1972.
2. *Marsina R.* A mai Szlovákia területének betelepüléséről a 11. századtól a 13. század közepéig // *Történelmi Szemle.* 1984. N 3.
3. *Přehled dějin Československa I/1.* Pr., 1980.
4. *Středověké listy ze Slovenska.* Sbirka listů a listin, psaných jazykem národním / *Vydal V. Chaloupecký.* Br.; Pr., 1937.
5. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
6. *Kučera M.* O historickom vedomí slovákov v stredoveku // *HČ.* 1977. N 2. S. 217—238.
7. *Ratkoš P.* Otázky vývoja slovenskej národnosti do začiatku 17. stor. // *HČ.* 1972. N 1.
8. *Marsina R.* O osídlení Slovenska od 11. do polovice 13. storočia // *Slovenský l'ud po rozpade Veľ'komoravske riše (Historické štúdie, 27/2).* Br., 1984.

9. *Varsik B.* Význam výskumu osídlenia východného Slovenska pre otázku vzniku a rozvoja slovenskej národnosti // HČ. 1961. N 4.
10. *Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae.* Br., 1971. T. I (905—1235).
11. *Ratkoš P.* Postavenie slovenskej národnosti v stredovekom Uhorsku // Slováci a ich národný vývin. Br., 1969.
12. *Ratkoš P.* A szlovák nemzetiség fejlődése a 16. sz. végéig // Nemzetiség a feudalizmus korában. Bp., 1972. -
13. *Шушарин В. П.* Свидетельства письменных источников королевства Венгрия об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII в. // История СССР. 1978. № 2. С. 38—53.
14. *Kristó Gy., Makk F., Szegfű L.* Adatok «korai» helyneveink ismeretéhez. Szeged, 1973.
15. *Szentpétery I.* Az Árpád-hazi királyok okleveléinek kritikai jegyzéke. Bp., 1961. 2. k., 2—3. füz (Szentpétery I. Kéziratának felhasználásával szerkesztette Borsá I).
16. *Závodszy L.* A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp., 1904.
17. *Bartha A.* A magyar nép őstörténete // Magyarország története, Bp., 1984. I/1.
18. *Bednárík R.* Duchovná kultúra slovenského ľudu // Slovenská vlastiveda. Br., 1943. D. 2.
19. *Marsina R.* Štúdie k Slovenskému diplomatáru. II // Historické štúdie. Br., 1973. T. 18.
20. *Monumenta Ecclesiae Strigoniensis / Ed. N. Knauz.* Strigonii, 1874. T. 1 (979—1273); 1882. T. 2 (1273—1321).
21. *Kučera M.* Slovensko po páde Veľkej Moravy: Štúdie o hospodárskom a sociálnom vývine v 9.—13. storočí. Br., 1974.
22. *Kučera M.* Veľká Morava a slovenské dejiny // *Poullík J., Chropovský B.* a kolektív. Velká Morava a počátky československé státnosti. Pr.; Br., 1985.
23. *Pom A.* Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Будапешт, 1973.
24. *Fügedi E.* O stredovekej uhorskej šľachte slovenského pôvodu // HČ. 1982. N 3. S. 395—403.
25. *Дьёрдьфи Д.* Время составления Анонимом «Деяний венгров» и степень достоверности этого сочинения // Летописи и хроники, 1973. М., 1974. С. 115—128.
26. *Ratkoš P.* Anonymove Gesta Hungarorum a ich pramenná hodnota // HČ. 1983. N 6. S. 825—866.
27. *Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum.* Bp., 1938. V. 1.
28. *Halaga O. R.* «Ius Sclavorum» a «platea Sclavorum» stredovekých miest Uhorska // Historické štúdie. Br., 1967. T. 12.
29. *Chaloupecký V.* Privilegium pro Slavīs: Kritický rozbor žilinské listiny z roku 1381 // Bratislava. 1936. N 4/5.
30. *Marsina R.* Výsady pre žilinských Slovákov z roku 1381 // Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. Martin, 1984.
31. *Varsik B.* O vzniku a rozvoji slovenskej národnosti v stredoveku // HČ. 1984. N 4.
32. FRB. V.
33. *Varsik B.* Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku // Sbornik filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Br., 1926. N 45/7.
34. *Ruttkay A.* Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.—13. storočí z hľadiska archeologického bádania // *Poullík J., Chropovský B.* a kolektív. Velká Morava a počátky československé státnosti. Pr.; Br., 1985.
35. *Бромлей Ю. В.* [Рец. на кн.: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982] // Вопросы истории. 1984. № 7. С. 132—135.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ СЛОВАКОВ В СВЕТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Л. Н. Смирнов

В решении проблемы возникновения словацкой народности, зарождения и развития этнического самосознания словаков очень важную роль играют данные словацкой исторической диалектологии и истории языка данного этноса. В соотнесении с новейшими достижениями славянской археологии и исторической науки они позволяют восстановить многие существенные моменты предистории и древнейшей истории словацкого народа.

В данном коллективном труде основное внимание уделяется характерным процессам эволюции этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма (XII—начало XV в.). Однако, поскольку в предшествующем труде вопрос о зарождении и развитии этнического самосознания словаков специально не рассматривался, целесообразно хотя бы в краткой форме осветить более ранние этапы развития словацкой этнической общности и ее языка. В этом плане научная интерпретация имеющихся историко-лингвистических данных позволяет сделать ряд существенных выводов, которые в значительной мере меняют бытовавшие прежде в науке представления.

В новейших трудах словацких и чешских лингвистов получила признание и детальную разработку теория праславянского генезиса словацкого языка, согласно которой его корни восходят к западнославянскому макродиалекту праславянского языка позднего периода (см. труды Я. Станислава (1), Э. Паулини (2), Р. Крайчовича (3, 4), Л. Новака (5), А. Лампрехта (6)).

Новые археологические исследования убедительно подтверждают, что уже в V—VI вв. н. э. в области Карпатско-Дунайского бассейна, в частности по долинам рек Морава, Ваг, Дудваг, Нитра, Грон, Ипель, поселились древние славянские племена (7, s. 261). Они пережили аварское господство и достигли достаточно высокого уровня культурного и социально-политического развития, о чем свидетельствует история Нитранского княжества и Великоморавского государства. Существование раннефеодальных государственных объединений на данной территории — несомненное свидетельство разложения племенной организации и действия интеграционных тенденций в политической жизни местных славян. Язык, на котором говорили великоморавские славяне, относился к западнославянской диалектной группе позднего праславянского языка, который переживал в то время период распада. Его следы обнаруживаются, например, на полях латинской рукописи, восходящей к VI в., — Цивидальского евангелия. На полях этого памятника зафиксировано около 380 славянских имен, из них примерно 280 являются западнославянскими, записанными на рубеже VIII—IX вв. (8, s. 20); ср., например: szuentiepulc

(Světěplĕk), predezlaus (Prěděslav), priuina (Pribina), nitrabor (Nitrabor), semidraga (Sěmidrag) и др. Важные бесспорные свидетельства о языке великоморавских славян находим в терминологической лексике (из области административно-государственного устройства, культуры, религии) древних мадьяр; ср., например: asztalnok (stolnik), iŕpán (šrapъ), panas (ponosa), igríc (igrъсь > словац. igrec), rend (rědъ), kereszt (krъstъ), pogány (pohan) и др.

Известно также, что древние западнославянские диалектные черты отражены в текстах старославянских памятников великоморавской редакции (так называемые моравизмы или великоморавизмы). Есть основания предполагать, что славянское население Великой Моравии и его диалектная речь представляют собой ту этноязыковую базу, на которой сформировались чешская и словацкая народности и их языки. Так, в частности, ряд лингвистических доказательств преемственности развития от языка великоморавских славян к словацкому языку приводит Р. Крайчович (9).

Следует отметить, что западнославянские диалекты на территории Великой Моравии и прилегающих южных и юго-восточных районов не были вполне однородными. Уже в древнейший период (до X в.) в них выявились определенные различия, ставшие позднее характерными признаками чешской и словацкой языковой области, например: неодинаковое изменение праслав.* jъ — в начале слова (в чешской языковой области jъ > je, т. е. оно удержалось до падения редуцированных и их вокализации, ср.: jъgъla > jegla > jehla; jъda > jda > jdu; в словацкой языковой области jъ > i, ср.: jъgъla > igъla > igla > ihla; jъda > ida > idu > id'em); различная судьба праславянского dj: в чешской языковой области рефлекс z, в словацкой dz; расхождение между этими областями в судьбе сочетаний *гъь, *лъ (ср.: krъвь > krev, но krъвь > krv; slъza > slza (в древнечеш. это слово односложное), но slъza > slza и т. п., см.: (2, s. 58—159; 3, s. 63—98).

Конечно, наличие разных изоглоссных явлений в пределах западнославянской диалектной области (и уже — в ареале Карпатско-Дунайского бассейна) само по себе может рассматриваться лишь как предпосылка последующего эвентуального вычленения отдельных достаточно четких диалектов и их превращения в самостоятельные языковые формации. Намечившиеся в IX—X вв. диалектные группировки праславянского языка «в известной мере подготовили этническое и культурное обособление соответствующих групп населения» (10, с. 230). Такое обособление могло наступить лишь в результате действия целого комплекса социально-экономических, политических и историко-культурных факторов. Если говорить о возникновении отдельной словацкой этнической общности и формировании словацкого языка, то в этом отношении существенную роль сыграли исторические обстоятельства, связанные с падением Великоморавского государства

(X в.) и постепенным включением его восточной части и прилегающих областей, заселенных предками словаков, в состав раннефеодального Венгерского государства *. В связи с этим X век можно считать (и с этим согласны многие историки и лингвисты) переломным в истории словацкого этноса и его языка.

В новых условиях существования социум, обособившийся от ближайших западнославянских этнических общностей, а также южнославянских племен, в силу нарастающих внутренних связей и интеграционных тенденций (в том числе и языковых) получил возможность дальнейшего, уже достаточно автономного, развития своих праславянских и общих западнославянских корней и перерастания в самостоятельную феодальную народность.

Подобный характер развития подтверждают и факты истории словацкого языка. Они свидетельствуют о том, что в X—XI вв. его характеризует определенная совокупность дифференциальных языковых признаков, которые позволяют признать словацкий язык (несмотря на существовавшие уже тогда в его рамках три основные диалектные области: западнословацкую, среднесловацкую и восточнословацкую) отдельным языком, принадлежащим к западнославянской группе.

Как и другим западнославянским языкам (в отличие от восточнославянских и южнославянских языков), ему были свойственны следующие черты: 1) сохранение праслав. сочетаний kv-, gv- (ср. словац. kvet, hviezda); 2) переход ch в š как результат второй палатализации (ср. словац. šery, šedivý); 3) сохранение групп согласных dl, tl не только в начале слова (как в южных и восточных славянских языках), но во всех позициях (ср. западнословац. и восточнословац. šidlo); 4) отсутствие эпентетического l', возникшего в южных и восточных славянских языках из групп согласных bj, pj, vj, mj (ср. словац. zem); и некоторые другие (см. об этом более подробно в (2—4)).

Наряду с этим язык предков словаков уже в X в. обнаруживает ряд признаков, отличающих его от других западнославянских языков. Так, для центральной части словацкой языковой области были характерны следующие явления: рефлексy rat-, lat- на месте праслав. *ořt-, *ořt- (т. е. с циркумфлексной интонацией), например: rakita, razeň, laket'; изменение ch > s' в основах имен при склонении, ср. формы им. п. мн. ч. одушевленных существительных муж. р. Čech—Češi, mních—mníši; упрощение групп согласных dt, tl в именах существительных, например: šilo, salo; форма 3 л. мн. ч. глагола byti — sa (т. е. oni seřť > sä > sa): kd'e sa d'et'i; сохранение глагольной флексии -mo в 1 л. мн. ч., ср.: robímo, kosímo; и некоторые другие.

* В этом смысле вполне можно согласиться с А. Эрхартом, подчеркивающим определяющую роль экстралингвистических факторов, когда он пишет: «Формирование отдельных славянских языков связано (особенно в западнославянской области) с возникновением раннефеодальных государств (чешского, польского, венгерского. . .) и только во вторую очередь — с существующими диалектными различиями» (11, s. 339).

Для *всей* словацкой диалектной области типичны были также такие явления, как краткость слога на месте древнего акута в случаях типа *krava, slama, breza* (ср. чеш. *kráva, sláma, bříza*); флексия *-om* в тв. п. ед. ч. существительных муж. р., ср.: *hradom, plotom*; долгое *-á* в им. п. мн. ч. существительных сред. р., ср.: *mestá, ramená, kurčatá* и др.

Современные лингвистические исследования показали, что в развитии праславянской основы словацкого языка уже на рубеже IX—X вв. преобладали признаки и явления, которые носили несомненный западнославянский характер (ср. 4, s. 24).

Как известно, некоторые отличия среднесловацких диалектов (по сравнению с западнословацкими и восточнословацкими) ввиду их сходства с признаками южнославянских языков трактовались в старой литературе (а иногда трактуются и в настоящее время) как южнославянские языковые элементы («южнославизмы»), на основе чего некоторые авторы даже делали вывод о южнославянском происхождении словацкого языка и о последующей, относительно поздней его чехизации (ср. концепцию С. Цамбея, 12). В новейших работах словацких лингвистов убедительно показана научная несостоятельность подобной точки зрения (2, s. 36—37; 3, s. 21—22). Отвергая взгляды С. Цамбея, Э. Паулини приходит к заключению: «Словацкий язык является западнославянским потому, что он был таковым по своему происхождению. Несколько особое положение занимает его среднесловацкий диалект, который еще в прародине был окраинным западнославянским и соседствовал с диалектами предков современных южных славян» (2, s. 37). Особенно детально этот вопрос в словацком языке рассмотрен в трудах Р. Крайчовича (3, s. 4). В разработанной им миграционно-интеграционной теории праславянского генезиса словацкого языка убедительно показано, что часть так называемых южнославизмов (он считает этот термин не вполне удачным и предпочитает говорить о явлениях и признаках «незападнославянского характера») составляет древнейшие черты, которые являются наследием праславянского языка. Они восходят к признакам внутренней дифференциации праславянской основы словацкого языка, т. е. определенной части западнославянской диалектной области славянской прародины, находящейся в тесном контакте с южнославянской диалектной зоной.

Древнейшие расхождения между западнословацкими и восточнословацкими диалектами, с одной стороны, и среднесловацкими диалектами, с другой, связываются с тем, что территорию современной Словакии предки словаков заселяли в разное время и с разных направлений. Ее западная и восточная части заселялись древнейшими славянами, пришедшими несколькими волнами из прародины с севера и северо-востока, а центральная часть — древними славянами, пришедшими почти на столетие позже с юга и юго-востока. О возможности многонаправленного и неодновременного древнейшего славянского заселения территории совре-

менной Словакии говорят и новейшие исследования словацких археологов. Тем самым изложенная выше лингвистическая теория в принципе соответствует новейшим данным истории материальной культуры древнейшего славянства.

В современной лингвистической литературе признанным является положение о непосредственных праславянских источниках словацкого языка (6, s. 6), о гомогенном западнославянском характере его праславянской основы (правда, в этом вопросе имеются еще и дискуссионные моменты). Все это позволяет сделать принципиально важный вывод об историческом континуитете словацкого языка от его праславянских корней до современного состояния.

В XI—XV вв. продолжается эволюция народно-разговорного языка словацкого этноса. В этот период в словацкой языковой области происходили сложные конвергентные и дивергентные процессы, в результате которых постепенно складывался специфический облик словацкого языка, представленного тремя диалектными группами: падение и вокализация редуцированных *ь*, *ъ* (*dьньsь* > *dnes*, *мъчь* > *mach*), . . . деназализация *ą* и *ę* (*sađъ* > *sud*, *męso* > *mäso*), стяжение гласных (*dobraja* > *dobrá*, *volaješ* > *voláš*. . .), сохранение неперегласованного 'а (*ulica*, ср. чеш. *ulice*) (XI—XII вв.); изменение *g* > *h* (*Hlogovec* > *Hlohovec*), отвердение мягкого *г* (т. е. *г'* > *г*, в то время как в чешской области *г'* > *ř*), возникновение дифтонгов (например, *ō* > *uo*: *kuoŷ* и т. п.), характерных для среднесловацких говоров, изменения в системах склонения и спряжения, в частности появление типичного для словацкого языка окончания им. п. мн. ч. имен существительных муж. р. -*ia*: *synovia*, *bratia*, *Ľudia*, окончания -*m* в формах глагола 1 л. наст. времени (*nesiem*) и многие другие фонологические и морфологические явления (подробнее см. 2—4). В соответствии с потребностями формирующегося этноса развивался и словарный состав словацкого языка (в компактной форме развитие словацкой лексики изложено Р. Крайчовичем (4, s. 180—215)). Изучение истории словацкой лексики убедительно показало ее последовательное развитие от праславянской основы до современного состояния. Среди первой тысячи наиболее употребительных слов словацкого языка представлено 950 лексических единиц праславянского происхождения (13, s. 201). Вместе с тем анализ древнейшего слоя словацкой лексики свидетельствует о возникновении и развитии специфически словацких лексико-семантических элементов, например: *bl'uskat'*, *dravec **, *hútat'*, *lichva*, *ráčit'sa*, *ráčit'*, *vŕaviet'*, *vŕece* и т. п. (см. 14).

Для характеристики изучаемого периода большую ценность представляют зафиксированные в латинских памятниках словац-

* Интересный историко-лингвистический анализ древних топонимов, мотивированных данным словом, имеющий существенное значение для понимания эволюции словацкого этноса, представлен в статье В. Бланара [13].

кие имена собственные (антропонимы, различные типы топонимов: гидронимы, ойконимы и т. п.). Богатый материал в этом плане находим в соответствующих публикациях (см., в частности, ценные издания документов 15, 16). В последние годы словацкие лингвисты серьезное внимание уделяют изучению древней словацкой топонимической лексики, что позволяет установить ее корни, восходящие к праславянскому и великоморавскому периоду (см. 14, 17—19). Показательны в этом отношении древние гидронимы, представленные в латинском тексте так называемой Зоборской грамоты (1113 г.), ср.: *aqua Bistric* (словац. *Bystrica*), *fluvius nomine Dreuenizza* (словац. *Drevenica*, приток реки *Žitava*), *aqua Olesca* (словац. *Holeška*, приток реки *Dudváh*) и др. (18), а также архаические словацкие ойконимы, например: *Baru* (1296), *Kysbaru*, *Nagbaru* (1416), ср. словац. *bara*, *barina* 'болото, стоячая вода' и современное название *Bara*; *Chuzthu* (1294), *Cheztey* (1296), ср. словац. *častý* 'густой, часто повторяющийся' и современное название *Častá*; *Pogran* (1113), *Pagran* (1216), ср. словац. *hrana* 'грань, ребро', *hranica* 'граница' и современное название *Pohranice*; *Okolichna* (1248), *Akalichna* (1352), ср. словац. *okol* 'круг, огороженное место', *okolica*, *okolie* 'пространство, которое окружает кого-либо или что-либо' и современное название *Okoličné* и многие другие (см. 19). Восходящими к великоморавскому периоду являются многие славянские географические названия, отраженные в древневенгерской топонимической номенклатуре, относящейся к Карпато-Дунайскому бассейну: в частности, названия, сохранившие следы славянских носовых типа *aqua Dumbo* (совр. словац. *Dubova*), *ulla Crumba* (совр. словац. *Horná Krupá*, *Dolná Krupá*), *scelemsan* (совр. словац. *Sl'ážany*), свидетельствуют о том, что они были заимствованы древневенгерским языком не позднее X в. (т. е. до назализации носовых). Можно отметить и некоторые характерные для словацкой языковой области словообразовательные модели топонимов (наряду с праславянскими и общими западнославянскими); так, типично словацкими являются топонимы с суффиксами *-ovse* и *-ince*, которые тесно связаны с антропонимической системой словацкого языка (20, s. 212), например: *Otrokovce*, *Koplotovce*, *Dudince* и т. п.

В XI—XII вв., когда в Венгерском королевстве шло становление феодальных отношений, на территории словацкого языка получает широкое распространение новый тип топонимов — названий поселений по имени их владельцев, т. е. топонимов, возникших на базе личных имен при помощи суффиксов *-ov*, *-ovse*, *-ice*, ср.: *Šišov*, *Dražovce*, *Kuzmice* *.

Одним из важных источников развития и обогащения словацкой лексики в средние века было заимствование слов из других языков. В этом плане существенное значение имели контакты

* По данным Я. Лукачки, в Понитре этот тип составлял более половины местных названий (24, s. 824).

словацкого этноса со славянскими и неславянскими народами, в том числе с венграми, немцами, чехами, поляками и др. (см. об этом 22). Большую роль сыграло также длительное функционирование на территории данного этноса латинского языка, который в условиях феодального венгерского государства не только был официальным письменным языком (языком литургии, административно-государственного и судебного делопроизводства, науки и литературы), но и использовался образованными гражданами различной этнической принадлежности (словаками тоже) в устном общении в административно-деловой и судебной практике (ср. 22, 25), что, естественно, оставило заметный след в лексике словацкого языка. В рамках Венгерского королевства словацкий язык был в длительном и непосредственном контакте с венгерским языком, поэтому в венгерском языке немало слов, заимствованных из словацкого, и, наоборот, в словацких говорах, а также в литературном словацком языке сохранилось значительное число древних заимствований из венгерского языка, например: *banovat'*, *bet'ah*, *bíreš*, *čizmy*, *dereš*, *golier*, *hajduch*, *kočič*, *palota*, *sihot'* и др. (см. 22, 23).

В плане развития словацкой народности и этнического самосознания словаков существенное значение имеют сведения об использовании народно-разговорной словацкой речи, о сферах ее реального применения.

В раннефеодальный период основной коммуникативной сферой, где использовался словацкий язык (его диалекты), было повседневное бытовое общение словацких крестьян. Можно также предположить, что в X—начале XI в. в устной форме он применялся и привилегированными слоями венгерского общества, где были представлены и славянские феодальные роды, члены которых в тот период, вероятно, еще осознавали свое этническое отличие от мадьяр (их ассимиляция мадьярами произошла несколько позднее). Как отмечал Э. Паулини, только при таком допущении можно объяснить многочисленные заимствования в древневенгерском языке славянской терминологической лексики, связанной с государственно-правовым устройством (см. 24, s. 9). Несомненно, что словацкий язык использовался и в древнем устном народном творчестве, образцы которого, однако, не сохранились. В какой-то мере словацкая речь находила применение и в религиозной сфере. Известно, что в раннефеодальном венгерском государстве богослужение осуществлялось на латинском языке, но во внелитургических актах (оглашение, крещение, исповедь, свадебный обряд и т. п.) допускались и местные народные языки, среди них венгерский и словацкий, о чем имеются косвенные свидетельства (см. 24, s. 16). В 1382 г. синод принял декрет, по которому тот, кто не знает латыни, мог пользоваться при крещении родным языком: «*Sed quis si nescit literas baptizans, hoc vulgariter dicat*» (8, s. 52).

В XIII—XIV вв. наметились определенные сдвиги в функционировании народно-разговорного языка словаков. Именно в этот

период происходит определенная модификация словацкого этносоциального организма: в структуре народности ведущую роль начинают играть новые общественные слои — горожане (ремесленники, торговцы и др.) и поместное дворянство. В борьбе за свои социальные и «национальные» права они стремятся использовать и такое важное средство, как родной язык. В связи с этим словацкий язык снова проникает в административно-деловую и юридическую сферу, обслуживая указанные социальные группы. Таким образом, расширение социальной базы активных носителей словацкого языка способствовало расширению области его применения. Наряду с латынью, венгерским и немецким языками он используется как своего рода вспомогательный деловой язык: правительственные указы, декреты, судебные решения и т. п., написанные на латыни, в необходимых случаях или переводились на словацкий язык, или толковались на словацком языке; разговорный словацкий язык использовался и при совершении имущественных сделок (ср. 8, s. 81).

Специфической чертой развития языковой ситуации в Словакии в конце XIV—начале XV в. является проникновение в сферу словацкой письменности чешского литературного языка. Это было обусловлено, с одной стороны, активизацией венгерско-чешских и словацко-чешских контактов и культурных связей и, с другой стороны, нарастающей потребностью в едином наддиалектном письменном языке словацкой народности (поскольку заметно усилилось общение между различными социальными группами внутри словацкого этноса). С точки зрения культурного развития словацкого этноса в указанный период важное значение имеет установление соотносительной связи между народно-разговорной словацкой речью (местными диалектами) и чешским литературным языком. Он проник в Словакию в конце XIV в. и сначала имел очень ограниченную область применения: им пользовались главным образом чехи, эмигрировавшие по разным причинам в Словакию. Однако с XV в. чешский литературный язык уже широко употребляется (параллельно с латынью) в общественно-культурной практике словаков: административно-деловая письменность, религиозная сфера, литературно-художественные и научные произведения. Его основными носителями становятся средние слои словацкого общества — горожане, мелкопоместное дворянство, духовенство. С этого времени он фактически функционирует в качестве литературно-письменного, книжного языка словацкой народности. В этой своей функции он сыграл важную роль в процессе развития словацкой национальной культуры и в формировании литературного словацкого языка (25).

В силу генетической и культурной близости словацким диалектам чешский язык был более понятен и доступен местному словацкому населению, чем латынь, венгерский и немецкий. В условиях отсутствия литературного языка на основе народной речи (в эпоху раннего и зрелого феодализма в рамках Венгерского государства для его возникновения не сложились необходимые социально-

экономические, политические и культурные предпосылки; первый вариант литературного словацкого языка сформировался лишь в конце XVIII в. (26)) чешский литературный язык долгое время воспринимался словаками как культивированная, «высокая» письменная форма, иерархически соотношенная с их народно-разговорным языком. Подобное восприятие поддерживалось тем, что в рассматриваемый период в структуре развивающегося этнического самосознания словаков все еще значительную роль играл славянский компонент: чешский язык осознавался словаками как свой, славянский, в противовес неславянским языкам (латыни, немецкому и венгерскому). Поэтому, естественно, в образованных слоях словацкого общества он и мог рассматриваться в качестве репрезентанта, показателя своего этнического своеобразия. Это, конечно, не означает, что словаки в то время отождествляли себя в этническом отношении с чехами. Их этническое самосознание базировалось не только на бинарном противопоставлении «мы» — славяне, «они» — неславяне (венгры, немцы), но и на множественном противопоставлении другим славянским этносам, с которыми словаки контактировали, — чехам, полякам, украинцам. Возможно, что именно сложностью, двуплановостью структуры этнического самосознания словаков объясняется длительное функционирование в их среде этнонима *Sloven* в значении не только «славянин», но и «словак» и относительно поздняя фиксация в памятниках письменности этнонима *Slovák* (XV в.), который, впрочем, также иногда употреблялся в значении «славянин». Примечательно в этом плане также то, что и после принятия этнонима *Slovák* (мн. ч. *Slováci*) другие именные формы, семантически соотношенные с названием словацкой народности, сохранили связь с корнем *sloven-*, ср.: *Slovenka*, *Slovensko*, *slovenský* (а в эпоху национального возрождения употреблялось и собирательное существительное *Slovenstvo* 'словаки'). Указанная двойственность структуры этнического самосознания словаков находила отражение и в языковой сфере, в понимании отличия чешского языка от словацкого. Между ними существовало не только иерархическое отношение: письменно-литературной формы — диалектной, народно-разговорной формы, но и билингвистическое отношение (т. е. отношение двух разных языков) (27, с. 43). Проявилось это и во взаимодействии данных языков в письменности. В тексты на чешском литературном языке, написанные в Словакии, проникали специфические словацкие языковые элементы (словакизмы). Так, некоторые фонетические, морфологические и лексические особенности словацкого происхождения отмечаются в чешских текстах XIV в. (см., например, 28, 29, 30). Значительно число словакизмов в чешских текстах Жилинской книги (памятник XV в.). Среди них: употребление *r* на месте чеш. *ř* (*hospodar*, *tri zlate*), отсутствие в ряде случаев графемы *ě* (*k sōbe*, *czloweka*), непоследовательная реализация характерных для чешского языка перегласовок, в частности *aj > ej* (*naylepe*, *gednostaunym*), слова со слоговым *l* (*dlh*, *tłmaczem*), окончание *-m* в глагольных формах 1 л. наст.

времени (opуtujem) и др. В этом памятнике находим и лексические словакизмы, например: *božba, chotár, oblak, robiti, rokovati, stolica, stoličný, vrese, mert'uk* (из венг. *mérték*), *vidiek* (из венг. *vidék*) и др. (о соотношении чешских и словацких лексических элементов в данном памятнике см. (31), его словарный состав систематизирован в специальной публикации (32)).

С конца XV в. зафиксировано появление связных текстов на словацком языке (точнее, это были записи на словацких диалектах; они были еще далеки от литературной формы).

В словацкой письменности того времени наблюдаются процессы чешско-словацкой языковой интерференции. «С первой половины XV в. до второй половины XVIII в. известны две группы рукописных и печатных памятников письменности. Первую группу образуют памятники, в которых сознательно сохраняется чешская литературная норма. Правда, и в этих памятниках спорадически находятся лексические, фонетические или грамматические словакизмы. . . Ко второй группе относятся памятники, документирующие процесс формирования так называемого культурного словацкого языка. Речь идет о памятниках с различной степенью интерференции словацких и чешских языковых элементов: от памятников, содержащих еще относительно много богемизмов, до памятников, в сущности словацких с отдельными чешскими элементами» (33, с. 13—14). Следует отметить, что в устном общении образованных словаков все большее применение находили интердиалектные и наддиалектные формации, в которых тоже отражалось взаимодействие народно-разговорной речи с чешским литературным языком. Все это способствовало постепенному становлению так называемых словацких культурных интердиалектов как важных звеньев на пути процесса формирования единого словацкого литературного языка на основе народно-разговорной речи, органически связанного с этапом перерастания словацкой народности в нацию (см. 34, с. 88—93).

В эпоху феодализма словацкий язык, развиваясь в структурном и функциональном плане, был важным инструментом общения словаков, необходимым интегрирующим фактором, способствовавшим осознанию ими своей этнической принадлежности, и существенным признаком их этнической самобытности, иначе говоря, он выполнял необходимую этносигнификативную функцию.

1. *Stanislav J. Dejiny slovenského jazyka*. Br., 1967—1973. I—V.
2. *Pauliny E. Fonologický vývin slovenčiny*. Br., 1963.
3. *Krajčovič R. Slovenčina a slovanské jazyky*. Br., 1974. I. *Praslovanská genéza slovenčiny*.
4. *Krajčovič R. Pôvod a vývin slovenského jazyka*. Br., 1981.
5. *Novák Ľ. K najstarším dejinám slovenského jazyka*. Br., 1980.
6. *Lamprecht A. Zamyšlení nad genезi slovenštiny // Slovo a slovesnost*. 1980. N 1. S. 1—6.
7. *Chropovský B., Ruttkay A. Archeologický výskum y genéza slovenského etnika / HČ*. 1985. N 2. S. 257—292.
8. *Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť*. Br., 1983.

9. *Krajčovič R.* Jazyk na Vel'kej Morave a jeho kontinuita so slovenčinou // HČ. 1985. N 2. S. 293—304.
10. *Иванов В. В.* Диалектное членение славянской языковой общности и единство древнего славянского языкового мира (в связи с проблемой этнического самосознания) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
11. *Erhart A.* U kolébky slovanských jazyků // Slavia, 1985. Seš. 4. S. 337—345.
12. *Czambel S.* Slováci a ich reč. Bp., 1903.
13. *Blanár V.* Kontinuitný alebo diskontinuitný vývin slovenského jazyka? // Slovenská reč. 1986. N 4. S. 196—206.
14. *Ondruš Š.* Praslovanské dedičstvo v slovnej zásobe starej slovenčiny // Jazykovedné štúdie XIV. Br., 1977. S. 132—148.
15. *Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae* // Pripravil R. Marsina. Br., 1971. I.
16. *Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. I.* Pripravil V. Sedlák. Br., 1980.
17. *Majtan M.* Dedičstvo praslovančiny v najstarších slovenských vlastných menách // Jazykovedné štúdie. Br., 1977. XIV. S. 193—206.
18. *Krajčovič R.* Z lexiky staršej slovenskej hydronimie v slovanskom kontexte // Slavica Slovaca, 1980. N. 3. S. 217—224.
19. *Krajčovič R.* Z archaickej lexiky slovenskej ojkonomie // Jazykovedné štúdie. Br., 1983. XVIII. S. 39—58.
20. *Šramek R.* Ke srovnání české a slovenské toponimie // Jazykovedné štúdie. Br., 1977. XIV. S. 207—215.
21. *Lukačka J.* Vývin osídlenia stredného a severného Ponitria do začiatku 15. storočia // HČ. 1985. N 6. S. 817—840.
22. *Doruľa J.* Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Br., 1947.
23. *Haumptová Z.* Významové skupiny maďarských slov prejatých do slovenštiny // Slavia. 1959. S. 519—532.
24. *Pauliny E.* Začiatky kultúrneho jazyka slovenskej národnosti // Jazykovedné štúdie. Br., 1961. VI. S. 5—39.
25. *Pauliny E.* Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry // O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Br., 1956. S. 99—124.
26. *Смирнов Л. Н.* О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка // ВЯ. 1969. № 6.
27. *Pauliny E.* Kultúrnohistorické podmienky a spoločenské funkcie bilingvizmu v dejinách spisovnej slovenčiny // Československé prednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Pr., 1958.
28. *Pauliny E.* Dve veršované staročeské skladby so slovakizmami // Jazykovedný časopis. 1960. N 2. S. 125—136.
29. *Pauliny E.* O pasovskom zlomku staročeského žaltára // Jazykovedný časopis. 1963. N 2. S. 138—145.
30. *Király P.* Zur Frage der ältesten slowakischen Sprachdenkmäler // Studia Slavica. Bp., 1958. S. 113—158.
31. *Němec J., Michálek E.* Žilinská kniha jako pramen slovenské a české historické lexikografie // Jazykovedné štúdie. Br., 1982. XVIII. S. 5—14.
32. *Ryšánek F.* Slovník k Žilinské knize. Br., 1954.
33. *Slovenský historický slovník z predpisovného obdobia: Ukážkový zošit.* Br., 1973.
34. *Смирнов Л. Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1986.

ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОСТИ В XII—XIV вв.*Я. Д. Исавич*

По установившейся в исторической науке традиции, начало периода феодальной раздробленности в Польше относят к 1138 г., когда умер Болеслав Кривоустый и вступил в силу установленный им порядок наследования удельных княжеств *. До этого периода всегда находился владетель, которому удавалось объединить в своих руках власть во всей стране, после же 1138 г. на протяжении почти двух столетий ни одна попытка объединения не увенчалась сколько-нибудь долговременным успехом. В период феодальной раздробленности междоусобные войны стали особенно упорными и затяжными, они ложились все более тяжелым бременем на плечи народных масс, замедляли темп экономического развития.

Период феодальной раздробленности явился особым этапом в этнической истории польской народности, поскольку социально-экономические и политические события не могли не отразиться на характере этнического самосознания. Его уровень, достигнутый к концу предыдущего периода, сыграл важную роль в сохранении народности в неблагоприятных условиях раздробленности (3, с. 164). Это, в свою очередь, стало одной из существенных предпосылок восстановления и укрепления единства Польского государства в XIV в. В борьбе за объединение Польши в конце XIII—начале XIV в. этническое самосознание польской народности проявилось как в идеологических декларациях, так и в политической деятельности различных классов и сословий. Обилие источников конца XIII—начала XIV в., повествующих о самосознании и патриотизме поляков, побудило некоторых историков относить к этому времени завершающий этап формирования польской народности (4, с. 3—35).

Как и в других странах, феодальная раздробленность явилась закономерным этапом развития общества. Политическая и экономическая консолидация отдельных княжеств была тесно связана с развитием феодализма вглубь, укреплением позиций местных группировок феодалов. Вопреки ущербу, наносимому междоусо-

* Общую характеристику периода см. в коллективной монографии (1).
Материалы конференции советских и польских историков, посвященной этому периоду см. (2).

бицами, развивались производительные силы, наблюдался в целом значительный, несмотря на периоды регресса, рост населения, в том числе торгово-ремесленной прослойки в городах. Увеличивалось и значение транзитных торговых путей, пересекавших всю территорию Польши с запада на восток и с юга на север. Новые явления в экономической жизни, сопровождавшиеся становлением соответствовавших им правовых институтов, не замыкались в пределах княжеств, а охватывали всю Польшу. Общепольские процессы в области экономики способствовали сохранению достигнутого ранее уровня этнического самосознания.

В том же направлении действовали и определенные процессы в социально-политической жизни и соответствующие им правовые институты. Одним из институциональных признаков сохранения некоторого, пусть и относительного, единства польских земель было то, что до 1227 г. краковский князь считался принципсом, главным между князьями. Определенной гарантией единства Польши было и правление во всей стране, за исключением Поморья, представителей одной династии — Пястов. Разные области на время соединялись друг с другом в различных комбинациях, и это противодействовало утверждению сепаратизма стойких территориальных комплексов.

Имело значение и объединение польских земель в рамках одной церковной провинции — Гнезненской архиепископии.

Сохранению общепольского самосознания способствовала общность социального строя и правовой системы польских земель. Немец, описывавший во второй половине XIII в. обычное право в Поморье (так называемая Эльблонгская книга), рассматривал его именно как польское, свойственное всей польской народности. Единство правовых традиций и норм отражало свойственную народности общность обычаев, особенностей психического склада, с другой же стороны, способствовало укреплению этой общности.

Таким образом, уже на первых стадиях периода раздробленности наряду с центробежными силами действовали факторы, способствовавшие единению между польскими землями, хотя центробежные силы действовали более активно. Однако и тогда они, хотя и существенно влияли на политическое развитие, не смогли привести к дезинтеграции того этнического самосознания, которое являлось результатом предыдущего развития, а в новых условиях поддерживалось центростремительными силами.

Уровень этнического самосознания польской народности накануне периода феодальной раздробленности зафиксирован в хронике Галла Анонима. Уровень и характер самосознания, свойственный периоду раздробленности, наиболее подробно отражен во второй польской латиноязычной хронике — магистра Винцентия Кадлубека *, капеллана краковского князя, а затем краковского

* Последний комментированный перевод: (5). В дальнейшем при ссылках на хроникю указывается ее книга, глава, а также страница по изданию А. Белевского (6).

епископа. Он — первый поляк среди хронистов Польши, а его хроника — древнейшее крупное литературное и научное произведение, написанное уроженцем Польши.

Уже самим построением хроники магистр Винцентий подчеркнул, что выражает взгляды наиболее влиятельных и образованных соотечественников. Первые три книги оформлены как диалог краковского епископа Матвея (автора письма Бернарду Клервоскому, датированного около 1147 г.) и его современника, гнезненского архиепископа Иоанна. От своего имени Винцентий пишет о событиях конца XII—начала XIII в., происходивших на его глазах.

Хроника Винцентия — выдающееся литературное произведение и в то же время весьма своеобразный исторический источник. Трудно найти в современной ему хронистике памятник, более насыщенный вымыслами, имевшими целью возвеличить собственную народность. Их анализ позволяет сделать определенные выводы о характере этнического самосознания господствующих кругов феодального общества Польши периода политической раздробленности. В частности, важны сведения о характере распространенных в среде польских феодалов этнических стереотипов — подчеркнуто односторонних характеристик других народов. Несправедливые оценки других этносов, особенно соседних, служили противопоставлению «они — мы» и тем самым укрепляли этническое самосознание. Как неоднократно отмечалось исследователями, отрицательные стереотипы в отношении включаемых в стереотип «они» («чужие») зачастую имели большую силу воздействия, чем положительные характеристики тех, с кем пишущий себя идентифицировал («мы», «свои»). Винцент заострил многие из стереотипных оценок Галла Анонима. Более резко, чем Галл, магистр Винцентий осуждал немецкую «злобу», называя немцев даже «саранчой» (6, кн. III, гл. 4, с. 332). Естественно, типично феодальная агрессия выводится из общенародных свойств характера немцев как таковых. Показательны изменения, которые Винцентий внес в данное Галлом описание войны Болеслава Кривоустого с германским императором Генрихом V в 1109 г. Винцентий описывает, как владетель Польши, чтобы поднять боевой дух своего войска, стремился развеять утверждения о непобедимости врагов. «Они исполинского роста, — но это ничего не значит, так как низкая трава стоит, а высокие сосны падают от своего роста. Утверждают, что их несметное множество, — очевидно, они не сильны, если воюют количеством. У них сила железная, — надеюсь, нелегко ей придется перед лицом острия храбрости» (6, кн. III, гл. 18, с. 345). Его слова — свидетельство, что в Польше был распространен стереотип о немецких воинах как врагах очень сильных, большого роста, многочисленных, закованных в железо (7, с. 56). В эпизодах, относящихся к чехам, стереотипные характеристики их «грабительства» и «вероломства» взяты Винцентием в основном из хроники Галла Анонима (8, с. 485—486). Найденную у Юстина характеристику цинизма Филиппа Македонского Винцентий приписывает чехам (6, кн. II, гл. 28, с. 321; 9, с. 317).

Более последовательно, чем Галл, магистр Винцентий проводил взгляд, враждебный Руси как стране схизматиков. Он не жалеет отрицательных эпитетов, изображая «дикость» и «кроважность» восточных соседей Польши, в то же время с одобрением и даже любованием пишет о жестокостях польского войска во время похода на Русь (6, кн. III, гл. 24, с. 357—358). Характерно, что аналогичные этнические характеристики («вероломство», «варварские обычаи», «разбойничьи нравы») некоторые современные ему немецкие хронисты применяли к полякам, а французские хронисты — к немцам (7, s. 40). Во всех случаях отрицательные этнические стереотипы насаждались потому, что служили политическим интересам определенных группировок господствующих классов соответствующих стран. В частности, магистр Винцентий отражал точку зрения части высшего католического духовенства, а также связанных с ним светских феодалов Малой Польши, заинтересованных в подчинении соседних древнерусских княжеств. В соответствии с их интересами он одни факты замалчивает, другие извращает. Так, он не упоминает о браке Казимира Восстановителя с дочерью Ярослава Мудрого, утверждает, что войско Ярослава помогало «бунтовщику» Маславу, хотя из хроники Галла и «Повести временных лет» известно, что на самом деле Ярослав Мудрый помог Казимиру справиться с восстанием Маслава. Хотя Винцентий и не называет православных иноверцами, есть основания полагать, что сознание принадлежности к католическому миру способствовало выработке своеобразного конфессионального стереотипа, который накладывался на этнический стереотип и оказывал на него воздействие. Механизм возникновения этнического и конфессионального стереотипов позволяет раскрыть письмо краковского епископа Матвея к Бернарду Клервосскому, хотя, возможно, это и не письмо, а своеобразное публицистическое произведение, «написанное скорее всего еще в XII в. в Кракове» (7, s. 52). Так или иначе, в памятнике отражены взгляды высшего католического духовенства Малой Польши. Не довольствуясь обвинением восточных славян в ереси, автор отказывается признавать христианским народ, который «Христа лишь по имени признает», а, по сути, «в глубине души отрицает» (10, с. 115).

Очевидно, католическое духовенство было заинтересовано в насаждении стереотипа польской народности как «правоверной», послушной католическому духовенству и ведущей под его моральным руководством законную борьбу против тех, кто не принимает «истинной» религии.

В противоположность другим народам Винцентий идеализирует поляков. «Стихией их была сила зрелого мужества, кроме великодушия ничего не считали великим, а усилением своей храбрости не ставили никаких границ» (6, кн. I, с. 77).

Не менее важными с точки зрения тех взглядов на польскую народность, которые Винцентий фиксировал либо стремился насаждать, являются его концепции о происхождении польского народа и первоначальном героическом периоде его истории. Те или

иные исторические сюжеты конструировались им для воплощения определенных политических и социально-моральных установок. Так, хронист перенес на Польшу ряд сообщений, заимствованных у римского историка II в. Юстина (11, s. 312). Это объясняется тем, что у Юстина изложение истории древнего мира не было подчинено идее обоснования универсального характера власти императоров Рима, даже само слово «империя» употреблялось зачастую для обозначения других государств, неподвластных Римской империи. Опираясь на эту историческую традицию, магистр Винцентий попытался создать историю Польши как государства, не подчиняющегося германским императорам, считавшимся наследниками и продолжателями традиций древнеримских императоров (12, s. 38—39). Проблема исторического обоснования суверенитета Польши возникла в связи с конкретной политической ситуацией: раздробленность страны облегчала попытки императоров из династии Штауфенов подчинить себе польские княжества.

Если для Галла Анонима история начинается с образованием государства в Великой Польше, то для Винцентия древняя история польского этноса начинается с гораздо более древних времен. Предки поляков — вандалы или лехиты. Они, в его понимании, издревле «проживали здесь» и установили границы, победив соседей и подчинив их своей власти. Под владичеством предков поляков оказалась огромная территория — от Дании до Греции. В результате успешной войны с римлянами предки поляков заняли римские города. Затем поляки, столицей которых был Краков, а владычицей Ванда, разбили «тирана леманнов» (аллеманов, т. е. немцев). После ее смерти поляки нанесли поражение Александру Македонскому, Крассу, Цезарю. Тем самым провозглашалось не только древнее происхождение и изначальный суверенитет Польского государства и превосходство храбрости и военного искусства поляков над аналогичными качествами как прославленных народов древности, так и западных соседей Польши — немцев.

Вместе с тем Польское государство в изображении Кадлубека выступает как огромная многоэтническая держава, равновеликая Римской империи или державе Александра Македонского. Польский владетель Лестько, подобно императорам, в завещании раздавал своим сыновьям графства, марки, королевства, первородного же сына поставил «королем всех» — его власти подчинялась не только Славия, но и соседние империи (6, кн. I, гл. 17, с. 266). Таким образом, Польша изображалась как владелица всего славянского мира и ряда сопредельных стран. Такой характер имело Польское государство не только в глубокой древности, но и в начале XI в. при Болеславе Храбром, когда в руках поляков и их правителя находилась верховная власть над землями ряда соседних славянских и неславянских народов.

Из сказанного достаточно ясен и сословный характер авторского стереотипа поляка-рыцаря в хронике Кадлубека, и отпечаток интересов польского господствующего класса на его картине прошлого.

Вместе с тем наряду с порой проявлявшимся очень сильно общепольским этническим самосознанием в хронике Кадлубека могут быть отмечены и черты более узкого, областного сознания, что неудивительно для памятника времен феодальной раздробленности. Так, характеризуя древнюю историю Польши, Винцентий объединил сведения, почерпнутые из античных источников, с малопольским циклом легенд о Краке, или Гракхе, легендарном основателе Кракова, и Ванде. Независимо от того, были ли эти легенды сочинены полностью хронистом или только адаптированы им на основе аутентичных древних сказаний, они служили обоснованию идеи о приоритете Кракова как изначального центра польской государственности. Это, безусловно, отражало точку зрения феодалов Малой Польши, удельного Краковского княжества. Еще более важно то, что при изложении хронологически близких событий Винцентий, как правило, руководствовался интересами Краковского княжества, а не Польши в целом. Краковский удел он именует «королевой провинций» — *regina provinciarum* (6, кн. IV, гл. 4, с. 385). В изложении не чувствуется недовольства раздробленностью страны, не декларируется желательность ее объединения (9, с. 188). Более того, краковский хронист считал возможным воспевать как героические страницы истории междоусобные войны (13, с. 34).

Хотя высоким уровнем своей образованности магистр Винцентий резко выделялся из окружающей среды, его историческая концепция отражает взгляды польских феодалов периода политической раздробленности страны. Его политический идеал — согласные действия князей, признание ими авторитета краковского князя-принцеса. Защищая суверенитет Польши от поползновений империи, Винцентий не замечает, как вредит позиции Польши ее политическая раздробленность. Лишь на последующем этапе исторического развития, когда реальной стала перспектива объединения Польши, читатели стали более ценить у Кадлубека общепольские, а не локальные мотивы.

Хроника магистра Винцентия Кадлубека как бы подытожила уровень самосознания господствующих классов польских княжеств в форме, складывавшейся в результате осмысления событий XII в. Можно думать, в общих чертах были сходны взгляды феодалов разных областей Польши: везде они сочетали элементы общепольского сознания со стремлением к идеологическому обоснованию партикулярных интересов верхушки феодалов своей области. По частным вопросам (таким, например, как отношение к внешнеполитическим союзам, что отразилось и в предпочтении определенных этнических стереотипов) были существенные различия даже во взглядах разных группировок феодального класса одной области, не говоря уже о конфликтах межобластных. К сожалению, до нас дошел источник, отражающий позицию только одной из группировок феодалов Малой Польши. В источниках XII в. почти нет прямых сведений о самосознании рядовых рыцарей, не говоря уже о крестьянах и городских низах. Однако описание войн с инозем-

ными захватчиками, в которых героизм и стойкость проявили рядовые воины, в том числе и крестьяне, позволяет сделать вполне определенный вывод об активной позиции народных масс как защитников родной земли. Также и исторические аналогии свидетельствуют, что патриотические установки выдающихся деятелей культуры возникают на почве определенного уровня самосознания всех основных классовых групп этносоциального организма. Этот вывод можно отнести и к хронике Винцентия как к памятнику самосознания польской народности конца XII—начала XIII в.

К этому времени относится еще одно важное изменение в этническом самосознании польской народности. Ее признаком стал особый, польский язык. Уже в грамоте 1210 г. встречаем указания, что так местность именуется «на польском языке» (*Polonica lingua*) (14, № 66).

В XIII в. получают дальнейшее развитие многие из процессов, начальные стадии которых наблюдались и в предыдущем столетии, причем развитие обретает еще более противоречивый характер. Оживление экономической жизни в отдельных областях, особенно в наиболее развитых — Силезии, Малой Польше, Великой Польше, обуславливает не только сепаратистские тенденции части феодалов, но и стремление феодального класса областей возглавить и использовать в своих интересах объединительное движение. Последующий экономический подъем, все более явственный со второй трети XIII в., приводит к более четкому осознанию широкими кругами населения (купцы, рыцари, возможно отчасти и свободные крестьяне) тормозящего воздействия раздробленности на экономику (15, s. 122—126 и др.). Оно было тем более явственным, что после 1241 г. раздробленность достигла апогея.

Ослаблением расчлененной Польши воспользовались ее западные соседи — немецкие феодалы. В 1250—1252 гг. маркграфы Бранденбурга захватили одну из западных польских земель — Любушскую, в 1266 г. их войска заняли Санток, «который называли ключом польского королевства». В 1276 г. они попытались занять и Гданьск, откуда их с трудом выбили соединенные силы Великой Польши и Восточного Поморья. Новая опасность возникла после захвата земель пруссов Тевтонским орденом, который стремился овладеть землями Поморья, отделявшими его владения от Германии. Агрессия немецких феодалов и монголо-татарское нашествие вызывали отпор со стороны поляков и тем способствовали нарастанию стремлений к объединению страны в широких кругах населения польских княжеств. Всеобщее возмущение стали вызывать действия тех князей, которые для достижения личных целей шли на уступки Бранденбургу, опирались на его поддержку.

Новым, по сравнению с предыдущим периодом, фактором, влиявшим на этническое самосознание, стали контакты с наплывающим иноязычным населением внутри страны. В раннефеодальной монархии иностранцев было сравнительно мало. Владетели страны приглашали себе на службу отдельных рыцарей, представителей

духовенства, строителей, ремесленников. Однако подобных пришельцев было сравнительно немного, они быстро ассимилировались, источники не фиксируют каких-либо конфликтов местного населения с ними.

Основание новых селений, хозяйственное освоение малозаселенных районов обусловило целесообразность привлечения новых поселенцев не только из своей страны, но и из-за рубежа. С конца XII—начала XIII в. в Силезии оседали крестьяне из Германии. Наблюдался также наплыв в Силезию немецких рыцарей и духовенства (преимущественно монахов). В районах немецкой крестьянской колонизации не было благоприятных условий для интеграции феодалов немецкого происхождения с местными (как в других областях). Естественно, что пожалование земель иноплеменикам вызывали недовольство местных феодалов (16, гл. 72). К первым десятилетиям XIII в. относится также начало наплыва немецких купцов и ремесленников в города Силезии и Малой Польши. В середине XIII в. крупнейшие города Польши были реорганизованы согласно нормам немецкого городского, преимущественно магдебургского, права, причем войтами, как правило, становились богатые немецкие купцы. Одновременно на протяжении второй половины XIII в. немецкими колонистами был основан ряд городов и сел в предгорьях Судет. В результате к началу XIV в. западная часть Нижней Силезии в языковом отношении стала смешанной, причем экономически развитые города были уже тогда почти полностью немецкими. За исключением этой окраинной территории, в целом в городах польское население преобладало, но господствующие позиции в большинстве крупных и некоторых средних городах принадлежали немецкому патрициату.

Появление в Польше влиятельных групп немецкого населения не могло не вести к возникновению этнически окрашенных социальных антагонизмов. Так, недовольство массы рыцарей обогащением городского патрициата в условиях, когда этот патрициат был немецким, обрело форму этнической конфронтации. То же получалось, когда пришлое монашество, руководствуясь интересами своих интернациональных корпораций, не желало считаться с местной церковной иерархией. Интересы последней затрагивались и тогда, когда немецкие колонисты отказывались от уплаты десятин в пользу церкви. Все это делало польские церковные круги особенно чувствительными к расселению немцев на польских землях. Иерархи польского происхождения, связанные с местными феодалами, часто становились выразителями настроений, враждебных иноплеменикам. Особенно ярко это проявилось в деятельности гнезненского архиепископа Якуба Свинки (1283—1314).

Именно из Силезии, где наплыв немецких колонистов был наиболее массовым, известны документы для новых поселенцев, запрещающие принимать в их число немцев. Такого содержания привилегию выдал, например, епископ Томаш I рыцарю Вроцвовою в 1248 г. (17, s. 115).

Источники церковного происхождения также фиксируют конфликты польских мирян и духовенства с колонистами и духовенством немецкого происхождения. Уже в 1248 г. на епархиальном синоде во Вроцлаве высказывалось недовольство тем, что немецкие поселенцы не придерживаются наравне с поляками постов, а главное, не платят церковным властям десятин (18, s. 350—352, § 7, 12).

Ряд францисканских монастырей в Силезии изгнал польских монахов, и более того — отказался повиноваться польской церковной иерархии и перешел из польской провинции францисканского ордена в саксонскую.

Конфликт послужил поводом для созыва общепольского синода в Лэнчице в 1285 г. (19, S. 151—158, № 94). В письме, направленном с этого синода польским епископатам римской курии, четко сформулировано, что именно в сложившемся состоянии польско-немецких отношений вызывает беспокойство польской церкви. Главное — это что «народ тевтонский» — gens Teutunica — «вторгся» в Польшу и занял уже в ней «многие места». Далее это общее положение раскрывалось на конкретных примерах: немецкие князья занимают польские земли и, отрывая их от Польши, включают в состав Империи, но и в других землях немецкие рыцари и колонисты (coloni) занимают «деревни и другие места», которые ранее принадлежали полякам, отказываются подчиняться установленным в стране порядкам и угнетают местных уроженцев. Именно в эту общую картину послание вписывало своевольные действия францисканцев, против которых он протестовал самым резким образом, добиваясь от римской курии поддержки, так как Польша «не должна превращаться в Саксонию».

Если действия францисканцев затрагивали непосредственно интересы польского духовенства, то общие причины недовольства, сформулированные в послании, отражали, несомненно, настроения более широких кругов польского общества. Ряд межэтнических конфликтов разного уровня связывался между собой и подводил к общему выводу об угрозе самого существования «польского народа»: если римская курия не поможет, указывалось в послании, дело дойдет до «уничтожения» (exterminacio) народа. В условиях такого антагонизма четко осознавалось представление об особенностях «своего» этноса — его «земле», его правах и обычаях и в особенности его языке. Лэнчицкий синод 1285 г. принял специальные решения, имевшие целью «сохранение и поддержку польского языка». Предусматривалось предоставление церковных должностей только тем, кто родился в Польше и владеет польским языком (18, s. 384, 387), и предлагалось устанавливать ректорами в кафедральных и монастырских школах тех, кто знает польский язык и может на нем объяснять ученикам произведения изучаемых латинских авторов. Эти постановления были подтверждены вторым Лэнчицким синодом 1287 г. В его статутах (решении) выдвигалось требование, чтобы священники во время воскресного богослужения «объясняли людям на польском языке молитвы и делали объявле-

ния о последующих церковных церемониях и празднествах» (14, s. 510—514). И эти постановления отражают точку зрения не только духовенства, но и других слоев польского общества. Анализ этих источников убеждает в правильности выдвинутого выше положения, что межэтнические конфликты обрели остроту в тех случаях, когда они накладывались на социальные антагонизмы и становились формой их выражения. При этом несомненно, что конфликтные ситуации возникали преимущественно в среде господствующих классов или в связи с их политикой. Для нашей темы важно, что эти конфликты способствовали активизации польского этнического самосознания. Хотя оно было порождено в первую очередь консолидацией польской народности, обусловленной экономическим и социально-политическим развитием страны, эти конфликты, несомненно, влияли на интенсивность и характер самосознания.

Проявления общепольского самосознания учащались по мере усиления тенденций к объединению страны. В целом на протяжении XIII в. соотношение сил между центробежными и центростремительными процессами менялось в пользу последних, особенно во второй половине века, однако наряду с усиливавшимися общепольскими тенденциями в этот период еще сохранялись и элементы самосознания локального, областного, регионального.

Для исследования сложной диалектики взаимоотношения общепольского самосознания с областным весьма важно установить, как соотносить друг с другом общепольские и локальные идеологические течения. В частности, это можно проследить на основе материалов о появлении культа новых святых — патронов страны и ее земель. Ряд агиографических памятников, связанных с развитием новых культов, возник или получил распространение как раз во второй половине XIII в.

Как известно, в Польше не возник культ монарха-святого, основателя династии, подобного Владимиру Святославичу на Руси либо Стефану в Венгрии. Правда, к числу святых были отнесены отдельные, ставшие монашками жены и дочери князей, культ которых постепенно получал общепольское распространение, но их прославляли не за государственную деятельность, а за аскетизм, примерное следование монастырским идеалам, целомудрие или самоограничение в семейной жизни. Гораздо большее значение имело превращение культа св. Станислава из областного краковского в общепольский. В свое время краковский епископ Станислав был казнен Болеславом Смелым за «предательство», т. е. за проведение политики в интересах враждебных князю феодалов. Причисление его к лику святых было связано с усилением позиций высшего духовенства, которое в период феодальной раздробленности стремилось диктовать свою волю светской власти. Именно концепция превосходства духовной власти над светской доминирует в первом («Меньшем») Житии Станислава («*Vita minor*»), написанном после 1242 г. Винцентием из Кельц. В этом памятнике совершенно отсутствует мотив сожаления по поводу отсутствия

единства Польши (9, с. 189). В составленном тем же автором около 1260—1261 гг. «Большем житии» («Vita maior») Станислава уже выдвигалась политическая программа возрождения Польши как единого королевства. Утрата Польшей статуса королевства и ее политическая раздробленность изображались как наказание за грехи (прежде всего за неуважение к духовенству). Но автор утверждал: подобно тому как чудесным образом божья воля возвратила в прежнее состояние разрубленное на части тело Станислава, так и «разделенное королевство бог возвратит в прежнее состояние, укрепит мудростью и правом, увенчает славой и честью» (20, с. 393). Хранящиеся в Кракове символы королевства — корона, скипетр, копые — достанутся тому, «для кого они отложены», — он явится «присланный богом подобно Аарону». При этом именно заслуги перед богом епископа-мученика и предопределяли, по мысли агиографа, грядущее возрождение Польского королевства. Неясно, как конкретно представлял себе автор политическое объединение Польши, но это и не так важно.

Инициаторы канонизации явно приспособлялись к настроениям, ставшим к тому времени популярными. Они провозглашали Станислава патроном той идеи, которая могла снискать новому святому особый моральный авторитет.

Мотивы из Жития Станислава проникают в памятники, созданные в других областях Польши, в частности в Великопольскую хронику и агиографические произведения о св. Войтехе. Во второй половине XIII в. духовенство Великой Польши стремилось возродить культ Войтеха как патрона Польши, чтобы противопоставить его канонизируемому в это время краковскому епископу Станиславу (21). С этой целью были написаны рифмованные службы Войтеху (для использования в богослужениях), а также «Чудеса святого Войтеха» («Miracula Sancti Adalberti») (20). В этих памятниках как поле деятельности Войтеха, друга и учителя Болеслава Храброго, изображается вся Польша. Под влиянием идей о Станиславе и отчасти о Войтехе в середине XIII в. возникает и Житие епископа Вернера — патрона Мазовии (22), мученика и защитника прав церкви. Жития всех трех польских епископов-святых имеют много общего. Они отражают возросшую роль высшего духовенства, склонного согласиться на объединение страны при условии сохранения влияния иерархии на ход событий. Уровень политического самосознания периода раздробленности отражал тот факт, что епархии (а значит, и соответствующие им княжества) стремились иметь своих патронов. Но значение их деятельности не замыкалось локальными рамками, и местные культы, как правило, быстро становились общепольскими.

В рассматриваемое время получили дальнейшее распространение и этнические стереотипы, связанные с противопоставлением «правовой» польской народности ее соседям. В переписке польской курии с польскими князьями начиная с 30-х годов XIII в. развивается представление о Польше как переднем крае защиты католической веры от ее врагов-«схизматиков» — восточных сла-

вян, язычников, литовцев и монголо-татар. Распространялись слухи, часто преувеличенные или вообще неправдивые, о погромах христиан язычниками и проповедавались, как якобы оборонительные, крестовые походы на Ятвягию, Литву, пруссов (7, s. 269). Такие противники Польши, как Бранденбург и Тевтонский орден, свою агрессию против Польши оправдывали тем, что поляки действуют в союзе с язычниками, да и сами являются «полужычниками», что также заставляло польских князей подчеркивать чистоту своих религиозных убеждений (7, s. 278).

Историографические памятники второй половины XIII в. в значительной мере опирались на хронику магистра Винцентия. Но если он ставил задачей связать историю Польши с всеобщей историей античного периода, то теперь это дополнялось попытками возвысить свой народ, включая его историческое прошлое в контекст истории христианства. Краковский каноник-схоласт, переписывая около 1266 г. старый «рочник» Краковского капитула, предваряет его взятым из Исидора Севильского рассказом о «шести веках мира». Вполне естественно появление в эпоху феодальной раздробленности хроник, носивших ярко выраженный областной характер. К ним относится Польско-силезская хроника, написанная, по-видимому, около 1285 г. при дворе вроцлавского князя Генриха Пробуса *. Освещая события XIII в., хронист обращает внимание на генеалогию силезских князей, подчеркивает их права на собственный удел и даже на королевскую корону Польши. Также и в этой хронике отмечалась связь Силезии с историей Польского королевства, указывалось, что ее главный город Вроцлав принадлежит «телу королевства».

К тому времени хроника, стоявшая на областной точке зрения, становится анахронизмом. В конце XIII—начале XIV в. движение за объединение польских земель вступает в решающую фазу. Класс феодалов активно не включался в объединительный процесс, пока не добился от монархии широких иммунитетных прав. Только укрепив свои позиции по отношению к центральной власти и оформив это юридически, феодалы стали сторонниками объединения государства, поскольку уже не опасались ущемления его главой своих привилегий (24, s. 274 и след.).

Объективное вызревание условий для объединения значительной части польских земель проявилось в том, что разные князья стали претендовать на роль объединителей. В 80-е годы пытались добиться польской королевской короны вроцлавский князь Генрих IV Пробус, в 90-е годы — серадзско-куявский князь Владислав Локетек, великопольский князь Пшемьсл II, чешский король Вацлав II, глоговский (в Силезии) князь Генрик V (2, с. 248—257). Наконец, в 1295 г. Пшемьсл II, объединивший с Великопольшей Восточное Поморье, был коронован в Гнезно и провозглашен королем, однако уже в следующем году он погиб. Вацлав II

* Ранее авторство приписывали монаху цистерцианского монастыря в Любенже. См. (23).

из династии Пржемысловцев, ранее овладевший Малой Польшей, в 1300 г. был признан феодалами Великой Польши и в том же году короновался в Гнезно. Написанная в основном Вацлавом II монастыре Збраславская хроника подчеркивала, что мотивом приглашения Вацлава II на великопольский престол было желание иметь одного владетеля для тех; «кто в звучании славянского языка мало отличается друг от друга. Ведь разговаривающие на одном языке соединяются более полными и тесными узами любви» (26, s. 81; 27, s. 71). Однако круги, имевшие симпатии к Вацлаву II как славянскому монарху, не могли не испытать разочарования, когда оказалось, что новый король не ввел единого административного центра для принадлежащих ему польских земель, а в каждую из них назначал отдельных старост, преимущественно из числа магнатов Чехии, в том числе немецкого происхождения. После смерти Вацлава II его сын Вацлав III встретил сопротивление во многих польских землях, где против чешских старост выступили местные феодалы. В результате в 1306 г. в Великой Польше укрепился Генрих Глоговский, Малой Польшей овладел Владислав Локетек. В начале 1314 г. Владислав Локетек, опираясь на поддержку большинства рыцарей, части możновладцев и духовенства, ряда городов, укрепился в Великопольше. 20 января 1320 г. состоялась его королевская коронация. Правда, за пределами возрожденного Польского королевства остались Мазовия, силезские княжества, которые вскоре признали вассальную зависимость от чешских королей, Гданьское Поморье, захваченное в 1308—1309 гг. Тевтонским орденом.

События конца XIII—первой половины XIV в., завершившиеся объединением значительной части польских земель под властью королей, были бы невозможны без подъема этнического самосознания и, в свою очередь, оказывали на этот процесс значительное влияние. В отличие от предшествующего периода наметилась более четкая связь между политической линией немецких феодалов, угрожавших государству извне, и действиями тех группировок патрициата и отчасти феодалов, которые ориентировались на поддержку внешних сил.

По существу, в этот период противостояли две разные концепции объединения Польши. Силезские князья, а в какой-то мере и чешские короли из династии Пржемысловцев и из сменившей ее династии Люксембургов мыслили Польшу как понятие более политическое, чем этнополитическое. И в Силезии, и в Чехии того времени было немало феодалов и горожан, которые, оставаясь немцами по языку и культуре, были «силезцами» или «чехами» по политической ориентации, верными подданными силезских княжеств либо Чешского королевства. Характерно, что во второй половине XIII в. в местных анналах, писавшихся монахами-немцами в цистерцианских монастырях Силезии, нередко выражалась поддержка движению за единство польских земель (28, s. 357—358). Представляется, что и в Польше силезские или чешские владетели могли рассчитывать на поддержку тех кругов феодалов,

и особенно городской верхушки, которые ставили во главу угла территориально-политические, а не этнические интересы. Немецкий патрициат Кракова привлекало на сторону чешских королей не только их сотрудничество с немецкими феодалами и горожанами, но и то обстоятельство, что объединенное чешско-польское государство представлялось хорошим гарантом экономических связей на линии Прага — Вроцлав — Краков.

Немецкие рыцари и городские патриции, немецкое либо онемеченное высшее духовенство были лояльны по отношению к польским княжествам далеко не всегда и не в той мере, как на то рассчитывали князья, приглашавшие колонистов. В случаях успеха агрессии немецких феодалов многие из колонистов не могли не чувствовать симпатии к своим единоплеменникам, особенно если ожидали для себя определенных выгод в качестве платы за поддержку. Естественно, это вызывало антинемецкие настроения коренного населения, причем такие настроения имели тенденцию распространяться и вне ситуаций, непосредственно их вызвавших. В таких условиях сторонники Владислава Локетека программе силезских князей и чешских королей противопоставляли программу объединения, в большей мере учитывающую патриотические настроения в современном им польском обществе. Это проявилось в ходе таких событий, как спор Владислава Локетека с епископом Мускатой и «бунт войта Альберта» в Кракове. Краковский епископ, онемеченный силезец Ян Муската был малопольским старостой во время борьбы Локетека за утверждение в Кракове. Он, как и бывшие его опорой мещане Кракова, являлся активным сторонником господства в Малой Польше чешских королей (29, s. 122—180; 30, s. 334—338). В каноническом процессе против Мускаты свидетели в один голос обвиняли епископа в стремлении подавлять и угнетать поляков. Настоятель краковского костела св. Флориана Влосцибор приводил слова Мускаты: последний «предпочел бы смерть жизни», если бы не устранил поляков из Краковского капитула и костелов. Светский человек комес Ярогнев утверждал, что Муската благословлял немецких наемников, отправлявшихся на войну с Локетekom, и отпускал им грехи за то, что будут искоренять «польский язык и народ». Также и в других свидетельских показаниях Муската характеризовался как «преследователь господина князя и польского народа» (*gentis*), который способствовал «не польскому народу, но немецкому». На духовные должности он назначал невежественных и недостойных немцев «для унижения князя и польского народа» (31, s. 82, 84, 85, 88). Независимо от того, насколько были справедливы по существу подобные обвинения, их выдвижение было бы невозможным вне обстановки этнической конфронтации, в основе которой лежали политические и социальные антагонизмы.

Характерно, что Муската присутствовал в Кракове в 1311 г., когда здесь вспыхнул бунт немецкого патрициата против власти Владислава Локетека. Бунтовщики, которых возглавлял богатый и влиятельный войт Альберт, по-видимому, желали видеть на

польском престоле чешского короля Яна Люксембургского. К «бунту войта Альберта» примкнули горожане некоторых городов Малой Польши. Подавив в 1312 г. восстание, Владислав Локетек казнил участников бунта и ввел в состав совета Кракова верных себе горожан (кстати, тоже немцев), а должность наследственного войта вообще упразднил. Было бы неправильно считать главной причиной бунта «извечный польско-немецкий антагонизм» (как это нередко утверждалось в буржуазной историографии). Патрициат Кракова считал, что Владислав Локетек и его приближенные хуже обеспечивают его экономические интересы, чем это могла бы делать объединенная польско-чешская монархия. Потере Владиславом авторитета в Кракове способствовала утрата им Гданьского Поморья с проходившими через него важными торговыми путями. Однако поскольку в политическом споре одну сторону составляли поддерживавшие Локетeka польские рыцари, а другую — немецкие патриции, то социальный конфликт приобретал характер этнического антагонизма и так осмысливался верхами польского господствующего класса. Конфискуя имение одного из участников бунта, Локетек подчеркивал, что «краковские мещане» предали не только своего законного владельца, но и «польский народ» (32, s. 85). Во время репрессий после возвращения Владислава в Краков избежали расправ те, кто умел выговорить трудные для чужестранца польские слова (33, s. 123). Характерно, что сразу же после прекращения бунта записи в административно-учетной книге городского совета перешли с немецкого на латинский язык (34, p. 28).

Весьма яркий памятник, отразивший оценку ситуации современниками, — написанная на латинском языке «Песнь о войте Альберте». Автор описывает в первом лице, от имени самого войта, постигшее его суровое возмездие, а кончает острой критикой экспансии «немцев», под которыми понимаются в основном городские патриции. «К тому вела меня натура, — говорит Альберт, — поскольку немцам свойственна такая забота: куда ни придут, всюду стремятся быть первыми и никому не подчиняться. . . Сначала ведут себя покорно, но вскоре выдают своих дочерей замуж, сами женятся на местных и таким путем приобретают связи». Далее говорится, что, хитростью добыв должности войтов, немцы лишают собственников сел их доходов. В конце песни автор обобщает: «Так чехи обмануты, теми же немцами лишены своих имений, они уже почти пропали. . .» (35, s. 186). Возможно, произведение написано чехом, но оно позволяет судить и о мнениях той группировки феодалов (рыцарей, отчасти можновладцев), которая поддерживала Владислава Локетeka. О его сознательном стремлении использовать такие настроения свидетельствует дарственный акт для госпиталя в Бресте Куявском. В нем Владислав Локетек выдвигает требование не держать «ни одного немца, духовного или мирянина, ни в доме, ни в храме» (36, s. 39).

Таким образом, конфликты времен борьбы за объединение способствовали тому, что в среде польского дворянства и духовенства

окончательно сложился отрицательный стереотип немца как захватчика, коварно проникающего в Польшу, чтобы подчинить ее своей власти. Укреплению этого стереотипа способствовал и рост внешней угрозы польским землям со стороны соседних немецких феодальных государств: в 1308 г. Тевтонский орден захватил Гданьск Поморье.

Правда, использование польской монархией лозунга защиты своей народности (в этническом смысле) носило эпизодический характер: в дальнейшем такой дальновидный монарх, как сын Локетека Казимир III, пришел к выводу о необходимости вести политику в интересах всех подданных государства, независимо от их этнической принадлежности, в частности лучше удовлетворить также и интересы краковских богатых купцов, которые и в этот период были преимущественно немцами. Политической консолидации страны должна была служить концепция «короны королевства Польского» — олицетворения государственности как общего достоинства власть имущих сословий (37, s. 48).

Однако и впоследствии сословные требования феодалов Польши включали требования, связанные со стремлением обеспечить этническую однородность господствующего класса, что расценивалось как акт защиты интересов страны и народа. Очевидно, воспоминания о периоде господства чешских королей, часто назначавших должностными лицами немцев, побудили польских рыцарей, собравшихся в поход в 1371 г., заявить Людовику Анжуйскому: «Как только поставишь кого-нибудь из немцев над нами каштеляном, знай, что тотчас отступимся от владетеля» (38, s. 135). Людовик вынужден был согласиться, и впоследствии Кошицкие статуты 1374 г. предусматривали, что король не будет назначать старостой никого, «кроме поляков, родившихся в этой стране и происходящих из польского рода». Итак, ограничение было двойным: старостой не мог стать ни поляк извне королевства, ни его уроженец, не принадлежащий к польской народности.

В эпизодах, подобных описанным, четко проявилась этническая окраска самосознания феодалов и других классов средневековой польского общества. С этим связано и уточнение в языковой практике того времени слов, применяемых для обозначения народности: «польский род» (*gens*), «польский народ» (*populus, natio*). Эти слова имели первоначально чисто этническое содержание, но с нарушением этнической однородности страны слова «поляк», «польский» могли относиться не только к людям польской народности, но и к иноэтничным жителям польских княжеств и Польского королевства после его восстановления. Поэтому в конце XIII—XIV в. для обозначения поляков в этническом смысле все чаще встречается обозначение «люди польского языка» (39). Характерно, что в XIV в. понятие «польский язык» почти повсюду (за исключением Поморья) вытесняет применявшееся ранее в Польше определение «славянский язык» (40, s. 816).

Уникальным источником, непосредственно отражающим этническое самосознание разных слоев польской народности, явля-

ются документы судебных споров между Польским королевством и Тевтонским орденом. Польская сторона ставила задачей доказать незаконность захвата орденом Гданьского Поморья. На первом разбирательстве, проходившем в 1320—1321 гг., Польша представила 25 свидетелей (из числа феодалов и духовенства), подтвердивших всеобщее мнение о Поморье как законном владении Польши (41, s. 126). В 1339 г. судебное разбирательство повторилось, причем папские суды определили местом суда Варшаву — столицу князя Мазовии Тройдена. К присяге было приведено 176 свидетелей, из них успели выступить 126. Среди свидетелей находились представители всех сословий, кроме крестьян. Впрочем, точка зрения крестьян также была зафиксирована, поскольку некоторые из заслушанных показаний основывались на информации, полученной от крестьян. Все свидетели подтвердили, что захваченные орденом земли являлись частью Польши, а князья Поморья были поляками. Горожанин из Шадека показал, что князь Владислав Лэнчицкий, ранее бывший Добжинским, — поляк, его предки тоже были поляками, а население Добжинской земли разговаривает на польском языке — «gentes illius terrae Dobri-nensis locuntur polonicum» (42, s. 272). Наиболее ярко выразился плочкий архидиакон Матвей. По его словам, «Поморская земля и княжество входят в Польское королевство и ему принадлежат, таково общее мнение и среди местных, и среди немцев и других чужестранцев, обитающих в Польском королевстве и за его пределами. . . Один и тот же язык в Поморье и Польше, и все там совместно проживающие говорят по-польски» (42, s. 163).

Представление о языке как самом главном признаке, определяющем принадлежность к народности, выступает в этих показаниях со всей ясностью.

Развитие этнического самосознания польской народности нашло отражение и в памятниках историографии решающего этапа борьбы за воссоединение (конец XIII—первые десятилетия XIV в.) и консолидацию объединенного королевства. Наиболее распространенным типом исторических произведений оставались анналы («рочники»). Естественно, они написаны с точки зрения местных, провинциальных интересов. Тем более показательно постепенное проникновение и в эти памятники мотивов и оценок, постепенно становившихся характерными для Польши в целом. Великопольский рочник, составившийся при Познанском капитуле, подчеркивал «несправедливость и вероломство немцев», которые убили короля Пржемысла II, «охваченные ненавистью». Генрих Глоговский характеризуется как «не настоящий друг поляков». Резко осуждает автор рочника засилье немецких феодалов и патрициата при его сыновьях: «Поскольку они были молодыми, немцы держали их в руках и опутывали своими советами. Поэтому те ничего не могли совершить, кроме того, что нравилось немцам. А они получали от них много имений и городов за ничтожную оплату и дали им совет искоренить весь польский народ, как духовных, так и светских, особенно рыцарей» (33, s. 6, 41; 43, s. 53).

Последние слова фрагмента ясно указывают на среду, в которой данная система представлений складывалась.

Аналогичным образом реагирует на внутренние конфликты и Краковский капитульный рочник. Краковские горожане выступают против Локетека, «терзаемые безумием немецкой ярости» (6, с. 815). Упомянув о походе крестоносцев против Владислава Локетека в 1331 г., тот же автор утверждает, что мотивом их действий было желание «искоренить польский язык» («exterminare udyoma Polonicum») (6, с. 815).

Интересы народа становятся главным критерием при оценке событий. По словам другого малопольского рочника, так называемого рочника Траски, коронация Владислава Локетека и означала, что бог пожелал не только прославить этого князя, но и «возвеличить польский народ» («gentem Polonicam illustrare»). В 1329 г. Локетек выступил против нападения Тевтонского ордена, «видя своего народа обиду». Воевода Винцентий из Шамотул, могущий крестоносцам, — «худший предатель королевства и народности» (6, с. 853—854, 855).

В этом плане заслуживает внимание так называемая хроника Дзежвы (в некоторых рукописях ошибочно именуемая Межвой) — это написанная в Кракове в начале XIV в. переработка хроники магистра Винцентия (Кадлубека). Но если Кадлубек ставил целью осветить происхождение и дальнейшую историю Польского государства, то Дзежва стремится показать «происхождение польского народа от начала мира» (6, с. 163). По его словам, поляки — потомки библейского Яфета, сына Ноя. Подчеркивание этого имело вполне определенную идеологическую нагрузку, если учесть, что некоторые западные авторы того времени (Хроника императоров и пап конца XIII в.) приписывали славянским народам менее почетную генеалогию — от Хама. Сыном Яфета, как думает Дзежва, был «Яван, которого поляки называют Иваном», одним из его потомков был «Вандал, от которого вандалиты, ныне именуемые поляками». Его сыновья управляли Польшей и другими славянскими странами. Вслед за Винцентием хронист утверждает, что правителю «лехитов» Помпилию принадлежали «не только монархии Славии, но и государства других владетелей» (6, с. 180). Так, вслед за Винцентом он утверждает главенствующую роль Польши в славянском мире, но в отличие от него Дзежва осуждает раздел Польши на княжества.

Гораздо более самостоятельным памятником является Великопольская хроника. Ряд историков высказывали мнение, что ее основная часть (приписываемая познанскому канонику Башко-Годзиславу) закончена в 1295 г. (44, с. 90, 297). Но известные ныне списки содержат дополнение второй половины XIV в.; некоторые исследователи относят к этому периоду и составление хроники. Так или иначе, памятником общественно-политической мысли второй половины XIV в. является вводная часть Великопольской хроники, повествующая о происхождении поляков и других славянских народов.

В этом вступлении доказывается, что славяне происходят из Паннонии, они потомки некоего князя Пана, давшего этой стране свое имя. У Пана было три сына: «первородный Лех, второй Рус, третий Чех. И они, дав потомство свое и своего рода, овладели тремя королевствами — лехитов, русинов (Rutheni), чехов, т. е. богемцев, которыми (эти потомки. — *Я. И.*) ныне владеют и будут владеть, как долго будет это угодно божественному промыслу». Вопрос о происхождении рассказа о Лехе, Чехе и Русе и его возможной связи с чешскими источниками остается дискуссионным (8, s. 487), однако идейное содержание этого мотива расшифровывается однозначно. В средневековье этническую общность понимали как кровное родство, происхождение от общего предка (46, с. 186—187). Собственно этническую общность поляков хроника объясняет их происхождением от некоего праотца польской народности Леха. Две ступени самосознания: общее славянское и более тесное польское — были воплощены в образах дальнего предка всех славян и более близкого предка поляков. В то же время приоритет поляков определяется утверждением, что их прародитель — старший брат по отношению к прародителям других славянских народов. Однако автор в этом непоследователен: в другом месте предком всех славян оказывается некий Слав. Хронист пытается очертить границы славянского мира, включая в свой труд краткие сведения о болгарах и сербах. Еще более важно, что он включил в свой труд подробные описания земель, занятых полабскими славянами, сообщает сведения об их отдельных племенах, проводит «славянские названия» их отдельных городов, которые отличает от немецких. Подчеркивая историческую связь с Польшей этих славян, с XII в. «оказавшихся под властью немецких феодалов и подвергавшихся интенсивной германизации», автор доказывает, что в этих землях правил и основывали города князь — потомки польского монарха, которые потом отпали, не пожелав подчиниться новой династии Пястов (47, s. 12). Развивавшиеся им идеи единства исторических судеб поляков и полабских славян получили развитие в позднейшей польской историографии. В некотором противоречии с другими высказываниями находится утверждение во вводной части хроники, что славяне и немцы — потомки одних братьев и нет на свете двух более близких и дружественных народов.

Излагая дальнейшую легендарную историю поляков-лехитов по Винцентию, великопольский хронист вносит существенные коррективы. Так, «королева лехитов» Ванда, не желая выходить замуж за короля «алманов» (немцев), бросилась в Вислу, принеся свою жизнь в жертву богам ради славян и счастья своего народа (с. 9).

Великопольская хроника подчеркивает роль Великопольши как колыбели польской государственности. Утверждается, что Гнезно основал сам прародитель поляков Лех. Великопольские князья, в понимании хрониста, — наследники и продолжатели дела первых Пястов (44, s. 250). События XIII в. излагаются на

основе познанских капитульных анналов, на которых лежит отпечаток местных интересов. Автор оправдывает все действия великопольских князей в междоусобных войнах. Налицо и свидетельства иных тенденций. Так, хронист резко осуждает силезского князя Болеслава Рогатку за то, что тот первым стал призывать в Польшу немцев на помощь против братьев и раздавать немецким рыцарям польские земли (п. 72, 88) *, а великопольский князь Болеслав одобряется за то, что помог поморскому князю, которому угрожали немцы.

Хотя в изложении автора в центре внимания — Великая Польша, эта область не мыслится обособленно от остальных польских земель. Прославление заслуг великопольских владетелей имеет целью подвести читателя к выводу, что именно великополяне имеют право вернуть Польше былую славу и единство.

Имеются аргументы в пользу того, что введение в Великопольскую хроникку было составлено приближенными к Янко из Чаркова, который был подканцлером в 1364—1372 гг. и являлся активным сторонником перехода польского престола к поморскому князю Казыко (Казимиру IV). Этим, собственно, и объясняется интерес автора пролога Великопольской хроники к Поморью. Некоторые современные историки даже приписывали Янко из Чаркова составление всей Великопольской хроники.

Наиболее яркий памятник польской историографии второй половины XIV в. — хроника самого Янко из Чаркова, написанная в 1386—1387 гг. — также содержит ярко выраженные патристические мотивы. Так, Янко из Чаркова резко осуждает силезских князей, признавших ленную зависимость от Чешского государства «к стыду и позору Польского королевства». Рассказывая о правлении в Польше венгерского короля Людовика, автор горько жаловался, что чужестранец (*alienigena*) «стремился следовать нравам своего народа, затевал перемены польских нравов и обычаев, осмеливался предпочитать своих невежественных земляков уроженцам королевства и таким образом посмел сводить ни во что права и свободы поляков, из-за чего возбудил против себя ненависть и раскол среди жителей королевства».

Авторы хроник — люди, которые в силу своей образованности и положения в обществе высказывали в концентрированной форме типичные для своего времени взгляды и настроения. Многие их собратья по классу и представители других сословий, не имевших доступа к письменности, могли разделять эти взгляды, не умея их сформулировать. Их реакции зачастую оставались на уровне социальной психологии. И все же оценки и концепции, зафиксированные в письменных памятниках, не могли бы возникнуть и распространяться без наличия широких кругов людей, сознающих либо, по крайней мере, чувствующих свою принадлежность к крепнущему этносоциальному организму — польской народности.

* Если даже сообщение об этом — поздняя вставка, то в целом оно передает настроения польских феодалов конца XIII—XIV в.

Подведем некоторые итоги. Источники позволяют лишь весьма приблизительно выделить внутреннее членение польской народности периода раздробленности. Представляется, что даже на первом его этапе, когда шло интенсивное оформление социальных структур отдельных княжеств, дело не дошло до расчленения основного массива польской народности.

Уже в XIII в. вышли из употребления древнеплеменные названия, за исключением мазовчан и поморян (40, s. 819). Своеобразие исторических судеб Поморья и Мазовии определило сохранение в этих регионах областного самосознания, однако сочеталось с пониманием принадлежности к польской народности как этнической общности более высокого уровня (40, s. 818—819). В Мазовецком княжестве, которое наиболее долго (до 1526 г.) сохраняло свою государственность, понятие «мазовчане» не обрело этнического значения. Культурное своеобразие региона отразилось в быте народных масс, но господствующие классы принимали общепольскую культуру также и в период затянувшейся обособленности Мазовии. Слово «поляки» (*Poloni*) еще в XIII в. могло употребляться и в более узком значении (великополяне), и в более широком, общепольском. Но понятия «великополяне», «малополяне», «куявяне» и т. п. означали только феодалов соответствующих областей. Характерно, что ни один из тех зарубежных источников, авторы которых конкретно знают Польшу, не выделяет ее отдельных частей. В Киевской летописи XII в. и Галицко-Волынской летописи XIII в. походы на польские земли определяются как походы в «ляхы», «Землю Лядьску», краковские и мазовецкие князья называются просто «лядьскими» (48, стб. 554, 666, 719, 729 и др.).

Если западноевропейские обзорные географические труды не упоминают этой страны, то в начале XIII в. в труде Гервасия из Тилбери «*Otia imperialis*» появляется название Польши — страны, которую реки *Aper* et *Armilla* (Вепрь и Буг) отделяют от Руси (49, s. 56, 59). Таким образом, на протяжении XII в., когда Польша была разделена на княжества, в Европу постепенно проникло представление о польской земле как некоем единстве.

Понимание принадлежности к польской народности, сохранявшееся на уровне обыденного сознания, фиксировалось в источниках только в тех случаях, когда те или иные политические силы апеллировали к этому сознанию, опирались на него в своей деятельности. Именно такая ситуация сложилась для борьбы за объединение польских земель примерно с середины XIII в. и особенно отчетливо — в конце XIII—начале XIV в. Наличие определенного уровня этнического самосознания было необходимым условием возникновения объединительного движения, а с другой стороны, само это движение стало мощным стимулом активизации самосознания, вспышки патриотических настроений. Самосознание проявлялось не только в политических декларациях, зафиксированных в документах внутренней и внешней политики, не только в историографических концепциях, которые были порождением патриотических взглядов и способствовали их дальнейшему рас-

пространению. Этническое самосознание проявилось в первую очередь в действиях всех социальных сил, которые включались в осуществление программы объединения страны и защиты ее от агрессии извне. Без сплочения широких народных масс под знаменем защиты родной земли было бы невозможным ни сдерживание иноземной экспансии в период раздробленности, ни обеспечение суверенитета объединенного государства.

Следует, однако, подчеркнуть, что консолидация польской народности в XIV в. проходила на суженной территориальной базе. Если на юге и востоке пределы польской этнической территории оставались неизменными, то на западе они сильно отступили. Ослабление польского этнического самосознания на некоторых из западных окраин и то, что эти окраины не вошли в объединенное государство, — процессы в конечном счете взаимосвязанные, влияющие друг на друга. Причинами потерь — и территориальных и демографических — являлись политическая экспансия Бранденбурга и Тевтонского ордена, изменение политических условий в Силезии, миграции на восток значительных групп немецкого населения. С другой стороны, сам факт потерь мобилизовал общественное мнение, помогал осознать опасность для польской народности и тем самым способствовал активизации патриотических настроений в обществе.

Характерно, что в период подъема борьбы за объединение польских земель успех одержала та группировка, которая провозглашала своей целью защиту интересов не только Польского государства, но и польской народности (*gens*). Единомышленники Якуба Свинки, сторонники Владислава Локетeka делали сознательную ставку на использование этнического фактора для активизации объединительного движения. Такую позицию отражала, в частности, идентификация понятий «поляки» и «люди польского языка».

В дальнейшем в ходе стабилизации объединенного королевства его власти не могли отказаться и от государственно-территориального фактора консолидации страны — отчизны всех, независимо от этнического происхождения, подданных короны. Этому соответствовало и толкование слова «поляк» как политонима — в смысле «житель Польского государства», «подданный польского короля».

Противопоставление этнонимического и «государственного» понимания слова «поляк» в определенной мере отражает диалектику совпадения и противоречия интересов польской народности в исторической перспективе и Польского государства как выразителя интересов господствующего класса страны конкретного периода. Этническое толкование понятий «поляки», «польский», «польская земля» обязывало не забывать о польских землях, оставшихся за пределами Польского государства, преимущественно под властью немецких феодалов. «Государственное» понимание слова «польский» лучше согласовывалось с идеологическим обоснованием экспансии Польского государства на восток. Конечно, обе концеп-

ции взаимопроникали и переплетались. Носителями «государственного» патриотизма были в первую очередь феодалы и городские патриции, но те же польские феодалы часто использовали этнические противоречия, чтобы отодвинуть на второй план своих иноплеменных братьев по сословию. С другой стороны, народные массы, главным образом крестьяне, были носителями обыденного этнического сознания, выражавшегося в их приверженности к языку, обычаям, культурному наследию. Но те же крестьяне становились в ряды защитников государства, когда приходилось отражать агрессию иноземных феодалов.

Осознание крестьянами своей принадлежности к государству принимало форму привязанности к династии, что было связано с надеждами на покровительство монарха, на его защиту от злоупотреблений феодалов. Несмотря на иллюзорность надежд на короля *, монархические настроения были весьма живучими и способствовали включению крестьян в этносоциальный организм, олицетворяемый королем.

Однако, оценивая роль народных масс в формировании народности, следует подчеркнуть в первую очередь тот факт, что в конечном счете трудовая активность народа, в первую очередь крестьян, являлась основой развития материальной и духовной культуры. Источники, составлявшиеся представителями верхушки духовенства, не содержат прямых данных о взглядах социальных низов и их вкладе в развитие системы взглядов и представлений, характеризующих самосознание польского этноса в период развитого феодализма. Влияние социальных низов на формирование общественно-политической мысли было в большинстве известных нам случаев весьма опосредованным. Думается, однако, что углубленное исследование памятников культуры позволит выявить и формы непосредственного участия масс в создании культурных ценностей, определить народные элементы культурного наследия, их место в утверждении самосознания польской народности на разных этапах ее развития.

1. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura. W-wa, 1972.
2. Польша и Русь: Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII—XIV вв. М., 1974.
3. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
4. *Grodecki R.* Powstanie polskiej świadomości narodowej na przełomie XIII i XIV w. // *Przegląd współczesny*. 1935. R. 14. T. 52, N 1.
5. *Mistrza Wincentego Kronika Polska* / Tłumaczyli K. Abgarowicz i B. Kurbis. W-wa, 1974.
6. МРН. Т. 2.
7. *Grabski A. F.* Polska w opiniach obcych X—XIII w. W-wa, 1962.

* Жалобы крестьян монастыря в Лёнде на то, что аббат отдал их землю немецким колонистам, Владислав Локетек решительно отклонил, потребовав у них беспрекословного повиновения монастырским властям (50, s. 384—385).

8. *Mikulka J.* Letopisná literatura v Čechách a v Polsku o vzájemném poměru obou národností // *Slavia*. 1963. N 4.
9. *Balzer O.* Pisma pośmiertne. Lwów, 1934. T. 1.
10. *Щавелева Н. И.* Послание епископа краковскаго Матвея Бернару Клервоскому об обращении русских // *Древнейшие государства на территории СССР*. М., 1975.
11. *Zeisberg H.* Vincentius Kadlubek Bischof von Krakau (1208—1218—1223) und seine Chronik Polens. Wien, 1869.
12. *Grabski A. F.* Związek polskiej tradycji dziejowej z uniwersalną w historiografii polskiej do końca XIII wieku // *Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego*. Łódź, 1961. Ser. 1. Zesz. 21.
13. *Baszkiewicz J.* Polska czasów Łokietka. W-wa, 1903.
14. *Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski*. Poznań, 1877. T. 1.
15. *Piekarczyk S.* Studia z dziejów miast polskich w XIII i XIV w. W-wa, 1955.
16. *Pomniki dziejowe Polski*. W-wa, 1970. T. 8. Ser. 2.
17. *Szkice z dziejów Śląska / Pod red. E. Małczyńskiej*. W-wa, 1953.
18. *Starodawne prawa polskiego pomniki*. W-wa, 1856. T. 1.
19. *Urkundenbuch zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalters / Hrsg. G. A. Stenzel*. Breslau, 1845.
20. *MPH*. 1884. T. 4.
21. *Grodecki R.* Powstanie polskiej świadomości narodowej. Katowice, 1946.
22. *Mors et miracula beati Veneri* // *MPH*. T. 4.
23. *Loesch H.* Zum Chronicon Polono Silesiacum // *Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens*. 1931. Bd. 65.
24. *Lodyński H.* Polityka Henryka Brodatego i jego syna w l. 1232—1241 // *Przegląd historyczny*. 1912.
25. *Baszkiewicz J.* Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku. W-wa, 1954.
26. *FRB*. T. IV.
27. *Heck R.* Poczucie wspólnoty słowiańskiej w czesko-polskich stosunkach politycznych w Średniowieczu // *Z polskich studiów slawistycznych*. Ser. 3, Historia. W-wa, 1968.
28. *Korta W.* Średniowieczna annalistyka śląska.
29. *Abracham W.* Sprawa Muskaty // *Rozprawy wydz. hist.-filoz.* AU, 1894. T. 30.
30. *Kłodziński A.* Polityka Muskaty. 1304—1306 // *Sprawozdania PAU*. 1936. T. 44. N 10.
31. *Monumenta Poloniae Vaticana*. Cracoviae. 1914. T. 3.
32. *Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego / Wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka*. Lwów, 1885.
33. *MPH*. T. 3.
34. *Monumenta Medii aevi historica / Ed. W. Piekosiński*. Cracoviae, 1878. T. 4.
35. *Długopolski E.* Bunt wójta Alberta // *Rocznik Krakowski*. 1905. VII.
36. *Mosbach A.* Wiadomości dotyczące Polski z Archiwów prowincji Śląskiej. Ostrow, 1860.
37. *Dąbrowski J.* Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku. Wrocław. Kraków, 1956.
38. *Dąbrowski J.* Ostatnie lata Ludwika Wielkiego. 1370—1382. Kraków, 1918.
39. *Balzer O.* Polonia: Poloni: gens Polonica // *Księga Pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza*. Lwów, 1916. T. 1.
40. *Łowmiański H.* Początki Polski. W-wa, 1985. T. VI/2.
41. *Tymieniecki K.* Studia nad XIV wiekiem // *Przegląd historyczny*, 1917—1918. T. 21. Ser. 2. T. 1.
42. *Lites ac res gestae inter Polonos-ordinemque Cruciferorum*. Poznań, 1890. T. 1.
43. *Pomniki dziejowe Polski*. Ser. 2. W-wa, 1962. T. 6.
44. *Kurbis B.* Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku. W-wa, 1959.
45. *Łowmiański H.* Kiedy powstała Kronika Wielkopolska // *Przegląd historyczny*. 1960. T. 61.

46. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983.
 47. Tymieniecki K. Początki narodowości polskiej // Przegląd współczesny. 1938. R. 17. T. 66, N 7.
 48. Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. II.
 49. Strzelczyk J. Odkrywanie Polski przez Europą // Polska dzielnicowa i zjednoczona.
 50. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Poznań, 1878. Т. 2.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПОЛЬШЕ В XII—XIV вв.

С. М. Толстая

Естественное и не требующее специального обоснования обращение к языку при изучении вопросов этнического (этнокультурного) сознания и самосознания (ср. лишь *язык* в значении «народ») нуждается, однако, в уточнении того, какие именно стороны и черты языка могут быть показательными в данном отношении, т. е. могут содержать прямые или косвенные свидетельства этнического сознания его носителей, а какие — относительно индифферентны и не дают основания для подобных выводов. Необходимо прежде всего различать языковое сознание, являющееся частью этнического сознания, и языковую действительность, независимую от этого сознания. Объективные признаки языковой дифференциации или, наоборот, общности могут не иметь никакого значения для языкового сознания: например, изоглоссы, связывающие лехитские языки с восточной частью южнославянской языковой группы, не являются компонентом языкового сознания носителей польского или болгарского языков. Все же, что относится к сознательному использованию языка в его социальных и культурных функциях, так или иначе связано с проблемой этнического и этнокультурного сознания. Из этого следует, что в первую очередь заслуживает внимания проблематика литературного языка (или предваряющего его языкового идиома — культурного диалекта, наддиалектного койне и т. п.), возникновение которого всегда связано с сознательными усилиями общества по нормированию, выбору языковых моделей, созданию письменности, расширению сфер применения языка, т. е. с определенной языковой политикой*.

Языковая ситуация во всех славянских странах в эпоху средневековья начиная от возникновения славянской или латинской письменности вплоть до создания национальных литературных языков в эпоху Возрождения и последующие эпохи определялась кардинальной оппозицией местных, народных, «этнических» (по

* Применительно к ситуации польского средневековья о языковой политике в области польского языка можно определенно говорить во всяком случае начиная с XIII в. (1, s. 393—396).

терминологии З. Клеменевича (2, s. 209) и С. Урбанчика (3, s. 10—11)) славянских языков и надэтнического (международного) литературного языка — церковнославянского или латинского. Для обоих культурно-языковых ареалов эта оппозиция носила характер двуязычия (диглоссии), однако принципиальное различие состояло в том, что для мира *Slavia Orthodoxa* это было гомогенное двуязычие, при котором церковнославянский выступал одновременно в двух ипостасях: и как надэтнический международный язык, и как высшая форма своего, народного языка; тогда как для мира *Slavia Romana* это было гетерогенное двуязычие, при котором латынь воспринималась только как надэтнический язык, как язык иностранный, высокий авторитет которого не позволял использовать его как прямой образец при создании собственного литературного языка (4, p. 25—27).

Средневековое языковое сознание неотделимо от культурного сознания, т. е. от сознания своей принадлежности к определенному культурному ареалу (ареалам). Для культурного сознания польского этноса важнейшими параметрами были: 1) принадлежность к христианскому миру в противоположность языческому, «поганскому», объединявшая поляков не только со славянами (кроме поморян), но и со всем греко-византийским и латино-христианским миром Европы и особенно актуализировавшаяся в столкновениях с языческими народами (монголами, пруссами и др.); 2) принадлежность к миру европейской латино-христианской культуры, с которым мир *Slavia Romana* связывала типологическая общность культурных и языковых процессов в рамках оппозиции «„книжная“ культура — народная культура» и соответственно: «латынь — народный язык»; внутри этого мира можно еще различать ареал гетерогенного культурного и языкового двуязычия (неродственность латыни и народного языка), принадлежность к которому объединяла славян области *Slavia Romana* с германцами в противоположность романским народам, для которых двуязычие было гомогенным (родственность латыни и народного языка); 3) принадлежность к культурной области *Slavia Romana*, в пределах которой наиболее важной для Польши была ее культурная зависимость от Чехии, сохранявшая свое значение вплоть до XVI в.; 4) принадлежность к славянскому миру и славянскому языку, которые нередко отождествлялись с отечеством и родным языком*. Сознание принадлежности к славянскому миру сыграло большую роль в формировании идеологии, исторической концепции (исторической мифологии), самосознания и языкового сознания польского средневековья**. Наконец, безус-

* Галл Аноним называет Польшу *Scлавина*, а Кадлубек, наоборот, считает весь славянский мир Польшей и всех славян — происходящими от поляков. Интерес к польскому языку появляется лишь в Великопольской хронике (ср. содержащиеся в ней «этимологии»).

** Б. Отвиновска отмечает характерное для средневековья противоречие между «партикуляризмом» этнического и политического сознания и «интегральностью» языкового сознания: «...языковое сознание древней Польши было славянским» (5, s. 161).

ловно, имели значение и более узкие рамки — государственные и локальные, в которых функционировали конкретные польские сощумы, а именно принадлежность к древнепольскому государству, отдельным княжествам, этнодиалектным областям и т. д.

Все отмеченные параметры польского средневекового этнокультурного сознания существовали одновременно и не противоречили друг другу, и каждый имел то или иное соответствие в языковом сознании. И лишь в определенных ситуациях один или другой параметр мог выступать на первый план, становиться более актуальным и вступать в противоречие с каким-либо другим компонентом самосознания.

В плане культурно-историческом период XII—XIV вв. может рассматриваться как часть более продолжительного периода (с X в. по середину XVI в.) господства латыни в качестве литературного и письменного языка польского средневековья. Характерными чертами XII—XIV вв. следует считать начавшееся нарушение культурной монополии латинского языка благодаря зарождению и постепенному развитию польского «культурного диалекта», игравшего сначала вспомогательную по отношению к латинскому языку роль, а затем перенявшего часть функций латинского языка. Начало этого процесса, видимо, совпадает с введением богослужения на латинском языке и распространением латинских литургических текстов. Во всяком случае, ежедневные молитвы «Отче наш», «Богородица» («Zdrowaś Maria»), «Верую» и элементарные исповедные формулы, без которых невозможно было приобщение широких масс к христианскому обряду, должны были в первую очередь переводиться на польский язык *. Эта функция польского языка как вспомогательного средства при массовом внедрении латинских текстов и обучении латинскому языку сохранилась на протяжении всего периода господства латыни как культурного языка, менялся со временем лишь социальный объем этой функции. Было бы, однако, неверно ограничивать роль древнепольского культурного языка вплоть до XVI в. этой вспомогательной функцией (*Langue auxiliaire*), как это делают некоторые историки польского языка (9, p. 368).

Разумеется, только латинский язык в XII—XIV вв. обладал той полнотой общественных и культурных функций, которая считается необходимой для литературного языка **. Со времени при-

* Самые старшие из сохранившихся синодальных статуты содержат предписание духовенству читать с прихожанами вслух эти молитвы и объяснять их на польском языке. Так, Вроцлавский синод 1248 г. принял подобное предписание относительно «Отче наш» и «Верую», а Лэнчицкий синод 1285 г. — относительно «Богородицы» и «Każe się Bogu» (6, s. 23; 7, s. 118—119). О более ранней (начиная с конца VIII в.) европейской традиции переводов латинских молитв на народные языки см.: (8, с. 66—70).

** При всех разногласиях в определении литературного языка и всей условности границы между литературным языком и исторически предшествовавшими ему культурными языковыми подмодами, полифункциональность, наличие нормы и наличие письменности считаются необходимыми условиями (3, s. 63—66, 75—80; 10, s. 82—116; 11, s. 60—81; 12, s. 405—435).

нятия христианства и распространения письменности главными сферами употребления латинского языка были литургическая (культовая), государственная (административная) и культурная, причем последняя сфера неуклонно расширялась по мере роста городов, развития просвещения и науки. К концу XIV в. латинский язык из сугубо элитарного образования, бывшего привилегией духовенства, превратился в мощное орудие не только духовной, но и светской культуры, обслуживающее достаточно широкий для своего времени круг образованных людей. Уже в XII—XIII вв. существовала разнообразная по жанрам и содержанию литература: летописи (госzliki), исторические хроники (Галла Анонима, Вроцлавская, Кадлубека, Польско-силезская, Великопольская, хроника Дежвы), гимнография, религиозные песни, образцы агиографии (Житие Станислава, Жития Кинги и Соломеи и др.), легенды о святых, рассказы о чудесах святых (св. Станислава, Войтеха и др.), путешествия, первые образцы беллетристики (роман о Вальтере Аквитанском и Гельгунде) и другие, причем создавались эти сочинения в разных центрах — в Кракове, в Великопольше, Силезии (13, с. 159—201; 14, с. 5—28; 15, с. 399—407).

Латинский язык, таким образом, полностью удовлетворял религиозные, государственные и культурные потребности коммуникации средневековой Польши. И все же одна из обычных функций литературного языка была у него ограничена — он не мог быть устным, разговорным языком за пределами школы и костела (в частности, при судопроизводстве свидетели далеко не всегда могли давать показания на латыни). В сфере устной коммуникации соотношение «латынь — польский язык» складывалось в пользу польского языка, который в данном случае уже не был лишь вспомогательным.

Религиозная, официальная и культурная монополия латинского языка не противоречила этническому самосознанию поляков.

Оппозиция «латинский язык — польский язык» осмыслялась прежде всего идеологически: латинский язык был средством приобщения Польши к латинохристианскому миру Западной Европы. Идеологические интересы в средневековом сознании превалировали как над этническими, так и над политическими: стремление к государственной самостоятельности и единству не только не отвергало авторитета латинского языка, но и, наоборот, опиралось на него. Польский язык, подобно другим народным языкам Европы, в языковой политике клерикальных властей не только раннего средневековья, но и в XIII в. хотя и трактовался прежде всего в терминах оппозиции «lingua sacra (латынь) — lingua vulgaris (народный язык)», однако не только не отрицался, но в определенной мере даже пропагандировался как средство распространения и адаптации латинского вероучения. Об этом свидетельствуют постановления синодов 1248, 1257, 1285, 1287, 1326, 1357 гг., предписывающие чтение ежедневных молитв на польском языке и

требующие от учителей монастырских и кафедральных школ знания польского языка и толкования текстов именно на польском языке (16; 1). Следует еще учесть, что эти постановления направлены на поддержание статуса польского языка против усиливающегося распространения немецкого языка. Государственная языковая политика (особенно в годы правления Казимежа Великого) имела своей главной целью укрепление позиций латинского языка, который был основным языком администрации и права, хотя определенную роль в этих сферах играли немецкий и польский языки, причем соотносительный статус этих последних был обратным по сравнению со сферой культа: польский язык в государственном и административном узусе, безусловно, уступал немецкому.

Рассмотрим теперь, каковы были в условиях монополии в религиозной, административной и культурной сфере латинского языка позиции, функции и сферы употребления польского языка.

В истории польского языка период XII—XIV вв. определяется обычно как древнепольский старшего периода. Он включает два важнейших культурных рубежа: 1136 год — год первой письменной фиксации польского языка (более 400 глосс — топонимов и личных имен — в латинском тексте Гнезненской буллы), обозначивший конец дописьменной и начало письменной эпохи, и середина XIV в. — появление самостоятельного памятника польской письменности — «Свентокшишских проповедей», явившегося началом богатой письменной литературной традиции, на основе которой в XVI в. полностью сформировался польский литературный язык, принявший на себя всю совокупность общественных и культурных функций, закрепленных в средневековую эпоху за латинским языком. Следует, однако, иметь в виду достаточно случайный и внешний характер этих дат (обусловленных историческими обстоятельствами) по отношению к этапам собственно языкового развития, определяемым внутренними, системными причинами*.

Дошедшие до нас письменные памятники польского языка (не считая польских глосс в латинских текстах) относятся к XIV в. Число их невелико: из ежедневных молитв, являющихся самыми ранними образцами переводов на польский язык, в записях XIV в. сохранилась только «Верую» (17, s. XXIX—XXX); знаменитые «Свентокшишские проповеди», для которых до сих пор не найден латинский оригинал, что позволяет предполагать их самобытный характер (середина или первая половина XIV в.), «Гнезненские

* Согласно периодизации С. Урбанчика, основными вехами внутреннего развития польского языка следует считать рубеж IX и X вв., которым обозначается начало развития польского языка как особого, отдельного языка; середину XII в. — как время окончательного формирования системы консонантизма; рубеж XV—XVI вв. — как время утраты количественных различий и середину XVIII в. — как начало действия новой литературной нормы (3, s. 129).

проповеди» — сборник, содержащий 10 проповедей на польском языке и 95 — на латинском (конец XIV в., приложение — начало XV в.); Флорианская псалтырь (конец XIV—начало XV в.); отрывок из «Золотой легенды» Иоакова Ворагинского (так называемая «*Pasja połoska*», конец XIV в.), переведенный, возможно, еще в конце XIII в.; комментарий к рождественской службе конца XIV в. (так называемый «Фрагмент Лопатинского»); перевод гимна «*Salve Regina*» (конец XIV в.) (17, s. XXVII), религиозная песнь «Христос из мертвых встал» (1365) и, наконец, тексты судебных присяг (*goty sądowe*): великопольские — с 1386 г. и малопольские — с конца XIV в. (6; 18).

Архаичность языка некоторых из этих памятников, прежде всего наиболее значительных — Флорианской псалтыри и «Свентокшишских проповедей» — заставляет предполагать, что они списаны с более ранних оригиналов (но, по мнению большинства исследователей, не ранее второй половины XIII в.). В свою очередь многие памятники XV в. представляют собой списки с произведений XIV в. или еще более раннего времени. Таковы, например, Житие св. Блажея (список середины XV в., перевод второй половины XIV в.), религиозные песни «Богуродица» (предполагаемое время создания — первая половина XIII в. *, наиболее древний список — начало XV в.), «*Przez twe święte z martwych wstanie*» (XIV в., рукопись — вторая половина XV в.), «*Maryja, czysta dziewica*» (то же).

Еще одним источником сведений о составе польской литературы до конца XIV в. могут служить исторические упоминания произведений на польском языке, встречающиеся главным образом в латинских текстах этого и более позднего времени. К ним относятся уже упоминавшиеся статуты синодов, из которых можно заключить, что уже в XIII в. существовали переводы ежедневных молитв и исповедных формул; Житие св. Кинга начала XIV в., в котором сообщается, что Кинга (ум. в 1292 г.) исполняла псалмы по-польски; наконец, сообщение Длугоша о библиотеке королевы Ядвиги (ум. в 1399 г.), якобы содержавшей польские переводы из Ветхого и Нового заветов, гомилетической и агиографической литературы, проповедей, описаний страданий святых мучеников, молитв св. Бернарда и св. Амброзия, откровений св. Бригиды и «много других книг, с латыни на польский переведенных». Косвенным источником знаний о литературе до конца XIV в. может служить уровень литературы на польском языке XV в. с ее многообразием жанров и форм (библейская проза, проповеди, молитвы, житийная проза, религиозно-моралистические, эпистолярные, политические, научные сочинения, юридические документы, поэзия

* Датировка создания этой песни (первых двух строф) колеблется от X до конца XIV в. Мелодия указывает на XII—XIII вв., язык — на первую половину XIV в., иконографические (романские) параллели — на XII—XIII вв. (19, s. 14—15; 6, s. 234). Большинство исследователей, однако, считает, что для отнесения этого текста ко времени до последней четверти XIII в. нет оснований (20, s. 35).

клерикальная и светская и т. п.). Художественные, стилистические и языковые особенности сохранившихся произведений XIV—XV вв. выдают стоящую за ними литературную (возможно, устную, см. 3, s. 58) и языковую традицию.

Таким образом, при всей ограниченности документальных свидетельств и скромности реконструируемого на их основании состава памятников на польском языке до XV в. все же можно сделать вывод, что латинский язык к концу XIV в. был значительно потеснен как в религиозной, так и в светской сфере, и в этом отношении Польша, будучи далекой окраиной латинохристианского мира Европы, с запозданием втянутая в орбиту его культуры, тем не менее не слишком отставала от других европейских стран и этносов, где монополия латинского языка нарушается в пользу народных языков (французского, немецкого и др.) лишь в XII—XIII вв. Разумеется, качественные различия были очень велики: у поляков и у славян вообще не было в XII—XIII вв. и даже в более позднее время ни записи эпоса, ни расцвета поэзии на своем языке, и все же литературную продукцию на польском языке, какой она известна или реконструируется для XIII—XIV вв., вряд ли можно исчерпать определением «вспомогательная» по отношению к латыни. Строго говоря, о вспомогательных функциях польского языка можно говорить, лишь имея в виду толкование, комментирование, синхронные переводы латинских текстов (например, переводы с листа латинских проповедей) и обучение латинскому языку. Вспомогательные функции польский язык отправлял преимущественно или почти исключительно в устной форме, тогда как сохранившиеся письменные тексты (не считая некоторого типа глосс) носят совсем другой характер. Они свидетельствуют о том, что польский язык, подобно другим народным языкам Европы, постепенно, хотя и медленно, перенимал (сначала путем дублирования, перевода) некоторые функции латинского языка как в религиозной сфере (проповеди, молитвы, псалтырь), так и в государственно-административной (судебные документы).

Сохранившиеся письменные памятники являются едва ли не единственным источником для изучения польского языка древнейшего периода, однако они не дают полного представления о сферах бытования, функциях и характере польского языка. Они отражают лишь одну его разновидность — развивающийся письменный язык и лишь отрывочно, непоследовательно, случайно характеризуют те функции и те разновидности польского языка, которые были главными для него в эпоху средневековья. Если латынь господствовала в сферах письменной коммуникации, где польский язык занимал второстепенное и весьма скромное место, то в сферах устной коммуникации господствовал польский язык, уступая латыни (и то не полностью) лишь область устного общения в костеле и в школе. Польский язык был, таким образом, не только единственным средством коммуникации широких слоев крестьянства и местных феодальных кругов, практически не имевших (за исключением костела) контактов с латинским языком, но и основным сред-

ством повседневного общения городского (и околгородского) населения, а также языком, отправлявшим определенные государственно-административные, правовые и культурные функции в сфере устной коммуникации. Некоторые из этих функций, прежде всего обслуживание области обычного права и устной литературы (фольклора), должны быть признаны очень древними, восходящими к доисторической эпохе (21, р. 13—20; 22; 23, с. 5—25); однако с образованием государства и с введением латинской письменности они не исчезли и сохранили за собой устную сферу: польский язык продолжал служить средством межрегионального и надрегионального общения.

В польской лингвистической литературе подобное наддиалектное образование, выполняющее определенные (хотя и ограниченные) социальные и культурные функции, но не имеющее кодифицированной письменной формы и стадияльно предшествующее литературному языку, принято называть культурным диалектом (*dialekt kulturalny*) * или единым языком (*język ogólny*) (20, s. 138) **. Для истории польского языка важнейшим является вопрос о времени возникновения культурного диалекта, а тем самым и вопрос о времени формирования самого литературного языка. В этом вопросе нет согласия между исследователями. Его решение неразрывно связано с проблемой места формирования литературного языка и его диалектной базы. Существуют две основные гипотезы: великопольская (А. Крынский, К. Нич, Т. Лер-Сплавинский, М. Рудницкий, С. Урбанчик, С. Роспанд, В. Курашкевич, З. Клеменевич и др.), связывающая зарождение культурного диалекта и затем литературного языка с говорами Великопольши, и малопольская (А. Брюкнер, В. Ташицкий, Т. Милевский), признающая диалектной основой литературного языка говоры Малопольши (и Кракова) (PPJL; 25; 26, № 5, s. 317—333, № 6, s. 368—386). Сторонники обеих гипотез строят свою аргументацию на анализе языка древнейших письменных памятников, однако интерпретируют одни и те же языковые данные по-разному: если представители малопольской концепции видят в языке памятников до конца XV в. лишенный каких бы то ни было норм диалектный язык тех местностей, где эти памятники создавались, то представители великопольской концепции считают, что уже в самых ранних письменных фиксациях можно констатировать стремление к соблюдению определенных языковых норм, т. е. зачатки единого культурного диалекта. За каждой из этих концепций стоит свое понимание исторической диалектологии польского языка, т. е. истории фор-

* Термин *культурный диалект* употребляется в разных значениях: 1) устная форма литературного языка (20, s. 61); 2) наддиалектное койне, предшествующее общенародному литературному языку (10, s. 101—104); 3) язык определенных социальных корпораций — костела, канцелярий и т. п. (1, s. 379—380).

** В работах З. Клеменевича термин *единый язык* употребляется в значении «общенародный литературный язык», а литературным языком называется лишь письменная форма единого языка (2, s. 178—241; 24, s. 63—77).

мирования современных диалектных зон, хронологии основных изоглосс и диалектной характеристики древнейшего периода развития польского языка.

Историки польского языка при значительных расхождениях в трактовке многих важнейших вопросов, совершенно согласны в том, что древнепольский язык в начале исторического периода отличался слабой диалектной дифференциацией и значительным единством в отношении фонетики, грамматики, лексики. Именно это единство вместе с благоприятствующими историческими условиями государственности послужило причиной раннего и быстрого формирования наддиалектных языковых образований. Языковой основой этого единства была общность унаследованных черт, выделяющих польский язык среди других славянских языков (сохранение носовых гласных, переход $e \rightarrow o$, $\dot{e} \rightarrow a$, $\epsilon \rightarrow o$ перед твердыми переднеязычными, развитие групп **tort*, **tolt* \rightarrow *trot*, *tlot* и др.), и общность переживаемых в этот период языковых изменений (развитие фрикативного призвука у мягких зубных, слияние носовых, количественно-интонационные процессы и др.). Подтверждением этого единства можно считать и распространение с конца X—начала XI в. названия *Polonia regio*, *Polonia* и соответственно этнонима *Polanie*, первоначально относившихся только к земле полян (т. е. к будущей Великопольше), на все государство Болеслава Храброго (*dux Polaniorum* в Житии св. Войтеха, 997—1002 гг.). Это широкое значение сохранилось наряду с узким и после распада государства первых Пястов (оба значения подтверждаются хроникой Галла Анонима). Возникновение с XIII в. названия Великопольша (*Polonia Maior*) и с XIV в. Малопольша (*Polonia Minor*) несомненно свидетельствует об усилении и обладании обобщенного значения имени *Polonia* и угасании его локального значения в соответствии с ростом, несмотря на феодальную раздробленность страны, общепольского этнического самосознания (27, т. 4, с. 187; 28, с. 153—154) *. Другое общее название Польши и поляков, производное от корня *lex-/лях-* (ср. *лехиты* в хронике Кадлубека и, вероятно, восходящий к этому этнониму более поздний — с XIII в. — эпоним *Лех* — мифический праотец поляков), было распространено в Восточной и Южной Европе (ср. *ляхи* в «Повести временных лет», литов. *lėnkai*, венг. *Lenguel* \leftarrow *Lendiel* \leftarrow *Lendien*, южнослав. *Ledianin*, греч. *Lechoi* (27, т. 3, с. 12; 28, с. 148—149; 29, р. 9—11) **.

Вопросу о диалектной дифференциации и характере диалектных различий единого древнепольского языка XII—XIV вв. по-

* З. Клеменевич (2, с. 211—231; 24, с. 33) обращает внимание на свидетельство хроники Кромера середины XVI в. о том, что «название поляков вошло в употребление 600 или 700 лет тому назад».

** Анализ этих терминов в контексте средневековой литературной традиции дан в работе (30, с. 5—42). Происхождение и этимология названия «лях» остаются не вполне ясными (31, с. 289; 32, т. 2, с. 553). Главной трудностью в этимологическом истолковании является незасвидетельствованность формы **lęch* в польском языке.

священа огромная литература, поскольку это был один из главных спорных вопросов в дискуссии о происхождении польского литературного языка. Трудность его разрешения объясняется не только скудостью письменных свидетельств, но и принципиальной возможностью их неоднозначной интерпретации. Если отражение в письменных памятниках диалектных различий, подтверждаемых современным диалектным членением, может свидетельствовать о существовании этих различий в эпоху создания данных памятников, то отсутствие их отражения еще не означает, что различий не существовало, так как оно может объясняться действием унифицирующей орфографической или иной языковой нормы. Слабое, спорадическое отражение какой-либо диалектной черты может быть объяснено либо ее инновационным характером и малым распространением, либо сознательным со стороны писцов избеганием этой черты в пользу ее общеязыкового соответствия.

Несмотря на эти трудности, некоторые диалектные различия для эпохи XII—XIV вв. можно считать надежно установленными*. К ним относятся: 1) характерное для всей территории Северной Польши (Мазовше, Поморье, Великопольша) изменение *ga* → *ge* (*gano* → *geno*, *gamię* → *gemię* и т. д.), отсутствующее в диалектах Южной Польши и зафиксированное уже Гнезненской буллой 1136 г.; 2) характерное для той же территории, но захватывающее еще и западную часть Силезии изменение *ja* → *je* и *'a* → *'e* (*jabłko* → *jebłko*, *Jarosław* → *Jerosław*, *wiano* → *wieno* и т. д.); 3) распространенный также на севере (Великопольша и Мазовше) переход *tart* → *tert* (*wydarł* → *wyderł*), отмеченный уже в Гнезненской булле; 4) характерные для Северной Польши (Мазовше, Поморье, Великопольша) невокализированные варианты уменьшительных суффиксов *-k*, *-c*, в противоположность южнопольским вокализированным *-ek*, *-ec*, отмеченные уже в самых ранних памятниках (Гнезненская булла) и широко представленные в записях XIII в.; 5) восточно- и южнопольское (Мазовше, Малопольша) изменение *chw* → *f* (*chwała* → *fała*, *chwalić* → *falić*, *Boguchwał* → *Bogufał*), засвидетельствованное в памятниках с начала XIII в.

Относительно двух важнейших для современного диалектного членения признаков — мазурения и произношения носовых — отсутствует единое мнение, и хронология возникновения соответствующих диалектных различий колеблется от дописьменной эпохи до XV в., что связано с трудностями филологической интерпретации материалов письменных памятников. Особенно важным, можно сказать ключевым, в дискуссии о происхождении польского литературного языка является аргумент мазурения. Мазурение, т. е. произношение *s z c* на месте *š ž č*, характерное для современных говоров Мазовша, Малопольши и части Силезии, рассматривается сторонниками великопольской концепции как древнейшая

* И. А. Бодуэн де Куртенэ на основании анализа памятников до XIV в. выделял в польском языке XII—XIII вв. три диалектные зоны: малопольско-силезскую, великопольско-куявскую и мазовецкую (33, с. 97).

диалектная черта, а непоследовательное отражение ее в письменных памятниках XIV в. и более поздних, в том числе и созданных на территории мазурения (например, в Малопольше), объясняется сознательным вытеснением мазурения в пользу общепольской (совпадающей с великопольской) нормы, предписывающей различие шипящих и свистящих. Отсутствие мазурения в литературном польском языке связывается в рамках этой концепции с великопольским происхождением предшествующего ему культурного диалекта и его ориентацией на великопольские говоры, как более авторитетные для общепольской языковой нормы. Сторонники малопольской концепции считают отсутствие следов мазурения в древних письменных памятниках свидетельством позднего происхождения (распространения из Мазовше) этой диалектной черты, относя ее появление в малопольских говорах к тому времени (не ранее XV или даже XVI вв.), когда литературный язык уже был сформирован на базе краковского культурного диалекта и не мог воспринять эту инновацию.

Для выяснения генезиса и хронологии мазурения были предприняты специальные обстоятельные исследования памятников (34; 35), которые, однако, не разрешили всех спорных вопросов. Оказалось, что в письменной традиции могут быть выделены памятники, последовательно различающие шипящие и свистящие, и памятники, безусловно свидетельствующие о неразличении этих рядов; но, во-первых, территориальная принадлежность одного и другого типа памятников не согласуется с современной границей мазурения (есть памятники малопольского происхождения, последовательно различающие шипящие и свистящие, и есть, наоборот, великопольские тексты со следами неразличения), а во-вторых, само неразличение шипящих и свистящих представлено непоследовательно. Тем не менее несомненный факт наличия уже в XII—XIII вв. определенной традиции неразличения, противопоставленной еще более определенной традиции различения, может быть истолкован как свидетельство существования мазурения как диалектной черты уже в XIII в. (24, s. 42), а непоследовательность ее отражения — объясняться стремлением писцов соблюдать определенную орфографическую норму и тем самым как раз подтверждать ее существование уже в XII—XIII вв.*

Меньшее значение для установления диалектных различий древнепольского периода имеет рефлексация носовых гласных, относительно хронологии которой мнения также расходятся**.

* С. Урбанчик считает избегание мазурения на письме одной из самых ранних норм формирующегося польского культурного диалекта (3, s. 78).

** Бодуэн де Куртене упоминает лишь слабые различия в области носовых, характерные для отдельных локальных зон и касающиеся частных позиций (33, с. 97). Однако Т. Лер-Сплавинский считает, что уже в XII—XIV вв. для Великопольши было характерно расщепленное произношение носовых, неизвестное Малопольше, где такое произношение большинству говоров несвойственно и в настоящее время (36, s. 161).

Хотя, как видно из сказанного, польская языковая ситуация XII—XIV вв. исследовалась преимущественно в перспективе формирования польского литературного языка и в рамках двух различных (в отношении хронологии, диалектной базы и интерпретации языка памятников) концепций — великопольской и малопольской, вследствие чего многие результаты и положения носят polemически заостренный и потому слишком категорический характер, тем не менее приведенные (преимущественно сторонниками великопольского происхождения литературного языка) доводы и примеры, подтверждающие существование унификационных и нормализаторских тенденций в польской письменности до XV в., представляются достаточно убедительными и хорошо согласующимися с экстралингвистическими данными. Когда С. Урбанчик говорит, что «польский язык был литературным с тех самых пор, как на нем начали писать» (3, s. 79), то, разумеется, это следует понимать лишь как реакцию на условность самого понятия «литературный язык», однако его утверждение, что уже Гнезненская булла, хотя она возникла в Гнезно, носит следы выравненного языка, следы тенденции к отказу от определенных великопольских диалектных черт в пользу их малопольских соответствий» (10, s. 100), является констатацией факта, имеющей методологическое значение (36, s. 164--165). Дело, конечно, не в желании во что бы то ни стало удревять языковые факты, а в том, чтобы видеть истоки, иногда очень отдаленные, тех состояний, которые мы застаем вполне сформировавшимися и документально подтвержденными. К такому подходу склоняет также более широкое рассмотрение языка и языковой ситуации в историческом, социальном и культурном контексте.

Возникновение культурного диалекта не является спонтанным процессом, оно связано с определенными социально-историческими условиями государственности и формирования польской народности и польского самосознания. Интеграционные тенденции в развитии племенных диалектов обусловлены потребностями государственного и культурного объединения региональных племенных образований. В польских условиях именно государство первых Пястов, активизировавшее межрегиональные контакты, породило потребность в специальных механизмах коммуникации и вызвало к жизни процесс формирования наддиалектных языковых образований, следы которого обнаруживаются в самых первых письменных памятниках. Наступивший со второй половины XII в. период феодальной раздробленности мог только замедлить, но не мог остановить этого процесса, который приобрел особую интенсивность в годы правления Казимежа Великого и привел в конечном счете к созданию единого общепольского языка.

Этому процессу, затронувшему поначалу сравнительно узкий круг высшей государственной администрации и духовенства, способствовал рост городов и развитие образования (школ, а позднее Краковской академии-университета). Во время правления Казимежа Великого, несмотря на засилье немцев в городах, культур-

ная прослойка польского общества значительно расширилась, но и тогда число образованных людей, способных влиять на формирование норм польского языка, по подсчетам С. Урбанчика, не превышало пяти тысяч (3, s. 92—93). Это были государственные чиновники, судьи, нотариусы, духовенство — парафиальное, коллегияльное, монастырское; учащиеся разного рода школ и т. д. С расширением культурных сфер и вовлечением в них все большего числа людей латинский язык, несмотря на рост латинской образованности, уже не мог удовлетворить растущих коммуникативных потребностей общества и вынужден был уступить часть своих функций польскому языку. Это привело к процессу языковой унификации и постепенному формированию «единого языка высшего порядка, обладающего надобластными и наддиалектными чертами не только естественного, но и культурного происхождения, распространявшимися сознательно и являвшимися следствием осознаваемой этносоциальной общности» (3, s. 36). Интеграционные процессы должны были зародиться еще в государстве первых Пястов на территории Великопольши, затем продолжиться и усилиться в Кракове, причем это не отрицало существования региональных норм и даже вариантов общего культурного языка (малопольского, великопольского, силезского).

Главным механизмом создания общих норм можно считать действовавший в городах, школах, вообще везде, где в коммуникации участвовали представители разных областей Польши, сознательный отказ носителей отдельных диалектов от собственных диалектных черт (мазурения, некоторых грамматических форм, специфической областной лексики и т. п.) в пользу наддиалектной нормы, принятой в культурной среде. При создании письменных текстов, безусловно, действовала та же ориентация на культурную (наддиалектную) форму. Важная роль принадлежала орфографической традиции, которая, с одной стороны, была отражением и продуктом унификации языка, с другой — сама играла унифицирующую роль, создавая и закрепляя единые, наддиалектные нормы письменного языка.

До сих пор говорилось об оппозиции «латинский язык — польский язык» как главной характеристике древнепольской языковой ситуации и постепенном нарушении культурной монополии латинского языка. Однако отношение польского и латинского языков не исчерпывалось данной оппозицией, а включало еще и взаимодействие этих языков, точнее — влияние латинского языка на польский. Это влияние имело идеологическую и собственно лингвистическую сторону. В плане идеологическом латынь как *lingua sacra* европейского средневековья служила для польского, как и для других народных языков (*linguae vulgares*), образцом литературного (культурного) языка, причем сакральность и высокий авторитет приписывались не только ее культовой функции, но и всем остальным функциям и даже самой языковой системе (грамматике) (5, s. 84—92). Практическое усвоение этого образца наступило позднее интересующего нас времени (с XVI в.), но начало латин-

ского влияния на польский относится к самому раннему периоду. Это влияние коснулось главным образом трех сфер: графики, лексики и синтаксиса. К дописьменной эпохе относится усвоение польским языком (через чешское посредство) латинских христианских терминов: *apostoł*, *cmientarz*, *diabeł*, *parochija*, *kapłan*, *klasztor*, *ofiara*, *wigilia* и т. д. (всего 70 слов) (37). Латинское влияние на древнепольский (до XV в.) изучено еще недостаточно, но, судя по его многообразным следам в памятнике начала XV в. «Гнезненские проповеди» (оригинал, несомненно, старше) (38, s. 97—104), оно должно было присутствовать и в более ранних текстах, хотя различие между текстами разных жанров и разных авторов в этом отношении могло быть весьма значительным.

Важнейшая роль в формировании польского культурного диалекта и позднее — литературного языка принадлежит чешскому языку, который, по словам Н. С. Трубецкого, «сыграл для польского ту самую роль, которую польский сыграл для украинского или старославянский для русского» (39, p. 301—302). Очевидно, что такое значение чешского языка является следствием не просто территориального соседства, но, что гораздо важнее, определенной культурной зависимости Польши от Чехии, особенно в начальную эпоху приобщения Польши к латинохристианскому культурному ареалу, и направления культурных влияний в последующие эпохи (40). Следует различать три стороны или три механизма чешского влияния на польский: непосредственные заимствования из чешского (лексические, фонетические, грамматические богемизмы), чешское посредство в передаче латинских, немецких и других европейских элементов и, наконец, влияние чешского языка на формирование и утверждение наддиалектных норм польского языка. Обстоятельное исследование лексических богемизмов в дренепольском языке (41) на материале (неполном) Словаря древнепольского языка оценивает долю богемизмов цифрой 5 % от общего лексического корпуса словаря. Однако эта оценка должна приниматься с учетом, во-первых, разной насыщенности богемизмами разных текстов (например, в судебных присягах их сравнительно мало, так же как считается слабым чешское влияние в «Свентокшишских проповедях»; во Флорианской псалтыри, напротив, оно ощущается сильно); а во-вторых, с учетом хронологии: из 330 выявленных автором богемизмов к раннему периоду (до середины XIV в.) относятся 25 слов, к периоду от середины XIV до середины XV в. — около 165 слов и ко второй половине XV в. — около 140 слов, причем эта хронология отражает не только рост чешского лексического влияния, но и рост числа и объема самих текстов. Кроме усвоения чешских слов, вошедших в основной лексический фонд польского языка (таких, как *urzejmy*, *obywatel*, *zgetelny*, *małżonek* и многие другие), чешское влияние отразилось в звуковом оформлении многих исконно польских (общеславянских) слов (ср. *wesele*, *serce*, *czzerwony*, *hańba* и т. д. вместо польских форм *wiesiele*, *sierce*, *czerwiony*, *gańba*), однако все исследователи отмечают, что ни одна характерная чешская черта не ус-

воена польским языком систематически и ее распространение ограничивается отдельными лексемами. Более сильным и более существенным было влияние чешского языка на формирование польских наддиалектных норм. Так, многие исследователи объясняют отсутствие мазурения в польском литературном языке помимо прочего и авторитетом чешского языка, в котором этой черты не было. Но если в этом отношении чешский язык мог лишь поддерживать ту или иную из альтернативных польских языковых черт, то прямое его воздействие на нормы, безусловно, сказывалось в области лексики и стилистики, тем более что чешская литература служила нередко не просто художественным образцом для польских авторов, но и прямым источником для переводов и переработок. Считается, что влияние чешского языка имело две главные фазы: первая относилась к самому раннему периоду христианизации Польши, вторая началась с XV в. (42, s. 306—316) как следствие усилившихся в XIV в. культурных контактов Польши с Чехией (особенно большое значение имело обучение польской молодежи в Карловом университете).

Если чешское влияние шло преимущественно книжным путем и затрагивало главным образом сферу письменного языка, то влияние немецкого языка, вызванное немецкой колонизацией с XIII в., засильем немцев в городах, распространением польско-немецкого двуязычия, было непосредственным и коснулось прежде всего сферы административной, юридической, торговой, ремесленной и бытовой лексики, а также ономастики (43, s. 331—345; 44; 45; 46, s. 373—387). Немецкие заимствования распространялись главным образом из Баварии через Чехию и Силезию, в меньшей степени — с севера: с Поморья и Пруссии. Хотя немецкий язык уже в начале XIII в. в определенной мере конкурировал с польским в рамках оппозиции «латынь — народный язык» и отчасти подавлял польский, о чем свидетельствуют и упоминавшиеся выше постановления синодов в поддержку польского языка, усвоение немецкой лексики, безусловно, обогащало польский язык, его коммуникативные и стилистические ресурсы и способствовало расширению его общественных функций.

К числу наиболее дискуссионных и, несомненно, недостаточно изученных относится вопрос о влиянии церковнославянского языка, который связан с собственно исторической проблемой существования в средневековой Польше богослужения на славянском языке (27, t. 4, s. 449—451). Хотя в последнее время приведены некоторые новые аргументы в пользу существования славянской литургии в Польше в X—XI вв. и даже сохранения остатков этой традиции вплоть до конца XIII в. (47, s. 365—421; 29, s. 5—21; 48, s. 103—108; 49), вопрос не может считаться окончательно решенным. Тем не менее собственно языковые свидетельства церковнославянского влияния на древнепольский (христианская терминология, личные имена, глаголическая письменность) по существу никем не оспариваются. Нет согласия лишь в том, каковы источники и пути этого влияния: может ли оно во всех случаях

быть объяснено чешским посредством *. Самым ярким проявлением церковнославянского языкового и литературного влияния считается древнейший польский памятник — молитва «Богуро-дица» (19) (первые две строфы), в котором выступают отчетливые следы церковнославянского языка: само слово «Bogurodzica», выражение «Bogurodzica dziewica», имеющее соответствие в греческом, предлог *dziela* и др. Не исключено, что и такие формы, как причастия *slawiena*, *zwolena*, трактуемые обычно как чехизмы, являются церковнославянизмами (50, s. 363).

Что касается русского (восточнославянского) влияния, то оно до конца XV в. было слабым, о чем можно судить и по числу заимствований, и по их употребительности, и по их географическому распространению (3, 295—304).

Таким образом, иноязычные влияния, обнаруживаемые в древнепольском языке до XV в., достаточно разнородны, однако в большинстве случаев (кроме восточнославянского) они обогащали общепольский лексикон и тем самым способствовали укреплению надрегиональных языковых норм.

1. *Milewski T.* Główne etapy rozwoju polskiego języka literackiego // *Milewski T.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. W-wa, 1969.
2. *Klemensiewicz Z.* O różnych odmianach współczesnej polszczyzny // *PPJL*.
3. *Urbańczyk S.* Szkice z dziejów języka polskiego. W-wa, 1968.
4. *Picchio R.* Guidelines for a comparative study of the language question among the Slavs // *Aspects of the Slavic language question.* New Haven, 1984. V. 1.
5. *Otwińska B.* Język — naród — kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku. Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk, 1974.
6. *Wydra W., Rzepka W. R.* Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1984.
7. *Urbańczyk S.* Najstarsze staropolskie i staroczeskie modlitwy // *Sprawozdania z posiedzeń Komisji naukowych PAN.* Kraków, 1958. XII.
8. *Флоря Б. Н.* Славянская письменность и европейская культура раннего средневековья // *Сов. славяноведение.* 1985. № 2.
9. *Milewski T.* Le problème des origines du polonais litteraire // *Milewski T.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. W-wa, 1969.
10. *Urbańczyk S.* Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego // *PPJL*.
11. *Milewski T.* Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego // *PPJL*.
12. *Taszycki W., Milewski T.* Polski język literacki powstał w Małopolsce // *PPJL*.
13. *Kürbis B.* Pisarze i czytelnicy w Polsce XII i XIII wieku // *Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo. Społeczeństwo. Kultura.* W-wa, 1972.
14. *Krzyżanowski J.* Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. W-wa, 1972.
15. *Лунатова А. В.* Польская литература // *История всемирной литературы.* М., 1984. Т. 2.
16. *Taszycki W.* Obrońcy języka polskiego. Wrocław, 1953.
17. *Słownik staropolski.* W-wa, 1953. Т. 1. Z. 1.

* Я. Сятковский указывает на некоторые церковнославянизмы, которые не имеют точных соответствий в чешском: *milosirdny*, *sąmnienie*, *zbowiciel* и др. (49, s. 97—105).

18. *Taszycki W.* Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrocław, 1951.
19. Bogurodzica. Wrocław; W-wa; Kraków, 1957.
20. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk, 1978.
21. *Barnet V.* Toward a sociolinguistic interpretation of the origins of the slavonic literary languages // The formation of the slavonic literary languages. Columbus (Ohio), 1985.
22. *Seeman K. D.* «Loquendum est Russice & scribendum est Slavonice» // *Russia Mediaevalis*. 1984. 5.
23. *Иванов В. В.* К проблеме следов древнейшего литературного языка у славян // Славянское и балканское языковедение: История литературных языков и письменность. М., 1979.
24. *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. W-wa, 1974.
25. Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. W-wa, 1956.
26. *Borawski S.* O potrzebach historii języka polskiego. I. Przegląd ważniejszych stanowisk badawczych w rozważaniach historycznojęzykowych. II. Czas powstania polskiego języka literackiego // *Język polski*. 1982.
27. Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław; W-wa; Kraków, 1967—1970.
28. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
29. *Łowmiański H.* The slavic rite in Poland and St. Adalbert // *Acta Poloniae Historica*. 1971. V. 24.
30. *Malicki J.* Mity narodowe. Lechiada. Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1982 [Prace Komisji historycznoliterackiej, N 5].
31. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. W-wa, 1957.
32. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1967.
33. *Бодуэн де Куртене И.* О древнепольском языке до XIV столетия. Лейпциг, 1870.
34. *Kuraszkiewicz W.* Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej. Wrocław, 1953.
35. *Rospond S.* Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej. Wrocław, 1957.
36. *Lehr-Splawiński T.* Studia i szkice wybrane. W-wa, 1966. Ser. 2.
37. *Klich E.* Polska terminologia chrześcijańska. Poznań, 1927.
38. *Brajterski T.* Latynizmy w Kazaniach Gnieźnieńskich // *Studia językoznawcze*, poświęcone Prof. Dr. St. Rospondowi. Wrocław, 1966.
39. *Trubetzkoy N. S.* Letters and Notes. The Hague; P., 1975.
40. Česi a Poláci v minulosti. Pr., 1964. D. I.
41. *Reczek J.* Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca XV wieku. Wrocław; W-wa; Kraków, 1968.
42. *Stieber Z.* Wpływ czeszczyzny na kształtowanie się polskiego języka literackiego // *Stieber Z.* Świat językowy Słowian. W-wa, 1974.
43. *Kleczkowski A.* Wyrazy niemieckie w staroczeskim i staropolskim // *Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski*. Kraków, 1928. T. II.
44. *Korbut G.* Niemczyzna w języku polskim. Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym. W-wa, 1935.
45. *Kaestner W.* Die deutschen Lehnwörter im Polnischen. Leipzig, 1939.
46. *Brückner A.* Początki i rozwój języka polskiego. W-wa, 1974.
47. *Klinger J.* Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego // *Klinger J.* O istocie prawosławia. W-wa, 1983.
48. *Буюклиев И.* Кирилло-мефодиевская традиция и возникновение древних западнославянских языков // *Сов. славяноведение*. 1981. № 6.
49. Polskie kontakty z piśmiennictwem cerkiewnosłowiańskim do końca wieku XV. Gdańsk, 1982 [Uniwersytet Gdański. Zeszyty naukowe wydziału humanistycznego. Sławistyka. 3].
50. *Milewski T.* Język staro-cerkiewno-słowiański w średniowiecznej Polsce // *Milewski T.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. W-wa, 1969.

ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ПОЛАБСКИХ СЛАВЯН XI—XIV вв.

В. К. Ронин (I), Вяч. Вс. Иванов (II)

I

Изучение этнического самосознания полабских славян в XI—XIV вв., как и в более ранний период, связано со значительными трудностями. Славянские племена, населявшие некогда территорию между Эльбой/Заале и Одером, не оставили по себе ни письменной, ни фольклорной исторической традиции. Мы можем судить об этническом самосознании полабских славян лишь по его отражению в памятниках, созданных в иноэтнической, прежде всего немецкой, среде.

Исследование этнического самосознания полабских славян в эпоху раннего средневековья (до X в.) (1) выявило достаточно сложную структуру этнического самосознания славянского населения различных политических объединений к востоку от Эльбы/Заале. В произведениях немецких авторов X—XII вв. ясно отразились представления о том, что полабские племена принадлежат к славянской этноязыковой общности и живут по особым, «славянским» обычаям. В тех же источниках можно найти и представления о принадлежности полабских славян к особой региональной общности, отличной, например, от общностей поляков или чехов. Однако каких-либо прямых данных о существовании у самих славян между Эльбой/Заале и Одером регионального «общеполабского» самосознания в нашем распоряжении нет. Впрочем, о возможном сохранении здесь в X—XII вв. этнического самосознания такого уровня могло бы свидетельствовать развитие надплеменных северополабских языческих святилищ в Ретре и Арконе (2, S. 310—311; 3, s. 171).

Говоря о более низких таксономических уровнях самосознания, следует выделить и сознание принадлежности разных групп полабских славян к крупным надплеменным объединениям, выступающим в источниках под устойчивыми общими наименованиями «сорбы», «ободриты» или «лютичи». Эти этнополитические объединения можно рассматривать как зарождающиеся уже в IX—X вв. раннефеодальные народности. Наконец, сохранялось и самосознание племенное — сознание совместной принадлежности к одному из племен, входивших в состав крупного надплеменного объединения (так, этнонимы ободритских племен «Wagri»,

«Obodriti», «Polabi» продолжали жить наряду с этнонимом более высокого уровня «Obodriti», обозначавшим все население племенного княжества на северо-западе Полабья). Известия немецких хронистов X—XII вв. не оставляют сомнений в сильной привязанности полабских славян к своему «племени», в их готовности самоотверженно защищать свою «землю», свое «отечество». Для самосознания полабских славян IX—X вв. и тех из них, кто в борьбе с немецкой феодальной экспансией сохранил в X—XII вв. самостоятельные политические организации, характерны, таким образом, сосуществование и тесная взаимосвязь протонародного и племенного самосознания. Такое сосуществование отражало незавершенность процесса формирования народностей, что, в свою очередь, было связано с недостаточным развитием социальных и политических институтов раннефеодального общества.

Можно предполагать, что в условиях постоянной конфронтации с западными соседями в X—XII вв. у полабских славян могло усиливаться сознание совместной принадлежности к «славянам» — этноязыковой общности, резко отличной от «немцев». К сожалению, мы не знаем, как осмыслили, переживали представители разных групп полабских славян свою этноязыковую близость к другим славянским народам, с которыми они граничили на востоке и на юге, — к полякам и чехам. В самих чешских и польских памятниках XI—XII вв. упоминаний о полабских племенах очень мало.

Новый этап в истории полабских славян, в том числе и в истории их этнического самосознания, наступил тогда, когда все они, хотя и в разное время, с X по XIII в., утратили политическую самостоятельность, оказавшись под властью немецких князей и епископов. Обращение полабских славян в христианство, вовлечение их в иноэтническую социокультурную систему, а также массовая колонизация земель к востоку от Эльбы/Зале выходцами из разных областей Германской империи привели к постепенной ассимиляции большей части славянского населения. На исходе средневековья лишь крупный массив сорбско-лужицких поселений в Обер- и Нидерлаузице (Верхние и Нижние Лужицы) и небольшие славянские анклав в других областях (ганноверский Вендланд, Альтмарк, Пригниц) еще напоминали зде об этнических реалиях VI—X вв.

Однако в составе Германской державы славяне не только долго сохранялись как особая этническая группа, но и активно участвовали в процессе феодальной колонизации обширных территорий, в развитии городов (см.: 4). Как же изменялось в новых условиях этническое самосознание этого славянского населения в первые столетия иноэтнической власти — до начала XV в.? Не имея свидетельств, исходящих из самой славянской среды, мы — как и в случае с альпийскими славянами — можем судить лишь об объективных *факторах* самосознания и о его немногих косвенных *проявлениях*.

Мы рассмотрим в первую очередь те социальные, правовые и культурно-религиозные факторы, которые были этнически зна-

чмы, могли так или иначе воздействовать на эволюцию этнического самосознания полабских славян: ослаблять его остроту или, напротив, усиливать, напоминая славянам об их существенных отличиях от соседей — саксов, голландцев, датчан. При этом будем иметь в виду, что многие из этих факторов действовали лишь в ограниченных пределах одного княжества, города или городской округи и не имели силы для жителей других мест, где социально-политические и правовые отношения были совсем иными.

Только северополабские племена вступили в XI век политически самостоятельными. С падением своих племенных княжеств небольшие разобщенные сорбские и лужицкие племена (гломачи, колодицы, сиуслы, низане, мильчане и др.) лишились территориально-политических рамок обособленного этнического развития. Интеграция в административную структуру имперских марок как бы постепенно «сняла» племенные различия. В результате в XI—XII вв. здесь начала формироваться единая сорбско-лужицкая диалектно-языковая общность (5, s. 46—47, 55—56).

Административное деление марок совпадало с границами племенных объединений, и в первое время славянское население еще сохраняло здесь свои племенные названия (ср. в начале XI в.: «... в провинции, которую мы, немцы, именуем „Делеминцы“, славяне же зовут „Гломачи“» — 6, I, 3, S. 6). Не был утрачен и этноним более высокого таксономического уровня — «сербы» (или «сорбы»), перешедший позднее и на лужичан. В местной традиции XI—XIV вв. он не встречается, но еще в начале XII в. Козьма Пражский упоминает некоего Дуринка, который был «de Zribia genege» и которого хронист называет «Zribin ille» (7, I, 13, p. 29). Говоря о территории, отделявшей Чехию от Польши и находившейся некоторое время в XI—XIV вв. под властью чешского монарха, Козьма и его продолжатели используют единое понятие «Сербия» (Zribia, Sirbia) (7, II, 9, 39, 40; III, 4, 28, 39, p. 95, 141, 144, 165, 198, 211; 8, p. 146). Живые свидетельства о народе, называемом Sorabe, встречаются и позднее — например, в «Великопольской хронике» (9, prol., s. 5). Это позволяет говорить об устойчивости этнонима как одного из элементов народностного («общесорбского») самосознания, по-видимому ослабевшего, но не угасшего.

Вместе с тем даже для тех немецких авторов, кто был хорошо знаком с положением дел в этих краях, местные славяне предстают единой массой под общим этнонимом *Slavi*. Правда, Титмар Мерзебургский еще говорит о *Deleminci* и *Milzeni* как о племенах, наряду с ободритами, вильдами, ретарями, но упоминания эти относятся лишь к моменту их завоевания немцами (6, I, 10, 16, s. 14, 22). Отныне сорбские и лужицкие племена обозначаются у немецких авторов только общим, «родовым» термином *Slavi*. Мы вправе видеть за этим терминологическим постоянством иноязычных памятников постепенные сдвиги в этнической психологии самого местного населения. В условиях интенсивных межэтнических контактов оппозиция «немцы — славяне» оказывалась

более значимой, чем племенные различия. На передний план выходило самосознание «славянское».

Оно могло включать в себя сознание не только языковых, но также конфессиональных и правовых различий между славянами и немцами. Как явствует из рассказов Титмара, в X—XI вв. славянскому населению Мерзебургского диоцеза оставались чужды христианская догматика и обрядность, оно продолжало исповедовать языческие взгляды на мир и поклоняться священным рощам, озерам и источникам (6, I, 3, 14; VI, 37, S. 6, 8, 20, 321). Даже в Северо-Восточной Баварии, где христианизация славян началась уже при Карле Великом, они и в середине XI в. почитали идолов и хоронили мертвых в курганах (10, s. 195). Славян же к востоку от Заале называли «диким и варварским народом» еще в середине XII в. (11, № 212, p. 145). Нет сомнений, что совместная принадлежность к определенной системе верований, противоположной насаждаемому извне христианскому культу, была в это время одним из важнейших компонентов этнического самосознания славян, оказавшихся под властью немецких маркграфов и епископов.

Славяне в восточных марках поначалу во многом сохраняли и свое социокультурное и правовое своеобразие. Именно это, вероятно, имел в виду Титмар, говоря о несвободных людях «славянского обычая» («*Slavonicae ritu familiae*») на землях его епископства. Жизнь их во все большей мере регулировалась феодально-вотчинным правом, «снимавшим» постепенно их этнически обусловленную специфику: при разделе мерзебургских владений в 981 г. славянские «*familiae*» были «рассеяны путем продажи» (6, III, 16, s. 116). В жизни лично свободного населения славянские правовые обычаи играли, разумеется, большую роль и дольше сохранялись как фактор этнического самосознания. На левобережье Заале, в Северо-Восточной Баварии, славян до середины XI в. относили к народам, «которые не пользуются ни пактом, ни законом Салическим» (цит. по: 10, s. 195—196). Они продолжали жить по известным еще с каролингских времен «законам и обычаям славянского племени» (12, a. 849, p. 38).

Как менялось самосознание местной славянской знати? Славянские магнаты и министериалы в восточных марках, упоминаемые Титмаром и в грамотах XI в., сохраняли в большинстве своем славянскую антропонию (6, II, 38; VI, 28; VIII, 21, S. 86, 308, 518; 13, № 77, 99, 142, p. 294, 308, 336; 14, № 32, p. 36), и их принадлежность к *Slavi* зачастую специально отмечается (ср.: «*Sclavis. . . optimos Borisen et Vezemuisclen*»; «*liber homo Bor vocitatus nomine Sclauus*» — 6, VI, 28, S. 308; 14, № 32, p. 36; ср.: 11, № 305, 350, 461, 475, 510, p. 208, 240, 320, 331, 352). Но с каждым новым поколением удельный вес христианских и германских имен в этих семьях быстро возрастал: уже дети славянского вотчинника Бора носят имена Вихард и Лиутгер. Став частью господствующего класса империи, славянские *optimi, seniores, milites* неизбежно утрачивали сознание этнической

общности со своими соплеменниками. К XIII в. сорбско-лужицкое население практически лишилось социального слоя, наиболее способного закрепить исторические традиции племенных княжеств и обеспечить самобытное этнокультурное развитие южной части полабских славян.

Подобное сочетание благоприятных и неблагоприятных факторов заставляет предположить, что этнопсихологическая ситуация славян под иноэтнической властью в X—XII вв. оставалась переходной. Факторы, ослаблявшие «славянское» самосознание местного населения, в известной мере уравнивались факторами, поддерживавшими в славянах чувство совместной принадлежности к некоей языковой, культурной, правовой и в какой-то мере также конфессиональной общности. С началом массового расселения здесь немецких колонистов в XII—XIII вв. ситуация изменилась, сделав возможной ассимиляцию сорбов в междуречье Заале и Эльбы.

Возобновление в 20—30-х годах XII в. немецкой восточной экспансии решило судьбу самостоятельных княжеств ободритов, стодоран и других северополабских политических объединений. Этнопсихологическая ситуация в этих княжествах облегчала их завоевание. Исповедуя христианство или сочувствуя миссионерам, принимая германские имена (Прибигнев-Уто, Готшалк, Генрих у ободритов, Мейнфрид, Прибислав-Генрих у стодоран на Хафеле), вступая в родственные и дружеские связи с немецкой или датской аристократией, все больше опираясь на поддержку иностранных сюзеренов, княжеская верхушка как бы «выходила» из системы «гентильно-религиозного», а тем самым и этнического самосознания своих языческих соплеменников. Подобный конфликт «двух самосознаний» ослаблял княжества, приводя к частым мятежам и даже убийствам славянских князей их подданными, враждебно относившимися к прогерманской ориентации своих правителей (см.: 15, S. 76—105; 3, s. 242, 246; 16).

У ободритов междоусобицы 20-х годов XII в. окончательно подорвали централизацию, и отдельные княжества теперь порознь должны были бороться против натиска извне. Переселение немецкими феодалами части вагров на прибрежные земли и вынужденный уход других из своей страны особенно обострили этнические чувства славян, считавших себя, по словам их князей, «незаконно лишенными наследия своих отцов», «изгнанными из отечества» (17, I, 62, 84, p. 118—119, 161). Однако сами князья ободритов и вагров не могли и в это время полностью отрешиться от вековой традиции сотрудничества с немецкой знатью. Так, князь ободритов Никлот как верный вассал саксов должен был удерживать славян, прежде всего тех, кто вынужден был уйти из заселяемой немцами области, от нападений на новых колонистов. «До сих пор я удерживал руку славян, дабы они не причинили тебе ущерба. . .» — сообщал Никлот графу Гольштейнскому в 1147 г. (17, I, 62, p. 118—119).

Лишь в 60-х годах XII в., изгнанные саксонским герцогом Генрихом Львом и лишённые власти над территорией племени ободритов, сыновья Никлота смогли на время преодолеть свою этнопсихологическую раздвоенность и возглавить массовое движение северополабских славян против завоевателей. Переданные хронистом Гельмольдом речи князей ободритов и вагров в 50—60-х годах XII в. показывают, что начало немецкой колонизации Северного Полабья местное славянское население воспринимало как глубокий переворот в своей социальной и этнической судьбе, как «изгнание из земли своей» и лишение их «наследства отцов» (17, I, 83; II, 2, р. 158—160, 191—192). Мотивы эти, несомненно, были важным компонентом этнического самосознания славян Северного Полабья во второй половине XII в.

У самих ободритских князей их династическое самосознание слилось тогда с обострившимся этническим самосознанием их подданных: «Великое насилие. . . причинено мне и моему народу, ибо изгнаны мы из страны, где родились. . .», — говорит сын Никлота Прибислав. Обращаясь к славянским жителям осажденного им города в Мекленбурге, он доказывает им, как тесно переплелись судьбы его семьи с судьбами всего «племени». Апеллируя к «общеободритскому» самосознанию горожан, князь умело пользовался в своей речи соответствующей системой понятий («наше племя», «наши отцы», «наши пределы») (17, II, 2, р. 191—193).

Восстановление Генрихом Львом в 60-х годах XII в. Мекленбургского княжества под властью ободритской династии Никлота не изменило судьбы славян Северного Полабья. Правда, и Прибислав, и его сын Генрих Борвин I продолжали наряду с новым, «мекленбургским», титулом (*princeps Magnopolensis*) именовать себя «князьями славян» (*princeps Sclavorum*; *princeps Slaui*) (18, № 122, 152, 254, 257, S. 118, 150, 239, 244), а в их окружении преобладала славянская знать: в грамотах 1192, 1210, 1218 и 1219 гг. свидетели-славяне специально выделены как *Slaui* (17, № 152, 197, 239, 244, 258, S. 151, 187, 226, 229, 244). И все же этнопсихологическое размежевание между основной массой славянского населения княжества и его верхушкой росло. Прибислав расселял в окрестностях градов славян (17, II, 14, р. 218), видя в них опору своей власти. Но уже Генрих Борвин, заботясь об утверждении новой, более доходной экономической структуры, активно привлекал в страну западных колонистов на эмфитевтическом «немецком праве» (18, № 197, S. 187). Княжеский двор в Мекленбурге быстро превращался в немецкий. После смерти Генриха Борвина I в 1227 г. славянские имена из мекленбургских грамот практически исчезают и только в Ростоке, Верле и Гюстрове при дворах его внуков встречаются изредка вплоть до начала XIV в. (18, № 362, 369, 385, 397, S. 348, 355, 392, 401 и далее). Не отличаясь по экономическому и социальному положению от немецкого рыцарства, приняв христианство, славянская знать в Мекленбурге уже в XIII в. подверглась быстрой ассимиляции (19, S. 132—134).

О том, что происходило к югу от страны ободритов, сведений мало. Стодоранский «король» Прибислав-Генрих, будучи ревностным христианином и «народ свой, преданный гнуснейшему обычаю идолопоклонства, ненавидя», поддерживал тесные связи с маркграфом Альбрехтом Медведом в Альтмарке. В 1150 г. вдова «короля» тайно пригласила Альбрехта в Бранденбург, предпочитая, по словам хрониста, «передать землю немцам, нежели и дальше терпеть нечестивое поклонение идолам». Получив власть в Бранденбурге, Альбрехт поручил его охрану «воинственным мужам немецким и славянским, которым весьма доверял» (20, р. 482—483). Большая часть местной знати (*Sclavi nobiles*) перешла на службу к новому правителю, приняла иноязычные имена и ассимилировалась (ср.: 21, № 11, S. 89). К середине XIII в. бранденбургские маркграфы распространили границы своих владений до Одера.

И в Северном Полабье ликвидация самостоятельных славянских княжеств привела к стиранию племенных различий, связанных с обособленностью территориально-политических образований и местных языческих культов. После 1200 г. племенные этнонимы *Obodriti*, *Wagri*, *Polabi* и другие исчезают, уступая место общему термину *S(c)lavi* или — в нижненемецкой традиции — *Wende(n)*. Пожалуй, только славяне на левобережье Нижней Эльбы по-прежнему сохраняли свой особый этноним (ср. *Drewnane* в «Великопольской хронике» — 9, prol., s. 5—6). Племенное и протонародное (например, «общеободритское») самосознание вытеснялось территориально-политическим («мекленбургским», «бранденбургским» и т. д.). Первоначально это территориально-политическое самосознание могло выступать как один из уровней самосознания этнического: так, в грамоте 1189 г. ростокский князь противопоставляет в правовом отношении «немцев» и «любого в стране нашей власти» (18, № 319, S. 312). В дальнейшем территориально-политическое самосознание становится этнически нейтральным. В условиях интенсивной немецкой колонизации потомки ободритов, лютичей или стодоран осознавали прежде всего свою принадлежность к особой, отличной от немцев и датчан «славянской» общности.

Завоевание немцами областей к западу от Одера открыло дорогу массовой христианизации местного населения. При том значении, какое имели языческие культы для определения полабскими племенами своей этнической идентичности, приверженность славян к старой, искореняемой религии должна была быть существенным компонентом их самосознания. Острый конфессиональный конфликт во многом обусловил здесь характер межэтнических отношений.

Еще в 70-х годах XII в. в Мекленбурге, сообщает Гельмольд, «разбойники из славян беспокоили немцев. . .» (17, II, 14, р. 218), а утверждению в стране позиций христианской церкви препятствовал «*insultus Sclavorum*» (18, № 152, S. 150). В конце XII в. в Гольштейне многие славяне воспринимались как рабители-

святотатцы или их пособники. В то же время прогресс христианизации, по-видимому, подрывал этническую солидарность гольштейнских славян: когда некая славянская семья похитила монастырские реликвии, в погоне за ней участвовали вместе с саксами и ее местные соплеменники (22, S. 80, 82, 84, 86, 90).

В Бранденбурге немецкие власти вели первые полвека упорную борьбу с языческими выступлениями местного населения (20, p. 482, 484; 21, № 5, S. 82; 23, № 15, S. 104). Эта борьба, сопровождавшаяся подчас выселениями славян из их прежних мест обитания, безусловно, обостряла межэтнические конфликты. В грамоте папы Иннокентия III от 1210 г. говорится о славянах, «воюющих с католической верой. . . или желающих занять эту землю из-за того, что отцы их, так как они были язычниками, были силой изгнаны оттуда» бранденбургскими маркграфами (24, № 34, S. 152). Как и у вагров в 40—50-х годах XII в., у славян на Хафеле складывалась, таким образом, устойчивая традиция об изгнании их (или их отцов) из родного края. При этом стремление вернуться в места, где жили их предки, сливалось с приверженностью язычеству и враждой к христианам. Но и у славян, ставших христианами, фактором, выделявшим их среди других этнических групп, оставалось (и осознавалось) языческое прошлое предков. Так, при основании города Пархим в 1225 или 1226 г. жителям были подтверждены их права на земли, «которыми отцы их владели со времен язычества» (18, № 319, S. 312).

Этнически обусловленные различия заметны были в материальной культуре сельского населения, в системе землепользования и методах хозяйствования, в формах поселений и особенно в их правовом статусе. В Альтмарке, в Бранденбургской марке, в Лауенбурге и других районах колонизации акты XII—XIV вв. выделяют многочисленные «славянские деревни» (*villae Slavicales; villae Slaivicae*; деревни, где «*Slaui sunt*», т. п.) (25, S. 27, 49—54, 56, 75—76, 101—103, 147; 26, S. 116—119; 27; 28). Здесь сохранялись, как правило, характерные для славян традиционные формы поселений, землепользования, повинностей. Некоторые из этих деревень встречаются в источниках довольно поздно. В Мекленбурге еще в 1315 г. двум деревням было подтверждено их «славянское право (*ius Slavicale*), каким издревле пользовались славяне» (29, № 3759, S. 154). В ганноверском Вендланде о наследственных держаниях «по славянскому праву» говорится еще в 1354 г. (30, s. 172). Существование таких «славянских деревень» позволяет предполагать у их жителей устойчивое сознание совместной этнической принадлежности.

В некоторых районах колонизации структурная перестройка деревень приводила к выселению славян из их прежних мест обитания и по экономическим мотивам (17, I, 57, 84, 89, 92, p. 112, 165, 174, 179; 31, № 345, 477, S. 260, 347; 32, № 158, S. 130; 18, № 65, 278, S. 58, 261). Расселяя колонистов на «немецком праве», феодальные власти рассчитывали увеличить свои доходы. При пере-

селении славян иногда образовывались «новые славянские деревни» (ср.: «nova villa Slavicalis» в Оспригнице — 21, № 15, S. 93; ср.: 26, S. 119—125, 358—361; 27, S. 247—253; 28, S. 55—57, 89—90). При всем разнообразии конкретных обстоятельств переселение, как и сохранение славянами особого правового статуса, неизбежно обостряло их этнические чувства. Выселенные, как подчеркивалось в грамотах, «без всякой надежды на возвращение», они стремились вернуться или же мстили новым владельцам их земли (18, № 278, 454, S. 261, 452; 33, № 1809, S. 188).

С традиционной экономической структурой славян и их положением как новообращенного народа была связана и другая выделявшая их правовая особенность. Еще в XII в. у сорбов на церковных землях, а в XIII в. и в Северном Полабье славяне вместо канонической «полной десятины» платили епископу специальную подать, взимавшуюся не с индивидуального надела, а со всей деревни и называвшуюся «славянским сбором» (*census Slavorum; collectura Slavorum; Slaucum ius*) (18, № 65, 90, 150, 278, S. 58, 84, 147, 261; 34, с. 28). Славяне повсюду воспринимались как этническая группа, которая платит десятину в меньшем и строго установленном размере (14, № 55, S. 57; 31, № 322, 335, S. 240, 251—252). Введение же канонической десятины памятники обычно связывают с удалением славян и прибытием западных колонистов: «И увеличались десятины в земле славянской, ибо стеклись сюда из своих земель люди немецкие. . .»; «после изгнания славян земля была обложена десятиной» (17, I, 88, p. 174; 18, № 65, S. 58; ср.: 35, S. 262—268, 286—287, 336—346, 504, 509).

Структурная перестройка деревни и связанное с этим расширение сферы «немецкого права» во многом подрывали этнически обусловленную юридическую обособленность славянского населения. В 1220 г. граф Шверинский пожаловал славянам некоей деревни «*ius Teuthonicale*». Отныне их владельческие права, несение всех повинностей и судебная практика регулировались нормами «немецкого права». «*Ius Teuthonicale*» было даровано не только тогдашним обитателям этой деревни, но и тем славянам, «которые впоследствии захотят поселиться в ней». Грамота предусматривает, таким образом, реальную возможность сознательного перехода славянских крестьян в иноэтническую правовую систему. Но и после этого они не утрачивали своей этнической идентичности: славянские держатели на «немецком праве» по-прежнему именуется в грамоте «*Slavi*» (18, № 266, S. 250—251). Решающим оставался, по-видимому, критерий языковой.

Переход в иноэтническую правовую систему был в XIII в. скорее исключением. Представители всех народов, вовлеченных в процесс колонизации, сохраняли в местах расселения свою «племенную» юридическую традицию. В 1248 г. западнопоморский князь разрешил всем колонистам Эльденского монастыря (к востоку от Грейфсвальда), «защищая свои дела, пользоваться собственным правом». «Если же кто-либо захочет поселиться в деревне другого племени — например, датчанин или славянин

среди немцев и наоборот, — то желаем, чтобы он пользовался правом тех, чье сообщество он избрал» (24, № 91, S. 348). Об «особом праве» отдельных деревень (*sunderleke dorprecht*) говорится и в «Саксонском зеркале» (41, III, 79, § 2, S. 262). Таким «особым правом», несомненно, обладали и славянские деревни (42, S. 224—228).

Но и в рамках немецкой феодальной социально-экономической структуры славяне могли обрести особые формы существования, отделявшие их от соседей. Одной из таких форм были «китцы», особенно распространенные в Бранденбургской марке и на юго-западе Мекленбурга. В начале XV в. жителями этих служебных поселений при немецких бургах были почти исключительно славяне (*Slaii de vico vel Kitz; Slaii... in vico qui dicitur Kitz; die Wennde uff dem Kytze*) (36, S. 41, 155, 374; 23, № 182, 334, 339, S. 224, 334, 337; 37, № 10, 27, S. 7, 430; 38, S. 80—83). Они несли определенные повинности в пользу бурга; основным их занятием было рыболовство. Они имели также «свое право» (*igre recht*) и собственную судебную инстанцию (39, S. 91—96, 135—136; 40, S. 152—166, 201). Экономическая, социальная и правовая специфика славянского населения «китцев» также могла быть фактором, поддерживавшим в нем особое «славянское» самосознание...

Этнически значимым оставалось и право персональное. В системе юридических символов в иллюстрированных рукописях «Саксонского зеркала» даже своеобразная одежда славян, отличавшая их от саксов, франков и евреев (2, Taf. 83—84), выступает как воплощение не только этнокультурной, но и правовой специфики. И в «Саксонском зеркале», и в других памятниках мы находим правовые нормы, относившиеся только к славянам, — элементы славянской юридической традиции, сохранявшиеся на локальном уровне в общей системе саксонского земского права. Такова норма, регулировавшая семейные отношения зависимого населения в отдельных местностях на Средней Эльбе: выхода замуж, славянка платила господину вечный сбор, а если муж умирал или оставлял ее — «таково славянское право» (*also wendisch recht is*), — вносила вотчиннику разводную пошлину (41, III, 73, § 3, S. 257; см. также: 42, S. 245—247; 43, s. 67—68).

Другие элементы «особого права» славян были продуктом более позднего развития, определяя социальную и юридическую принадлежность детей от смешанных браков немцев и славян. Если немецкая женщина передавала свой статус детям, независимо от того, кто был их отец, то славянка могла сделать это лишь в том случае, если отцом детей был немец. Если же мужем ее был славянин (*of he en Wend is*), дети наследовали статус от отца (41, III, 73, § 2, S. 257. Ср.: 43, s. 46—67). Это установление, являющееся более поздней (около 1270 г.) вставкой в «Саксонское зеркало», но возводимое там ко времени архиепископа Магдебургского Вихмана (вторая половина XII в.), безусловно, задевало этнические чувства славянского населения, обостряя

его коллективное самосознание и ограничивая тем самым ассимиляционный эффект смешанных браков в деревне.

«Славянское право» было представлено также в судебной сфере. Так, в районе Эрфурта в Тюрингии существовали особые нормы, определявшие санкции за различные преступления и касающиеся только славян («*legitima iura Slavorum*») (11, № 117, S. 86; см. также: 44). Собственная юридическая традиция сохранялась у славян и в более полном объеме: из этого исходит «Зерцало», предписывая, что судить «славянина» или «сакса» и свидетельствовать по его делу должны лишь его соплеменники — если только он не был схвачен на месте преступления. В остальных случаях состав судебных заседателей и свидетелей определялся в соответствии с этнической принадлежностью ответчика: «Каждый может находить решение и быть свидетелем в отношении другого. . . но не славянин против сакса или сакс против славянина» (41, III, 70, § 1—2, S. 255—256; ср.: 43, s. 31—40). Понятно, что эта ситуация требовала от местного населения ясного сознания своей этнической принадлежности.

Правовую специфику славянского населения учитывала и отражала также судебно-административная организация колонизуемых областей. Там, где в XII—XIV вв. сложилось определенное демографическое равновесие между двумя обособленными этническими зонами поселений, это проявилось в развитии особых «славянских» судебно-административных институтов. В районе Цербста в Анхальте наряду с общеземским судом упоминается под 1229 годом «*placitum Slavorum*» (45, № 102, S. 84) (ср. также «*magistratum civium*» в славянских деревнях ганноверского Вендланда — 30, s. 171—172). На некоторых сорбских землях в округах, иногда прямо называемых «*Wendische Pflege*», «*Wendischer Zirkel*», «*Wendische Seite*», заседали земские суды с участием славянских шеффенов, которыми были местные должностные лица — деревенские жупаны, старосты (см.: 46, S. 14—43, 89—90). Эти представители вотчинной администрации сами осуществляли низшую юрисдикцию в своих деревнях, выступая как преимущественные носители славянской устной юридической традиции. Такая судебно-административная система, основанная на этническом принципе, сама по себе была важным фактором сохранения «славянского» самосознания местного населения.

Не менее важным фактором было использование в суде «славянского языка». Ясное сознание этноязыковой принадлежности было непременным условием применения нормы саксонского земского права: «Каждый, кого обвиняют, может отказаться отвечать, если его обвиняют не на его родном языке». Еще большее этнопсихологическое значение имело дальнейшее развитие этой нормы в более поздней авторской редакции «Саксонского зеркала». Отныне ответчик мог претендовать на то, чтобы ему предъявили иск на его родном языке лишь в том случае, если давал клятву, что не знает немецкого, и если никто не мог дока-

зять, что он уже пользовался некогда немецким языком в суде. Наконец, отвечать на иск полагалось теперь — самому или через посредника — «так, чтобы жалобщик и судья это понимали» (41, III, 71, § 1—2, S. 256—257; ср.: 47, S. 358—367). Эти ограничения, безусловно, заставляли славян сознавать свое неравноправие по отношению к немцам, но на практике использование «славянского языка» в немецком суде часто оказывалось для местного населения еще более невыгодным: взаимное непонимание приводило к тому, что славяне проигрывали тяжбы и даже покидали родные места. Именно по этим мотивам, исходя из своих экономических интересов, феодальные власти Анхальта запретили в 1293 г. использование «славянского языка» в судах княжества. При этом была сделана оговорка: во всем прочем «люди славянского языка останутся во всем своем праве, как они были издревле» (латинский текст грамоты см.: 47, S. 362, Anm. 17—18).

Отдельно следует сказать о специфике положения славян в городе, также влиявшей на их самосознание. Города к западу от Одера были по своему социокультурному облику близки к немецким городам других областей империи. Но в XIII—начале XIV в. растущие города Мекленбурга, Бранденбурга, Нидерлаузица нуждались в притоке населения, в том числе из ближайших деревень. Славяне могли получать статус полноправных горожан, доступ в самые уважаемые цехи и даже в городской совет (48, S. 6—9, 21, 28—29, 31—34, 39—40; 25, S. 57, 130, 144; 49, S. 63—67). Вместе с тем с развитием городов появлялись новые факторы этнического размежевания. Уже в 1220 или 1226 г., ограждая себя от экономической конкуренции деревни, город Любек обязал приезжих славян платить пошлину на товары и к тому же подушный сбор (*pro capite suo*) (18, № 273, S. 257).

В ряде городов славянское население (кроме, разумеется, полноправных бюргеров) подлежало до начала XIV в. особой юрисдикции. Во Фридланде славяне имели свою судебную инстанцию («*iudicium Slavogum*»), подчиненную фогту маркграфа Бранденбургского (18, № 559, S. 537). В Ростоке была специальная должность «славянского фогта» («*advocatus Slavogum*»), наделенного, по всей видимости, судебными полномочиями (33, № 1559, S. 2).

В других местах жители города и его окрестностей — славяне и немцы (*Teutonici sive Slavi; sie sie wendisch edder dutsch*) — подлежали обычному городскому суду (50, № 1, S. 165; 51, № 5, S. 3), сохраняя, однако, языковую и отчасти правовую специфику. Так, в постановлении 1261 г. в составе магдебургского городского права говорится о предъявленном в суде иске «по славянскому обычаю» (*nach windischen site*) и на «родном языке» славян. В то же время эта норма отражает определенную стадию ассимиляционного процесса: речь идет о тяжущихся, которые «оба славянского происхождения и, однако, не славяне» («*beide von windischer art sin here komen, unde doch nine winede sin*»). В этой переходной этнопсихологической ситуации процессуаль-

ное право скорее способствовало ассимиляции: обвиняемый мог не отвечать на иск, предъявленный ему «по славянскому обычаю» (52).

Во многих городах были особые «славянские улицы» («platea Slavorum» в Ростоке, «Windische Gasse» в Веймаре, Дрездене и Баутцене), «ворота» («Wendesche Tor» в Баутцене) и даже кварталы («Wendische Viertel» в Луккау) (29, № 3917, S. 286; 53, № 11741, S. 434; см. также: 54, S. 234; 46, S. 58—60; 55, s. 229—230). Согласно полуполюгендарному известию, восходящему к началу XIII в., острые распри между немцами и сорбами в Баутцене вынудили тогдашнего властителя края — чешского короля Пржемысла I — указать каждой этнической группе особое место для проживания (46, S. 58—59). Хотя уже в XIV в. славяне жили не только здесь и, напротив, многие обитатели этих улиц и кварталов были немцами, такое локальное обособление, отраженное в микротопонимии, также было одним из факторов сохранения славянами в городах своего этнического самосознания.

Еще одним фактором этнического обособления славян в городе можно считать сосредоточение в их руках тех или иных промыслов. Так, в Ростоке славяне были известны как торговцы салом, пастухи — арендаторы лугов, цирюльники (ср.: 18, № 2195, 2293, S. 480—481, 552; 29, № 3815, S. 197; 56, № 5162, S. 146—147; 57, № 11247, S. 467). Конкуренция горожан-немцев со славянами в этих сферах деятельности приводила к конфликтам, неизбежно окрашенным этнически (ср.: 48, S. 17). Однако до середины XIV в. подобные конфликты не порождали здесь каких-либо дискриминирующих правовых мер против славян в городах. Лишь в 1353 г. в цеховом уставе сапожников города Беесков впервые появляется «славянский параграф»: наряду с лицами «недостойного» происхождения и занятий в цех запрещалось принимать также славян (wende) (58, № 16, S. 350). Примерно тогда же, около 1350 г., о приеме в свой цех только немцев заявили люнебургские розничные торговцы (59, S. 130, 133, 136). В 1387 г. это требование повторили беесковские пекари, затем, возможно, мясники, суконщики и портные (58, № 38, S. 365—367, Anm.). После 1400 г. «параграф» стал широко распространяться в городах, особенно в Бранденбургской марке. Постановление шерстоткаческого цеха в Шверине 1372 г. заставляет предположить, что прием в цехи «немцев, а не славян» существовал как «обычай» (wanheuth) еще до его фиксации в цеховых грамотах. В самом деле, уже в 1385 г. в Любеке было предъявлено свидетельство о происхождении его подателя «не из славянского рода. . . но от добрых и честных немцев» (48, S. 39). Каковы бы ни были причины и смысл этого требования цехов (экономические, политические, социально-психологические) (см.: 49, S. 57—59, 62—70, 76—79; 25, S. 128—133; 46, S. 57; 2, S. 438, 449), оно резко обостряло межэтнические отношения, вновь и вновь напоминая славянам и даже их детям от смешанных браков (ср. цеховую грамоту беесковских пекарей) об их происхождении, в одних случаях, видимо, усиливая тем

самым их этническое самосознание, в других — способствуя стремлению славянского меньшинства к полной ассимиляции.

Таковы основные факторы, заставлявшие славянское население в Полабье в XII—XIV вв. осознавать себя как особую этническую группу под властью немецких князей и феодалов. Гораздо труднее судить о результатах действия этих факторов, отыскивая в источниках реальные проявления «славянского» этнического самосознания.

В составленных между 1165 и 1170 гг. в Мерзебурге «Чудесах св. Генриха» есть эпизод, где слепой нищий «из страны и из племени славян», узнав о чудесах, явленных у гроба Генриха II, восклицает: «Этот Генрих ведь немец и потому одним лишь немцам оказывает помощь своей милостью, для меня же и людей моего племени никогда не совершил никакого благодеяния» (60). Мы видим здесь отраженное агиографом чувство «мы» населения сорбских деревень близ Мерзебурга, осознанную оппозицию «немцы» — «люди моего племени», т. е. славяне. Герой рассказа и его «племя» могли быть в XII в. уже крещены, однако их этническое самосознание по-прежнему имело форму психологического отмежевания от «немецких святых».

О силе и устойчивости «славянского» самосознания говорят широко распространенные в городе, а позднее и в деревне прозвища Slavus, Slauue, Wend(t), Wendisch, Wendischman. Славянин, оказавшийся в преобладающем иноэтническом окружении, носил это прозвище как индивидуальный признак своего происхождения и еще сохраняемой им «племенной» идентичности. В XIII—XIV вв. это было собственно прозвище (ср. в Росток: «Radekedictus Wend»; в Мерзебурге: «Fridericus dictus Windesman» — 56, № 5608, S. 530; 61, S. 185). Лишь изредка уже в XIV в. оно переходило по наследству, становясь фамилией и утрачивая этническую значимость (ср.: 62, S. 218—219).

Важным индикатором самосознания служит антропонимия. В городах славянские имена были редки. Исключение составляли, насколько известно, Росток и Штральзунд, но и там они встречаются внутри семьи скорее у старшего поколения: дети отходили от антропонимической традиции своих родителей. Едва ли не все горожане с прозвищами Slavus или Wend носили уже христианские или германские имена. Среди славянского крестьянства они распространялись медленнее. В XIV в. и в городе, и в деревне славянское имя часто уже сочеталось с именем иноязычным, приобретая функцию прозвища (ср. в Росток: «Henneke Pribeke», «Petrus Tesmer», «Johannes Rademer»; в Штральзунде: «Hinricus Pruddemer», «Conradus Scharpe aliter dictus Dubbeslaf»; на сорбских землях монастыря Мариенштерн в 1374—1382 гг. около 100 (почти 50 %) славянских имен независимых держателей входит в состав «двойных» — 63, № 7464, S. 59; 53, № 11741, S. 433, 435; 64, № 833, 837, S. 146, 147; 65).

Наконец, показателем самосознания можно считать определенную склонность к организации на этнической основе. Так,

к началу XVI в. в городе Либенверда при часовне св. Анны сложилось особое «славянское братство» («die windsche bruderschaft») (66, S. 150, 158). В Ростоке славяне, торговавшие салом, совместно арендовали в XIV в. выпасы для свиней (29, № 3815, S. 197; 56, № 5162, S. 146—147; 57, № 11247, S. 467). Этническую солидарность мы можем предполагать и в тех случаях, когда при вступлении славянина в бюргерское сословие поручительство за него давал горожанин, также носивший прозвище Wend (примеры см.: 48, 25—26).

Судя по косвенным признакам, в XII—XIV вв. славянское население между Эльбой/Заале и Одером *, утратив сложную иерархическую структуру самосознания, сохраняло, однако, устойчивое сознание своей принадлежности к особой этнической группе, отличной от немцев, голландцев или датчан. Сохранению «славянского» самосознания способствовал ряд факторов этнического размежевания. Некоторые из них к исходу XIV в. уже перестали действовать (конфессиональное противостояние, «славянская десятина», элементы «особого права» славян, особая юрисдикция для славян в городах). Приток западных колонистов, вовлечение славянских деревень в единую феодальную социально-экономическую структуру, завершение христианизации, все большее значение немецкого языка в суде и администрации, рост числа смешанных браков сделали ассимиляционные тенденции для большинства полабских славян необратимыми (особое положение сорбов-лужицан в зоне их компактного поселения, где жители сохраняли свой старый этноним и успешно противостояли ассимиляции, заслуживает особого рассмотрения в более широких хронологических рамках). Возникшие новые факторы этнического размежевания, особенно в городе («славянский параграф» в цеховых уставах и т. п.), объективно скорее ускоряли, чем замедляли этот процесс. Но лишь в XV—XVI вв. большая часть этих территорий, занятых некогда славянскими племенами, окончательно изменила свой этнический облик.

II

Несмотря на общность их исторических судеб, в языковом отношении западные славяне, жившие между Эльбой и Одером, принадлежали к двум совершенно различным группам — собственно полабской, относительно близкой к другим лехитским диалектам (польским и поморским), и гораздо более далекой от них серболужицкой. Если не считать имен собственных — личных и местных, дошедших в средневековых текстах, то об обеих этих группах можно судить только по текстам, записанным много позднее рассматриваемого периода — в XVII—XVIII вв. (полаб-

* Мы не имеем возможности рассмотреть также положение в Западном Поморье и на о-ве Рюген, где не только сохранялись местные славянские династии, но и сами процессы колонизации и германизации отличались значительным своеобразием.

ский язык — 67; 68), начиная с XVI в. (нижнелужицкий — 69; 70) и с конца XV в. (верхнелужицкий — 71). Однако методы сравнительно-исторического славянского языкознания позволяют установить такие их языковые признаки, которые восходят к гораздо более древней эпохе и которые должны были характеризовать каждую из этих групп в рассматриваемый период. По нескольким фонетическим признакам и полабский, и серболужицкие языки объединяются с другими западнославянскими: группы согласных *tl, *dl в них сохраняются; заднеязычные в старых сочетаниях *kvě, *gvě не изменяются (хотя позднее в полабском v в этих сочетаниях исчезло: полаб. g'ozdā — «звезда», лужиц. gwězda, hwězda), древние *tj, *dj превращаются в аффрикаты типа ts (т. е. ц), dz: полаб. svěca — «свеча» (в полабско-немецком словаре передавалось как suecia — «Licht»), лужиц. swěca, полаб. midzā — «межа», верхнелужиц. m'ēza, нижнелужиц. mjaza (z из более древнего dz, как и в некоторых других западнославянских диалектах); в начальном слоге j после губного согласного не развивался в l': полаб. zim'ā — «земля», лужиц. zemja. Если все эти процессы, во всяком случае на самых ранних этапах, одинаковы для всех западнославянских диалектов, то в других отношениях можно выявить большие расхождения между лужицким и полабским. Полабский и польско-поморская группа диалектов объединяются сходным развитием сочетаний типа tort, tolt, telt, при которых имела тенденция к появлению гласного после плавного: полаб. glāvā — «голова», mlākē — «молоко», mlāt — «молот» (подробности развития групп типа tolt и telt ближе всего в полабском и поморском). Группы типа *tʔrt развиваются одинаково в полабском и поморском, где в них обнаруживается веляризованное o: полаб. sórnē — «черный», t'órdē — «твердый». Особенно примечательно совпадение дальнейшего развития в одном из полабских диалектов и в северозападном поморских говорах: полаб. vāuk — «волк» (с развитием типа *tʔt > tʔut) при параллельном vuk в другом полабском диалекте (72, с. 427—428, § 346). В сочетаниях этого типа особенно заметно различие между полабским и поморским, с одной стороны, и лужицким — с другой: полаб. dāud'ə- — «долгий» (*dylg-), верхнелужиц. dołhi, нижнелужиц. dług, długi, dłuiki. Сходство с польско-поморской диалектной группой обнаруживается в полабском также в развитии носового ɛ > ä с последующей веляризацией: полаб. dišätə, польск. dżesqtu, в изменении группы *jь- > i- в начальном слоге, где i затем в полабском дифтонгизируется: полаб. jaǐd'ü — «игло», польск. igo, полаб. jaǐmɛ — «имя», польск. im'ɛ, в изменении гласных в зависимости от следующих за ними согласных и т. п.

Значительный интерес, который представляют полабско-поморско-польские фонетические изоглоссы, определяется тем, что в них могли сказаться контакты этих западнославянских диалектов непосредственно в период, предшествующий рассматриваемому, когда разные группы полабских славян обитали к западу от носителей польско-поморских диалектов.

В полабскую группу входили ободриты на западе между Нижней Эльбой, Эльдой и Варной (включая варнов, вагров и полабов) и группа лютичей, к которым относились племена хижинов, чрезпеняч, доленцев, ратарей или ретарей, чьим главным центром была Ретра; к лютичам примыкали также моречане, га-воляне, брезане, укры. К полабским же относился и диалект жителей о-ва Рюген (73).

К XVII—XVIII вв., когда полабские тексты, словарь и грамматика были зафиксированы, полабский язык приобрел некоторые черты, свидетельствующие об уже долго происходившем контакте с немецким языком. Некоторые из этих грамматических черт объединяют полабский язык и с лужицкими: образование пассива посредством аналитического сочетания страдательного причастия со вспомогательным глаголом (полаб. *vårdót*, нижнелужиц. *hordowaś, wordowaś*), заимствованным нем. *werden* (полаб. *vårdól bóïte* — «его ударили, ему нанесли удар» = «он был ударен», «*er ward geschlagen*»; *rüzdaléne vārda* — «его разделили на части», «*er wird geteilt*»; *né-mzě sóïtə vårdot* — «он не мог насытиться», «*er kann nicht satt werden*»; нижнелужиц. *ty sy l'ubowana wordowafa* — «тебя полюбили», «*du bist geliebt worden*»; *ja horduju pytany* — «меня ищут», «*ich werde gesucht*» и т. п.). По-видимому, этот сходный способ образования пассива выработался и у полабских славян, и у лужичан в период их совместных контактов с немцами: две эти группы западнославянских диалектов входили вместе с диалектами немецкими в один языковой союз, члены которого независимо от их изначальных родственных отношений приобрели некоторые общие черты, большей частью обязанные влиянию немецкого языка. К числу западнославянских диалектов, рано вовлеченных в сферу воздействия немецкого языка, принадлежали также и поморские

Заметим, что некоторые из категорий (в частности, глагольных), которые в языке полабских славян по форме своего выражения обнаруживают немецкое влияние, относятся именно к числу типологически подверженных влиянию, как, например, будущее время (оно и в других языковых союзах, скажем в балканском, претерпевает существенные изменения — ср.: 74). В полабском передача будущего времени посредством вспомогательных глаголов *ïmëti* (*ïmati*) — «иметь» и *chъtëti* — «хотеть» в аналитических конструкциях соответствует аналогичному употреблению отчасти сходных по (диалектной) функции (но не по первоначальному значению) немецких глаголов *sollen* и *wollen*: *jos sô ricät* — «я скажу», «*ich will sagen*»; *tâi mos jest* — «ты будешь есть», «*du sollst essen*»; *jos mom brüt boït* — «я буду невестой», «*ich soll Braut sein*».

Особенно очевидными являются древние связи полабского и лужицких языков с немецкими (и вообще западногерманскими) диалектами в области лексики. Некоторые из соответствующих слов иногда признаются достаточно древними: ср. нижнелужиц. *kšud* — «бич, плеть», верхнелужиц. *křud*, полаб. *chräud*, *chriaud*,

предположительно из диалектного праславянского *kíudъ*, герм. **hriuda*, нем. *Riet* — «осока» (если не из старонем. *crude* — «мучение», что предполагало бы более позднее заимствование, но наталкивается на фонетические трудности — 75, с. 165—166). Верхне-лужиц. *rešo* (из нижнелужицкого) — «толпа, шайка» сопоставляется через праславянское диалектное **rešo* с прагерм. **reise-*, древневерхненем. **reisa-* «отправление, выход» (75, с. 169). Эти и другие подобные лексические сопоставления заставляют думать, что начало контактов полабских и лужицких славян с германцами относится ко времени завершения праславянского периода, т. е. к середине I тысячелетия н. э.

Предпринятое недавно сплошное этимологическое обследование лужицкого словаря в целом и отдельных его специальных частей, в частности ремесленных терминов, привело к выводу о значительных связях исходного диалекта, из которого образовался лужицкий, с западновосточнославянскими (белорусским и украинским), с одной стороны, и южнославянскими (особенно юго-западными — сербохорватскими) диалектами — с другой. В связи с этим О. Н. Трубачев высказал предположение о «вторичной окцидентализации лужицких языков» (76, с. 391—392). При этом особо отмечается «изоглоссное расхождение между серболужицким и таким ярким представителем западнославянских языков, как польский», которое «выражается не только в том, что серболужицкий участвует в ряде изоглосс, не захватывающих польский язык, но еще и в том, что в изоглоссах, характерных прежде всего для польского, серболужицкий не участвует» (77).

С точки зрения современной славянской лингвистической географии лужицкие языки (очень рано делившиеся на два сильно друг от друга отличавшихся диалекта) можно рассматривать как периферийную группу, лишь постепенно, благодаря вхождению в один языковой союз с полабским и другими лехитскими диалектами, втянувшуюся в западнославянскую языковую область и усвоившую черты, объединяющие ее с лехитскими языками.

Одной из важнейших особенностей, выделяющих полабские и отчасти лужицкие языки (особенно в том, что касается словаря, связанного с духовной культурой), является живучесть следов язычества, долго сохранявшегося в культовых центрах славян между Эльбой и Одером. Исследования последних десятилетий позволяют видеть следы реальных мифологических терминов и связанных с ними представлений во многих именах и обычаях местного славянского населения (78, с. 611, 617; 79; 80). Заметим, что следы языческой терминологии (например, название четверга *Pérganan*, передаваемое на письме *Perendan* — «Перун-день») сохраняются в полабском очень долго — до времени его письменной фиксации. Записанные в XIX и XX вв. фольклорные материалы лужичан свидетельствуют о живучести у них следов язычества.

Остается открытым вопрос о том, в какой мере сохранение языческих культовых центров в Полабье в XI—XII вв. могло

способствовать осознанию ими своего этнического единства. Часть имен или эпитетов богов, которых они чтили, была общеславянской, но к тому времени у других славян язычество уже отстывает перед христианством, а сохранение его в отдельных культовых центрах должно было скорее всего вести к обособлению тех племенных групп, вокруг которых они сосредоточивались. Поэтому специфика конфессиональной ситуации славян в Полабье скорее всего не могла способствовать развитию у них представления о единстве всех полабских племен; характерно отсутствие единства мифологической терминологии.

Дальнейшие процессы конвергентного развития в пределах одного языкового союза также как будто не свидетельствуют об осознании общности, выходящей за рамки отдельных, относительно замкнутых диалектных групп. Но отсутствие письменных памятников делает крайне затруднительным вынесение скольконбудь решительных суждений.

1. Санчук Г. Э. Особенности формирования этнического самосознания у полабских славян (VI—X вв.) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 195—212.
2. Die Slawen in Deutschland / Neubearbeitung. B., 1985.
3. *Łowmiański H.* Religia Słowian i jej upadek (w. VI—XII). W-wa, 1979.
4. Germania Slavica. B. (West), 1980—1981. Bd. I—II.
5. *Leciejewicz L.* Niektóre problemy dziejów Łużyc we wczesnym średniowieczu // Studia z dziejów i kultury Zachodniej Słowiańszczyzny. Poznań, 1983. S. 43—56.
6. Thietmari episcopi Merseburgensis Chronicon. B., 1935.
7. Cosmae Pragenses Chronica Boemorum. B., 1923.
8. Canonici Wissehradensis continuatio Cosmae // MGH SS, 1851. T. IX. P. 132—148.
9. Chronica Poloniae maioris. W-wa, 1970.
10. *Strzelczyk J.* Problemy badań nad zachodnią peryferią osadnictwa słowiańskiego w Niemczech // Słowiańszczyzna połabska między Niemcami a Polską. Poznań, 1981. S. 183—199.
11. Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Leipzig, 1889. Bd. I/2.
12. Annales Fuldenses. Hannoverae, 1891.
13. Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Leipzig, 1882. Bd. I/1.
14. Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. Leipzig, 1864. Bd. II/1.
15. *Kahl H.-D.* Slawen und Deutsche in der brandenburgischen Geschichte des 12. Jahrhunderts. Köln; Graz, 1964.
16. *Ромин В. К.* Самосознание карантанской и ободритской знати (опыт сравнительной характеристики) // Этнические процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1988. С. 105—111.
17. *Helmoldi Cronica Slavorum.* Hannoverae, 1937.
18. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1863. Bd. I.
19. *Hamann M.* Mecklenburgische Geschichte. Köln; Graz, 1968.
20. Heinrici de Antwerpe Tractatus de captione urbis Brandenburg // MGH SS. 1880. T. XXV. P. 482—484.
21. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1843. Hauptth. I, Bd. III.
22. Godeschalculus und Visio Godeschalci. Neumünster, 1979.
23. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1847. Hauptth. I. Bd. VIII.
24. Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. Darmstadt, 1968. Bd. I.
25. *Vogel W.* Der Verbleib der wendischen Bevölkerung in der Mark Brandenburg. B., 1960.
26. *Prange W.* Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg im Mittelalter. Neumünster, 1960.

27. *Krenzlin A.* Siedlungsformen und Siedlungsstrukturen in deutsch-slawischen Kontaktzonen // *Germania Slavica*. Bd. I. S. 239—275.
28. *Fritze W. H.* Eine Karte zum Verhältnis der frühmittelalterlich-slawischen zur hochmittelalterlichen Siedlung in der Ostprignitz // *Germania Slavica*. Bd. II. S. 43—92.
29. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1870. Bd. VI.
30. *Strzelczyk J.* Drzewianie połabscy // *Slavia Antiqua*. 1968. R. 15. S. 61—216.
31. Codex diplomaticus Anhaltinus. Dessau, 1869. Bd. I/2.
32. Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt. Leipzig, 1883. Bd. I.
33. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1865. Bd. III.
34. *Registrum Raceburgense // Егоров Д. Н.* Колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915. Т. 1. Прил.
35. *Schlesinger W.* Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter. Köln; Graz, 1983. 2. Aufl. Bd. I.
36. Das Landbuch der Mark Brandenburg von 1375. B., 1940.
37. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1857. Hauptth. I. Bd. XII.
38. *Hegert A.* Märkische Fischerei-Urkunden // Märkische Forschungen. 1882. Bd. 17. S. 72—138.
39. *Krüger B.* Die Kietzsiedlungen im nördlichen Mitteleuropa. B., 1962.
40. *Ludat H.* Die ostdeutschen Kietze. Bernburg, 1936.
41. Sachsenspiegel. Landrecht. Göttingen, 1955.
42. *Hugelmann K. G.* Die Rechtsstellung der Wenden im deutschen Mittelalter // ZRG GA. 1938. Jg. 58. S. 214—256.
43. *Matuszewski J.* Artykuły słowiańskie Zwierciadła Saskiego // Czasopismo Prawno-Historyczne, 1948. T. 1. S. 25—71.
44. *Strzelczyk J.* Słowianie koło Erfurtu // *Slavia Antiqua*. 1976. R. 23. S. 211—228.
45. Codex diplomaticus Anhaltinus. Dessau, 1875. Bd. II.
46. *Mětišk F.* Die Stellung der Sorben in der territorialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus. Bautzen, 1968.
47. *Schulze H. K.* Slavica lingua penitus intermissa: Zur Verbot des Wendischen als Gerichtssprache // *Europa Slavica — Europa Orientalis*. B. (West), 1980. S. 354—367.
48. *Ahlers O.* Die Bevölkerungspolitik der Städte des «wendischen» Quartiers der Hanse gegenüber den Slawen. B., 1939.
49. *Hopp D. G.* Die Zunft und die Nichtdeutschen im Osten, insbesondere in der Mark Brandenburg. Marburg, 1954.
50. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1857. Hauptth. I. Bd. XIII.
51. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1857. Hauptth. I. Bd. XIV.
52. Magdeburg-Breslauer Rechtsweisung von 1261, § 54 // Sachsenspiegel. S. 256. Anm. 74.
53. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1900. Bd. XX.
54. *Bilek J.* Die Herkunft der slawischen Minderheiten in den mittelalterlichen Städten Mecklenburgs // Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, 1961. S. 229—236.
55. *Strzelczyk J.* Słowianie i Germanie w Niemczech średnich. Poznań, 1976.
56. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1873. Bd. VIII.
57. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1899. Bd. XIX.
58. Codex diplomaticus Brandenburgensis. B., 1861. Hauptth. I. Bd. XX.
59. *Bodemann E.* Die ältesten Zunfturkunden der Stadt Lüneburg. Hannover, 1883.
60. *Miracula S. Heinrici*, 10 // MGH SS. 1841. T. IV. P. 815b—816a.
61. *Walther H.* Früh- und hochmittelalterliche slawische Personennamen im Elbe-Saale-Gebiet // Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. B., 1965. S. 177—186.
62. *Schlimpert G.* Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen zur deutschen Geschichte. B., 1978.
63. Mecklenburgisches Urkundenbuch. Schwerin, 1884. Bd. XIII.
64. Der Stralsunder Liber memorialis. Schwerin, 1964. Bd. I.
65. Das Zinsregister des Klosters Marienstern. Bautzen, 1957.

66. *Měišk F.* Studien zur Geschichte sorbisch-deutscher Kulturbeziehungen. Bautzen, 1981.
67. *Lehr-Spławiński T.* Gramatyka połabska. Lwów, 1929.
68. *Lehr-Spławiński T.* Plemiona słowiańskie nad Labą i Odrą w wiekach średnich. Katowice; Wrocław, 1947.
69. *Trautmann R.* Der Wolfenbüttler niedersorbische Psalter. Leipzig, 1928.
70. *Widajewicz J.* Serbowie nadłabscy. Kraków, 1948.
71. *Meyer K. H.* Der oberwendische (obersorbische) Katechismus des Warichius (1527). Leipzig, 1927.
72. *Селищев А. М.* Славянское языкознание. М., 1941. Т. 1: Западнославянские языки.
73. *Łęgowski J., Lehr-Spławiński T.* Szezańki języka dawnych słowiańskich mieszkańców Rugii // *Slavia Occidentalis*. 1922. R. 2. S. 114—136.
74. *Birnbaum H.* Zum analytischen Ausdruck der Zukunft im Altkirchenslavischen // *Zeitschrift für slavische Philologie*. 1956. Bd. 25. H. 1. S. 1—7.
75. *Трубачев О. Н.* О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков // *Серболужицкий лингвистический сборник*. М., 1963. С. 154—172.
76. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
77. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и результаты) // *Славянское языкознание: VI Междунар. съезд славистов* (Прага, август 1968 г.). Докл. сов. делегации. М., 1968. С. 373—374.
78. *Якобсон Р.* Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии // VII Междунар. конгр. антропологических и этнографических наук. М., 1970. Т. V. С. 608—619.
79. *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
80. *Jakobson R.* Selected writings. P.; The Hague, 1986. Vol. VII.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Литаврин

Прежде чем попытаться подвести итоги осуществленного выше исследования, необходимо сделать две оговорки. Во-первых, название данного коллективного труда несколько шире его содержания, ибо время до конца XIV в. далеко не охватывает всей эпохи развитого феодализма в славянских странах: период позднего феодализма наступил здесь двумя столетиями позднее. Следовательно, приводимые ниже заключения не могут быть распространены на всю эпоху развитого феодализма в славянском мире. В связи с этим следует заметить, что принятая авторами труда верхняя хронологическая грань, до которой доведено изложение, в известном смысле условна: не продолжая изучения следующего периода, авторы не имеют возможности достаточно определенно ответить на вопрос, почему рубеж XIV—XV вв. можно считать, судя по названию книги, началом нового этапа в развитии этнического самосознания славянских народов. Однако указанная хронологическая грань ни в коей мере не является и произвольной: для южных славян — это время османской агрессии, круто изменившей всю ситуацию (в том числе и этническую) на Балканах, для Чехии — наступление предгуситской эпохи, ознаменовав-

шейся глубокими переменами в духовной жизни общества, для Польши — новый этап в государственно-политическом развитии, состоявший в ее превращении в многоэтничное государство (захват в середине XIV в. западноукраинских земель, а затем и объединение Польши с Литвой).

Во-вторых, как уже было сказано, невозможно определить место и значение рассмотренного периода в целом в процессе эволюции этнического самосознания славян как этнических общностей в феодальную эпоху. Для ответа на этот вопрос было бы абсолютно необходимо рассмотреть развитие этнических процессов по крайней мере в течение XV—XVI вв., т. е. вопрос, остающийся на сегодняшний день совершенно неисследованным. Пока у нас остается, таким образом, единственная возможность: соотнести наши наиболее общие наблюдения и выводы лишь с предшествующим периодом, сконцентрировав внимание на тех новых чертах, которыми характеризовалось этническое самосознание славян в отличие от более ранней эпохи.

По единодушному мнению авторов труда, это новое в структуре, формах и темпах развития этнического самосознания славян было обусловлено прежде всего воздействием ряда общих для всего славянского мира факторов внутреннего и внешнеполитического характера. В первую очередь следует отметить, что рассматриваемое время в истории славян охватывает последний этап раннефеодальной стадии развития и значительную часть эпохи развитого феодализма с присущей ему сословной социальной структурой общества и политической раздробленностью. Хотя эти явления ясно обозначились у разных славянских народов в разное время и с разной степенью интенсивности, они, как показали авторы соответствующих глав, всюду оказали серьезное влияние на темпы и формы развития этнических процессов. Укажем в этой связи хотя бы на тот факт, что в эпоху феодальной раздробленности радикально изменились сравнительно с раннефеодальным периодом условия жизни и самые судьбы двух наиболее активных социальных слоев общества, являвшихся основными носителями этнического самосознания: класса феодалов и класса лично свободного налогообязанного крестьянства. Социальные и правовые различия в первом из них значительно углубились, в его среде упрочились сословные перегородки, он оказался разделенным в ряде славянских стран между независимыми друг от друга и нередко враждующими уделами и княжествами и зачастую в той или иной его части находился в оппозиции к центральной власти.

Второй подвергся быстрой социальной эрозии, резко сократился численно, влился в массу своей в ряды феодально-зависимого крестьянства, разобщенного границами феодальных вотчин, или пополнил население городов. При этом на разных этапах разные славянские государства (Болгария, Чехия, Сербия, Босния, Польша) пережили периоды временного подъема и внешнеполитического могущества.

Не менее существенными были перемены в международном положении славянских народов, резко осложнившие процессы их этнического развития. Южные и часть западных славян испытали в ходе исследуемого периода в разной форме и в течение разных по продолжительности периодов иноземное господство (Византии, Венеции, Германской империи). В ряде регионов в результате включения славянского населения в иноэтничную политическую систему обстановка характеризовалась вынужденным сосуществованием двух этносов (болгары и греки, хорваты и венгры, предки словенцев и немцы, предки словаков и венгры, полабские славяне и немцы). Условия повседневного межэтнического общения (в частности, в Чехии и в Польше) создавались также в силу постепенно набравшей темпы с XII в. немецкой, городской и сельской, колонизации.

В этническом смысле источником обострения ситуации для большинства западных и части южных славян (предков словенцев) было наступление германоязычного мира, а для большей части южных — в основном греко-византийского (X—XII вв.), а также венгерского и итальянского. Этническая территория ряда славянских народов (хорватов, словенцев, поляков, полабских славян) существенно сократилась, на других их землях утвердилось многовековое иноземное владычество, приведшее в последующем к полной ассимиляции (например, большей части полабских славян) либо же, во всяком случае, к значительному замедлению процессов этнической консолидации славянского населения (предки словенцев и словаков).

Наконец, последней из наиболее общих черт, характерных в рассматриваемое время для всего заселенного славянами ареала, является утверждение христианства в качестве господствующей формы идеологии европейского средневековья, связанной в ту эпоху с этническим самосознанием. Важнейшим фактором для судеб славянской этнической общности явилось завершение к началу XIII в. процесса оформления и обособления двух главных течений в христианстве — православия и католичества, в значительной мере обусловивших формирование и двух крупных культурно-исторических зон средневековой Европы, на которые раскололся христианский мир. Граница между этими зонами разделила надвое именно славянскую территорию: к западнохристианской (католической) принадлежали все западные славяне, а из южных — хорваты, предки словенцев и небольшая часть сербов; все остальные славянские народы того времени (русские, болгары и большинство сербов) относились к восточнохристианской (православной) зоне.

Для осмысления наиболее существенных выводов об общем и специфическом в развитии самосознания южных и западных славян в XII—XIV вв. представляется целесообразным отказаться от выделения особых регионов, нередко устанавливаемых либо по социально-экономическому принципу (Балкано-славянский и Центральноевропейский), либо по упомянутому культур-

ному (православный и католический), либо по ареально-языковому (южные и западные славяне).

На наш взгляд, внутри каждого из таких регионов этнические процессы протекали столь разнообразно, что такого рода классификация носила бы чисто формальный характер, хотя несомненно то обстоятельство, что сходство внутренних процессов социально-экономического развития и совпадение нескольких важных внешне-политических факторов обусловили заметную типологическую близость эволюции этнического самосознания у находившихся в тесном соседстве чехов и поляков. Типологически близкими кажутся процессы этнического развития, протекавшие также на территориях предков словенцев и словаков (как этнических общностей) и полабских славян, в силу главным образом одного общего и решающего фактора: этническое сознание этих славянских народов формировалось и развивалось в условиях отсутствия собственной государственности (она либо была уничтожена завоевателями, либо вообще не успела утвердиться до установления иноземной власти). Типологически совершенно особый район составляют далматинские приморские города, как хорватские, так и сербские (точнее — ставшие сербскими в ходе славянизации их населения в XII—XIII вв.).

В основном же мы попытаемся организовать изложение по тематическому принципу, в соответствии с несколькими проблемами: значение социально-сословных различий в этническом самосознании представителей одной и той же народности; эволюция представлений об общеславянском этническом единстве у разных славянских народов; основные отличия самосознания раннефеодальной народности и комплекса этнических представлений народности эпохи развитого феодализма.

Начнем с проблем социальной (или сословной) окрашенности этнического самосознания феодальной народности. Учитывая характер сохранившихся источников, ни один автор предшествующих глав не счел возможным умолчать о том, что сделанные им наблюдения позволяют судить, строго говоря, прежде всего об этническом самосознании господствующих верхов, образованной элиты средневекового общества каждой страны, а не широких народных масс. Между тем предполагать здесь полное единообразие или тождество невозможно, исходя уже из самых общих соображений. Самосознание народности — комплекс этнических представлений о самих себе, членов этносоциального организма, имеющего определенную этническую, социальную и политическую структуру, внутри которой положение разных классов и сословий существенно различалось. Эти различия обуславливали вполне поддающиеся выявлению особенности в сфере идейных представлений господствующих «верхов» и угнетенных «низов»; отражались они и в эмоциональной сфере, а следовательно, и в культуре, которая именно в рассматриваемую эпоху все более четко разделялась на официальную («господскую») и народную (неофициальную). Нет, видимо, оснований допускать, что именно

такая область духовно-эмоциональной жизни человека, как его этническое самосознание, была совершенно свободна от умонастроений и чувств той социальной среды, к которой данный человек принадлежал. И авторы труда привели убедительный материал, подтверждающий тезис о том, что различия в социальном положении внутри самого господствующего класса (представитель непосредственно правящей группировки, высшего духовенства, крупной землевладельческой светской знати, среднего и мелкого рыцарства, городского патрициата или бюргерства и т. п.) определяли различия не только в социальных симпатиях и политических взглядах, но также и в этнической позиции по отношению и к собственному народу, и к соседним народам, особенно в ситуации, характеризовавшейся обострением межэтнических отношений. Конечно, возможности исследователя, основывающегося по преимуществу на нарративных памятниках, созданных, как правило, представителями духовенства, ограничены. И тем не менее путем анализа поведения феодалов и рядовых поселян в ходе народно-освободительных восстаний против иноземного господства иногда, как кажется, удается составить некоторое представление об особенностях этнического самосознания широких народных масс сравнительно с этническим самосознанием класса господ или его тех или иных группировок.

В целом эти особенности состояли, по-видимому, в ценностных различиях между разными компонентами самосознания, в разном составе и численности самих компонентов, и, наконец, в различной устойчивости самого этнического самосознания феодала и его современника и соотечественника — крестьянина или рядового горожанина.

Характерный факт: правящие круги во главе с государем, высшая феодальная знать и духовенство, с одной стороны, выступали в качестве хранителя и пропагандиста идеи этнополитического единства народа, культивировали (при опоре на церковь) в народе преданность царству (королевству), государю и вере как неотъемлемое свойство добропорядочного подданного, т. е. как непрменный атрибут его этнополитического сознания. С другой стороны, в ходе политической борьбы определенная часть этих же определяющих жизнь страны кругов иногда демонстрировала безразличие к этническим интересам собственного народа и отечества, шла на раздел его территории, отдавала предпочтение иноземцам при раздаче земель, должностей и привилегий, переходила порой на сторону врага, изменяла в ходе борьбы против иноземного господства. Доминанта поведения представителей этих кругов определялась зачастую их узкими социальными интересами и политическими расчетами. Особенно ярко это проявлялось в периоды установления чужеземной власти. Они не видели иной возможности сохранения в новых условиях своего имущественного и социального статуса и обеспечения дальнейшего активного участия в политической жизни, чем сближение с представителями господствующего класса завоевателей, верная служба новому государю.

Объективно это вело (хотя бы для части знати покоренного народа) к слиянию со знатью господствующего народа, к деэтнизации и ассимиляции. Именно так обстояло дело, например, со знатью полабских славян, предков словенцев, хорватов и др. Князья и их ближайшее окружение в политических организациях полабских славян (как и словенцев) первыми устанавливали тесные связи с правящими кругами соседних государств, первыми принимали новую (христианскую) религию, приглашали в свою страну на службу и возвышали иноземцев, называли своих детей христианскими именами, усваивали чужой язык. Таких верноподданных империи из знатных болгар византийцы именовали в XI в. «заботящимися о делах ромеев» (т. е. об интересах Византии): они вместе с имперскими войсками участвовали в подавлении народно-освободительных восстаний соотечественников. В одном из хорватских памятников XIV в., вышедшем, несомненно, из среды мадьяризирующейся хорватской знати, обосновывается мысль об исконности и законности власти венгров над землями хорватов.

Разумеется, позиция подобного рода была характерна далеко не для всех слоев знати захваченных иноземцами славянских земель, не была она свойственна и всем представителям даже славянской элиты, оказавшейся в подчинении у иностранного государства. Многое зависело, по всей вероятности, от конкретных условий: от формы иноземного владычества, политики завоевателей в отношении завоеванных, различия или сходства религий, условий приема на службу у нового повелителя, степени сплоченности господствующего класса завоеванного народа накануне подчинения, прочности этнокультурных и этнополитических традиций в данном знатном роду и т. п. Приведенный авторами глав материал оправдывает как будто заключение, что в кругах славянской знати наиболее устойчивое этническое самосознание и наиболее последовательную готовность к борьбе за возрождение своей государственности (например, в Болгарии, Сербии) или к отражению вполне вероятной опасности от ноземцев (например, в Чехии и Польше) проявляли средние и низшие слои феодального класса. Их положение оказывалось менее привилегированным, чем статус социально равного им слоя в составе господствующего этноса, а надежды на будущее были теснее связаны с мечтой о восстановлении самостоятельной «отечественной» государственности, о сильной центральной власти в ней, о повышении их роли и положения в обществе.

Сколь ни смутны были представления (обычно узколокальные) широких масс, прежде всего крестьянства, об этнической общности народа в масштабах страны, тем не менее остается фактом, что наиболее характерные для каждой славянской народности черты (язык, нравы, обычаи, форма религии, приверженность к родному краю, фольклорные традиции, исторические легенды и предания и т. п.) оказывались наиболее прочными в обстановке иноземного господства именно в толще рядового трудового населения, осо-

бенно в деревне, с ее почти неизменным бытом, привычным жизненным распорядком, тесными общинными связями. Этническое единство мыслилось здесь как естественное и необходимое условие самосохранения. К пониманию этого обстоятельства побуждала сама действительность: под иноземным господством социальные различия нередко совпадали с этническими, ибо большинство иноземцев, прибывавших ранее всего для постоянного или временного проживания на землях покоренного славянского населения, принадлежало к привилегированным слоям общества. Этнические противоречия находили почву в социальном антагонизме. Бесспорное, на наш взгляд, доказательство этого — то упорство в ходе народно-освободительных восстаний в болгарских землях в XI—XII вв., которое демонстрировали простые болгарские крестьяне. Еще более убедительный пример — сохранение словачки и словенцами своего этнического облика и самосознания в течение тысячелетия политического господства иноземцев.

Этническое самосознание как комплекс представлений этносоциального организма не могло не отражать форму и степень подчинения данной славянской общности иноэтничному государству: одним было представление словенских косезов, участвовавших в интронизации баварского графа-немца в качестве своего повелителя, другим — представление чешского крестьянина XIV в. о прерогативах германского императора — сюзерена короля Чехии, который сам рассматривал порой этот сюзеренитет как чисто формальный, а иногда претендовал и на ведущую роль в сообществе государств Германской империи. В главе о самосознании чешской феодальной народности приведены убедительные данные о том, сколь различными были на этот счет представления у лиц, принадлежавших к разным сословиям и прослойкам класса чешских феодалов. Говорить о сколько-нибудь серьезной зависимости Чехии от иноземной (немецкой) власти нет оснований. Однако с XII до начала XIV в. среди чешского дворянства был популярен тезис: «Чехия — для чехов». В середине же XIV столетия, когда Чехия стала играть ведущую роль в империи, самосознание части высшей чешской знати и духовенства оказалось инкорпорированным в имперское сознание: они выступали в качестве приверженцев официального («политического», или «государственного») патриотизма, пропагандируя равенство языков и народностей в империи, т. е. прежде всего чехов и немцев. Учитывая социальные отличия самосознания у разных групп польского общества и сравнивая этнические представления народных масс (хотя и гипотетически) и феодалов, Я. Д. Исаевич предположил, что правящие круги Польши в XIII—XIV вв. при определенных обстоятельствах (планы захвата соседних иноэтничных земель на востоке) также проявили склонность даже самый этноним «поляки» трактовать как политоним.

Определяя специфику иерархии этнического самосознания у социально высших и низших слоев народности, мы бы решились предположить, что «политический» и собственно «этнический» его

компоненты были присущи и тем и другим (у народа политический компонент выражался в преданности отечеству, престолу и вере), т. е. не замещали или исключали друг друга, но находились в разном соотношении, на разных уровнях «шкалы» духовных ценностей у правящей элиты и у рядового населения: у правящих кругов, в их сознании, второй компонент (этнический) оказывался порой соподчиненным первому, политическому, у простых же подданных ведущую роль, по всей вероятности, играл этнический компонент.

Что касается влияния феодальной раздробленности на развитие этнического самосознания, то необходимо подчеркнуть, что она сама по себе в каждой из славянских стран обладала существенной спецификой. Мало того, на сербских и хорватских землях в изучаемый период она может быть определена как «феодальная» лишь относительно, так как проявлялась не вследствие «экономического районирования», не в результате прогресса в развитии феодального хозяйства этих стран, а была связана с политическим полицентризмом предшествующего периода и с вмешательством внешних сил. Для Чехии раздробленность в полном смысле слова была характерна лишь для XII в., но она не осознавалась обществом как серьезная опасность для этнического единства чехов столь же остро, как, например, в Польше в XIII в., поскольку здесь непрерывно сохранялась ситуация политического соперничества с германскими государствами за равенство или за первенство в имперском сообществе. Это соперничество сдерживало центробежные тенденции среди чешских панов и содействовало консолидации в начале XIII в. всех чешских земель и последующему упрочению политического единства Чехии как важнейшего звена в составе империи. В XIV в., как упоминалось, чешская знать претендовала на ведущую роль Чехии и в империи, и в христианском мире в целом.

Даже в условиях временного ослабления центральной власти в начале XIV в. и засилья в политической жизни панства не произошло ни установления режима магнатской олигархии, ни расчленения государства: сплочение господствующего класса совершалось в ходе борьбы против вмешательства немцев извне и против преобладания немецкого патрициата в городах.

Спецификой развития этнического самосознания в XIV в. в Чехии была значительная роль в этом процессе местного, отечественного бюргерства, все более решительно вмешивавшегося в чешско-немецкий конфликт в ходе прогрессирующего процесса чехизации городов, активно выступавшего против господства в городах немецкого патрициата, содействовавшего формированию собственной, чешской, патриотически настроенной интеллигенции.

Таким образом, различия между официальной идеологией в Чехии и идеологией (и вместе с тем этносоциальной позицией) чешского дворянства и бюргерства находили объяснение скорее в сословно-политической сфере и в своеобразии положения Че-

хии в империи, чем в феодальной раздробленности или в центробежных тенденциях.

В Польше, где феодальная раздробленность восторжествовала в середине XII в. и государство превратилось в рыхлое сообщество феодальных княжеств во главе с представителями одной династии (Пястов), факторы, оказывавшие дезинтегрирующее воздействие на сознание этнического единства, уравнивались влиянием консолидирующих: признанное в целом главенство краковского («малопольского») престола, единая династия во всех княжествах, единая (Гнезненская) архиепископия, съезды князей и их юридически признанное право перекраивать границы княжеств, выборность епископов и т. п. Одним из факторов, влиявших на этническое самосознание польских горожан и феодалов, явилась начиная с XIII в. немецкая колонизация в городах. Обогащение немецкого патрициата, предоставляемые ему привилегии вызывали недовольство в разных слоях польского населения. Первоначально по преимуществу социальные конфликты претворялись со временем в межэтнические, в особенности с нарастающим внешнеполитическим давлением германского мира (прежде всего со стороны Тевтонского ордена) на Польшу. Опасность со стороны немцев изнутри и извне стала восприниматься как двойная угроза. На рубеже XIII—XIV вв. идея политического единства как основы единства этнического все больше утверждалась в обществе, отчасти распространяясь и на широкие народные круги. Идея эта имела ярко выраженную антинемецкую направленность. На роль объединяющего центра сначала претендовала великопольская и малопольская знать, но в конечном счете малопольская ориентация стала преобладающей в среде польского дворянства.

Как упоминалось, территориальная раздробленность хорватских земель в XII в. не была феодальной в собственном смысле слова: три мало связанные друг с другом части (приморские города, Далмация, собственно Хорватия и Славония) были разобщены изначально: исторически сложившиеся районы резко различались и этнически, и по их политической структуре. Подлинно феодальная раздробленность проявилась здесь столетием позже под сюзеренитетом Королевства Венгрия (как это имело место и на коренных землях самого Королевства). Объединительные тенденции в Далматинской Хорватии и Славонии возникли к концу XIII в., но лишь в первой четверти XIV в. они нашли воплощение в образовании непрочного объединения во главе со знатным хорватским родом Шубичей. Нельзя, однако, сказать с уверенностью, что среди мотивов централизаторских устремлений Шубичей сколько-нибудь существенное значение имел мотив этнический: Шубичи подчинили не только хорватские, но и сербские, и боснийские земли («держжава» их распалась в 1322 г.). Сознание хорватской этнической общности, по крайней мере в кругах знати, было слабо выражено в эту эпоху: оно отступало на второй план перед патримониальным, земляческим (локальным), линияжным,

свойственным в первую очередь магнатам и их вассалам, подвергавшимся постепенной мадьяризации. Административное единство Хорватии как особого наместничества (банства) (с середины XIII в. подобный статус получила и Славония), оформление в Славонии влиятельного сословного института — сабора местного дворянства, образование в XIV в. в Хорватии под эгидой венгерского короля «Союза двенадцати» — магнатских родов, наделенных особыми привилегиями, фактическая независимость крупнейших местных магнатов от короны — все это не служило, однако, развитию центростремительных тенденций и не содействовало подъему этнического самосознания хорватов. Магнаты и целые знатные роды вели ожесточенную борьбу друг с другом, способствуя утверждению локальных патриотических настроений, они сами сплошь и рядом ощущали себя в большей мере представителями венгерской, а не хорватской знати.

На этом фоне заслуживает серьезного внимания то упорство, с которым в кругах низшего духовенства сохранялась в это время приверженность к глаголической письменности (ее патриотов-священников называли глаголитами) и кирилло-мефодиевским традициям, принявшая характер отчетливо выраженной этнической (хорватской) оппозиции засилью иноземцев в стране.

Судя, однако, по широкому распространению в Хорватии в XIV в. легенды о короле Звонимире (правил в X в.), в которой пропагандировалась идея единства Далмации и Хорватии и содержалась явно антивенгерская мысль о недопустимости господства над хорватами правителей «чужого языка», этнополитическое самосознание части знати обретало черты возрождения и упрочения, но вполне отчетливые формы эта тенденция приобретает только через одно-два столетия.

Особенно трудно проследить влияние политической раздробленности на развитие этнического самосознания на сербских землях. Феодалная раздробленность в подлинном смысле слова наступила в Сербии лишь в конце XIV в., т. е. за пределами изучаемого в данном труде периода. Но резкое ослабление центральной власти и политический полицентризм проявлялись здесь несколько раз на протяжении XII—XIV вв.: с первых десятилетий до 80-х годов XII в., на рубеже XIII—XIV вв., в третьей четверти XIV в. Причем отделившиеся от Сербии в конце XII—начале XIII в. земли, оставившие особое государство — Боснию, находились с начала XII в. под верховной властью Королевства Венгрия, и, хотя в основном эта зависимость была скорее всего номинальной, венгерские феодалы временами вмешивались во внутренние дела Боснии, совершая сюда военные походы (XIII в.).

В условиях политической раздробленности резко возрастало воздействие двух специфических для Сербии факторов: незавершенность процесса оформления этнического самосознания сербов в ходе предшествующего периода и прочные традиции локальных этнических общностей. По мнению Е. П. Наумова, в периоды

ослабления центральной власти в иерархии этнического самосознания сербов имели место перемены в соотношении его различных уровней. При несомненно остающемся доминирующим сербским самосознанием повышалось или падало значение также общеславянского и местного (протонародностного). Усиление роли последних двух уровней неизбежно вело к умалению значения первого. Структура самосознания, соотношение его компонентов менялись по-разному на различных этапах политической раздробленности. Так, на рубеже XI—XII вв. ее последствия выразились в возрождении прежнего политического партикуляризма и соответствующего ему протонародностного самосознания в ущерб народностному, сербскому.

Тенденции к новому политическому сплочению сербских земель, нараставшие в середины XII в., восторжествовали в его конце. Однако упрочение самосознания сербской народности в конце XII—первой четверти XIII в. совершалось в рамках не одного, а двух самостоятельных государств — Сербии и Боснии. Причем более быстрыми темпами этот процесс происходил в Сербии, вопреки ее относительно большей этнической неоднородности (влахи, албанцы, романское население приморских далматинских городов).

Еще более противоречивыми и сложными этнические процессы в Сербии стали в период политического расчленения на рубеже XIII—XIV вв.: помимо обретших фактическую независимость княжеств в местах старых политических объединений возникло немало новых в качестве уделов членов правящей династии и владений крупных магнатов. После временного подъема сербского этнического самосознания в эпоху Стефана Душана политический полицентризм третьей четверти XIV в. повлек особенно существенные последствия: создались, по-видимому, некоторые условия для формирования (в недрах сербской народности) новых протонародностей в рамках обособившихся и стабилизировавшихся новых государственных образований, по крайней мере в пределах Боснии. Опасность этих процессов для будущего сербов была, по всей вероятности, вполне осознана в какой-то части общества — в начале второй половины XIV в. в Житии Стефана Дечанского прославлялось величие сербов в эпоху единства державы Неманчей, высказывалась мысль о превосходстве сербов в ту эпоху над другими народами. Центристские тенденции действительно привели к объединению Северной и Западной Сербии (в 70-х годах XIV в.), т. е. накануне наступления османов.

Обособление боснийских земель от сербского массива было связано с общими явлениями сербского политического полицентризма, но не только с ними. Возможно, здесь имели значение и неясные для нас из-за недостатка источников этнокультурные особенности данного района, восходившие к древним временам: о Боснии, напомним, как об особой области говорил в X в. уже Константин Багрянородный, о своеобразии ее жителей писал

в XII в. Иоанн Киннам. Е. П. Наумов считает возможным утверждать, что за два рассмотренных им столетия существования Боснийского государства возникла тенденция к оформлению в недрах единой сербской народности в период развитого феодализма сначала особой протонародности, а затем и феодальной — боснийской — народности. Автор оговаривается, однако, что осознание этого процесса широкими массами Боснии остается проблемой, которую сохранившиеся источники не позволяют уточнить. Если наблюдения автора справедливы, следует признать, что среди рассмотренных в труде этнических славянских общностей, сложившихся в раннее средневековье, сербская раннефеодальная народность является единственной, в которой в период развитого феодализма возникла тенденция к расслоению на две самостоятельные феодальные народности. Более ярким примером сходного развития этнических процессов в славянском мире является, в частности, судьба древнерусской раннефеодальной народности, окончательно разделившейся к XV в. на русскую, украинскую и белорусскую феодальные народности (хотя этот процесс на Руси совершался в существенно иных условиях и был связан также с параллельным процессом интеграции севернорусской и южнорусской этнических общностей, ранее существенно различавшихся).

Образование и самого государства Боснии, и своеобразной этнической общности в ее пределах происходило, впрочем, в борьбе не за главенство на сербских землях вообще, а за политическое отделение и независимость от Сербии. При этом правящие круги Боснии сознательно и упорно утверждали в народе «сверху» мысль об особом боснийском этносоциальном единстве, отличающемся от сербского. Самый новый этноним «бошняне» возник, вероятнее всего, впервые в канцелярии боснийского бана. Характерно, что не была полностью отвергнута и «сербская принадлежность» боснийцев: даже в официальных документах середины — третьей четверти XIV в. жители Боснии обозначались иногда как «сербы».

Необходимо в заключение подчеркнуть, что в данном труде на эту проблему высказана и иная точка зрения: Н. И. Толстой (см. гл. 4) решительно возражает против тезиса о начале формирования в Боснии какой бы то ни было этнической общности, отличной от сербской. Следует добавить также, что этнообразующее значение в Боснии такого фактора, как религиозная специфика страны (господство патаренства, или бабунства, как особого толка вероисповедания, близкого к богомилству, а также проникновение в Боснию католичества, насаждавшегося из Королевства Венгрия), остается недоказанным на материале источников.

Общим для Сербии и Боснии, в отличие от Хорватии и Славонии, являлось то, что зависимость боснийских и части сербских (северных) земель от Королевства Венгрия не сопровождалась ассимиляцией представителей господствующего класса местного славянского населения. Напротив, в конкретных местных усло-

внях этот фактор (попытки иноземцев упрочить свое влияние) играл в этническом отношении скорее консолидирующую, а не дезинтегрирующую роль.

Наименее ощутимыми для эволюции этнического самосознания у южных славян были последствия феодальной раздробленности в Болгарии — явление, которое следует объяснять исторически обусловленной более высокой прочностью болгарского народного самосознания, достигнутой ко времени политического расчленения государства в XIV в. Отделение от Болгарии исторической области Македонии около середины XIII в. (с тех пор эти земли Болгария возвращала на непродолжительное время — в основном при Константине Тихе в 1257—1277 гг.) было результатом не феодальной раздробленности или междоусобий, а внешнеполитических столкновений Болгарии с соседними государствами (Эпирским царством, Никейской империей, Сербией). В периоды внутреннего упрочения и внешнеполитического подъема Болгарии в начале XIII в. и в 30-х годах этого столетия население македонских земель составляло интегральную часть болгарской народности. Во всяком случае источники второй половины XIII—XIV в. не позволяют установить какие-либо существенные особенности в *самосознании* населения этих потерянных Болгарией земель, как и территорий к югу от Балканского хребта или владений правителей Видинского царства и Добруджанского княжества. Признаки индифферентности либо неустойчивости политической позиции жителей, болгар по происхождению, пограничной зоны на юге и юго-западе страны нужно, вероятно, связывать не с феодальной раздробленностью (о болгарских этнических симпатиях этого населения имеются бесспорные данные), а с конъюнктурными факторами: частыми войнами, многократной сменой властей, разорением поселений и полей, миграциями и т. п. Отметим, однако, что, по мнению В. В. Иванова, славянский язык жителей Македонии уже в XII в. отличался от болгарского (см.: Развитие этнического самосознания в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 228).

Завершая вопрос о влиянии феодальной раздробленности на эволюцию этнического самосознания, представляется уместным заметить, что функционально сходную роль (дезинтегрирующего фактора) могло иногда играть и административное расчленение (в рамках единого политического целого) населенной славянами территории, когда ее правители фактически почти не зависели от центральной власти. В частности, на альпийских славянских землях, где постепенно затухали традиции еще не окрепшей ко времени установления франкского господства государственности и где в результате членения этих земель на несколько марок и графств в конце XI—начале XII в. население было еще более разобщено, развивался процесс упрочения локального самосознания.

Феодальная раздробленность отразилась на развитии самосознания южных и западных славян. Но она по-разному повлияла на разные социальные слои населения. Кардинально связанная

с политикой в ту эпоху, раздробленность деформировала прежде всего этнические представления правящих верхов, найдя при этом выражение в двух крайностях: в зависимости от конкретной ситуации (например, при сопутствовавшем иногда раздробленности установлении зависимости от иноземной власти) она могла вести и к упадку этнического самосознания в рядах знати, и к его подъему (например, при тенденциях к оформлению новой народности в обособившемся этносоциальном организме). Подъем этнического самосознания был характерен и для части знати, и для народных масс при осознании опасности разобщения сил перед лицом внешнего врага. Менее всего как будто в периоды политической раздробленности изменялось самосознание широких кругов простого населения — оно не разделяло политических расчетов враждующих феодальных кланов, объективно заинтересованное в единстве как гарантии мира внутри страны и как залога ее безопасности в случае нападения внешнего врага.

Как показало исследование, изданное в 1982 г., хотя бы и непосредственно соседствовавших славянских народов и, во всяком случае, у представителей образованной элиты славянского общества в разных славянских странах в IX—XI вв. сохранялись представления об общеславянском единстве как элемент этнического самосознания. Материалы данной книги содержат неоспоримые свидетельства справедливости этого утверждения и для XII—XIV вв. Причем весь ход этнической эволюции в рассматриваемую эпоху, казалось бы, обуславливал постепенное затухание не только рудиментов протонародностного (союзно-племенного), но и общеславянского самосознания. Мало того, в отдельные периоды в некоторых районах славянского мира наблюдалось даже усиление сознания общеславянской общности. О неуклонном в целом его ослаблении можно говорить, в сущности, лишь применительно к славянам, проживавшим в глубине византийских земель, в сплошном иноэтничном окружении: сохраняя некоторые этнографические признаки, они перестали в XI в. сами обозначать себя термином «славяне», предпочитая локальные наименования.

По-видимому, представления о славянской общности нельзя абсолютизировать: вряд ли они были настолько же отчетливыми у широких слоев населения, насколько, например, у древнерусского летописца начала XII в., подробно характеризующего и единство и многообразие славянского мира. Более четко, по всей вероятности, оно проявлялось на границах, отделявших один славянский народ от другого: поляков от чехов, хорватов от сербов, сербов от болгар. Об осознании болгарами и сербами этнического родства свидетельствуют их отношения во время восстания болгар против Византии в 1072 г., болгаро-сербский союз конца XII—начала XIII в., культурные связи второй половины XIV в., сербское направление болгарской эмиграции после падения Второго Болгарского царства.

Примечательно, что в период политического партикуляризма в Сербии в XII в. и позднее вслед за ослаблением народностного

самосознания широкое распространение (наряду с узколокальными) получило самоназвание «славяне».

Труднее всего следы осознания славянской общности выявить по источникам, относящимся к Хорватии. Коротко отметим (специально об этом будет сказано ниже), что вопреки активному процессу славянизации жителей далматинских городов, завершившейся в целом в XIII в., они не только не стали сознавать себя славянами, но продолжали даже противопоставлять себя им (хорватам и сербам), именуя себя «латинянами» или по названиям своих городов. Сословно-политические симпатии (латинянин — значит, горожанин, полноправный член своей городской общины или коммуны) здесь решительно преобладали над этническими. Если в XIII в. и стали проявляться признаки этнического сближения между жителями этих городов и населением Далматинской Хорватии («Славонии», как ее именовали в приморских центрах), то путь к осознанию этнического родства пролегал через распространение, по сути дела, фиктивных представлений об общности судеб населения всего региона в античную эпоху. Хорваты объявлялись потомками куретов времен Гомера, заселявших и побережье. В XIV—XV вв. возникла иллирийская теория происхождения славян. Наиболее отчетливым, как упоминалось, славянское самосознание было у приверженцев глаголической письменности (глаголитов, особенно активных в Далматинской Хорватии). В их среде, вероятно, появилась теория о создании в глубокой древности славянской письменности святым Иеронимом, которого объявили славянином.

Показательны перемены в представлениях о славянской общности предков словенцев. Нет сомнений в том, что в VI—VIII вв. они использовали понятие «славяне» в качестве этнонима — именно так они обозначены во всех сохранившихся источниках того времени. С упрочением их политического образования — Карантании (Хорутании) за частью альпийских славян закрепилось (разумеется, при их активном участии) название «карантанцы», первоначально как политоним, а затем как самоназвание, имевшее тенденцию к обретению особого этнического содержания. Ко времени включения Карантании в первую трети IX в. в состав Франкского государства это наименование еще не стало обозначением сложившейся (карантанской) народности. Однако положение вассального княжества в рамках Империи, как и принятие «чужой» религии, не закрывало карантанцам путей развития в особую славянскую народность. Положение осложнилось позднее, с упрочением власти баварских графов, и в особенности — с начала немецкой колонизации (в IX—X вв. вотчинной, а в последующем — и крестьянской). Имело значение и вторжение венгров, отделивших карантанцев и других альпийских славян от остального славянского мира. Термин «карантанцы» стал терять этническое содержание, обретая вновь значение исключительно политонима. Самосознание населения снова соответствовало уровню недифференцированного «славянского» (жители стали

называть себя опять-таки «славянами», а свою землю — «Славо-нией»). Процессу ослабления этнического единства карантанцев способствовало и новое административное членение их территории. Тогда как в X в. социальная верхушка карантанцев составляла особую часть господствующего класса Германской империи, в XI—XII вв. она стала сливаться с немецкой. Альпийские славяне в целом утрачивали свой высший социальный слой. С развитием немецкой крестьянской колонизации в XI—XIV вв. (особенно начиная с XIII в.) процесс ассимиляции затронул и низы общества, этническая территория славян сокращалась, преимущественно в эпоху господства Габсбургов (с 30-х годов XIV в.).

Как известно, несмотря на господство иноземцев, часть предков словенцев сохранила свою этническую самобытность, ставшую — правда, за пределами территории исторической Карантании (Каринтии) — базой для возрождения народа и оформления его впоследствии в особую народность, а затем и нацию. Есть, следовательно, основание подчеркнуть еще раз уже высказанный тезис о низах общества как о главных носителях этнических традиций. Убедительное доказательство этого дает антропонимия карантанских земель от XIV в.: в среде знати, даже сознававшей свое славянское происхождение, славянские имена почти исчезли, среди же крестьян они сохранялись. Именно крестьяне и рядовые горожане сохраняли местное славянское наречие (при обилии проникавших в него заимствований), фольклор, юридические традиции и обычаи, специфические черты быта. Постоянство этнической оппозиции «славяне — немцы», относительно высокая социальная однородность и сплоченность населения (лишенного своей знатной верхушкой), ретроспективно предполагаемая устойчивость этнокультурной традиции, восходившей к эпохе независимости Карантании, сыграли, видимо, стабилизирующую роль: подданство иноземной власти не привело к полной ассимиляции.

Еще убедительнее этот тезис может быть обоснован на примере судеб славян, являвшихся предками словаков. Здесь действовали те же дезинтегрирующие факторы, но с еще большей интенсивностью. В отличие от предков словенцев, предки словаков не имели своего собственного протогосударственного образования накануне подчинения венграм, хотя вхождение их части в состав Великой Моравии и не прошло бесследно для исторических традиций словаков. Что касается административного единства словаков под властью венгров, то оно отсутствовало с самого начала. Мадьярская колонизация восточнословацких земель началась также раньше и протекала быстрее, чем немецкая у альпийских славян.

Видимо, и предки словаков до XV в. не знали иного этнического названия и самоназвания, кроме «славяне» («словене»). Важно, однако, что венгры уже в XIII в. отличали «своих славян» на севере Королевства от соседних чехов. Как мы увидим ниже, чехам в XIII—XIV вв. было свойственно сознание славянской общности, т. е. они знали, что и предки словаков — славяне.

Но они сознавали и их этническое своеобразие: самый термин «словак» как этникон сформировался, как кажется, в чешской среде. Быстрое его усвоение в собственно словацкой среде доказывает, что к XV в. словацкая этническая общность достигла уровня, свойственного феодальным народностям того типа, который характерен для этнических единств, сложившихся в условиях отсутствия собственной государственности и почти полного — собственной феодальной верхушки.

Сознание славянского единства стало наиболее важным компонентом в иерархии самосознания в XI—XIV вв. и у полабских славян. Лишь в отдельных случаях и по не совсем ясным причинам некоторые группы полабских славян сохраняли в это время в качестве этнонима свои племенные и протонародностные самоназвания. Судьбы полабских славян как уже значительно дифференцированных этнических общностей были особенно драматичными. Находясь на разных уровнях экономического, политического и этнического развития, разобщенные и часто враждовавшие, они подверглись наиболее сильному натиску германского мира и оказали ему наиболее упорное сопротивление. Поэтому и утверждение власти победителей носило (особенно в XII в.) более жесткие, радикальные формы.

В XII—XIII вв. в ряде районов Северного Полабья имело место переселение славян на новые земли, христианизация сопровождалась острыми конфликтами, деэтнизация высшего социального слоя совершалась быстрее, чем, например, в Восточных Альпах. Недаром даже давно ставшие христианами славяне верили здесь, что и сами святые немецкой церкви «благоволят» только немцам и «не защищают» славян. Недаром столь живучими были здесь среди славян и пережитки язычества, ибо оно порой ассоциировалось со своей этнической самобытностью, а христианство — с верой иноземцев-господ (немцев). Весь ход подчинения славян и условия, в которых они были вынуждены жить, вели к развитию ассимиляции, ускоренной массовой немецкой крестьянской колонизацией в XII—XIV вв.

Уже к началу XIII в. чехи отчетливо сознавали, что говорят не вообще на «славянском», а именно на «чешском» языке. Это не мешало, однако, пониманию и этнической общности, прежде всего с поляками и полабскими славянами, хотя трудно уяснить, объясняли ли при этом этническую близость именно славянским родством. Пржемысл II претендовал на господство над поляками (с целью якобы их защиты от немцев), ссылаясь на этническое родство чехов с ними. Этим же тезисом оправдывалась на рубеже XIII—XIV вв. аннексия Чехией части польских земель. Сознание славянского единства в Чехии (как и в Польше) упрочивалось параллельно с укреплением народностного, а не за счет его ослабления, как среди хорватов и сербов. Постепенно круг этнически родственных славянских народов в представлениях образованных чехов расширялся. В XIV в. возникла идея, что чехи произошли от хорватов и что чешский язык — это древний хор-

ватский, а хорватский — это церковнославянский. В памятниках второй половины XIV в. сам термин «Богемия» стали возводить к славянскому «бог» (т. е. это «Божья земля»), а термин «славяне» — к понятию «слово». В число родственных народов включали теперь и южных славян, и русских, однако при этом проводилась идея оправданности гегемонии чехов в славянском мире, которые якобы призваны привести к «правой вере» (католицизму) и славян-«схизматиков» (православных), поскольку чехам принадлежит главная роль в христианской (Германской) империи.

Сходными до известной степени были пути развития славянского самосознания в XIII—XIV вв. и в Польше. Здесь также выдвигалась идея происхождения поляков из Паннонии — от Папа, имевшего трех сыновей — Леха, Руса и Чеха (в отличие от чешской версии легенды, старшим выступает не Чех, а Лех, которому подчинены два других брата). Сознавали поляки свое родство и с полабскими и с южными славянами. Что же касается русских, то, несмотря на упомянутую легенду, с XIII в. у поляков утвердился их отрицательный стереотип — как «язычников и схизматиков». В связи с этим следует отметить, что существенную роль в трансформации прежних представлений об общеславянском единстве сыграло в рассматриваемый период разделение церквей на восточнохристианскую и западноримскую. Фактором самосознания у славян это стало не сразу после схизмы 1054 г., а значительно позднее, во всяком случае после крестовых походов западных рыцарей на восток и на земли Восточной Европы. В староболгарской версии «Разумника» русские фигурируют в числе «правоверных языков» (народов), а хорваты и ляхи — в числе «полуверных». Для боснийцев хорваты были «иноверными». Отчуждение это было взаимным, и в его основе лежали не только вероисповедные, но и политические причины. Действия крестоносцев и события, связанные с попытками унии с папством в XIII—XV вв., достаточно ясно продемонстрировали православному миру, сколь далеко простирались при этом притязания папской курии и католических держав Запада. Верность восточнохристианской религии как фактор самосознания болгар, большей части сербов и восточных славян стала важным элементом представлений не только о вероисповедном, но и этническом единстве. То же значение имело католичество для поляков, чехов, хорватов, небольшой части сербов.

Наряду с сохранением сознания общеславянской общности в XII—XIV вв. у разных славянских народов на тех или иных этапах развивалась тенденция (она часто исходила из элитарных кругов общества) к утверждению идеи о «своем» народе как «лучшем» или даже «богоизбранном». Иногда эта идея распространялась как своего рода этнопсихологическая компенсация в периоды этнического унижения. Мысль об особом попечении господина о болгарях (через пророка Исая) возникла у болгарского автора в самую глухую, «безнадежную» пору византийского господства. Эта же идея возродилась у болгар и сербов во второй половине

XIV в., во время феодальной раздробленности, политического упадка и нарастания внешней угрозы. В качестве «лучших людей» жители каждого прибрежного далматинского города воображали себя также отнюдь не в периоды расцвета, а во время острого соперничества друг с другом и в условиях внешней опасности. Апологетическим мотивам в отношении польского этноса в хронике Кадлубека также нельзя найти реальных соответствий в каких-либо крупных успехах Польши в конце XII—начале XIII в. В Чехии, однако, мысль о чехах как «избранном» народе (имевшем право на гегемонию среди славян и на ведущую роль в Империи) имела хождение в периоды могущества страны в середине XIV в.

Как неотъемлемый атрибут положительных автостереотипов оформлялись одновременно среди разных славянских народов и негативные стереотипы их соседей, в особенности тех, кто представлял серьезную внешнюю (да и внутреннюю — в виде колонистов) угрозу. У поляков и чехов (как и у полабских славян) наиболее распространенным был отрицательный этнический стереотип жемца; у болгар и сербов — грека (затем «латиняна»). Имелись отрицательные стереотипы друг друга и у славянских народов: у чехов — о поляках, у болгар — о хорватах и поляках, у поляков — о русских и т. д. Однако в целом эти стереотипы нередко существовали временно, не имели все-таки столь отчетливого пейоративного оттенка, как в отношении неславянских народов, и причина этого, по всей вероятности, в понимании этнического славянского родства. Отзывы славянизированных жителей прибрежных далматинских городов о хорватах и сербах как о грубых и недалеких людях не противоречат этому тезису, так как сами эти горожане в массе своей славянами себя в XIII—XIV вв. не ощущали.

Вообще самосознание населения приморских далматинских городов как «хорватской», так и «сербской» зоны, включая город-республику Дубровник, отличалось ярким своеобразием и не может быть, в сущности, определено как этническое. Исключительная по сравнению с прочими славянами специфика хозяйственно-культурного типа, континуитет античной традиции, бесконфликтность и стертость протекавших здесь этнических процессов (включая постепенную славянизацию романского населения), утверждение коммунального типа управления и организации общественной жизни, идейная близость с населением приморских городов Италии, отчаянная торговая конкуренция друг с другом и каждого города со всеми, как и стремление сохранить независимость от соседних сербских и хорватских княжеств, — все это обусловило оформление не этнического, а сословно-политического сознания членов городской общины (О. А. Акимова определяет его как «коммунальное» или «надэтническое»).

Однако и здесь с XIII в. пробивала дорогу тенденция к уяснению своих более глубинных связей со славянским окружением (со «Славонией»), появлялась мысль о родстве с ним, которое воз-

водилось, впрочем, не к славянской общности, а к воображаемому общешлирийскому родству со времен античности. Горожане продолжали именовать себя «латинянами» (и сторонним наблюдателям-иноземцам они представлялись только «как бы славяне»); сознание их близости к хорватам и сербам оставалось лишь слабым элементом их внутреннего мира, который в духовной сфере замыкался привязанностью к своему родному городу с его ближайшей округой.

Что касается развития этнического самосознания славянских народов, не имевших в течение рассмотренного периода собственной государственности, то следует все-таки (в дополнение к уже сказанному) коротко остановиться на вопросе об основных отличиях этнических общностей словаков, словенцев и полабских славян от прочих славянских феодальных народностей. По всей вероятности, словаков с их собственным этнонимом уже для рубежа XIV—XV вв. можно рассматривать как оформившуюся народность особого типа. Видимо, по степени консолидации и прочности этнического самосознания на близкой к той же ступени развития находилась и словенская этническая общность (в условиях изоляции от других славян и ассимиляции славян соседних анклавов общеславянский этноним «славяне» был их самоназванием). Иным было, вероятно, положение полабских славян, испытывавших, за исключением сербов-лужичан (сорбов), процесс прогрессировавшей дезинтеграции и ассимиляции. На данном этапе исследования проблемы основные отличия народности этого типа заключались в отсутствии или слабой выраженности такого важного компонента в иерархии самосознания, как государственно-политическая традиция со всеми конкретными элементами этого сложного и емкого понятия, в отсутствии также у общности данного типа собственной социальной верхушки и соответственно — в представлении о себе как этнически сплоченном и относительно социально однородном единстве, находящемся под властью, представляющей господствующий в государстве иноязычный народ. Такого рода условия существования, при отсутствии крупных демографических перемен, массовых миграций и внешних завоеваний, порождали тенденции к относительной стабильности этнического процесса. На социальном уровне непосредственных производителей сложился традиционный, устойчивый и взаимотерпимый порядок взаимоотношений словенцев с немцами и словаков с венграми. Социальная относительная однородность содействовала этнической сплоченности славянских меньшинств: [словенцы, находясь в иноэтничном окружении, сами культивировали внутренние этнические связи в своей среде. Однако практическое отсутствие высшего социального слоя делало дальнейшее этническое самоопределение [пока бесперспективным (как [оказалось, вплоть до XX в.).

Одной из важнейших задач данного исследования являлось выявление (если это окажется возможным) основных отличий самосознания раннефеодальной народности от самосознания народ-

ности феодальной. Однако, прежде чем изложить некоторые наблюдения на этот счет, необходимо специально остановиться на общих заключениях, которые сделаны авторами-лингвистами в результате филолого-лингвистического анализа источников с целью уяснения путей развития языков южных и западных славян в связи с эволюцией их этнического самосознания в эпоху развитого феодализма.

Одним из важнейших выводов проведенного в настоящей книге обследования языковой ситуации в славянских странах в XII—XIV вв. является необходимость четкого различения тех аспектов использования языка, которые связаны с его осознанным использованием, в частности в литературных и других культурных функциях, а также в функции литургической, и тех сторон языковой действительности, которые могли оставаться вне сферы осознаваемого. Совершенно очевидно, что этническое самосознание славянских народов определенным образом соотносится с осознаваемым функционированием языка, тогда как степень дифференциации тех славянских языков, которые друг с другом непосредственно не контактировали в устной или литературной форме, при всей показательности этой характеристики для исследователя, не могла быть существенной для самосознания носителя языка. По этой причине на первый план при изучении этнического самосознания у славян в XII—XIV вв. выступают литературные языки (и наддиалектные койне, их в известной мере подготавливающие или с ними сопряженные) в их соотношении с разговорной речью. На протяжении большей части этого периода литургический и связанный с ним основной литературный язык еще остается у славян межэтническим.

Само по себе различие межэтнического («международного») литературного и литургического языка, с одной стороны, языка местного или народного, с другой, является языковой характеристикой, объединяющей языковые ситуации в средние века в разных странах и культурах Евразии на очень широком пространстве: от Британских островов на западе до Японских на востоке. Иначе говоря, можно сделать вывод о том, что эта черта характеризует языковое сознание независимо от различий между отдельными этносами, культурами и религиями. Представляется поэтому вероятным, что рассматриваемое явление связано с другими основными универсальными характеристиками социума и культуры.

Основными чертами, характеризующими разные средневековые культуры в отношении языка и письменности представляется, во-первых, функциональная *диглоссия*, т. е. такой тип двуязычия, при котором каждый из двух языков имеет свою четко очерченную культурную и социальную сферу употребления (скажем, один, как латынь у западных славян, употребляется в сфере литургии и церковного языка, а также и в некоторых других специальных областях общественной жизни, где совсем не используются или крайне редко употребляются местные разговорные языки); во-вторых, *гетерография*, т. е. такое использование письменного

языка (например, латинского), при котором (хотя бы в части случаев) соответствующие написания могут читаться на другом — например, местном славянском — языке. Противопоставления двух функционально различных языков при диглоссии, как и использование письменного языка, написания на котором читаются при гетерографии на другом языке, удастся в ряде случаев прямо соотнести с различием «официальной» (церковно-феодальной) и «неофициальной» (иначе «карнавальной», оба термина в этом значении введены М. М. Бахтиным) культуры средневековья. Далее оказывается возможным соотнести перечисленные явления с системой феодальной иерархии и с наличием (и в определенном смысле центральной для всей культуры ролью) монастырских центров записи, хранения и переработки письменной (литературной) информации. Однако детали причинно-следственных связей, по-видимому связывавших воедино названные характеристики средневековой культуры, еще подлежат уточнению, причем на фоне общих черт следует еще выявить и различия между отдельными традициями.

Два отмеченных феномена — диглоссия и гетерография — встречаются (при наличии существенных местных особенностей) во всем круге евразийских средневековых культур. Как их проявление может рассматриваться использование славянами в XII—XIV вв. различных видов межэтнических литературных языков (древнеславянского в Болгарии, Сербии, на Руси, отчасти и на других славянских территориях, где в указанный период он вытесняется латинским, распространяющимся в Польше, Чехии, а также использовавшимся в Хорватии и Словении; греческого во всей зоне влияния Византии) и письма (латинского в связи с латинским языком и местными языками в Польше, Чехии, Хорватии, Словении, кириллицы при записи литературного и местных языков в Болгарии, Сербии, на Руси, глаголицы в Хорватии). При гетерографии используется особая письменная система, прямо не передающая звучание того или иного устного языка, а служащая лишь для условной записи его форм. Гетерография обычно заключается в приспособлении «чужого» письма (и языка) для передачи «своего» языка таким образом, что записанные формулы и слова, как правило, имеют всегда второе чтение, не совпадающее с письменным языком. Наглядным примером из тех славянских традиций, которые рано начинают пользоваться латинским языком и письмом, могут служить написанные латинским письмом древнесловенские Фрейзинг[ен]ские отрывки, где отдельные латинские сакральные слова читались по-древнесловенски (на том особом древнесловенском варианте старославянского языка, который мог быть приспособлением литературного раннестарославянского языка к отраженным в тексте местным особенностям).

В соответствии с принципами современной исторической психологии, которая при истолковании психологии человека более ранних эпох пользуется некоторыми выводами психологических исследований современного человека, можно попытаться и для ин-

терпретации явлений средневековой диглоссии и гетерографии использовать данные новейшей нейропсихологии (изучающей психологические функции центральной нервной системы в том числе и отдельных частей или «зон» коры больших полушарий мозга) и нейролингвистики (занимающейся языковыми функциями центральной нервной системы). А это позволило бы предположить, что использовавшиеся при средневековой диглоссии и гетерографии системы такого «чужого» («официального» или «сакрального») языка и письма, как латинского, могли быть связаны со сферой логической сознательной деятельности, определяющей правила и схемы поведения (в том числе и будущего) и в норме (у подавляющего большинства носителей языка и культуры), приуроченной к левому полушарию. Это можно было бы пробовать обосновать и вероятностью соотношения «официальной» культуры с межэтнической системой языка и письма, «неофициальной» — карнавальной культуры — с местной языковой системой. Иллюстрацией приведенных языковых и культурных соотношений могло бы послужить языковое строение чешских карнавальных мистерий XIV в., «официальная» (сакральная) часть которых написана на латыни, карнавальная (гротескная) — на чешском языке. Предполагаемые (не только для славянского мира, но, в частности, и для него) различия внутри средневековой культуры можно было бы в развитии идей М. М. Бахтина пояснить следующим образом:

Культура	«официальная»	«неофициальная»
Язык	межэтнический (латинский, древнеславянский, греческий)	местный (польский, чешский, болгарский)
Письмо	использование для записи межэтнического языка	гетерографическое использование для записи местного языка
Нейропсихологическая зона	левое полушарие	правое полушарие

При всей гипотетичности предполагаемых соотношений они могут представить интерес для дальнейшего исследования того, как иерархичность феодальной культуры и противопоставление культуры «официальной» и «неофициальной» могло сказаться и в индивидуальном языковом сознании (в частности, и в приурочении отдельных сфер языка и культуры к разным нейропсихологическим зонам, которое, однако, могло различаться в зависимости от социального статуса, степени образованности, грамотности, знания каждого из языков и т. п.; поэтому предложенная схема остается грубо ориентировочной). Иначе говоря, здесь намечается путь, соединяющий историю языка и культуры в социальном контексте их функционирования, и сознание (этническое и языковое) отдельного индивида. Хотя в общем виде диглоссия и гетерография характерны для славянских культур начиная с несколько более раннего времени, наиболее отчетливо роль двух этих феноменов обнаруживается именно в рассматриваемую эпоху.

Из тех межэтнических (международных) языков, которые использовались в XII—XIV вв. в значительной части славянского мира (на Руси, в Болгарии, Сербии, Боснии, Хорватии), еще сохранял значение древнеславянский, который имел к тому времени уже два века развития на том раннем этапе, который обычно носит наименование «старославянского» языка. В рассматриваемый период этот язык претерпел существенные изменения, связанные с новыми условиями его функционирования. Основным фактом явилось появление локальных редакций (местных изводов) языка, которые в литературе вопроса часто называются «изводами церковнославянского языка». Характер этих изводов и их более дробных местных разновидностей определялся взаимодействием межэтнического древнеславянского языка с теми местными языками, с которыми благодаря диглоссии и двуязычию он находился в постоянном контакте. Продолжая высказанную выше мысль об отражении социальной и культурной ситуации в индивидуальном языковом и этническом сознании, напомним, что двуязычие (и его функционально специализированная разновидность — диглоссия) имеет место одновременно и в социуме, и внутри индивидуального сознания. Человек, пользующийся по-разному двумя языками в одной и той же языковой среде, владеет каждым из них и отводит тому и другому определенное место в своем языковом сознании. Поэтому не только вовне — в повседневном литературном и устном (в частности, официально-литургическом) общении, но и в сознании говорящего оба языка не могут не взаимодействовать. Это взаимодействие, лингвистическим выражением которого было появление местных редакций (изводов) древнеславянского, не могло не сказываться и на этническом сознании говорящих, которые мыслили себя одновременно в той (общевосточнохристианской, тесно связанной с Византией и греческим языком) традиции, которую продолжал и воплощал сам древнеславянский язык, и в той локально более ограниченной сфере, к которой принадлежала данная его редакция. В какой мере эта иерархически организованная структурированность самосознания (этнического и языкового) была принадлежностью каждой из тех славянских традиций, для которых постулируется наличие соответствующих местных редакций? Видимо, можно с достаточной определенностью дать ответ на этот вопрос по отношению к редакциям древнерусской, староболгарской (в разных ее локальных и хронологических вариантах), древнесербской и графически (по характеру гетерографического письма — глаголического) от них отличавшейся древнехорватской. Но весьма возможно, что в такой же или сходной мере наличие таких редакций, как древнегалицко-волынская и древнесевернорусская в восточнославянской области, македонская, старобоснийская и (несколько позднее — с XIII—XIV вв.) славяно-влахо-молдавская в южнославянобалканском ареале, дает ориентиры для выяснения статуса соответствующих этнических групп или, во всяком случае, языковых общностей. Разумеется, само по себе наличие некоторых локальных черт в определенном корпусе

древнеславянских текстов ничего *еще не говорит об этническом и языковом сознании писцов*, их записавших или переписавших. Но самый факт проникновения этих черт в соответствующий извод древнеславянского языка или диалекта, которому принадлежат соответствующие черты. Поэтому лингвистические данные дают возможность установить более дробные деления, чем скудные исторические источники.

Феодальные условия бытования языка благоприятны для образования и усиления диалектных дроблений. Эти последние иногда (в рассматриваемый период в относительно редких случаях, как в новгородских берестяных грамотах или в деловых документах из канцелярий Сербии, Боснии, Дубровника) прямо сказываются в текстах, иногда лишь косвенно, как в наличии известных черт редакций (изводов) церковнославянского языка. Те же социальные условия вели и к наличию официальных койне или сакральных языков, существенно отличных от народных разговорных, характерные черты которых скорее предполагаются, чем достоверно известны.

На основании данных славянской сравнительно-исторической фонетики и морфологии для всего рассматриваемого периода можно предполагать уже значительную диалектную дробность таких ареалов, как севернолехитский (поморский и с ним соседивший полабский), лужицкий, юго-западнославянский. Но далеко не обо всех диалектах и даже, возможно, потенциально оформившихся языках мы можем получить ясное представление. Процессы дивергенции, осуществлявшиеся в условиях феодального дробления земель, почти не находили отражения в условных гетерографических записях текстов на официальных языках. Поэтому часто мы склонны языковое единообразие, объясняемое последующей конвергенцией, проецировать на более ранний период.

Современное языкознание, в особенности такие бурно развивающиеся его разделы, как лингвистика текста, и примыкающие к нему науки семиотического цикла рассматривают язык как систему, служащую для построения определенной совокупности текстов. Такой подход оказывается необходимым при описании древнеславянского языка и его редакций. С этим языком соотнесен целый корпус определенных жанров; поскольку этот язык (за исключением некоторых специфических сфер общения в церкви и монастыре) преимущественно продолжался как литературный, самое его существование в значительной мере определялось передачей этих текстов. Следовательно, древнеславянский язык и древнеславянская литература на этом языке — не только соотносимые, но и неотделимые друг от друга понятия. Если, по словам академика Д. С. Лихачева, древнеславянская литература может рассматриваться как «литература-посредница» по отношению к византийской, то в известных своих чертах (в особенности на высших уровнях, определяющих правила построения текста) и древнеславянский язык ориентирован на греческий. Примени-

тельно к основным центрам хранения и переработки информации (таким, как монастыри на Афоне и в Константинополе) существенной чертой языковой ситуации было греческо-древнеславянское двуязычие. Заметим, что некоторые принципы образного построения текстов (в частности, теория «творческих образов», греч. ποιητικοί τρόποι, древнеслав. ТВОРЧЕСТИИ ОБРАЗИ в «Изборнике Святослава», восходящем к греческому протографу, лежащему в его основе), заимствованные из византийской традиции, в преобразованном виде используются не только при построении древнеславянских текстов, но и при построении текстов на местных койне, например княжеском древнерусском.

Особенностью греческо-славянского двуязычия в отличие от функциональной диглоссии таких пар языков, в которые входил древнеславянский и местный славянский, было отсутствие той большой близости двух языков, которое в случае двух славянских языков приводило к гомогенному двуязычию и вело к постоянной гибридизации (или креолизации) двух взаимодействовавших славянских языков. Греческо-славянское двуязычие было гетерогенным, но при этом греческий постоянно оставался моделью для древнеславянского. В этом плане роль греческого для славянского может быть сопоставлена с ролью, которую сыграл греческий язык и для всего балканского языкового союза согласно такому его пониманию, которое предполагает индуцирующее воздействие греческого при становлении ряда характеристик балканских языков.

Очевидно, что в болгарском разговорном языке (лишь косвенно, по большей части через призму гетерографии отраженном в литературных текстах) развитие в сторону общепалканских (в частности, аналитических) грамматических черт особенно интенсивно шло в период почти двухвекового болгарско-греческого двуязычия, связанного с политической властью Византии. Однако результаты этого развития больше всего сказались в текстах, написанных в XIII в. (особенно во второй его половине) после достижения независимости. Достаточно длительное отъединение от остального славянского мира сказалось к тому времени и в том, что литературный язык в Болгарии стал далеко отходить от старославянского, на нормы которого ориентировались другие редакции (изводы) церковнославянского языка. Эти историко-культурные условия бытования литературного и разговорного языков Болгарии эпохи ее включения в Византийскую империю отчасти объясняют как собственно языковые особенности быстрой эволюции, так и причины, сделавшие возможной фиксацию в письменном языке некоторых из последствий этой эволюции. Гомогенная диглоссия разговорного болгарского и болгарского извода церковнославянского давала особые формы частичного расхождения двух этих языков именно на фоне гетерогенного греческо-славянского двуязычия. Греческо-славянское двуязычие в рассматриваемый период отражается и в Сербии, где греческий использовался для административных нужд.

Более явный случай чисто гетерогенного двуязычия представ-

ляет та ситуация латино-славянской диглоссии, которая характеризует *Slavia Latina* в отличие от *Slavia Orthodoxa*, характеризовавшейся диглоссией древнеславянского и местных славянских языков (и особым видом древнеславяно-греческого двуязычия преимущественно в центрах переработки информации). Отличие славяно-латинского типа диглоссии сказывалось не только в отсутствии той гибридизации, которая возможна лишь при гомогенном двуязычии, но и в жанровом многообразии латинских текстов и в заполнении различных сфер социального функционирования языка латинским языком в западнославянской и юго-западнославянской языковых областях. С широтой сферы функционирования латинского языка связано и относительное (по сравнению с болгарским и древнерусским) запаздывание употребления местных языков в некоторых из внелитургических письменных употреблений.

В позднем средневековье употребление латинского языка в текстах широкого круга жанров отличает Чехию и Словакию, Польшу, прилегающие к ней области, где говорили на других западнославянских диалектах, находившихся (как лужицкие) в длительном отношении двуязычия с немецкими диалектами, Словению и Хорватию. Ситуация в последней, однако, характеризуется исключительной сложностью, так как наряду с латинским языком хорваты-глаголиты использовали и древнеславянский. Пример Хорватии убеждает в том, что деление на *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* не было строго единообразным. Кроме возможности пространственного их пересечения следует иметь в виду и временную подвижность границ между ними. В этом отношении особенно показательна ситуация в Чехии, отчасти также и в Польше. Хотя следы древнейшей литературы на старославянском языке после падения Великоморавского государства обнаруживаются преимущественно лишь косвенным образом, все же следует полагать, что вплоть до XI в. старославянский язык на этой территории использовался в качестве языка литургии и лишь постепенно его вытеснял в этой функции латинский. Факт попытки оживления литургии на древнеславянском языке во второй половине XIV в. в Эммаусском монастыре, куда были приглашены для этого хорваты-глаголиты, следует при всей кратковременности этого эпизода рассматривать как свидетельство неокончателности деления славянского мира на две конфессионально-языковые зоны.

В пределах западнославянской языковой области многие тенденции использования различных взаимодействующих языков (в том числе латинского и немецкого) в Чехии и в Польше, где ощущалось значительное воздействие чешской ситуации, оказываются сходными, но в Польше те же или достаточно близкие явления обнаруживаются с некоторым временным запаздыванием по сравнению с Чехией. По мере затухания сакральных и литературных возможностей старославянского с конца XI в. латинский язык становится в Чехии основным средством литературного общения, тогда как на чешском языке осуществляется вспомогательная проповедь: на чешский, как несколько позднее и на польский, пере-

водятся тексты повседневных молитв и исповедальные формулы. Уже в XII в. чешский используется в той роли вспомогательного устного языка, которая в определенных сферах (вспомогательного по отношению к латинскому языку церковного и правового общения) подготавливала позднейшее употребление чешского языка в качестве письменного. В Чехии, как в несколько более позднее время и в Польше, приходится по отношению к городам говорить о наличии в употреблении и функциональном противопоставлении трех языков: местного народного (собственно чешского и польского), немецкого (использовавшегося в городах не только немецкой частью населения, но и известными, преимущественно иерархически выделенными социальными слоями местного — чешского и польского — населения), латыни. В больших городах, для которых с самого начала их существования характерно многоязычие, к двум основным языкам городского населения — чешскому (в разных его локальных вариантах) и немецкому — присоединялись и другие, в частности еврейский (отражение этих разговорных языков в гротескных сценах, использующих карнавальную образность, и латинского в сакральных «официальных» частях характеризует язык мистерияльной пьесы XIV в.).

Городское многоязычие является особым фактом и фактором культурного и языкового развития: помимо противопоставления разных этносов и языков (прежде всего чешского и немецкого) здесь намечаются и некоторые тенденции, которые в конечном счете могут приводить к совершенно новым феноменам — таким, как возникновение многоязычной и многоэтнической литературы внутри одного города (Прага). Город и этнос уже на раннем этапе, фиксируемом памятниками XIV в., не всегда прямо соподчинены друг другу, и описание многоязычного и полиэтнического города через призму истории одного только этноса может оказаться не вполне адекватным. В многоязычном городе и использование такого межэтнического языка, как латинский, получает дополнительную функцию осуществления «нейтральной» коммуникации в условиях такой конкуренции разговорных языков, когда каждый из них нагружен социальными аффектами, отражающими противопоставление этносов. (Надэтнический характер городов особенно наглядно подтверждается фактами, касающимися далматинских центров.) Длительное сохранение, а отчасти и упрочение функций латинского языка как средства записи и хранения информации в городских (в частности, университетских) центрах в последующие века позволяет поставить вопрос о связи этих функций с городским (в том числе и зарождающимся научным) сознанием, которое не всегда себя мыслило в рамках замкнутого этноса.

Латинский язык, как и греческий и древнеславянский, до становления городов и центров городской культуры играл роль межэтнического средства общения, включавшего каждого индивида, им владевшего, в более широкую межэтническую конфессиональную и культурную общность — такую, как общность всех христиан, а внутри нее — общность всех восточных христиан (пра-

вославных) или всех западных христиан (католиков). Кстати говоря, знание духовенством латинского языка было, вероятно, одним из мотивов выступлений части чешского и польского духовенства против распространения немецкого языка: проникновение последнего в административную сферу подрывало монополию духовных лиц как знатоков письменности. Становление и развитие городских центров хранения и переработки информации, веками сохраняющих латинский язык в качестве надэтнического языка знания, усиливает эту его роль, которая достаточно сложным образом соотносена с конкретным этническим и языковым сознанием: формируются предпосылки для осознания литературы и ученого как члена большей общности, превосходящей в пространстве и времени этническую, что становится в центре внимания ко времени Ренессанса. Одновременное использование нескольких языков (латыни, немецкого, чешского, польского) для выражения вновь формируемых понятий и категорий, переводимых с одного языка на другой, было весьма важно именно потому, что взаимная переводимость оказывалась способом выявления называемого понятия. В этом аспекте воздействие уже сформировавшегося чешского литературного языка на старопольский в XIV в. было весьма значительным. Достаточно большая близость двух этих западнославянских языков друг к другу создала благоприятные предпосылки для такого интенсивного воздействия, которое сказалось и в усвоении богемизмов польской лексикой, и в преобразовании польских слов на чешский лад, и в формировании польских наддиалектных норм по чешскому образцу. Интенсивность чешско-польских языковых связей в XIII—XIV вв. — одно из наиболее очевидных свидетельств того, что во всяком случае в относительно еще мало раздробленном диалектном ареале и в пределах одного конфессионального ареала славянские языки могли взаимодействовать так, как это возможно лишь при значительной близости языков. Сопоставляя эти языковые данные с другими свидетельствами, можно было бы предположить, что следы исконного единства и общности происхождения чехов и поляков продолжали ощущаться и могли способствовать дальнейшим процессам, сближавшим оба языка в ходе конкретного развития.

К числу собственно лингвистических проблем, по-новому освещаемых в свете проблематики этнического и языкового самосознания, относится проблема соотношения разных языковых стандартов XIV в. при вторичной архаизации древнеславянского языка (благодаря тырновскому патриарху Евфимию), что привело к еще большему отличию сакрально-литературного и литургического от разговорного языка, который, судя по текстам, отражавшим хотя бы некоторые его черты (обычно сквозь гетерографический слой условных написаний), уже проделал в основном значительную часть того пути, который разделяет современный болгарский и все ранние славянские диалекты. Хотя гетерографическая передача и затрудняет точное описание всех соответствующих фактов, современное состояние изучения среднеболгарских текстов застав-

ляет думать, что разговорный болгарский язык и его диалекты в XIII—XIV вв. уже существенно отличались от древнеславянского. Степень гомогенности диглоссии, по сути, здесь значительно уменьшилась, но, по-видимому, особенности гетерографической записи и непрерывность письменной традиции не позволяли этому собственно языковому факту непосредственно повлиять на этническое самосознание.

Существенный интерес при этом представляет соотношение исторических фактов и тех языковых фактов и норм, которые достаточно сложным образом соотнесены с ними, причем иногда хронологически (возможно, благодаря особенностям письменной фиксации) языковые последствия оказываются сильно запаздывающими по сравнению с частично их обусловившими культурно-историческими причинами.

Период византийского владычества в Болгарии в одном лишь языковом отношении сказался более непосредственно, повлияв на приближение переводов (на среднеболгарскую редакцию древнеславянского литературного языка) к греческим оригиналам. Но завершение этого процесса, начавшегося еще, несомненно, в период усиления роли греческого элемента в церковной службе в Болгарии, относится ко времени после достижения независимости от Византии. На время византийского господства приходится, по-видимому, наиболее бурный процесс развития в разговорном языке тех черт, которые отличали его от письменной редакции древнеславянского, использовавшейся в Болгарии. Но последствия этого процесса в языке литературы скажутся позднее.

Целый ряд славянских языков и диалектов либо совсем не находил в рассматриваемый период письменного выражения (северно-лехитские диалекты, развившиеся в кашубский, словинцкий, полабский, словацкий, словенский, который представлен лишь более ранними Фрейзинг[ен]скими отрывками), либо представлен в текстах лишь гетерографически (через призму соответствующего извода древнеславянского). Поэтому не каждый из фактов развития этнического самосознания, документируемый историческими источниками, может быть соотнесен с соответствующими языковыми данными. Но кроме этих объективных трудностей есть и другие, принципиального свойства: при бесспорности соотнесения языка и этноса осознание различий языка и этноса (в частности, терминологически выражаемых в обозначении языков и народов) не всегда идет рядом. Возможны и несовпадения, во всяком случае хронологические и географические. Не каждая из этнических групп славян, обладавших, согласно источникам, в XII—XIV вв. самосознанием, владела уже и отдельным языком. Но процесс постепенного осознания отдельности каждого из формирующихся славянских литературных языков уже начался и к XIV в. прошел свои письменно зафиксированные этапы. В то же время еще достаточно актуальным оставалось осознание единства всех славян и отдельных их больших сообществ. Этническое, как и языковое, сознание было иерархически структурировано, и принадлежность

к отдельному славянскому этносу и языку не противоречила еще и представлению о славянском единстве, в известной мере остававшемся языковой реальностью, особенно в условиях древнеславянско-греческого двуязычия.

Особой интенсивностью характеризовались в этот период языковые контакты на Балканах, ведшие одновременно к утере некоторых общеславянских языковых черт такими языками, как среднеболгарский, и к приобретению ими же признаков, общих с другими балканскими языками. Вероятно, с точки зрения этнического самосознания существенным был первый (негативный) процесс, способствовавший утрате части сходств (или тождеств) славянских письменных языков. Но и второй процесс в конечном счете был важен для осознания народом себя сопоставительно с соседями.

Строго говоря, постановка вопроса о различиях между народностями раннефеодальными и феодальными представлялась бы в данном исследовании преждевременной, так как оно остановлено в книге на конце XIV в., и проблема не прослежена по материалам, относящимся еще к нескольким последующим столетиям феодальной эпохи (для южных славян это, по крайней мере, XV—XVIII вв., т. е. четыре века, для западных — от XV до XVI—XVII вв., т. е. два-три века).

Поэтому выскажем ниже лишь несколько предварительных заключений на этот счет. Нам представляется, что для самосознания славянских народностей феодальной эпохи характерно несколько новых компонентов (или повышение значения этих компонентов) в иерархии этнических представлений. Во-первых, это оформление самостоятельных славянских языков каждой народности, отсутствовавших в раннефеодальный период, а в исследуемый период ставших в каждом отдельном случае одним из важнейших (если не самым важным) признаков этнического единства феодальной народности. Во-вторых, самосознание феодальной народности стало, как нам кажется, гораздо в большей степени, чем ранее, социально (сословно) обусловленным, обладало значительными особенностями внутри каждого социального слоя. В-третьих, в иерархии духовных этнических ценностей в эту эпоху заметно возросло значение вероисповедного фактора, который стал в связи с расколом славянского мира на две культурно-исторические зоны одним из дополнительных факторов региональной славянской общности. Напротив (и это — в-четвертых), в широких народных массах представления об этническом единстве как общности территории и подданства единому государю в существенной мере утратили былое значение в качестве консолидирующего фактора вследствие феодальной раздробленности и продолжительных периодов (в ряде регионов) иноземного господства, повлекшего существование на одной территории нескольких (обычно двух) языков, т. е. развитие двуязычия. В-пятых, значительно возросла роль, в силу распространения грамотности и появления прослойки образованных людей, фактора культурной общности сравнительно с раннефеодальным периодом. Наконец, в-шестых, неизмеримо

большими в эпоху развитого феодализма стали прочность и устойчивость феодальной народности. Как показывает пример сербской (как и древнерусской) народности, раннефеодальная при определенных условиях еще может проявить во всяком случае потенциальную тенденцию к распаду в результате процесса образования в ее недрах двух-трех новых феодальных народностей, тогда как народность этого последнего таксономического уровня, как свидетельствует этническая история всех рассмотренных славянских этнических общностей, обнаружила неизменную гомогенность и жизнеспособность. Все славянские нации эпохи капитализма сложились впоследствии на основе феодальных славянских народностей.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ВВ — Византийский временник. М.
 ВЯ — Вопросы языкознания.
 ГИБИ — Гръцки извори за българската история. С.
 Григ. пар. — Григоровичев парамейник.
 ГСУ — Годишник на Софийския университет.
 ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
 Изв. ГАИМК — Известия Государственной Академии истории материальной культуры.
 Изв. ОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности.
 ИП — Исторически преглед.
 К. л. — Киевские листки.
 Кюст. — Кюстендильский палимпсест.
 НБИБ — Народная библиотека им. Ивана Вазова в Пловдиве.
 НБКМ — Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия в Софии.
 Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности.
 ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы.
 Вуз. — Byzantion.
 CDB, I, II — Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Pr., 1904—1907. Т. I; Pr., 1912. Т. II.
 СДВ, II/1 — Codex juris Bohemici. Pr., 1870. Т. II/1.
 СДМ рег. В, I — Codex juris municipalis regni Bohemiae. Pr., 1886. Т. I.
 ČČH — Český časopis historický.
 ČSČH — Československý časopis historický.
 FRB II—V — Fontes rerum Bohemicarum. Pr., 1874. Т. II; Pr., 1882. Т. III; Pr., 1884. Т. IV; Pr., 1893. Т. V.
 НČ — Historický časopis (Bratislava).
 КН — Kwartalnik Historyczny. Kraków.
 МGH LL — Monumenta Germaniae Historica. Leges.
 МGH. Leg., sec. III. Cap. RFr — Monumenta Germaniae Historica. Legum. Sectio III. Capitularia regnum Francorum.
 МGH. Leg., sec. III. Con. — Monumenta Germaniae Historica. Legum. Sectio III. Concilia.
 МGH SS — Monumenta Germaniae Historica. Scriptores.
 МНDC — Monumenta Historica Ducatus Carinthiae.
 MIÖG — Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung.
 МРН — Monumenta Poloniae Historica.
 PAN — Polska Akademia Naukowa.
 PL — Patrologiae cursus completus. Series latina.
 PPJL — Pochodzenie polskiego języka literackiego. Wrocław, 1956.
 Regesta, II, III, IV/2 — Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pr., 1872. Т. II; Pr., 1883. Т. III; Pr., 1929. Т. VI/2.
 VKQ — Vita Karoli Quarti. Praha, 1978.
 ZS — Zgodovinski časopis.
 ZRG GA — Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
I	
√ Древнеславянский литературный язык в XII—XIV вв. (его функции и специфика)	14
<i>Н. И. Толстой</i>	
II	
Латынь и славянские языки. Проблемы взаимодействия	25
<i>Вяч. Вс. Иванов</i>	
III	
Особенности развития самосознания болгарской народности со второй четверти X до конца XIV в.	36
<i>Г. Г. Литаврин</i>	
«Болгарская апокрифическая летопись» как памятник этнического самосознания болгар	70
<i>С. А. Иванов</i>	
История болгарского языка и этническое самосознание болгар в XII—XIV вв.	77
<i>Е. В. Чешко</i>	
IV	
Процессы развития этнического самосознания в Сербии и Боснии в XII—XIV вв.	94
<i>Е. П. Наумов</i>	
Этническое и культурное самосознание сербов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.	117
<i>Н. И. Толстой</i>	
V	
Развитие этнического самосознания хорватов в XII—XIV вв.	130
<i>О. А. Акимова</i>	
Этническое и культурное самосознание хорватов в связи с развитием письменности (литературы) и литературного языка в XII—XIV вв.	152
<i>Н. И. Толстой</i>	

VI

- Проблемы этнического самосознания словенцев 165
I — В. К. Ронин, II — Вяч. Вс. Иванов

VII

- Этническое самосознание чешской феодальной народности
в XII—начале XIV в. 182
Б. Н. Флоря

- Этническое самосознание чехов во второй половине XIV в. 205
Г. П. Мельников

- Языковая ситуация в Чехии в XII—XIV вв. 216
Г. П. Нецименко

VIII

- К проблеме становления этнического самосознания словаков 233
А. И. Виноградова, Г. П. Мельников, В. П. Шушарин

- Этническое самосознание словаков в свете лингвистических
данных 245
Л. Н. Смирнов

IX

- Этническое самосознание польской народности в XII—XIV вв. 256
Я. Д. Исавич

- Языковая ситуация в Польше в XII—XIV вв. 280
С. М. Толстая

X

- Проблемы этнического самосознания полабских славян XI—
XIV вв. 297
I — В. К. Ронин, II — Вяч. Вс. Иванов

- Некоторые общие наблюдения 317
Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Литаврин

- Список сокращений 349

РАЗВИТИЕ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
В ЭПОХУ
ЗРЕЛОГО ФЕОДАЛИЗМА

Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики
АН СССР

Редактор издательства *С. Н. Романова*
Художник *А. Г. Кобрин*
Художественный редактор *И. Д. Богачев*
Технический редактор *И. Н. Жмуркина*
Корректор *В. А. Алекскина*

ИБ № 38942

Сдано в набор 08.07.88. Подписано к печати 20.10.88

Формат 60 × 90¹/₁₆. Бумага типографская № 1

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая

Усл. печ. л. 22. Усл. кр. отт. 22.

Уч.-изд. л. 25,8. Тираж 1650 экз.

Гип. зак. 593, Цена 5 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485,
Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

11
85.000

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

